

16

АНТОЛОГИЯ





Библиотека  
современной  
фантастики

МОСКВА 1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Антология  
советской  
фантастики

15  
том

Составитель  
Д. БИЛЕНКИН.

Художник

Е. ГАЛИНСКИЙ

Редакция:

К. АНДРЕЕВ,

А. ГРОМОВА,

Г. ГУСЕВ,

И. ЕФРЕМОВ,

С. ЖЕМАЙТИС,

Е. ПАРНОВ,

А. СТРУГАЦКИЙ.

Скрепи-  
вая  
шпаги



ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ

# ТРЕВОЖНЫХ СИМПТОМОВ НЕТ

1 — Не нравятся мне его почки, — сказал Крепс. Леруа взглянул на экран:

— Почки как почки. Бывают хуже. Впрочем, кажется, регенерированные. Что с ними делали прошлый раз?

— Сейчас проверю. — Крепс набрал шифр на диске автомата.

Леруа откинулся на спинку кресла и что-то пробормотал сквозь зубы.

— Что вы сказали? — переспросил Крепс.

— Шесть часов. Пора снимать наркоз.

— А что будем делать с почками?

— Вы получили информацию?

— Получил. Вот она. Полное восстановление лоханок.

— Дайте сюда.

Крепс знал манеру шефа не торопиться с ответом и терпеливо ждал.

Леруа отложил пленку в сторону и недовольно поморщился:

— Придется регенерировать. Заодно задайте программу на генетическое исправление.

— Вы думаете, что...

— Безусловно. Иначе за пятьдесят лет они не пришли бы в такое состояние.

Крепс сел за перфоратор. Леруа молчал, постукивая карандашом о край стола.

— Температура в ванне повысилась на три десятых градуса, — сказала сестра.

— Дайте глубокое охлаждение до... — Леруа за-

инулся. — Подождите немного... Ну, что у вас с программой, Крепс?

— Контрольный вариант в машине. Сходимость девяносто три процента.

— Ладно, рискнем. Глубокое охлаждение на двадцать минут. Вы поняли меня? На двадцать минут глубокое охлаждение. Градиент — полградуса в минуту.

— Поняла, — ответила сестра.

— Не люблю я возиться с наследственностью, — сказал Леруа. — Никогда не знаешь толком, чем все это кончится.

Крепс повернулся к шефу.

— А по-моему, вообще все это мерзко. Особенно инверсия памяти. Вот бы никогда не согласился.

— А вам никто и не предложит.

— Еще бы! Создали касту бессмертных, вот и танцуете перед ними на задних лапках.

Леруа устало закрыл глаза.

— Вы для меня загадка, Крепс. Порою я вас просто боюсь.

— Что же во мне такого страшного?

— Ограничность.

— Благодарю вас...

— Минус шесть, — сказала сестра.

— Достаточно. Переключайте на регенерацию.

Фиолетовые блики вспыхнули на потолке операционного зала.

— Обратную связь подайте на матрицу контрольного варианта программы.

— Хорошо, — ответил Крепс.

— Наследственное предрасположение, — пробормотал Леруа. — Не люблю я возиться с такими вешами.

— Я тоже, — сказал Крепс. — Вообще все это мне не по нутру. Кому это нужно?

— Скажите, Крепс, вам знаком такой термин, как борьба за существование?

— Знаком. Учил в детстве.

— Это совсем не то, что я имел в виду, — перебил Леруа. — Я говорю о борьбе за существование

целого биологического вида, именуемого *Хомо Сапиенс*.

— И для этого нужно реставрировать монстров столетней давности?

— До чего же вы все-таки тупы, Крепс! Сколько вам лет?

— Тридцать.

— А сколько лет вы работаете физиологом?

— Пять.

— А до этого?

Крепс пожал плечами.

— Вы же знаете не хуже меня.

— Учились?

— Учился.

— Итак, двадцать пять лет — наスマрку. Но ведь вам, для того чтобы что-то собой представлять, нужно к тому же стать математиком, кибернетиком, биохимиком, биофизиком — короче говоря, пройти еще четыре университетских курса. Прикиньте-ка, сколько вам тогда будет лет. А сколько времени понадобится на приобретение того, что скромно именуется опытом, а по существу представляет собой проверенную жизнью способность к настоящему научному мышлению?

Лицо Крепса покрылось красными пятнами.

— Так вы считаете...

— Я ничего не считаю. Как помощник вы меня вполне устраиваете, но помощник сам по себе ничего не стоит. В науке нужны руководители, исполнители всегда найдутся. Обстановочка-то уложняется. Чем дальше, тем больше проблем, проблем остреньких, не терпящих отлагательства, проблем, от которых, может быть, зависит само существование рода человеческого. А жизнь не ждет. Она все время подстегивает: работай, работай, с каждым годом работай все больше, все интенсивнее, все продуктивнее, иначе застой, иначе деградация, а деградация — это смерть.

— Боитесь проиграть соревнование? — спросил Крепс.

Насмешливая улыбка чуть тронула тонкие губы Леруа.

— Неужели вы думаете, Крепс, что меня волнует, какая из социальных систем восторжествует в этом мире? Я знаю себе цену. Ее заплатит каждый, у кого я соглашусь работать.

— Ученый-ландскнехт?

— А почему бы и нет? И как всякий честный пациент, я верен знаменам, под которыми сражаемся.

— Тогда и говорите о судьбе Дономаги, а не всего человечества. Вы ведь знаете, что за пределами Дономаги ваш метод не находит сторонников. И признаитесь заодно, что...

— Довольно, Крепс! Я не хочу выслушивать заношенные сентенции. Лучше скажите, почему, когда мы восстанавливаем человеку сердечную мышцу, регенерируем печень, омолаживаем организм, все в восторге: это человечно, это гуманно, это величайшая победа разума над силами природы! Но стоит нам забраться чуточку поглубже, как типчики вроде вас поднимают визг: ах! ученому инверсировали память, ах! кощунственные операции, ах!.. Не забывайте, что наши опыты стоят уйму денег. Мы должны выпускать отсюда по-настоящему работоспособных ученых, а не омологенных старишков, выживших из ума.

— Ладно, — сказал Крепс, — может быть, вы и правы. Не так страшен черт...

— Особенно когда можно дать ему мозг ангела, — усмехнулся Леруа.

Раздался звонок таймера.

— Двадцать минут, — бесстрастно сказала сестра. Крепс подошел к машине.

— На матрице контрольной программы нули.

— Отлично! Отключайте генераторы. Подъем температуры — градус в минуту. Пора снимать наркоз.

**2** Приятно холодит тело регенерационный раствор, тихо поют трансформаторы, горячо пульсирует кровь, пахнет озоном, мягко льется матовый свет ламп.

Окружающий мир властно вторгается в просыпающееся тело — великолепный, привычный и вечно новый мир.

Кларенс поднял голову. Две черные фигуры в длинных, до пят, антисептических халатах стояли, склонившись над ванной.

— Ну как дела, Кларенс? — спросил Леруа. Кларенс потянулся.

— Восхитительно! Как будто снова родился на свет.

— Так оно и есть, — пробормотал Крепс. Леруа улыбнулся.

— Не терпится попрыгать?

— Черт знает какой прилив сил! Готов горы ворочать.

— Успеете, — лицо Леруа стало серьезным. — А сейчас — под душ и на инверсию.

\* \* \*

...Кто сказал, что здоровый человек не чувствует своего тела? Ерунда! Нет большего наслаждения, чем ощущать биение собственного сердца, трепет диафрагмы, ласковое прикосновение воздуха к трахеям при каждом вдохе. Вот так каждой клеточкой молодой упругой кожи отражать удары бьющей из душа воды и слегка пофыркивать, как мотор, работающий на холостом ходу, мотор, в котором огромный неиспользованный резерв мощности. Черт побери, до чего это здорово! Все-таки за пятьдесят лет техника сделала невероятный рывок. Разве можно сравнить прошлую регенерацию с этой? Тогда в общем его просто подлатали, а сейчас... Ух, как хорошо! То, что сделали с Эльзой, — просто чудо. Только зря она отказалась от инверсии. Женщины всегда живут прошлым, хранят воспоминания, как сувениры. Для чего тащить с собой этот ненужный балласт? Вся жизнь в будущем. Каста бессмертных, неплохо придумано! Интересно, что будет после инверсии? Откровенно говоря, последнее время мозг уже работал неважно, ни одной статьи за этот год. Сто лет — не шутка. Ничего, теперь они убедятся, на что еще способен старина Кларенс. Отличная мысль — явиться к Эльзе в день

семидесятипятилетия свадьбы обновленным не только физически, но и духовно...

— Хватит, Кларенс. Леруа вас ждет в кабинете инверсии, одевайтесь! — Крепс протянул Кларенсу толстый мохнатый халат.

**3** Вперед-назад, вперед-назад пульсирует ток в колебательном контуре, задан ритм, задан ритм, задан ритм...

Поток электронов срывается с поверхности раскаленной нити и мчится в вакууме, разогнанный электрическим полем. Стоп! На сетку подан отрицательный потенциал. Невообразимо малый промежуток времени, и вновь рвется к аноду нетерпеливый рой. Задан ритм, рождающий в кристалле кварца недоступные уху звуковые колебания, в десятки раз тоньше комариного писка.

Немые волны ультразвука бегут по серебряной проволочке, и металлический клещ впивается в кожу, проходит сквозь черепную коробку. Дальше, дальше, в святая святых, в величайшее чудо природы, именуемое мозгом.

Вот она, таинственная серая масса, зеркало мира, вместелище горя и радости, надежд и разочарований, взлетов и падений, гениальных прозрений и ошибок!

Лежащий в кресле человек глядит в окно. Зеркальные стекла отражают экран с гигантским изображением его мозга. Он видит светящиеся трассы микроскопических электродов и руки Леруа на пульте. Спокойные, уверенные руки ученого. Дальше, дальше, приказывают эти руки, еще пять миллиметров. Осторожно! Здесь сосуд, лучше его обойти!

У Кларенса затекла нога. Он делает движение, чтобы изменить позу.

— Спокойно, Кларенс! — Голос Леруа приглушен. — Еще несколько минут постарайтесь не двигаться. Надеюсь, вы не испытываете никаких неприятных ощущений?

— Нет. — Какие же ощущения, когда он знает, что она совершенно лишена чувствительности, эта серая масса, анализатор всех видов боли.

— Сейчас мы начнем, — говорит Леруа. — Последний электрод.

Теперь начинается главное. Двести электродов подключены к решающему устройству. Отныне человек и машина составляют единое целое.

— Напряжение! — приказывает Леруа. — Ложитесь, Кларенс, как вам удобнее.

Инверсия памяти. Для этого машина должна обшарить все закоулки человеческого мозга, развернуть бесконечной чередой рой воспоминаний, осмыслить подсознательное и решить, что убрать навсегда, а что оставить. Очистка кладовых от старого хлама.

Вспыхивает зеленая лампа на пульте. Ток подан на мозговую кору.

*...Маленький мальчик растерянно стоит перед разбитой банкой варенья. Коричневая густая жидкость растекается по ковру...*

Стоп! Сейчас комплекс ощущений будет разложен на составляющие и сверен с программой. Что там такое? Страх, растерянность, первое представление о бренности окружающего мира. Убрать. Чуть слышно щелкает реле. В мозг подан импульс тока, и нервное возбуждение перестает циркулировать на этом участке. Увеличена емкость памяти для более важных вещей.

*...Ватага школьников выбегает на улицу. Они о чем-то шепчутся. В центре верзила с рыжей нечесаной копной волос и торчащими ушами. Как трудно делать вид, что совсем не боишься этого сброва! Ноги кажутся сделанными из ваты. Тошнота, подступающая к горлу. Хочется бежать. Они все ближе. Зловещее молчание и оскаленная рожа с оттопыренными ушами. Осталось два шага. Верзила наносит удар...*

Убрать! Щелк, щелк, щелк...

*...Берег реки, танцующие поплавки на воде. Черная тень. Нога в стоптанном башмаке. Сброшенные удочки, плывущие по течению. Красный туман перед глазами. Удар кулаком в ненавистную харю, второй, третий. Поверженный, хныкающий враг, размазывающий кровь по лицу...*

Миллисекунды на анализ. Оставить: уверенность

в своих силах, радость победы нужны ученому не меньше, чем боксеру на ринге.

...Отблеск огня на верхушках елей. Разгоряченные вином и молодостью лица. Сноп искр вылетает из костра, когда в него подбрасывают сучья. Треск огня и песня: «Звезда любви на небосклоне». Лицо Эльзы. «Пойдемте, Кларенс. Мне хочется тишины». Шелест сухих листьев под ногами. Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?» Горький запах мха на рассвете. Завтрак в маленьком загородном ресторанчике. Горячее молоко с хрустящими хлебцами. «Теперь это уже на всегда, правда, милый?»

Вспыхивают и гаснут лампочки на пульте. Любовь к женщине — это хорошо. Возбуждает воображение. Остальное убрать. Слишком много нервных связей занимает вся эта ерунда. Щелк, щелк... Все ужато до размера фотографии в семейном альбоме: белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?»

Невидимый луч мечется по ячейкам электронного коммутатора, обнюхивает все тайники человеческой души. Что там еще? Подать напряжение на тридцать вторую пару электродов. Оставить, убрать, оставить, убрать, убрать, убрать, щелк, щелк, щелк...

...Первая лекция. Черный костюм, тщательно отглаженный Эльзой. Упрятанная тревога в голубых глазах. «Ни пуха ни пера, дорогой». Амфитеатр аудитории. Внимательные, насмешливые лица студентов. Хриплый, чуть срывающийся голос вначале. Введение в теорию функций комплексного переменного. Раскрытый рот юноши в первом ряду. Постепенно стихающий гул. Стук мела о доску. Радостная уверенность, что лекция проходит хорошо. Аплодисменты, поздравления коллег. Как давно это было! Семьдесят лет назад. Двадцатого сентября...

Щелк, щелк... Оставлены только дата и краткий конспект лекции.

Дальше, дальше.

«...Посмотри: это наш сын. Правда, он похож на тебя?» Букет роз у изголовья кровати. Он покупал эти

розы в магазине у моста. Белокурая продавщица сажала ему их отобрала. «Жёнчины любят хорошие цветы, я уверена, что они ей понравятся».

Щелк, щелк... Долой ненужные воспоминания, загружающие память. Мозг математика должен быть свободен от сентиментальной ерунды.

...Пронзительный, звериный крик Эльзы. Сочувственные телеграммы, телефонные звонки, толпа репортеров на лестнице. «Весь мир гордится подвигом вашего сына». На первых полосах газет — обрамленная черной каймой фотография юноши в мешковатом комбинезоне у трапа ракеты. Притихшая толпа в церкви. Сухопарая фигура священника. «Вечная память покорителям космоса»...

Вспыхивают и гаснут лампочки на пульте. Мчатся заряды в линиях задержки памяти, до предела загружены блоки логических цепей. Вновь и вновь слидается полученный результат с программой, и снова — логический анализ.

— Ну, что там случилось? — Взгляд Леруа обращен к пульту. Кажется, машина не может сделать выбора.

— Наконец-то, слава богу! — Леруа облегченно вздыхает, услышав щелчок реле. — Завтра, Крепс, проверьте по магнитной записи, что они там напутали с программой.

Щелк, щелк, щелк... «Вечная память покорителям космоса».

Щелк... Еще одна ячейка памяти свободна.

Миллионы анализов в минуту. События и даты, лица знакомых, прочитанные книги, обрывки кинофильмов, вкусы и привычки, физические константы, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы. Все это нужно привести в порядок, рассортировать, ненужное исключить.

Щелк, щелк... Мозг математика должен обладать огромной профессиональной памятью. Нужно обеспечить необходимую емкость по крайней мере на пятьдесят лет. Кто знает, что там впереди? Долой весь балласт! Щелк, щелк...

Танцуют кривые на экранах осциллографов. Ле-

руа не совсем доволен. Кажется, придется на этом кончить, мозг утомлен.

— Довольно! — командует он Крепсу. — Вызовите санитаров, пусть забирают его в палату.

Крепс нажимает звонок. Пока санитары возятся с бесчувственным телом, он выключает установку.

— Все?

— Все, — отвечает Леруа. — Я устал, как господь бог на шестой день творения. Нужно немного развлечься. Давайте, Крепс, махнем в какое-нибудь кабаре. Вам тоже не повредит небольшая встряска после такой работы.

**4** Раз, два, три! Левой, левой! Раз, два, три! Отличная вещь ходьба! Вдох, пауза, выдох, пауза. Тук, тук, тук, левое предсердие, правый желудочек, правое предсердие, левый желудочек. Раз, два, три! Левой, левой!

Легким размашистым шагом Кларенс идет по улице. Он смотрит на часы. Сейчас, как было установлено, в университет. Ненадолго, только на доклад Леви. А затем домой, к Эльзе. Вдох, пауза, выдох, пауза. Какое разнообразие запахов, оттенков, форм! Обновленный мозг жадно впитывает окружающий мир. Горячая кровь пульсирует в артериях, разбегается по лабиринту сосудов и вновь возвращается на круги своя. Тук, тук, тук... Малый круг, большой круг, правое предсердие, левый желудочек, левое предсердие, правый желудочек, тук, тук, тук... Вдох, пауза, выдох, пауза.

Стоп! Кларенс поражен. На зеленом фоне листья багровые лепестки, источающие небывалый аромат. Он опускается на колени и, как зверь, обнюхивает куст.

В глазах идущей навстречу девушки — насмешка и невольное восхищение. Он очень красив, этот человек, стоящий на коленях перед цветами.

— Вы что-нибудь потеряли? — спрашивает она, улыбаясь.

— Нет, я просто хочу запомнить запах. Вы не знаете, как называются эти... — Проклятье! Он забыл название. — Эти... растения?

— Цветы, — поправляет она. — Обыкновенные красные розы. Неужели вы никогда их не видели?

— Нет, не приходилось. Спасибо. Теперь я запомню: красные розы.

Он поднимается на ноги и, осторожно коснувшись пальцами лепестков, идет дальше.

Раз, два, три! Левой, левой!

Девушка с удивлением глядит ему вслед. Чудак, а жаль. Пожалуй, он мог бы быть немного полюбезнее.

«Розы, красные розы», — повторяет он на ходу.

Кларенс распахивает дверь аудитории. Сегодня здесь семинар. Похожий на строгого мопса Леви стоит у доски, исписанной уравнениями. Он оборачивается и машет Кларенсу рукой, в которой зажат мел. Все взоры обращены к Кларенсу. В дверях толпятся студенты. Они пришли сюда, конечно, не из-за Леви. Герой дня — Кларенс, представитель касты бессмертных.

— Прошу извинить за опоздание, — говорит он, садясь на свое место. — Пожалуйста, продолжайте.

Быстрым взглядом он окидывает доску. Так, так. Кажется, старик взялся за доказательство теоремы Лангрена. Занятно.

Леви переключается на вторую доску.

Кларенс не замечает устремленных на него глаз. Он что-то прикидывает в уме. Сейчас он напряжен, как скаковая лошадь перед стартом.

«Есть! Впрочем, подождать, не торопиться, проверить еще раз. Так, отлично!»

— Довольно!

Леви недоуменно оборачивается:

— Вы что-то сказали, Кларенс?

На губах Кларенса ослепительная, беспощадная улыбка.

— Я сказал: довольно. Во втором члене — нераскрытая неопределенность. При решении в частных производных ваше уравнение превращается в тождество.

Он подходит к доске, небрежно стирает все написанное Леви, выписывает несколько строчек и размашисто подчеркивает результат.

Лицо Леви становится похожим на печеное яблоко.

ко, которое поздно вынули из духовки. Несколько минут он смотрит на доску.

— Спасибо, Кларенс... Я подумаю, что здесь можно сделать.

Сейчас Кларенс нанесет решающий удар. Настороженная типшина в аудитории.

— Самое лучшее, что вы можете сделать, это не браться за работу, которая вам не под силу.

Нокаут.

...Он снова идет по улице. Раз, два, три! Левой, левой! Вдох, пауза, выдох, пауза. *Поверженный, хныкающий враг, размазывающий кровь по лицу. Печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки.* Уверенность в своих силах и радость победы нужны ученику не меньше, чем боксеру на ринге.

Раз, два, три! Вдох, пауза, выдох, пауза. Раз, два, три! Левой, левой!

## 5 — Олаф!

В дверях сияющая, блестательная Эльза. До чего она хороша, юная Афродита, рожденная в растворе регенерационной ванны.

*Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?»*

— Здравствуй, дорогая. — Это совсем не такой поцелуй, каким обычно обмениваются супруги в день бриллиантовой свадьбы.

— А ну, покажись. Ты великолепно выглядишь. Не пришлось бы мне нанимать телохранителей, чтобы защищать тебя от студенток.

— Чепуха! Имея такую жену...

— Пусти, ты мне растреплешь прическу.

Он идет по комнатам, перебирает книги в шкафу, рассматривает безделушки на Эльзином столике, с любопытством оглядывает мебель, стены. Все это так привычно и вместе с тем так незнакомо. Как будто видел когда-то во сне.

— Новое увлечение? — спрашивает он, глядя на фотографию юноши в мешковатом комбинезоне, стоящего у трапа ракеты.

В глазах Эльзы ужас.

— Олаф! Что ты говоришь?!

Кларенс пожимает плечами.

— Я не из тех, кто ревнует жен к их знакомым, но посуди сама... манера вешать над кроватью фотографии своих кавалеров может кому угодно показаться странной. И почему ты так на меня глядишь?

— Потому что... потому что это Генри... наш сын... Боже! Неужели ты ничего не помнишь?!

— Я все великолепно помню, но у нас никогда не было детей. Если ты хочешь, чтобы фотография все-таки красовалась здесь, то можно придумать что-нибудь более остроумное.

— О господи!!

— Не надо, милая. — Кларенс склонился над рыдающей женой. — Ладно, пусть висит, если тебе это нравится.

— Уйди! Ради бога, уйди, Олаф. Дай мне побывать одной, очень тебя прошу, уйди!

— Хорошо. Я буду в кабинете. Когда ты успокоишься, позвони меня...

*События и даты, лица знакомых, прочитанные книги, обрывки кинофильмов, физические константы, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы. Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?» Красные розы, теорема Лангрена, печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки, радость победы... Нет, он решительно не понимает, что это взбрело в голову Эльзе...*

\* \* \*

Празднично накрытый стол. Рядом с бутылкой старого вина — свадебный пирог. Два голубка из крема держат в клювах цифру «75».

— Посмотри, что я приготовила. Этому вину тоже семьдесят пять лет.

Слава богу, кажется, Эльза успокоилась. Но почему семьдесят пять?

— Очень мило, хотя и не вполне точно. Мне не семьдесят пять лет, а сто, да и тебе, насколько я помню, тоже.

Опять этот странный, встревоженный взгляд.

Он отрезает большой кусок пирога и наливает в бокалы вино.

— За бессмертие!

Они чокаются.

— Мне бы хотелось, — говорит Кларенс, пережевывая пирог, — чтобы ты в этом году обязательно прошла инверсию. У тебя перегружен мозг. Поэтому ты выдумываешь несуществовавшие события, путаешь даты, излишне нервозна. Хочешь, я завтра позвоню Леруа? Это такая пустяковая операция.

— Олаф, — глаза Эльзы умоляют, ждут, призывают, — сегодня двадцать третье августа, неужели ты не помнишь, что произошло семьдесят пять лет назад в этот день?

*...События и даты, лица знакомых, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы...*

— Двадцать третьего августа? Кажется, в этот день я сдал последний экзамен. Ну, конечно! Экзамен у Эльгарта, три вопроса, первый...

— Перестань!!!

Эльза выбегает из комнаты, прижав платок к глазам.

«Да... — Кларенс налил себе еще вина. — Бедная Эльза! Во что бы то ни стало нужно завтра повезти ее к Леруа».

Когда Кларенс вошел в спальню, Эльза уже была в постели.

— Успокойся, дорогая. Право, из-за всего этого не стоило плакать, — он обнял вздрагивающие плечи жены.

— Ох, Олаф! Что они с тобой сделали?! Ты весь какой-то чужой, не настоящий! Зачем ты на это согласился?! Ты ведь все, все забыл!

— Ты просто переутомилась. Не нужно было отказываться от инверсии. У тебя перегружен мозг, ведь сто лет — это не шутка.

— Я тебя боюсь такого...

«...Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?»

**6** Зловещее дыхание беды отравляло запах роз, путало стройные ряды уравнений. Беда входила в сон, неслышно ступая мягкими лапами. Она была где-то совсем близко. Не открывая глаз, Кларенс положил руку на плечо жены.

— Эльза!

Он пытался открыть ее застывшие веки, отогреть своим дыханием безжизненное лицо статуи, вырвать из окостеневших пальцев маленький флакон.

— Эльза!!

Никто не может пробудить к жизни камень.

Кларенс рванул трубку телефона...

\* \* \*

— Отравление морфием, — сказал врач, надевая пальто. — Смерть наступила около трех часов назад. Свидетельство я положил на телефонную книгу. Вон оно, на столике. Там же я записал телефон похоронного бюро. В полицию я сообщу сам. Факт самоубийства не вызывает сомнений. Думаю, они не будут вас беспокоить.

— Эльза! — Он стоял на коленях у кровати, глядя ладонью холодный белый лоб. — Прости меня, Эльза! Боже, каким я был кретином! Продать душу! За что? Стать вычислительной машиной, чтобы иметь возможность высмеять этого болвана Леви!.. *Печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки.* Радость победы, теорема Лангрена, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы... Этого болвана...

Кларенс сел на кровать, протянул руку и взял со столика белый листок.

В двенадцать часов зазвонил телефон.

Кларенс снял трубку.

— Слушаю.

Он все еще сидел на кровати, у телефонного столика.

— Алло, Кларенс! Говорит Леруа. Как вы провели ночь?

— Как провел ночь? — рассеянно переспросил Кларенс, вертя в руке свидетельство о смерти, испанное на обороте математическими символами. — Отлично провел ночь.

— Самочувствие?

— Великолепное! — Ровные строчки уравнений, не уместившихся на свидетельстве, покрывали листы «для записей», вырванные из телефонной книги. Несколько перечеркнутых и смятых листов валялось на одеяле и на подушке, рядом с головой покойной. — Послушайте, Леруа, позвоните мне через два часа, я сейчас очень занят. Мне, кажется, удалось найти доказательство теоремы Лангрена.

— Желаю успеха!

Леруа усмехнулся и положил трубку.

— Ну как? — спросил Крепс.

— Все в порядке. Операция удалась на славу. Тревожных симптомов нет.

ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ

## СЕКРЕТЫ ЖАНРА

У светофора Дик Пенроуз резко затормозил и громко выругался. Он был в отвратительном настроении.

«Вы попросту выдохлись, — сказал ему сегодня редактор. — Откровенно говоря, я жалею, что с вами связался. «Нью консенс» в последнем номере поместил рассказ о пилоте, выбросившем в космосе молодую девушку из ракеты, «Олд фулер» уже три номера подряд дает роман о войне галактик, а вы нас чем пичкаете? Какой-то дурацкой повестью об исчезнувшем материке. Нечего сказать, хорош Король фантастов! Мы из-за вас теряем подписчиков. К воскресному номеру мне нужен научно-фантастический рассказ. Полнценная фантастика, а не галиматья на исторические темы. Читатель интересуется будущим. Кстати, надеюсь, вы не забыли, что через месяц кончается наш контракт? Сомневаюсь, чтобы при таких тиражах мы смогли его возобновить».

Пенроуз снова выругался. Как это все просто получается у редактора! Стариk не хочет считаться с тем, что работать становится все труднее. Тридцать толстых научно-фантастических журналов, свыше сорока издательств, бесчисленное множество воскресных приложений только и занимаются тем, что выбрасывают на рынок научно-фантастическую продукцию. Идет бешеная погоня за темами.

\* \* \*

В доме Короля фантастов царило уныние. Уже было предложено и рассмотрено свыше двадцати тем, но

ни одной из них не хватало главного — оригинальности.

— Можно было бы, — робко сказала миссис Пенроуз, — написать рассказ о роботах, уничтоживших людей. Пусть они оставят несколько человек, чтобы держать их в клетках вместе с обезьяцами в зоологическом саду.

— Я уже писал на эту тему. Несколько раз.

— Может быть, — сказал Том, — редактора заинтересует рассказ о гибели человечества от мощного взрыва на Солнце. Тут можно дать отличные сцены: захват космических кораблей шайкой гангстеров. Они предлагают возможность спасения тем, кто согласится продаться им в рабство. Человечество начинает новую жизнь где-нибудь в созвездии Рака, организуя там рабовладельческое общество. Это не тема, а золотоносная жила!

К сожалению, и эта жила была полностью истощена старателями-фантастами.

— Папа! — раздался голос крошки Мод. — Напиши рассказ о Красной Шапочке и Сером волке.

Внезапная идея, яркая, как молния, озарила мозг писателя. Он нежно поцеловал золотистые локоны на гениальной головке своей дочери и сел за машинку...

Утром Пенроуз небрежно бросил на стол редактора рукопись. Она называлась «*Красный скафандр*».

Вот она.

«Готово! — сказал пилот, проверяя крепление ремней. — Желаю успеха! Рация настроена на волну Сервантоса. Они вас сразу запеленгуют. Как только вы войдете в трассу антигравитации, подключатся автоматы космодрома. Кланяйтесь Харли! Смотрите, не попадите на завтрак какому-нибудь лвоку. Их, говорят, там тысячи».

Прозрачная сталитовая крышка контейнера захлопнулась над моей головой.

Я откинулся на надутые воздухом подушки кресла в ожидании первой вспышки двигателя...

Вскоре сбросивший меня космический корабль превратился в маленькую светящуюся точку.

Зеленый сигнал загорелся на щитке. Теперь автоматы космодрома взяли на себя управление посадкой. Контейнер летел по трассе антигравитации.

В моем распоряжении оставалось несколько часов, чтобы обдумать все случившееся.

Сервантос был проклятой богом планетой.

Шесть лет назад я покинул ее с твердым намерением никогда туда не возвращаться, и вдруг это неожиданное назначение. Нечего сказать, приятная перспектива стать помощником Харли! С тех пор как Грэвс ушла от меня к нему, мы старались не замечать друг друга. Собственно говоря, это послужило главной причиной, заставившей меня просить Компанию о переводе на Марс. Надо же было болванам из Управления Личного Состава вновь завязать этот дурацкий узел! Опять замкнутый треугольник: Грэвс, Харли и я. Впрочем, теперь уже не треугольник. У Грэвс — большая дочь. Шесть лет — такой возраст, когда многое в отношениях взрослых становится понятным...

Я с трудом приподнял крышку контейнера и выбрался наружу. Так и есть! На космодроме ни одного человека. Впрочем, ничего другого от Харли нельзя было ждать. Вероятно, и Грэвс он не сказал о моем прибытии.

Дорога от космодрома до станции была мне хорошо знакома, но даже человек, впервые попавший на Сервантос, не мог бы сбиться. Через каждые десять метров по обе стороны дороги выселились антенные мачты электромагнитной защиты от лвоков, оставшихся фактическими хозяевами планеты.

Лвоки были загадкой во всех отношениях и самым крупным препятствием для полного освоения природных богатств планеты. Никто толком не знал, что представляют собой эти электромагнитные дьяволы. Какая-то совершенно новая форма жизни на базе квантованных полей. Было известно только, что лвоки обладают высокоразвитым интеллектом и способны передвигаться в пространстве со скоростью света. Увидеть их было невозможно. Однажды я был свиде-

телем нападения лвока на человека. Это произошло вскоре после нашего прибытия на Сервантос. Тогда жертвой стал врач экспедиции Томпсон. Мы стояли с ним возле походной радиостанции, ожидая сеанса связи с Землей. Не помню, о чем мы тогда говорили. Неожиданно Томпсон замолк на середине фразы. Я взглянул на него и увидел остекленевшие глаза, смотревшие на меня сквозь стекло скафандра. Через несколько минут от врача ничего не осталось, кроме одежды. Казалось, что он попросту растворился в атмосфере планеты.

Наша экспедиция потеряла еще нескольких человек, раньше чем удалось найти способ защиты от этих чудовищ.

Лвоки не всегда так быстро расправляются со своими жертвами. Иногда они их переваривают часами, причем вначале человек ничего не чувствует. Он еще ходит, разговаривает, ест, не подозревая, что уже окутан электромагнитным облаком. Самым страшным было то, что в этот период его поступки целиком подчинены чужой воле.

— Хэлло, Фрэнк!

Я поднял голову и увидел похожий на стрекозу геликоптер, висящий на небольшой высоте. Микробиолог станции Энн Морз радостно махала мне рукой. Она была сама похожа на стрекозу в голубом пледе и плавках. Я невольно ею залибовался.

— Вы напрасно летаете без одежды, Энн. Здесь слишком много ультрафиолетовых лучей.

— Зато они чудесно действуют на кожу. Попробуйте, какие у меня гладкие ноги.

Она откинула сетку электромагнитной защиты и спустила за борт длинную ногу шоколадного цвета.

Мне всегда нравилась Энн. На Земле я за ней немного ухаживал, но у меня не было никакого желания заводить с ней шашни на Сервантосе. Мне вполне хватало нерешенных проблем. Впереди еще была встреча с Грэвс.

— Расскажите лучше, что у вас делается на станции. Почему меня никто не встретил?

Энн устало махнула рукой.

— Все без изменений. Ох, Фрэнк, если бы мне удалось окопачить какого-нибудь болвана, чтобы он меня увез на Землю! Я бы и одного часа тут не оставалась!

— Если вы имеете в виду...

— Не беспокойтесь, я попшутила, — перебила она меня, убирая ногу в кабину. — Спешите к своей Грэвс. Она вас ждет. Мне нужно взять пробу воды из Моря Загадок, так что по крайней мере три дня не буду вам мешать.

...Харли сидел в кресле на застекленной веранде. Он был совершенно гол и вдребезги пьян.

— Я прибыл, Харли.

— Убирайтесь к дьяволу! — пробормотал он, наводя на меня атомный пистолет. — Может быть, черти не побрезгуют сожрать вас с потрохами!

— Не будьте ослом, Харли! Положите пистолет на место!

— Ах, ослом?

Только выработавшаяся с годами реакция боксера позволила мне вовремя отклонить голову от метко брошенной бутылки виски.

Очевидно, на этом энергия Харли была исчерпана. Он уронил голову на грудь и громко захрапел. Будить его не имело смысла.

Я зашел в холл.

— Не будьте ослом, Харли! — Огромная говорящая жаба, ростом с бегемота, уставилась красными глазами мне в лицо.

Я никогда не мог понять страсти Грэвс ко всем этим гадам. По ее милости станция всегда кишила трехголовыми удавами, летающими ящерицами и прочей мерзостью. Грэвс утверждала, что после ее дрессировки они становятся совершенно безопасными, но я все же предпочитал поменьше с ними встречаться.

Мне очень хотелось есть. На кухне, как всегда, царил беспорядок. В холодильнике я нашел вареного умбара и бутылку пива.

Утолив голод, я заглянул на веранду. Харли про-

должал спать. Дальше откладывать свидание с Грэвс было просто невежливо.

Я нашел ее в ванной. Она очень похорошела за эти годы.

— Ради бога, Грэвс, объясните мне, что тут у вас творится?

— Ничего, мы просто опять поругались с Харли. На этот раз из-за Барбары. Нужно же было додуматься послать шестилетнюю девочку через лес пешком на океанографическую станцию!

— Зачем он это сделал?

— Мама больна, Барбара понесла лекарство. Но это только предлог. Я уверена, что у Харли выпал весь кокаин. Как всегда, он рассчитывает поживиться у старушки. Она ни в чем не может отказать ему.

Я невольно подумал, что никогда не мог похвастаться особым расположением миссис Гартман.

— Вы думаете, что для девочки это сопряжено с какой-нибудь опасностью?

— Не знаю, Фрэнк. Подайте мне купальный халат. Пока работает электромагнитная защита, ничего произойти не может. Но все же я очень беспокоюсь.

— Почему же вы ее не удержали?

— Вы не знаете Барбары. Инспектор Компании подарил ей красный скафандр, и она не успокоится до тех пор, пока не покажется в нем бабушке.

Очевидно, Барбара была вполне достойна своей мамы.

Я помог Грэвс одеться, и мы спустились в холл.

Дверь Центрального пульта была открыта. Это противоречило всем правилам службы на Сервантосе. Нужно было проверить, в чем дело.

Вначале я не понял, что произошло.

Бледный, со спутанными волосами, Харли стоял, оперевшись обеими руками на приборный щит. Остекленевшими глазами он глядел на стрелки приборов. Я перевел взгляд на мраморную панель и увидел, что все рубильники электромагнитной защиты вырублены.

— Что вы делаете, Харли? Ведь там ваша дочь, миссис Гартман, Энн! Вы всех их отдаете во власть лвоков!

— Лвоков? — переспросил он, противно хихикая. — Лвоки — это очаровательные создания по сравнению с такими ублюдками, как вы, Фрэнк! Можете сами заботиться о своей дочери или отправляться вместе с ней в преисподнюю, как вам больше нравится!

Я сделал шаг вперед, чтобы ударить его в челюсть, но внезапная догадка заставила меня застыть на месте. Этот остекленевший взгляд... Харли был уже конченым человеком. Прикосновение к нему грозило смертью. Овладевший им лвок не представлял для нас опасности, пока не переварит Харли. Страшно было подумать, что произойдет потом. На наше счастье, все клетки жирного тела Харли были пропитаны виски. Пока алкоголь не улетучится из организма, лвок не будет его переваривать. Однако с каждым выдохом удалялись пары спирта. Необходимо было заставить Харли перестать дышать. Для него ведь было уже все равно. Я выхватил из кобуры атомный пистолет.

Через несколько минут мы с Грэвс мчались через лес в танке. Снопы света, вырывающиеся из фар, освещали ажурные сплетения мачт электромагнитной защиты и фиолетовую корону буйной растительности, окружавшей трассу.

Кружящаяся в бешеной пляске стая летающих обезьян внезапно возникла перед танком. Через мгновение от них ничего не осталось, кроме красноватой кашицы, стекавшей по смотровому окну.

Очевидно, население Сервантоса не теряло времени, пока мачты защиты были выключены. Теперь нас спасала от лвоков только электромагнитная броня танка.

Океанографическая станция была погружена во мрак. Лишь в спальне миссис Гартман горел свет. Нельзя было терять ни одной минуты. Я повел танк прямо на стену...

Достаточно было одного взгляда на кровать, чтобы понять, что здесь произошло. От миссис Гартман уже почти ничего не осталось.

Я на мгновение отбросил крышку люка и подхватил рукой тщедушную фигурку в красном скафандре, с ужасом глядевшую на останки бабушки.

После этого я навел ствол квантового деструктора на кровать...

Танк мчался по направлению к космодрому. Сейчас вся надежда была на ракету космической связи, если туда еще не успели забраться лвоки. С Энн, по-видимому, все было кончено: защита ее геликоптера питалась от центральной станции...

Я резко затормозил у самой ракеты. Раньше чем мы с Грэвс успели опомниться, Барбара откинула крышку люка и соскочила на бетонную поверхность космодрома.

Бедная девочка! Мы уже ничем не могли ей помочь. Лвоки никогда не отдают своих жертв. Нужно было избавить Барбару от лишних страданий.

Грэвс закрыла глаза руками.

Сжав зубы, я навел ствол деструктора на красный скафандр. После этого под защитой большого излучателя мы взобрались по трапу в кабину ракеты...

Да.... Меня всегда восхищала фантазия Грэвс. Если бы она не придумала всю эту историю, то присяжные наверняка отправили бы нас обоих на электрический стул.

Ведь, откровенно говоря, мы прикончили Харли и миссис Гартман потому, что иначе мне бы пришлось до скончания века торчать на Сервантосе и делить Грэвс с этим толстым кретином.

Что же касается Энн, то она сама во всем виновата. После того как ей стало известно, что мы снова сошлись с Грэвс, она совершенно сбесилась и все время угрожала нам разоблачением.

Вывезенная с Сервантоса платина позволила мне бросить работу в компании и навсегда покончить с космосом. На следующих выборах я намерен выставить свою кандидатуру в конгресс.

В моем кабинете над столом висит большая фотография Барбары. Мне очень жаль, что я ничего не мог сделать, чтобы спасти ей жизнь, но в ракете было всего два места.

\* \* \*

— Отличный сюжет! — сказал редактор, снимая очки. — Теперь мы утрем нос парням из «Олд фулера». Думаю, Пенроуз, что мы с вами сможем продлить контракт.

Новый шедевр научной фантастики имел большой успех.

Журнал приобрел подписчиков, читатели получили занимательный рассказ, Пенроуз — доллары, миссис Пенроуз — нейлоновую шубку, Том — спортивный «шевроле».

Словом, все были довольны, кроме крошки Мод. Ей было жалко свою любимую сказку о Красной Шапочке.

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

# КОСМИЧЕСКИЙ БОГ

## 1. Корабль, терпящий бедствие

Не колеблясь Полынов двинул в прорыв ладью. Кинжалный удар, точно нацеленный в солнечное сплетение обороны противника.

Гюисманс нахмурился. Желтыми, как у мумии, пальцами он с сожалением тронул короля. Мельком взглянул на часы.

— Не повернуть ли доску? — предложил он.

— Что-то вы рано сегодня сдаетесь, дорогой патер.

Полынов летел на Марс пассажиром в надежде отдохнуть по дороге от выматывающих обязанностей космического психолога; он даже не представлял, сколь утомительным окажется безделье на таком корабле, как «Антиой». Если бы не шахматные партии с невозмутимым миссионером, он и вовсе чувствовал бы себя отщепенцем среди веселья и развлечений, которыми здесь убивали время.

— О, это сдача с продолжением! Ибо взявший меч от меча и погибнет. Пока вам нравится такая диалектика, верно?

Костлявое лицо патера раздвинула улыбка. Улыбка-приглашение — уголками губ. В Полынове ожил профессиональный интерес.

— По-вашему, я человек с мечом?

— Вы тоже. Кто строит — тот разрушает, не так ли? Но диалектика, которой вы поклоняетесь, как мы — богу, она погубит вас.

— Да неужели?

Полынову стало весело. «Это в нем, должно быть, тоже профессиональное, — подумал он. — Лет три-

дцать человек проповедовал, не выдержал, потянуло на амвон, или как еще там называется это место...»

Он устроил ноги поудобней, оглядел проходившую через салон девушку — ничего, красива — и мысленно подмигнул патеру.

— Конечно, погубит, — продолжал тот, не отводя взгляда. — Ибо закон вашей диалектики гласит, что отрицающий обречен на отрицание. Вы отрицаете нас, придет некто или нечто и поступит с вами так же.

— Могу посочувствовать, — кивнул Полынов. — Прихожане не идут в храм, а? Что делать, история не шахматная доска, ее не повернешь.

— Но спираль, что схоже.

— Вы сегодня нуждаетесь в утеш...

Плавный толчок качнул столик. Несколько фигур упало, за стеклянными дверями салона кто-то шарахнулся, но все перекрыл грохот джаза, и ломаные тени танцующих снова заскользили по стеклу.

— ...нуждаетесь в утешении, — закончил Полынов, нагибаясь и подбиравая с пола фигуры. — Но софизмов никогда...

Он поднял голову. Собеседника не было. Гюисман исчез беззвучно, как летучая мышь.

Белый король, упавший на стол, тихонько покатился к краю — корабль незаметно для пассажиров тормозил. Полынов пожал плечами, поймал короля, утряс шахматы в ящик и вышел из салона.

У двери с надписью на пяти языках: «Рубка. Вход воспрещен» — он помедлил. Музыка доносилась и сюда, приглушенная, однако все еще неистовая, скачущая.

— Трын-трава, — сказал Полынов. — Пирем...

Издерганные ритмы музыки осточертели Полынову, и он в который раз пожалел, что связался с этим фешенебельным лайнером, с его вымученным нескончаемым праздником.

В рубке было полутемно, светлячками тлели флюоресцирующие детали шкал, над бездонным овалом обзорного экрана шевелилась синяя паутина мнемографиков, раскиданная по табло.

— Кто там? — недружелюбно спросил голос, и Полынов увидел Бергера. На груди дежурного пилота болтался радиофон, ворот форменной рубашки с золотыми кометами был расстегнут. — А, это вы, камрад... Догадываюсь, что вас запесло сюда. Нет, это не метеорный поток.

— Тогда что?

Бергер кивнул на экран. Второй пилот отодвинулся. В черной глубине среди неподвижных звезд вспыхивали позиционные огоньки сигналов бедствия.

— Кто?

— «Ван-Эйк» какой-то. Не слышали о таком?

— Нет, теперь слишком много кораблей. Но вы-то должны знать, чьи рейсы...

— Это не рейсовый лайнер.

— Кажется, вы правы, — взгляделся Полынов. — Разведчик. Но что с ним? Он гасит огни!

На экране осталась лишь одна красная звездочка.

— Авария. Берегут энергию.

— Радио?

— Зона молчания. Влетели полчаса назад.

— Скверно. Так берегут энергию, что не могут промигать о характере аварии?

— Полетел ретроблок.

— Это серьезно?

— Куда серьезней. Говорят, что подробности сообщат на месте.

— Моя помощь не потребуется? Раньше я был врачом.

— О жертвах не сообщалось. Ага, опять замигали. Сейчас отвалит их шлюпка.

— Может, лучше нам...

— Как же! Старт нашей шлюпки услышат пассажиры.

— Ну и что?

— Хм! Вы забыли, какой у нас пассажир? — Бергер явственно усмехнулся. — Дамы, узнав об аварии, валерьянки запросят.

— Но, но, Бергер, ты потише, — предостерегающе сказал второй пилот. — Вылетишь с работы...

— А мне плевать. Мы не должны скрывать своих убеждений. Вот товарищ Полынов меня поймет.

На экране метнулась яркая вспышка.

— Отвалили, — заметил второй пилот.

Бледно-оранжевая полоска, исторгнутая дюзами шлюзки, медленно росла приближаясь.

Лишь опытный человек мог ощутить толчок.

— Классно причалили, — определил Бергер. — Интересно будет взглянуть на гостей.

— Задержка минимум на тридцать часов, — буркнул второй пилот. Его насупленный профиль заслонил экран.

— Ерунда, наверстаем, — ответил Бергер. — Хотите пива, камрад?

Полынов кивнул. Бергер вскрыл жестянку.

Однако отхлебнуть он не успел. Дверь с грохотом распахнулась. Две тени выросли в проеме. По глазам ~~реванул~~ ослепительный луч фонаря.

— Какого дьявола! — отчаянно щурясь и прижимая к груди жестянку с пивом, вскричал Бергер.

— Спокойно, — холодно произнесла тень. — Руки вверх!

На уровне своей груди Полынов увидел пирамидальное дуло лайтинга. Из рук Бергера выпала жестянка, пенным фонтаном плеснув на пол. Второй пилот вскочил. Нервно дернулся лайтинг. Из дула брызнула лиловая вспышка. Второй пилот осел; его перевернутый рот ловил воздух.

— Руки! — заорала тень. — Не глупить!

Полынов и Бергер повиновались. Собственные руки показались психологу свинцовыми, когда он их поднимал.

— Что все это значит... — прошептал Бергер.

— Молчать! Кру-гом! Марш в коридор!

— Но раненый! — воскликнул Полынов.

Дуло лайтинга подтолкнуло его к выходу.

Трясущиеся пассажиры и члены судовой команды были проворно выстроены вдоль стены коридора. Ошеломленному Полынову казалось, что он видит дурной сон, в который врываются соскочившие со

страниц истории эсэсовцы, а их жертвы цепенеют от страха.

Часовой в сером глянцевом комбинезоне замер у выхода, лайтинг он держал наперевес. Тот, на кого падал его взгляд, сжимался и бледнел.

Прошло пять минут, и десять, и пятнадцать. Дрожь передавалась от плеча к плечу, как ток. Строем белых масок застыли лица. Кого-то била нервная икота.

Часовой вдруг сделал шаг в сторону, пропуская детину с непропорционально крупной, какой-то четырехугольной, словно обтесанной взмахами топора, головой. Детина покорил взглядом, ухмыльнулся, подошел, переваливаясь, к крайнему в шеренге. Хозяйским движением он обшарил его карманы, выхватил бумажник, документы и, не глядя, швырнул их в сумку. Обыскиваемый — холеный седоусый старик — вытянулся, страдальчески морщась и пытаясь улыбнуться.

Большеголовый перешел ко второму, толстенько-му бразильцу, который сам с готовностью подставил карманы; к третьему, четвертому. Поведение бандита отличала заученность автомата. Он неторопливо двигался вдоль шеренги, помаргивая; его сумка пухла.

У Полынова темнело в глазах от злости. Часовой даже привалился к кояжу: лайтинг он установил между ног; вероятно, баранов он больше бы остерегался, чем этих людей, скованных ужасом. Он и не позабылся подняться на площадку винтовой лестницы, а встал в двух шагах от своих жертв. Крепкий удар в челюсть Большеголовому — вот он как раз поравнялся с Бергером; крайние бросаются на часового; тот, конечно, не успеет вскинуть оружия; отобраны два лайтинга, с двумя бандитами покончено. Сколько их на корабле? — шлюпка вмещает пятерых, ну, шестерых...

Идиоты! Так близко освобождение, так немного нужно для победы — чуточку решимости, молчаливого понимания, уверенности в соседе! Пет, безнадежно. Здесь безнадежно. Эти бандиты знают психологию толпы, иначе они не были бы так беззаботны.

— Я протесту-у-у-ю!

Все вздрогнули.

— Я супруга сенатора! Сенатора США! Вы... А-а-а!

Большеголовый тупо посмотрел на вопившую даму — она дергалась всем телом, перья райской птицы прыгали на шляпке — и спокойно влепил ей пощечину. Вторую, третью — со вкусом. Сенаторша, раскрыв рот, мотала головой. Большеголовый раскурил сигарету, глубоко затянулся и с удовлетворением пустил густую струю дыма в лицо женщины. Сенаторша всхлипывала, не смея опустить руки, чтобы стереть слезы.

— Что же это такое, боже, зачем... — услышал Полянов прерывающийся шепот. Он чуть повернул голову и встретился с детской беззащитностью взгляда синих глаз.

Девушка прикусила губу. Большеголовый уже равнялся с ней. Его равнодушное лицо несколько оживилось, он внимательно осмотрел мальчишескую фигуру девушки — у нее на переносице выступили росинки пота, — пошевелил губами. Его толстые, с пецищенными ногтями пальцы тронули плечо девушки — она вздрогнула, — скользнули ниже. Он засопел.

— Брось ты, сволочь! — выдохнул Полянов.

Большеголовый, отскочив, вскинул лайтинг; глаза у бандита были совершенно прозрачные. Упреждая выстрел, Полянов обрушил на него бешеный удар правой под подбородок. При этом он почувствовал неизъяснимое удовольствие. Гремя оружием, Большеголовый шлепнулся о стену, точно куль грязного белья. Поверх головы часовой ударил лучом лайтинга. Как по команде, все рухнули на пол. Кроме Полянова и девушки. Она вцепилась в него, стараясь прикрыть собой от выстрела, и тем сковала бросок Полянова к оружию Большеголового. Часовой аккуратно ловил Полянова на мушку. Тот едва успел стряхнуть девушку. «На коленях, все на коленях...» — тоскливо успел подумать он.

— Отставить! — внезапно гаркнул кто-то.

Лайтинг часового растерянно брякнул о пол. На площадке винтовой лестницы, скрестив руки, стоял Гюисманс.

## **2. Моральная проблема**

Бандит, словно полураздавленный краб, ворочался у ног Полынова. Он мотал головой, разбрзгивая слюну и кровь. Его скрюченные пальцы тянулись к отлетевшему лайтингу.

Гюисманс прошествовал по коридору, наклонился к Большеголовому и негромко сказал:

— Встать, дурак.

Ответом было рычание.

— Встать, говорю! — Гюисманс заорал так, что даже Полынов вздрогнул.

Большеголовый утих. Стоя на четвереньках, он силился подняться, но у него разъезжались колени.

Затаив дыхание все с тайной надеждой смотрели на Гюисманса. Он заметил взгляды и холодно улыбнулся.

— Лицом к стене! — презрительно бросил он.

И тотчас обернулся к Полынову.

— К вам это не относится, любезный. Я еще не взял реванша за проигранную партию, не так ли?

Спокойствие этого сухошарого человека в черном, его мгновенное превращение из мирного миссионера в вождя бандитов было более жутким, чем выстрелы и насилие.

Он повелительно крикнул. Вбежали двое в серых комбинезонах. Один подхватил Большеголового и помог тому встать. Другому Гюисманс что-то прошептал, показывая на Полынова.

Психолога схватили и повели.

...Когда за ним щелкнул замок, Полынов не был в состоянии ни соображать, ни радоваться неожиданному спасению. Чужая каюта, куда его втолкнули, плыла перед глазами. Потом он с удивлением отметил ее роскошь. Изящный столик из пластика, отданного под малахит, мягкий ковер под ногами, две пышные постели, уютный свет настольной лампы. Пахло духами и сигарами. За перегородкой находилась самая настоящая ванная.

Полынов сел, силясь понять, что бы все это могло значить, почему его заточили в каюту, более похожую на будуар, чем на тюрьму. Объяснения не было.

Он встал пошатываясь, нажал плечом на дверь. Зачем? Ему прекрасно была известна прочность корабельных запоров.

— Не глупи, — сказал он себе.

Из пепельницы торчала недокуренная сигарета. На мундштуке отпечатался след губной помады. Из полуоткрытой тумбочки поблескивали винные бутылки. Здесь еще час назад не просто жили, здесь наслаждались жизнью. Что это — умысел, насмешка?

Но чего-то в каюте не хватало. Чего-то существенного. Да, конечно: стульев. Стульев, которыми можно было бы воспользоваться, как дубинками.

Машинист Полынов повернул ручку телевизора. Как ни странно, телевизор работал. Из стереоскопической глубины экрана плеснулась морская волна, пенный гребень вынес ребенка верхом на дельфине.

Полынов смотрел на него, как на пришельца из другого мира. Малыш в восторге был дельфина пятками по спине, за его плечами вспыхивала радуга брызг. Детский смех наполнил каюту.

Это было настолько дико после пережитого, что Полынов поспешил повернуть выключатель. Смех оборвался.

«Спокойно, спокойно», — сказал он себе. В любом кошмаре есть логика, надо разобраться. Раз телевизор работает, корабль вырвался из зоны молчания, стало быть... Вырвался? Не надо обольщаться: никакой «зоны молчания» не было. Это же ясно как день — нападающие применили «эффект Багрова», чтобы корабль не мог связаться с Землей. Вот и все.

Но зачем, зачем? Что за дичь — пиратство в космосе?

Больше всего Полынову хотелось лечь на одну из воздушных кроватей и ни о чем не думать. Мысли путались.

Заметно росло ускорение, пол уходил из-под ног. Понятно, пираты бегут подальше от трасс. Куда?

Полынов зашел за перегородку. В зеркале на него глянуло совершенно белое, незнакомое ему лицо. С минуту он неподвижно смотрел на свое отражение.

Потом набрал в пригоршню воды, смочил лоб, виски, причесался, поправил галстук. Простые будничные движения успокоили его.

Он стал соображать, можно ли ждать спасения с Земли. Пока там еще никто не подозревает о катастрофе. Так... Станции слежения потеряли радиоимпульс «Антиноя». Бывает. Операторы, попыхивая сигаретами и рассказывая анекдоты, ждут, когда он снова появится. А он не появится. В космос полетят запросы, но космос будет молчать. Тогда начнется паника.

Нет, не тогда. Компания будет медлить с сообщением в надежде, что тревога напрасна... Ведь на карту поставлены престиж, доходы; как это так, у нас — и вдруг авария! Мир узнает о таинственном исчезновении «Антиноя» с огромным запозданием. Вот тогда к предполагаемому месту гибели устремятся разведчики. Но будет поздно.

Но и тогда тревожное известие не смахнет с экранов телевизоров улыбающиеся лица. Об исчезновении корабля будет сказано в лучших традициях казенного оптимизма. Сразу после передачи красивые девушки споют красивую песенку. Для успокоения. Господа зрители, не волнуйтесь, в мире по-прежнему все прекрасно, отгоните дурные мысли, оптимизм продлевает жизнь, меры приняты, ничего подобного впредь не повторится, катастрофа вас не касается, не вы погибли, не ваши родственники; конечно, авария — это ужасно, но вспомните, сколько радостного в окружающей жизни...

И никому в голову не придет, что это злой умысел. Пираты? В космосе? Ха-ха, не смешите...

На это рассчитывают бандиты.

Спасение с Земли не придет.

И тут Полынов услышал лязг ключа. Он поспешил прикрутить воду, мельком взглянул на себя в зеркале — ничего, можно.

Гюисмана он успел встретить на пороге резким, как удар, вопросом:

— Завидуете лаврам Флинта?

Гюисман поморщился от громкого голоса и плот-

но притворил за собой дверь. Мгновение они разглядывали друг друга.

— Рад, что к вам вернулось чувство юмора, — наконец сказал Гюисманс, присаживаясь на край постели.

— Просто я вспомнил, что пираты кончали жизнь на рее.

— Не все пираты, дорогой Полынов, не все, — Гюисманс покачал головой. — Некоторые становились губернаторами.

— Сейчас не семнадцатый век.

— Верно, масштабы теперь другие. А сущность человека все та же, увы. Но вас как будто не волнует ваша судьба?

— Уж не хотите ли вы дать мне отпущение грехов? Не приму, утчите.

Гюисманс кротко вздохнул.

— Ну, к чему эта бравада? Знаю, что угроза смерти для вас не в нови. Но согласитесь, принять смерть из рук вашего Большеголового друга, которому вы неловко сломали челюсть, не слишком приятно.

«Осторожно, — подумал Полынов, — не горячись».

— Вы забыли, Гюисманс, что я могу уйти из ваших лап, когда захочу. Остановить дыхание не так уж трудно.

Гюисманс задумался, полуприкрыв морщинистые веки.

— Мы серьезные люди, — он выпрямился. — Предлагаю вам деловой, взаимовыгодный контракт.

— Сначала ответьте на мои вопросы.

— Я не мелочен. Спрашивайте.

— Во-первых: что будет с пассажирами? Во-вторых: ваша цель? В-третьих: куда мы летим?

Гюисманс достал сигару, не торопясь закурил («Совсем как Большеголовый», — мелькнула мысль), выпустил сразу штук пять колец и пронизал их струйкой дыма.

— Удивительно, — сказал он. — Удивительно, как благородные чувства мешают людям жить. Вам не кажется, что добро не может победить зло, потому что его способы бессильны, а бороться со злом

оружием зла, значит превратить само добро во зло? И что поэтому добро заведомо обречено на поражение? Подумайте. Вспомните историю, она подтверждает мой вывод.

— Это не ответ.

— Ответ разочарует вас. Кто мы? Вы уже сказали: пираты. Зачем нам все это нужно? Второй ответ вытекает из первого. Что будет с пассажирами? Все зависит от их благородства, можете убедиться в этом на собственном опыте. Куда мы летим? В пояс астероидов.

— Зачем?

— Не разочаровывайте меня в ваших аналитических способностях. Вы же психолог.

Полынов выругался про себя.

— Хорошо, так что вам от меня нужно?

Он встал с видом хозяина, дающего гостю понять, что его дальнейшее пребывание нежелательно.

— Гордьи в вас много, Полынов, гордьи, — Гюисманс сокрушенно вздохнул, любуясь, как медленно расплываются в воздухе кольца дыма. — Вы с детства убеждены, что истина с вами.

«К чему эта лиса клонит? — недоумевал Полынов. — Что означают эти душеспасительные разговоры?»

— У нас еще будет время пофилософствовать, — словно отвечая на его мысли, сказал Гюисманс. — Если вы примете мое предложение, конечно. Мы недавно лишились врача. Вы были врачом много лет. Вот и все.

— Та-ак... Вы предлагаете мне участие в ваших грязных делишках?

— Человек всюду человек, а помощь страждущим — моральный долг врача. Делишки, говорите? Я нечувствителен к оскорблению. Не судите да несудимы будете, ведь пути человека, как и пути господни, неисповедимы. Если мы договоримся, я надеюсь убедить вас, что наши помыслы направлены в конечном счете к благу.

Полынова передернуло.

— Нет!

— Подумайте как следует, подумайте. Нам не в спешу. Договоримся, что я не слышал сейчас вашего ответа. Подумайте и, если угодно, попробуйте, на сколько приятна... остановка дыхания.

Гюисман встал, не выпуская сигары, поклонился.

— Приятных размышлений!

Он вышел, оставив Полянова в замешательстве еще большем, чем прежде.

Но на этот раз психолог быстро собрался с мыслями.

Со стороны могло показаться, что его больше всего занимают маникюрные ножницы, которые он вертел в руках. Но это была манера Полянова сосредотачиваться: большинству для размышлений помогает сигарета, Полянову — любая безделушка.

Пираты...

Он щелкнул ножницами.

Ладно, пираты. Глупо, дико, но факт. Он им нужен. Значит, есть шанс сохранить жизнь. Будет время, следовательно возможность, вступить с ними в борьбу.

Полянов удовлетворенно кивнул. Это умозаключение сомнений не вызывало.

Хорошо, но лечить бандитов? Видеть все мерзости и — молчать? Ведь не удержишься...

А если надо? Простая логическая задача. Вариант первый: снова выкрикнуть «нет!». Как просто, картино, гордо... И совершенно бесполезно.

Вариант второй: «да». Без эмоций. «Да» — чтобы начать схватку. А если проигрыш? Жалкий конец. Но кто от этого в накладе? Никто.

Есть и третий вариант: все то же, но в конце — победа. Тогда поступок оправдан.

Если будет победа.

Если будет. И потому схема ошибочна. Его поражение коснется многих. Ведь человечество рано или поздно узнает о пиратах. Тогда его поступок будет выглядеть скорей всего так: малодушиный трус, то ли он действительно хотел бороться, то ли просто спасал шкуру. Вполне логичное предположение. Земные гюисманы ой как обрадуются, уж это несомненно.

Полынов зажмурился. Только теперь ему открылся весь ужас положения.

Он огляделся, по привычке ища книжную полку. Но ее здесь не было, да и чем могли помочь книги? Это не научная, а моральная проблема, и справочники тут бессильны.

И все же Полынов машинально перелистал лежавшую на тумбочке библию, единственную книгу, которая оказалась в каюте. «В дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй», — бросилось в глаза. С досадой Полынов перевернул страницы: «Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», — но это было уже в веках, бывших прежде нас».

Полынов отшвырнул пузатую книгу. Ему послышался вкрадчивый голос Гюисманса, цитирующий последние строчки.

Библия шлепнулась на стол, и звук ее падения слился с шумом за дверью. «Сюда», — послышался грубый голос. Дверь отлетела, толчок в спину швырнул внутрь комнаты девушку. Полынов едва успел ее подхватить. Дверь захлопнулась.

**3. Нрис** — Вы?!

— Я...

Полынов разжал руки. В глазах девушки бились тревога и радость. На подбородке запеклась струйка крови — час назад ее не было.

— Вас... били? — только и нашелся спросить Полынов.

— Меня? А что... — она тронула подбородок. — Кровь? А, это я прикусила губу. Боялась разреветься... Пустяки. А вас... вы...

— В полном порядке, как видите, — пробурчал Полынов, совершенно не представляя, что теперь делать. — Что с остальными?

— Увели поодиночке. Меня последнюю. Я уж думала...

— Какая-то ошибка, что вас втолкнули сюда, — Полынов шагнул к двери, чтобы постучать.

— Не надо! — Девушка схватила его за руку.

— Почему?

— Как вы не понимаете! — В ее голосе было отчаяние. — Опять коридор и эти...

Объяснений не требовалось.

— Но вам самой будет лучше с...

Она перехватила его невольный взгляд.

— Да не все ли равно! И вы... — Она насупилась. — Нет, не все равно... С вами лучше. Вы не будете причитать, как наши... — Она вскинула голову. — Хотите, я стану на колени?

— Что ты, деточка! — опешил Полынов.

— Не называйте меня деточкой! Я взрослая и вообще... — Она топнула ногой. — Представьте, что я ваша сестра. Ну и все...

«Н-да, — подумал Полынов, — не слишком ли это много? Впрочем, девчонка права, сейчас не до пустяков, а она, похоже, с характером, бросилась закрывать меня, глупая. Ну, ничего, обойдется; но хотел бы я знать — зачем ее сюда... нелепо... Хотя... чем больше нелепостей, тем труднее что-нибудь понять, в этом есть расчет, ну, посмотрим еще кто кого...»

— Ладно... — он опять не знал, что сказать. — Как вас зовут?

— Крис. И можете говорить мне «ты». И ругаться, если хотите.

— Почему — ругаться?

— Не знаю, — она рассеянно огляделась. — На всякий случай.

Она скинула туфли — теперь она не доставала Полынову до плеча, — вспрыгнула на кровать, резким движением головы отбросила со лба челку, умостилась поудобней. Чисто женская особенность в любой обстановке уметь непринужденно устраивать вокруг себя подобие уютного гнездышка: два-три взмаха руки — гнездышко готово. Она притихла. Полынов как дурак стоял посреди каюты.

— Что будет с нами? — вдруг быстро спросила она. В ее широко раскрытых глазах снова был страх. Но уже смягченный, словно она оторвалась от испугавшей ее книги.

— Хотел бы я знать... — буркнул Полынов.

— Вот никогда не думала, что попаду в плен к пиратам. А вы кто: бизнесмен, инженер?

Полынов объяснил.

— О! — Теперь в глазах Крис был восторг. — Тогда мы спасены.

— Да почему?

— Очень просто. Вы умеете гипнотизировать, да? Входит бандит — ну с обедом, что ли, — вы усыпляете его, лайтинг ваш, мне пистолет (я умею стрелять!), мы захватываем рубку и...

Полынов рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? Крис сказала глупость?

Полынову стало легко и просто. Редко, но встречаются люди, чьи слова — самые обыденные — всегда неоднозначны и свежи. Секрет не в словах, даже не в интонации: в раскованности чувств, когда ничто не мешает им тотчас отразиться во взгляде, в мимике лица, в движении.

— Нет, Крис, ты сказала дело, но у тебя преувеличенные представления о способностях рядового психолога.

Не объяснять же ей теорию гипноза. Правда, он слышал об исследователях, которым будто бы удавался мгновенный гипноз. Их бы сюда... А его способности, увы, ограничены, кто же знал... Впрочем, она права: и они могут пригодиться...

— Жаль. А то как было бы хорошо... Но мы придумаем еще что-нибудь, ладно?

— Обязательно, Крис.

Уже через полчаса Полынов знал о девушке все или почти все. Как ей остерегал колледж и сонный городок Санта-Клара; как она заставила отца позвать ее к себе на Марс; как она трусила при старте; какой у нее был великолепный друг — овчарка Найт; почему она не любит транзисторы и мальчишек и почему не может жить без конфет; что, по общему мнению, у нее несносный характер; что она мечтает стать зоологом; что ее любимые писатели Хемингуэй, Чехов и Экзюпери, а политики она терпеть не может, потому что там все обман; а дураков она жалеет, они убогие; ненавидит людей, которые воображают себя «пре-

лестным пупом земли» (сокращенно ППЗ); последнее произведение Гордона она еще не читала (как, вы ничего не слышали о Гордоне?!), а смерти она не боится, так как почему-то уверена, что с ней ничего такого случиться не может...

Она не стремилась излить душу, ее спрашивали, она рассказывала. Полынова все больше изумляла выносливость ее характера; недавнее потрясение как будто совсем на ней не отразилось, она была сама собой — непосредственной, решительной, угловатой. Полынов отдохнул, слушая ее, улыбался ее наивности и думал, что у нее счастливый характер. Ему начало казаться, что он знает ее давным-давно, и жаль, что она ему не сестра. И что сомневаться не приходится — Крис не могла быть орудием Гюисманса.

Вскоре он, впрочем, заметил свою ошибку: потрясение для Крис вовсе не прошло бесследно. Ей стало холодно, она натянула на себя одеяло, ее знобило. Духовная выносливость у нее явно превосходила физическую, а уж если он чувствует себя разбитым...

— Спать, — оборвал он ее. — Мне и тебе нужно отдохнуть.

— Но у нас же нет плана освобождения! И вовсе я не устала, — она упрямо выпятила свой маленький подбородок.

— Зато я устал, — сказал Полынов.

— Ну, раз так... Я тоже устала.

Она свернулась калачиком и закрыла глаза.

Полынов долго лежал на спине, вслушиваясь в сонное, неровное дыхание девушки — несколько раз она вскрикнула, — и думал, что теперь на его совести еще и чужая жизнь, а это много тяжелей, но и легче, потому что есть союзник. И что будь здесь еще хотя бы Бергер — парень что надо, хотя и фанфарон, — бандитам бы несдобривать, потому что три неглупых человека, объединенных одной целью, сильней десятка бандитов. Но сожалеть о несбывшемся нечего, надо думать, как использовать единственное свое оружие — знания, чтобы стать сильнее лайтингов, сильнее Гюисманса, который тоже отнюдь не глуп и который тоже владеет психологией.

Каюту слегка подрагивала от работы двигателей. Пираты не форсировали работу реакторов — это было заметно по тону гудения. Похоже, они не сомневались, что розыск запоздает и они успеют скрыться в поясе астероидов, где хоть десять лет ищи — ничего не найдешь. У них великое преимущество перед пиратами прошлого, потому что просторы океанов Земли ничто перед просторами космоса. Их бандитизм не столь уж глуп и рискован. Еще два-три таких абордажа пройдут безнаказанно. А потом? Потом возвращение украдкой на Землю. Есть такие способы. Вереницы трупов будут вечно плавать в космосе. Солидные господа с миллионами в кармане будут не житься под теплым солнцем морских курортов, и никто не узнает, не крикнет, что рядом с ним за столиком сидит убийца.

«Полно, не теряй чувства меры, — сказал себе Полынов. — Так не будет, ты это знаешь. Одними трупами пассажиров они не обойдутся, будут еще жертвы. Неужто эти остолопы не понимают, какая мина тикает возле каждого из них? Кто понимает, а кто и нет — вот в чем фокус... Отлично, этим надо суметь воспользоваться. Этим нужно воспользоваться во что бы то ни стало.

Вот и прекрасно, а теперь спать. Сосредоточься на воспоминаниях детства, это помогает».

Бревенчатый домик, тепло нагретый земли под босыми ногами... Пыль, мягкая как подушка. Скрип несторопливой телеги... Если бы кто-нибудь шепнул ему тогда, что с ним будет, он бы просто не понял, этот смуглый исцарапанный парнишка, Андрюша Полынов... К черту, не думай об этом, думай о хорошем. О том, как они выходили ловить падающие звезды... Нельзя! Нельзя вспоминать небо, каким оно было когда-то. Нет больше на земле изб, телег, босоногих ребят, не подозревающих, что их будущее прочно связано со звездами. Отсечено временем, невозвратимо; они — первое поколение, которому уже не дано вернуться в страну детства и найти ее неизменной. Они родились в мире, меняющемся слишком быстро. Они сами этому способствовали как могли, задыхаясь на

бегу, мечтая о будущем, настигая его. И глупо сожалеть, что их короткая жизнь вместила целые эпохи, изменения, бывшие прежде уделом нескольких неторопливо тянувшихся веков. Они построили совсем неплохой новый мир, и не о чем жалеть, не надо, нельзя.

Вскрикнула во сне... Нет, не проснулась. Молодость. Какая она теперь? Он не всегда их понимает, молодых, хотя он вовсе не стар. Странно, что Крис понятна ему, ведь их разделяют годы, воспитание, национальность, взгляды. Или обстоятельства убрали шелуху, и открылось то вечное, постоянное, что соединяет поколения всех уголков земли? Должно быть, так.

Однако он хороши. Бойцы, герои в такой ситуации такими не бывают. Если верить соответствующим романам, конечно. Те железные; они не устают, они действуют, стреляют, побеждают. Их не мучает бессонница, они не размышляют над связью поколений, моральные проблемы решаются ими с завидной легкостью. Хотел бы он сейчас быть таким. Чтобы уснуть хотя бы...

Следующий день, однако, не принес заключенным ничего нового. И следующий за ним тоже. О них словно забыли. Трижды в день — с завтраком, обедом и ужином — появлялся кто-нибудь из бандитов. Всегда вдвоем, ни слова в ответ на попытки Полынова заговорить с ними. Телевизор выключили, и оба плениника как будто очутились на необитаемом острове. Полное неведение, тишина и спокойствие угнетали, и Полынов подозревал, что не трогают их сознательно. Впрочем, его это не слишком волновало: если космос чему-нибудь и обучил его, так это умению ждать не расслабляясь. Он беспокоился только за Крис, по она сама угадала опасность раньше, чем он ожидал, да так, как он и предвидеть не мог.

— Они решили нас взбесить бездельем, кажется, — выпалила она после того, как они битый час впустую обсуждали шансы на спасение, уже начиная повторяться. — И я чувствую... Не хочу больше слышать о пиратах. Их нет. Надо придумать, как сделать, чтобы я и вы о них забыли. Вот.

Она вдруг нахмурилась. Полянов уже привык к мгновенной смене выражения ее лица, к быстрым поворотам ее настроения, но сейчас на него в упор смотрела незнакомая дикарка, испуганная неожиданной мыслью.

— Конечно... — с трудом проговорила она, — я слышала, самое простое, когда мы... когда нас... Ну, чтобы я обняла вас! Не могу... Ну, понимаете... без... без всего... Дура же, знаю, завтра и этого может не быть, многие и просто так это делают, подруги надо мной смеялись еще там, на Земле, но... но...

— Глупышка, — тихо сказал Полянов, поняв, — глупышка... — Ему захотелось погладить девушку, как гладят плачущего ребенка, но он боялся встать, чтобы не спугнуть ее. — Выбрось из головы эту муть. Никогда нельзя делать того, чего не хочешь, никогда, даже если это кажется нужным, даже когда обстоятельства берут за горло, даже если убедишь себя... Скверно получается. А мы еще будем жить — долго, назло всему. Я знаю. У меня так было, когда...

И он внезапно для себя стал рассказывать то, что он не рассказывал никому; то, как было с ним однажды, когда двое ждали неизбежной, казалось, смерти, а он был молод; то, что он потом вспоминал со стыдом, хотя никто ни в чем не смог бы его обвинить, даже если бы желал. Никто, кроме совести. Крис слушала — внимательно, освобожденно, кивая головой: «Понимаю, понимаю...» Потом облегченно сказала:

— Я думала, со мной одной такое... Боялась, что ты не поймешь и подумаешь: «Вот дура».

— Всем кажется, что с ним одним бывает такое, — вздохнул Полянов, успокаиваясь. — Только не все поступают одинаково. Некоторые берут медь вместо золота из страха, что золота не будет. А потом бывает поздно. И я успел частичку себя разменять вот так... Знаешь, Крис, — вырвалось у него, — когда я в твои годы читал великих писателей, по-настоящему великих, изображенные ими страдания души иногда ужасали меня, иногда вызывали недоумение, иногда забавляли. Но я не чувствовал своей близости к ним. Мучается Гамлет. Интересно, но какое отношение это

имеет ко мне? Ведь это было давно и с другими, сейчас не те времена, да и я не Гамлет. Я так думал чистосердечно, и знаешь, это ощущение моей отрешенности от душевных мук других приподнимало меня. Я сверху вниз смотрел на всех этих гамлетов, дон-кихотов, карамазовых. Не знаю, чего здесь было больше: инстинкта, оберегающего от потрясений, нравственной слепоты или желания быть неуязвимым. Ты понимаешь?

— Кажется.

Крис задумалась, рассеянно теребя прядь волос.

— Нет, не совсем. Не хочу, чтобы жизнь была такой, как в этих книгах. Так переживать — это жутко!

— Не более жутко, чем наше положение.

— Но ведь мы не страдаем так... ну, как у Достоевского.

— Может быть, потому что мы проще, примитивней, железобетонней, чем у Достоевского? Или цельней?

— Не знаю... Все это так сложно и трудно. Я бы не могла так. Читая Достоевского, я радуюсь, что это не со мной. Я эгоистка?

— Нет, пожалуй, здесь не то.

— А что же?

— Я и сам себя спрашиваю: что же? Я вот почти уверен, что предводитель наших пиратов читал больших писателей. А он подлец и убийца. И он не человек, потому что он не видит себя в других.

— Может, он отнесся к литературе как к вымыслу?

— Возможно, что для многих это спасительная мысль. Что не литература следует за жизнью, а жизнь за литературой. Так проще и уютней. Надо лишь запретить, уничтожить, сжечь вредные книги, и жизнь тотчас станет простой, ясной...

— И бесчеловечной.

— И бесчеловечной. Но первопричина не в этом, а в общем строе воспитания. В том, какая связь объединяет людей. В классовых отношениях, это основа.

— Классовые отношения? Это я понимаю плохо. Есть хорошие люди, есть плохие. Дураки и умные.

Люди с совестью и без. Богатые и бедные? Чем богатые — сердцем, умом, деньгами? Это важно.

— Конечно, важно. Но пока есть хозяева, есть рабы, верно? Пока один может приказать другому: «Думай так, а не иначе, поступай так, как я хочу», — рабская психология неистребима, так?

— Я не люблю догм, а у вас все разложено по полочкам: это правильно, это неправильно, это хозяин, это раб, это уничтожить, а то пусть живет...

— Крис, я забыл, что в ваших колледжах проходят курс «коммунизма».

— Как ты можешь думать, что я верю всяkim глупостям! — Глаза Крис яростно сверкнули. — Это я сама так считаю! Один человек не равен другому, нет этого в жизни, нет, и полочек тоже нет, и хватит об этом, весь мир на этом помешался! Слышать не хочу!

«Да, — подумал Полынов, — самое трудное, чтобы тебя понимали правильно. Когда человек слышит только самого себя, тут и появляются полочки, ящички, этикетки. Как в аптеке: здесь яд, здесь лекарство... Нет, в аптеке знают, что всякое лекарство — это яд и яд — лекарство, все зависит от того, как, чем и в каких дозах пользоваться. А вот он сказал очевидную вещь, истину, и в ответ возмущение, восстание души, столь созвучной ему, казалось бы. Плохой он психолог, все мы никудышные психологи, нам учиться и учиться, а мы вместо этого торопимся учить. Потому что некогда, потому что надо спешить, потому что другие учителя не ждут, — выходи на бой какой ты есть, ничего другого не остается. И, сомневаясь в своих силах, борись, будто сомнения тебе чужды, иначе все увидят твою слабость и тогда — конец».

— Ежик, спрячь иголки, — просительно сказал Полынов.

Крис фыркнула, улыбнулась, опять фыркнула и теперь уже рассмеялась.

— Я говорила, что у меня скверный характер, — в ее голосе слышалась гордость. — Но я больше не буду ежиком, буду пай-девочкой. Расскажи о себе.

Она подперла подбородок кулачком.

«Не хочу ее воспитывать, — сказал себе Полянов. — Хочу смотреть, как она жмуится и смеется, как она лежит, как молодо каждое ее движение, как непосредственно и красиво все, что она делает. Ведь больше в жизни у меня скорей всего ничего хорошего не будет. Вообще ничего не будет. Совсем».

Лежа на спине и закрыв глаза, Полянов стал вслух вспоминать. Он снова видел злонолучный марсианский песчаный прибой, его обжигали пламенеющие ураганы Венеры, фантомы Меркурия опять плясали за стеклом вездехода, он снова тонул в ужасном болоте Терра Крохи. Он сам удивлялся тому, что пережил, это казалось невероятным, он много раз должен был погибнуть и вот же цел, как ни странно.

Он приоткрыл глаза, искоса взглянул на Крис. Она слушала, как дети слушают сказку, — приоткрыл рот, и трудно было поверить, что недавно она спорила о венцах, от которых у стольких мудрецов болит голова. Полянов почувствовал, как к нему возвращается уверенность.

Дни заключения тянулись долго, но пролетели они быстро. И когда вошедший охранник, не тряся слов, кивнул Полянову на дверь, обоим показалось, что они ничего не успели сказать друг другу. Оба вздрогнули от неожиданности, хотя ожидали этого каждую минуту.

Крис вскочила босиком, ткнулась лбом ему в грудь, порывисто обняла, неумело мазнула губами по щеке.

— Ты вернешься, — глухо сказала она. — Вернешься.

Полянов притянул ее за плечи.

— Хорошо.

Охранник цинично захохотал.

Полянов шел, подняв голову, по коридору, пустому, как и салон, который они миновали. Там больше не гремела музыка, тени танцующих не скользили в зеркалах. Там, среди небрежно сдвинутых стульев, поселилось молчание. С прилавка бара исчезли бутылки; полки — как вымело, лишь яркая этикетка от ли-

кера подрагивала на голой доске в токе воздуха, словно пытающаяся взлететь бабочка. Чавкающий звук магнитных присосок замирал при каждом шаге встревоженным шепотом.

— Налево, — даже охранник командовал вполголоса.

Полынов свернул к рубке. Из нее вышел какой-то человек.

— Бергер! — Полынов узнал пилота.

Тот споткнулся. Полынов видел, как покраснела его шея.

— Бергер!

— Но-но, не велено, — лениво сказал охранник, но Полынов уже поравнялся с Бергером.

Пилот отвел взгляд и торопливо зашептал:

— Тактика требует... Соглашайтесь, соглашайтесь... Они настроены решительно, но объективно... Мы должны держаться вместе.

Он ускорил шаг, втянув голову в плечи. Это было так не похоже на прямолинейного швейцарца, что Полынов приостановился.

Толчок в спину заставил его очнуться.

Как и тогда, на двери рубки горела рубиновая надпись: «Посторонним вход воспрещен». Полынов переступил порог.

Как и в тот раз, в рубке было полутемно, тлели лишь фосфоресцирующие шкалы приборов. Мощность обзорного экрана была доведена до предела, и в рубку заглядывали тысячи немигающих звезд, собранные посередине в искрящийся жгут Млечного Пути.

Кресло первого пилота повернулось, и Полынов увидел Гюисманса. Звездный свет освещал длинный костлявый лоб, тонкий нос, запавшие щеки, оставляя в темноте провалы глазниц. Второе кресло пустовало, но на сиденье не успел стереться отпечаток чьего-то грузного тела. «Неужели Бергер?» — подумал Полынов.

В углу слабо шевельнулась фигура в черном, блеснуло дуло лайтинга.

— Садитесь, Полынов. Утишились наконец? — В вопросе таилась насмешка.

Полынов сел, бегло покосившись на пульт управления. Ручка экстренного торможения слишком далеко — рывком не дотянуться. Да и глупо: двенадцать «же» не смертельны, а вот выстрел в спину...

— В ваших планах, — Полынов твердо решил захватить инициативой, — есть одна неувязка, опасная для меня... и для вас.

— Любопытно, любопытно, — с иронией сказал Гюисманс. Его глаза блеснули из темноты провалов. — Просветите.

— Рано или поздно вам придется вернуться на Землю, потому что в космосе награбленные богатства вам ни к чему. Так?

— Допустим.

— И тогда вы будете вынуждены кое-кого из своей шайки ликвидировать. Может быть, его, — он кивнул в сторону забившегося в угол стражи.

— Это почему?

— Вам непонятно? Удивительно. Кто-нибудь обязательно проболтается о ваших похождениях. И тогда вам крышка. Вам придется убрать ненадежных, чтобы этого не случилось. Мепя уж во всяком случае. А может, и вас уберут, ведь свалки вам не избежать.

Полынов испытующе посмотрел на Гюисманса, ожидая его реакции.

— Вполне логично, — Гюисманс утвердительно наклонил голову и обхватил руками колено. — Но вы не учли одного обстоятельства, которое сводит на нет ваши безупречные построения.

— Какого? — вопрос прозвучал беззаботно.

— Об этом мы поговорим, если вы скажете «да».

Полынов встревожился — удар не достиг цели. Но почему? Притворство? Нет. Полынов готов был поклясться, что нет.

— Пусть так, — сказал Полынов. — Но уж коли вы предлагаете мне сделку, я вправе выставить свои условия.

— Забавно. Я обещал вам жизнь, чего еще вам надо?

— Во-первых, мне нужна гарантия безопасности всех пассажиров и всех членов экипажа. Во-вторых, карты на стол!

Гюисманс явственно засмеялся, дрыгнул ногой.

— Да вы юморист, Полынов! Вы абстрактный гуманист! Безопасность своих противников, ха-ха... Ведь сенаторша, троечка миллионеров и прочая шваль враждебны вам, коммунисту, разве не так?

— Это мое дело. Вы принимаете условия?

— Не смешите меня. Право, я уже достаточно повеселился. Вот что. Я реалист. Карты на стол? Что ж, возможно, это зависит от вас. Пассажиры вас не касаются, запомните. Единственное, что я могу вам обещать — это безопасность одной симпатичной девочки. Вы понимаете?

Полынов вздрогнул. Вот оно. Ловушка. Видимо, он им здорово нужен. И Крис — Крис! — заложница.

— Давайте все поставим на свои места. — Гюисманс наклонился к нему, стараясь разглядеть выражение его лица. — Должен предупредить, что эта девочка — она мила, не правда ли? — законная добыча Большеголового. Такова плата за его участие в наших делах. А у Большеголового дурацкая привычка любить девушек, мучая их. Он сноб и растягивает это удовольствие. Закон на Земле почему-то не раз уже придирился к нему за эту невинную слабость. Так что поймите, речь идет не об одной вашей жизни, а о двух. И даже кое о чем большем, чем жизнь. Такое условие вас устраивает?

У Полынова перехватило дыхание. Гюисманс самодовольно улыбался. Полынов отчаянным усилием подавил желание сдавить эту тонкую жилистую шею.

— Требуется напатырный спирт? — промурлыкал Гюисманс.

«Отвести взгляд, иначе не выдержу. Звезды. Тысячи родных и близких звезд, вечная природа — какую гадость ты рождаешь! Расслабиться. Побольше отчаяния. Пусть думает, что раздавил меня».

— Хорошо... Я принимаю... я вынужден...

— Согласны быть у нас врачом? — быстро спросил Гюисманс.

— Да.

— А может, и от убеждений заодно отречетесь, а? Ну, ну, я пошутил. — Гюисманс замахал руками, покивав по выражению лица Полынова, что перепрограммировал. — Все и так славно устроилось. Коньчку по такому случаю, как?

— Нет.

— Тогда партию в шахматы, как встарь?

— Согласен.

— Отлично!

Гюисманс щелкнул пальцами. Охранник исчез. Гюисманс отодвинулся от Полынова, положил руку в карман, напрягся.

— Зря, — сказал Полынов. — Не буду я вас душить, если вы сдержите слово.

— Мое слово — закон, и не мне вас бояться, — надменно сказал Гюисманс, но руки из кармана не вынул.

Принесли шахматы, и они сели играть. Полынов рассеянно двигал фигуры, зевнул ферзя и проиграл, что еще больше улучшило настроение Гюисманса.

— Да, кстати, — сказал он напоследок. — Видите?

Он извлек из кармана маленькую коробочку и потряс ею.

— Вы догадываетесь — это магнитофон. После соответствующего препарирования наш разговор попадет в общую катушку информации. Единственную, которую сможет получить человечество в случае нашей неудачи. Если вы помните, некоторые места нашего разговора просто великолепны. Например: «Согласны быть у нас врачом?» — «Да». — «Тогда партию в шахматы, как встарь?» — «Согласен». Я с вами совершиенно откровенен и прошу вас о том же.

Когда Полынов вернулся в каюту, Крис бросилась к нему, подпрыгнув, повисла на шее, плача и бормоча:

— Цел, цел...

«А поймет ли она мой поступок?» — со страхом спросил он себя, уклоняясь от шквала обрушившейся на него радости.

#### 4. База пиратов

Он рассказал все без утайки, умолчав лишь о Большеголовом и о ее собственном незримом участии в торге. Она слушала, сдвинув брови, уперев свой маленький упрямый подбородок на сцепленные пальцы, и он ничего не мог прочесть в ее взгляде — ни укора, ни одобрения. Одно лишь доверчивое внимание. Но его постепенно сменяло отчуждение.

Полынов даже застонал. «Бог мой, если бы ты была мужчиной, я бы знал все твои мысли наперед. Но такой вот ребенок — загадка...»

Он хотел удержаться от оправдания и не смог.

— В истории моей родины, я читал, был однажды такой случай, — Полынов старался не смотреть на Крис. — Тогда на Русь навалилась мощная и беспощадная сила — татары. Они подмяли все и всех. А потом хан вызвал к себе одновременно двух князей. Перед аудиенцией, от которой зависело многое, оба должны были пройти мимо очистительных костров. Это не было издевательством, нарочно придуманным для унижения князей. Просто ритуальный обряд. Первый князь прошел через огонь. Второй отказался, и ему отрубили голову. Людская память не запомнила его имени. А того, который прошел сквозь огонь и выторговал у хана сносный мир, знают и теперь. Это Александр Невский, победитель шведов, немецких рыцарей, наш национальный герой. Он поступил...

— Как благоразумный человек, я понимаю, — перебила Крис. — А если бы его уступка оказалась ни к чему, кем бы он стал тогда?

— Со стороны легко судить, — Полынов отвел взгляд, — очень.

Он прошел, не глядя на Крис, в ванную, несколько секунд тупо разглядывал в зеркале свое лицо. «Да, надо умыться, — сказал он себе, — полегчает». Он с отвращением посмотрел на себя в зеркале. Кричи от бессилия, кричи, нашел где искать самооправдания — у бескомпромиссной юности. Тряпка. Он-то думал, что его сила всегда с ним! Оказывается, львиную часть ее он брал взаймы у других. Неужели сам по себе он

так мало стоит, когда рядом нет друзей? Хороший урок, справедливый урок.

В зеркале Полынов заметил Крис. Девушка подошла беззвучно. Полынов заставил себя улыбнуться так, как нужно. Мужественная, уверенная улыбка старшего, знающего, как и что делать. Спокойная, ободряющая улыбка.

— Не надо! — вдруг сказала Крис. — Я... Я не хотела... не хотела обидеть...

Она потупилась.

— Ну что ты, — беспечно сказал Полынов.

— Я только подумала... — Она вскинула голову и с вызовом посмотрела на Полынова. — Я подумала, что у нас больше нет выбора, что мы должны победить! Вот...

Полынов хотел что-то сказать, но вовремя понял, что говорить ничего не нужно. Он протянул руку, и Крис доверчиво вложила в нее свою.

Заключение продолжалось. Никто не беспокоил Полынова ни как пленника, ни как врача, только приносившие еду охранники сделались разговорчивей.

Чаще всего появлялись двое, подобраные словно по контрасту. Сначала, загораживая собой дверной проем, входил беловолосый, белозубый англосакс; настороженным взглядом наглых серых глаз он обшаривал каюту и лишь тогда пропускал нагруженного судками низкорослого человека с лицом смуглым, как обожженная глина, и столь же бесстрастным. Сомкнувшись густые брови придавали ему мрачный вид. Пока он складывал на стол тарелки и судки, Грэгори — так звали белого гиганта — стоял у входа, почти подпирая головой потолок. Широко расставив ноги, он небрежно поигрывал лайтингом, словно невзначай наводя дуло то на Полынова, то на Крис. На суетящегося смуглолицего Амина он поглядывал с нескрываемым презрением, а однажды, когда тот уронил вилку и наклонился, лениво наподдал ему ногой под зад, так что тот въехал под стол. Это несказанно развеселило Грэгори, но, по-видимому, совсем не тронуло жертву.

Полынов пользовался любым случаем, чтобы раз-

говорить эту странную пару. В отношении Амина успех был невелик. Казалось, ничто не заботило, не волновало этого неграмотного, забитого крестьянина, словно вырванного из средневековья и волшебством перенесенного на ультрасовременный космический лайнер. Ничто, кроме беспрекословного и точного исполнения полученного приказа.

Мир Грегори был куда шире. Похочатывая, тот с удовольствием вспоминал неоколониальные войны, в которых участвовал, бесчисленные кабачки, в которых пил, жрал и любил. Единственное, что его восхищало на свете, — это он сам. Он гордился своими мускулами, своими похождениями, своим бесстрашием и своей жестокостью так, что Крис кипела от возмущения. Она никак не могла понять, почему Попынов с охотой слушает всю эту мерзость.

— Это же профессиональный интерес, — отшучивался он. — Любопытный экземпляр человека разумного, разве не так?

— Просто бандит.

— Второй, Амин, тоже бандит. Однако какая разница! И какое сходство!

— Не верю, что Амин тоже бандит. Он такой несчастный!

— Если ему прикажут задушить ребенка, он это сделает, твой несчастненький.

— Не верю.

— Хотел бы я ошибиться... Ты права, сам он этого не сделает. Как не сделает автомат, пока в него не вложена программа.

— Он человек, а не автомат.

— Человек, который равнодушен к издевательствам, уже не человек.

— Мне противны твои расспросы этих... Мне неприятно, как ты говоришь о человеке, словно это машина...

— Нет, Крис, тебе противно, что я при тебе лезу в дермо. Но я буду делать это. Я буду стараться, чтобы Грегори со смаком рассказывал мне, как он жег деревушки, а вместе с ними стариков и женщин. Я буду вслушиваться в молчание Амина, которое пу-

тает меня не меньше, чем откровенности Грегори. Так надо.

— Тогда позволь мне затыкать на это время уши. Но Крис была не способна долго злиться, и утраченное на время поплывание возвращалось к ним вновь, и это помогало им держаться все дни, пока длилось заключение и одиночество, не теряя самообладания, не поддаваясь бесцельным мыслям в часы, когда со всех сторон подступала тишина, изредка прерываемая звуком близящихся шагов.

Наконец корабль стал тормозить. Плавные толчки паваливались попеременно со всех сторон, звездолет бросало, и это длилось часа три. Потом рев двигателей смолк. Полынов подкинул пепельницу; она, однако, не повисла в воздухе, а медленно опустилась на стол.

Полынов и Крис обмениялись взглядами. Оба подумали об одном и том же: чем их встретит пиратское гнездо?

Они ждали, прислушиваясь к шуму, топоту, невнятным голосам, наполнившим корабль. О них словно забыли. Лишь когда все стихло, в каюту просунулась бычья голова Грегори.

— Выходи.

— Как называется астероид? — Полынов встал.

— Рай господа бога, — охранник мрачно выругался.

Полынов еще надеялся мельком увидеть хоть кого-нибудь из пассажиров. Но нет: их вели по пустому кораблю. В шлюзовой, сопровождаемые Грегори и Амином, они натянули скафандры. Охранники тоже оделись. Улучив момент, когда Грегори защелкнул шлем, Полынов быстро спросил Амина:

— Остальные?

— Аллах хранит всех, — почти не разжимая губ, отозвался Амин.

Створки шлюза неторопливо разошлись. Такого не видел даже Полынов: в звездной бездне двигались три маленькие луны, похожие на осколки разбитого зеркала. Прямо за люком лежала черная громада астероида, очерченная зубчатым венчиком пылающих скал. Огни перепрыгивали с вершины на вершину, словно

зажигались каменные свечи. Полынов поспешил опустить светофильтр и отвернулся, когда из-за края вынырнул разящий сегмент солнца. Он успел заслонить ладонью глаза Крис. В наушниках загремел хохот Грегори: неопытный Амин забыл опустить светофильтр и теперь корчился от рези в глазах.

Пока они спускались, поверхность астероида, над которой взлетало солнце, успела превратиться в хаос слепящих и черных плоскостей, линий, ломаных пяты, раскаленных граней, теней провалов. Но у Полынова был тренированный глаз: в кажущейся бесформенности пейзажа он с удивлением обнаружил признаки каких-то циклопических сооружений, явно построенных человеком. Более того, откуда-то вырывались струйки газа; мерцающим плейфом они окутывали астероид.

Он хотел пристальней разглядеть эти странные постройки, но спуск по трапу занял секунды, а дальше их повела дорога, загороженная с обеих сторон глыбами, так что он мог видеть лишь серебристые пряди газа, сквозь которые просвечивали щербатые луны.

Дорога подошла к подножью высокой скалы и вынырнула в толщу камня. В своде тотчас вспыхнули лампочки, еле различимые после бешеного сияния солнца. Тоннель, круто уходя вниз, уперся в массивные ворота. Грегори поднял руки.

— Именем всевышнего!

Створки ворот ушли в стену.

«Ну и пароль!» — подумал Полынов.

Шлюз походил на пещеру, только пол был металлическим. Магнитные подковы ботинок тотчас присосались к нему, и люди снова ощутили некое подобие веса.

— Метеориты часто падают? — спросил Полынов, стягивая шлем.

— Хватает, — буркнул Грегори, освобождаясь от скафандра.

— Тогда вы неразумно поступили, вытащив свое хозяйство на поверхность.

— Какое хозяйство? А, завод... Это не моя забота.

— Чья же?

— Бросьте, док, — Грегори испытующе посмотрел на психолога. — Спирт у вас в аптечке есть? — вдруг без всякого перехода спросил он.

— Спирт? Не знаю... А что?

— Я знаю, что есть. Дадите?

— С разрешения или без?

— Умный человек, док, не задает таких вопросов.

В светлых глазах охранника не было ни тени смущения. Присутствие Амина его нисколько не беспокоило. Но он явно торопился закончить разговор в плюзе.

— По рукам или как?

— Заходите на прием — потолкуем.

Грегори энергично замотал головой.

— Не выйдет там разговора. Договоримся здесь.

— Почему не выйдет?

Охранник загадочно усмехнулся.

— Сами поймете. Решайтесь, док.

— Я сказал: потолкуем после.

Грегори посмотрел на Полынова, как на дурака.

Отшлюзовавшись, они спустились еще ниже по лестнице, выбитой в скале. На оборудовании подземелья явно экономили. Где только можно, камень оставался неприкрытым, и это придавало помещению сходство с феодальным замком. Если бы не удивительная легкость тела, яркий свет ламп, необычная геометрия ступеней, можно было подумать, что время повернуло вспять и что разыгрывается сцена из эпохи средневековья.

Полынов рассчитывал многое увидеть по пути, но все двери были закрыты, никто не попадался, база казалась вымершей. Несколько раз они останавливались перед герметичными переборками, рассекавшими коридоры, и всякий раз плиты уходили в сторону или поднимались вверх, как только Грегори, подойдя вплотную к стене, шепотом произносил несколько слов. Тревога Полынова росла. Это не пиратская база. Сооружение такой базы не окупят и десять ограблений. Пиратам ни к чему завод, что бы он там ни выпускал. Сюда вложены безумные деньги, но зачем, зачем?

Какие зловещие планы крылись за всей этой чертовщиной? Чей преступный замысел породил это гнездо, могущее выдержать ядерный удар, этих бандитов, эту очевидную бессмыслицу с ограблением мирного лайнера и плenением его экипажа?

Камера, куда их втолкнули, несравненно больше походила на тюрьму, чем каюта-люкс корабля. Два стула из дюоралевых трубок, лампы дневного света под потолком, там же решетка кондиционера; матрацы, уложенные прямо на металлопластиковый пол. Стол отсутствовал. Да он и вряд ли уместился бы на таком крохотном пространстве.

Крис растерянно озиралась. Всю дорогу она держалась за Полынова, явно подавленная новизной космического пейзажа, таинственностью базы, суровостью ее стен.

— Отсюда будет еще трудней...

Полынов свирепо посмотрел на нее, и она осеклась. Движением брови он показал на потолок. За решеткой кондиционера что-то слабо поблескивало, и у Полынова не было сомнений, что оттуда за ними наблюдает телеглаз, что спрятанная аппаратура ловит каждый шепот.

Крис печально улыбнулась, и Полынов понял ее: отныне им придется угадывать мысли друг друга, если они захотят говорить о чем-нибудь серьезном.

Они сели друг против друга в унылом молчании. У них отняли последнюю свободу. Свободу общения, которой обладали даже узники концлагерей.

Слабо пискнул электромагнитный засов. Оба вздрогнули.

— Идемте, док.

Полынов кивнул Крис. Та еле сдерживала слезы.

Грегори провел психолога в конец длинного бетонированного коридора. У поворота они остановились перед дверью под номером одиннадцать.

— Мне поручено проинструктировать вас, док, — сказал охранник. — Здесь ваше помещение. Дверь сюда открывается при слове «аптека», запомните. Особо ценные лекарства. — Грегори выразительно посмотрел, — в сейфе. Запор настроен на ваш голос, на сло-

во «сезам», ясно? Дверь вашей камеры отпирает фраза «добрый вечер»...

— Значит, я могу выходить из тюрьмы?

— Разрешено. Обед с 13.00 до 13.30 в помещении под номером семь. Завтрак там же в...

— Тоже паролем открывается?

— Нет. В положенное время войдете беспрепятственно. А сейчас к вам придет...

Грегори покрутил пальцем возле лба.

Не успел Полынов как следует осмотреть свое хо-  
зяйство, как посыпались шаркающие шаги и порог больницы переступил хмурый, тощий мужчина в мя-  
том лабораторном халате, из нагрудного кармана ко-  
торого торчала отвертка-тестер. В открывшемся про-  
свете двери Полынов заметил удаляющуюся фигуру  
Грегори. Охранник громко напевал:

Далекий свет, далекий свет, далекий свет  
Горящих сел —  
И автод.  
Залей вином, залей вином, залей вином  
Горящий свет  
Далеких сел —  
И звезд.

Вошедший сосредоточенно посмотрел на Полынова, мрачно сказал: «Так!» — но остался стоять, поблески-  
вая стеклами очков. Глаза умницы, полуприкрытые ве-  
ками, бесцеремонно изучали психолога. На щеках не-  
знакомца темнела траурная щетина, его засаленный  
галстук и несвежая сорочка были под стать всему  
облику.

— Так, — еще раз мрачно произнес он. — Эри-  
берт, электрик. Главный! Так меня зовут. Ни одна  
сволочь меня тут не понимает, а вы?

— Садитесь, — сказал Полынов. — На что жа-  
луетесь?

Эриберт загадочно усмехнулся.

— Бессонница, моя бессонница... Одна таблетка —  
не сплю, думаю. Две таблетки — не сплю, мучаюсь.  
Три таблетки... Так и до могилы недалеко, верно? Ни-  
кто моей болезни понять не может, никто...

— Успокойтесь, я попробую понять. Вы еще будете спать сном младенца.

— Да? Разве тут уснешь сном младенца? — Большой саркастически скривил губы.

Он сел, как садятся усталые люди — сгорбившись. Его глаза за стеклами очков теперь не мигали, и это делало взгляд неприятным.

— Расскажите все по порядку, — попросил Полынов, подкатывая диагностирующий аппарат.

— Нечего рассказывать, нечего. Был-жил умный глупец. Нанялся, прилетел. Бессонница. Вскоре. Некому лечить. Услышал о вас, вот пришел. Надеюсь не веря.

Его монотонный голос был полон выразительности, и Полынов жадно прислушивался к интонациям; опыт психолога подсказывал, что сидящий перед ним больной непрост и его болезнь — тоже.

— Раньше в космосе были?

— Нет.

— Давно бессонница?

— Три месяца скоро, а будет — вечность.

— К прежнему доктору обращались?

— Нет. Боялся. Хотел сам справиться.

— Сами виноваты, что запустили.

— Конечно, сам. Верил, надеялся... Крах.

Полынов укрепил на висках и запястьях его рук датчики, покрутил настройку. Результат его весьма заинтересовал.

— О земле думаете? — мягко спросил он.

— Земля...

Уголки губ Эриберта поползли вниз, лицо приняло мечтательное выражение.

— Земля... На земле — травка... Испортят.

— Нет, — твердо сказал Полынов.

— Вы думаете? — Эриберт оживился. — Вы обещаете? Последние дни мне совсем плохо, некоторые думают, что я схожу с ума... Но я — нет, я нормальный, верно? Только бессонница...

— Только бессонница, — как эхо отозвался Полынов. — Не бойтесь, психика у вас почти в порядке.

У вас редкое, даже на Земле, заболевание. Но работать вы можете.

— Я и так работаю. Специалисты тут незаменимы. Вы мне поможете?

— Конечно. Для этого я здесь и оказался.

— Спасибо. Лечить-то, лечить как будете?

— Я же сказал: случай необычный. Не все сразу. Пока я пропишу вам лекарство. Завтра снова покажитесь, мне нужно знать, как оно подействовало.

— Хочу верить... — Больной впервые посмотрел на Полынова с надеждой. — На травку бы!

— Надо верить, — жестко сказал Полынов. — Иначе я не гарантирую, что вы увидите травку.

— Травка... Зеленая травка... Я хочу, хочу...

Оживление прошло. Эриберт меланхолично тянул свое. Было похоже, что он бредит.

— Отставьте! — Полынов встал. — Больной должен помогать врачу, а не только врач больному. Возьмите себя в руки.

Эриберт тоже встал.

— Не кричите. Я возьму себя в руки. Мне очень плохо. На вас вся надежда. Если только она есть.

— Есть, не сомневайтесь.

Но сам Полынов еще не был уверен в этом.

Он занялся осмотром хозяйства. Выбор лекарств был огромен, аппаратура тоже не оставляла желать лучшего. Это его обнадежило. В ящике стола он нашел магнитозапись своего предшественника, прослушал ее. Все пустяки: болели на базе редко. Одна ножевая рана при драке, вывих челюсти... А это что? «Острое отравление дисунолом»... — услышал он диагноз.

Дисунол... Дисунол... Он не помнил, чтобы в космосе применяли вещество с таким названием.

Полынов кинулся к справочнику врача. Любопытно. В справочнике о нем ни слова. Но между страницами заложен листок, в нем перечислялись симптомы отравления дисунолом, меры лечения. Типичная шпаргалка. Нет ли тут где-нибудь химического справочника? Нет.

А все-таки это название что-то напоминает. Что-то

знакомое. Какой-то хорошо известный специальный термин.

Ну, конечно: дисан.

Дисан!

Полынов сел, постарался унять сердцебиение. Полно, он сходит с ума. Кому нужен здесь дисан? Чушь. Скорей всего виновато сходство слов, а производят здесь вовсе не дисан. И вообще, откуда он взял, что дисунол — продукт промежуточной реакции получения дисана? Ведь он не химик. Но что-то ведь производят на этом проклятом заводе! Если дисан — тогда это страшно.

Он не мог сосредоточиться, мысли разбегались. Удручающие казематы, электронная слежка, трудный разговор с Эрибертом, наконец дисунол... Надо прогуляться, раз уж тюремщики предоставили ему такую возможность.

Узкий коридор с обоих концов, как и ожидал Полынов, был заблокирован массивными щитами, изолирующими его, а следовательно, и Полынова от остальной базы. Он по-прежнему был пленником, и за каждым его шагом следили (Полынов заметил, что в больнице и в коридоре находились глазки телеаппаратуры — их даже не постарались скрыть).

Полынов подумал, что его положение схоже с положением мухи, очутившейся под стеклянным колпаком. К тому же он не знал ни схемы базы, ни числа людей, ее обслуживающих, ни магических паролей, позволяющих передвигаться по ней беспрепятственно. Крис, бесспорно, права: предпринять что-нибудь в таком положении трудно, а по мнению тюремщиков — просто невозможно. Правда, если у них есть такая уверенность, тогда еще не все потеряно.

Неожиданно он увидел незапертую дверь. Секунду поколебавшись, он ее толкнул. И отшатнулся: из комнаты, вперив в него жуткий взгляд, смотрело комарное чудовище.

Полынов привалился к стене, ожидая появления либо охранников, либо чудовища. Но ничего не произошло: кругом было тихо, как в усыпальнице, лишь мигала, потрескивая, какая-то лампа. Любопытство,

более сильное, чем страх, заставило Полынова снова заглянуть в комнату. И он зажал рот, чтобы не расхочататься.

Каморка была уставлена восковыми фигурами каких-то чудовищ, порожденных горячечной фантазией, и людей, самых натуральных людей. Неизвестный художник был, несомненно, талантлив, он добился потрясающей силы впечатления. В каждой человеческой фигуре был запечатлен один какой-нибудь образ, словно коллекция была призвана демонстрировать самые высокие и самые низкие проявления характера. Здесь находились Святость и Низость, Любовь и Жестокость, Благородство и Подлость... Была тут и фигура Простого среднего человека: в меру добродушного, в меру благообразного, в меру себе на уме, не в меру оптимистичного и не в меру заурядного. Именно таким изображали Простого среднего человека телевидение, газеты, журналы, радио. Копии были, несомненно, удачными. Даже не одна копия, а три: Простой Белый человек, Желтый человек и Черный человек. Восковой обыватель вне зависимости от своей расовой принадлежности улыбался широкой лучезарной улыбкой.

Полынову стало жутко, и он не сразу понял почему. Потом он сообразил — и в этом было какое-то колдовство: паноптикум жил. Выражение лиц менялось в зависимости от ракурса, от освещения. Глаза фигур пристально и бездумно смотрели на него. Он даже потрогал фигуры, чтобы убедиться в их искусственном происхождении.

Психолог не знал, смеяться ли ему, плакать или восхищаться этой гениальной подделкой под человека. Одно было непонятно: кому и зачем нужен такой музей? И случайно ли, что единственная отпертая дверь вела в этот паноптикум.

— Полынов, время вашего обеда истекает! Поторопитесь, если не хотите остаться голодным!

Голос прогремел откуда-то сверху. Психолог поморщился. Дурацкие приемы: ошараширить, сбить с толку, запугать. Но они дают эффект, это надо признать.

## 5. **Марты на стол**

Опустив голову, Полынов понуро побрел в столовую. Игра в «кошки-мышки» продолжалась, и он делал единственно возможный ответный ход. Пусть Гюисманса порадует его растерянность. Пусть все видят, как Полынов плетется к указанной ему конуре.

На одном из столиков его ждал обед. Никого больше в столовой не было. Она имела еще два выхода, но оба оказались наглухо закрытыми. Главной особенностью столовой был подъемный механизм для пищи. Нечто вроде подноса на шарнирах, опускающегося сверху вниз. Полынов попробовал механизм, отвел «поднос» до отказа вниз, но ничего не произошло. Очевидно, кухня была расположена над столовой, и еду опускали в люк прямо на поднос, с тем чтобы обедающий брал все сам. Весьма примитивная автоматика, но ясно, что она предназначена не для него одного. Видимо, были серьезные причины ограничивать время его обеда; похоже, тюремщики отнюдь не горели желанием дать ему возможность встречаться с кем-нибудь за обедом. Но ведь пациенты могли приходить к нему беспрепятственно, в коридоре рано или поздно он встретится с кем-нибудь из охранников. Значит, здесь бывают заключенные. И все сделано для того, чтобы они не видели друг друга.

Полынов не ощущал вкуса еды — так были заняты его мысли. Каждый человек в той или иной мере мчит себя центром вселенной. Не надо заблуждаться, не надо. Вряд ли все эти ухищрения направлены против него одного. Это было бы просто не эффективно. Нет, здесь работает продуманная, заранее созданная система воздействия на личность. Если спокойно подумать, можно выделить главные ее особенности. Видимость всесокрушающей силы — обязательно; таинственность, окружающая ее действия, — непременно; кнут и пряник — конечно. Жертву надо запугать, сбить с толку, заставить потерять голову, раздавить — и тотчас бросить ей приманку. Пусть она для начала пойдет на мелкую сделку с совестью. Потом от нее потребуют предательства покрупней. И все, конец: система сработала.

Первое, похоже, сделано: он согласился лечить бан-

дитов. И сделано умно. Противник использовал его собственный план борьбы. «Коготок увяз — всей птичке пропасть». До чего же это не ново! И до чего же верно!

Теперь стараются, чтобы он взвыл от непонимания, осознал собственное бессилие, запутался в догадках. Скоро ему должны предложить новую сделку с совестью, пострашнее первой. А если он откажется, исчезнет последний шанс на продолжение борьбы, уж об этом позаботятся. А раз нет четкой границы между разумным компромиссом, тактической уловкой и малодушным предательством, его в конце концов подведут и к предательству. Как все дьявольски просто, какая стройная система, безотказно действующая тысячелетиями от фараонов до Гюисманса! Только покровы меняются.

Но раз эта схема не нова, раз ее изобретатели жили еще при зарождении рабства, должна существовать и схема контрдействий, тоже проверенная тысячелетиями.

Да, конечно, контрсхема есть. И не одна даже. Есть схема Джордано Бруно. Не предал, не пошел на компромисс, не склонился — и погиб на костре. Но его пример, пронесенный через века, зажигал сердца мужеством и гневом. И царство церкви развалилось в конце концов. Вот именно: в конце концов. У него, Полынова, нет в запасе исторической перспективы, нет толпы, на глазах которой он мог бы взойти на костер. Между прочим, это он уже сделал однажды: там, на корабле, дав отпор Большеголовому. Зажег ли он тогда чье-нибудь сердце?

Другой путь — путь Галилея, если угодно. Фальшивое отречение, фальшивое смирение — и борьба! Но опять для этого нужно время... Неужто история не знает других схем борьбы? Чушь, конечно, знает.

Только бы выяснить, какова цель действующей здесь системы. Узнать анатомию базы. Нащупать ее первое сплетение.

В углу столовой что-то щелкнуло. Ворвался насмешливый голос Гюисманса.

— Теперь, когда вы сыты, самое время приятно побеседовать, не так ли? Я честно выполняю условия

нашего договора. Обещал информировать — и информирую. Вы не откажетесь зайти?

— В моем положении смешно было бы отказываться.

— Хорошо, что вы это поняли. У дверей вас ждет Грегори. Да, учтите, у него есть слабость. Выпивка. Ни под каким видом не давайте ему спирта.

Динамик умолк.

«Что ж, — подумал Полынов, — одно из моих предвидений оправдалось».

Грегори стоял у входа, засунув руки в карман и уныло настынивая.

— Скучае? — небрежно бросил Полынов.

Тот пожал плечами.

— Конечно, скучаете, — заключил Полынов. — Надо будет поговорить с Гюисманом и устроить вам какое-нибудь развлечение.

Охранник недоуменно посмотрел на психолога, но промолчал.

У двери № 13 Грегори наклонился и пропелтал пароль. За дверью наверх вела крутая лестница. Грегори пропустил Полынова вперед. Виток за витком — они словно лезли на колокольню.

Наконец лестница завершилась площадкой, на которую выходила всего одна дверь. Грегори постучал, дверь автоматически распахнулась. Грегори остался на площадке.

— Входите, входите, дорогой мой.

Двухслойный стеклянный колпак, заменяющий одну из стен, открывал вид на серебристо-угольный хаос скал, кое-где расчищенных, чтобы дать место циклопическим кубам, замеченным Полыновым при высадке. Сейчас из них не выбивался газ, но перламутровая пелена кое-где стлалась над скалами. Сквозь нее радужно мерцали звезды. Две луны с достоинством вершили свой путь, догоняя друг друга.

— Не правда ли, красиво?

Гюисман, развалившись в кресле, сидел за массивным столом. Слева от него, поблескивая экранами и лакированными головками кнопок, находился пульт. Этот Гюисман не был похож ни на вкрадчивого патера,

ни на свирепого предводителя пиратов. Он учился самодовольством. Величественным жестом Гюисманс указал Полянову на кресло. Психолог сел.

— Так вы, я слышал, собираетесь развлекать наших ребят? — с плохо скрытой издевкой начал Гюисманс.

— Уж если я согласился быть у вас врачом, мой долг — следить за здоровьем людей. А есть признаки неврастении, что в этом космическом логове вполне естественно.

— А, пустяки! Но я рад, что вы начинаете принимать близко к сердцу заботы... пиратов.

Он коротко хохотнул.

— Человек есть человек, и заботиться о нем надо везде, — сказал Полянов.

— Это правильно, это правильно... Хорошо, подумайте, чем развлечь ребят. Вообще вы правы: здесь смущновато.

Гюисманс задумчиво почесал переносицу.

— Поговорим о деле, — отрывисто сказал он, наклоняясь к Полянову. — Вы, конечно, сообразили, что завод, который вы видите за окном, простым пиратам вроде бы ни к чему. И конечно, ломаете голову над этой загадкой. Не пытайтесь меня разуверить, что это не так; по части психологии я еще дам вам сто очков вперед, могли убедиться.

— Я и не пытаюсь.

— Ну и славно. Да... Так слушайте, такого вы ни где не услышите. Бросим с космических холодных высот взгляд на нашу родную, горячо любимую Землю. Что мы видим? Раздоры, противоречия, падение морали, всеобщую неудовлетворенность и беспокойство. Правда, угроза термоядерной войны ослабла...

— Благодаря нашим, а не вашим усилиям. — Полянову доставило удовольствие перебить эту высокопарную речь. Гюисманс недовольно вскинул брови.

— Помолчите. Да, сейчас уже мало стран, которые бы не перекрашивались под социализм. Но это ничего не значит. Огонь не потушен, пламя тлеет, противоречия не сняты, над жизнью людей висят угрозы, исходящие из будущего. Тревога, заботы, голод...

— Неслыханная безработица, вызванная автоматизацией...

— Я сказал: помолчите! Иначе я ничего не скажу!

— Извините, я думал, мы беседуем.

— Беседовать будем после. Здесь говорю я!

И я имею на это право, потому что судьба человечества в моих руках! Так вот. Противоречия не сняты, миру, как тысячи, как сотни, как десятки лет назад, нужен спаситель. Даже больше, потому что дьявольская колесница прогресса мчит нас вслепую и чем далее, тем быстрее. Атомная бомба, за ней водородная, ракеты, генетические яды, лазеры, иаконец, геофизическое оружие! Где предел? Человек перестает быть самим собой, он в папике, он мечется, и напрасно он ищет спасения у болотных идолов социализма!

Гюисманс перевел дыхание и снизил голос.

— Особенno прошу обратить внимание на геофизическое оружие. Земля заполнена в слой озона. Стоит ему разорваться, и мощный ультрафиолет Солнца сожжет все живое. И вот появляется пагубное изобретение возомнившей о себе человеческой мысли — дисан! Крошечная ракета, начиненная дисаном, который поглощает озон, как губка воду, и небо расколото над такой страной, как Англия! Дешевое, неуловимое, портативное оружие, доступное даже для Гаити. Именно поэтому оно не применяется. Сжечь вражескую страну — не велика выгода, если тебе отплатят тем же. Вот почему ни одно государство не может извлечь пользы из обладания этим оружием.

Ни одно государство, заметьте это, Полынов, — государство! А если ракеты с дисаном находятся в руках частных лиц? Смелых, энергичных? Если эти лица пребывают вне Земли, если неизвестно, откуда летят ракеты? А? Вы догадываетесь? Вы, конечно, догадываетесь. Эти люди могут диктовать Земле свою волю. Всей Земле! И безнаказанно!

Полынову стало жутко. К счастью, Гюисманс ничего не видел и ничего не слышал. Он встал, он потирали руки, его костлявые пальцы, казалось, уже хватали мир за горло.

— О да, вы поняли, сколь реальна и ужасна наша власть! Диалектика, чистая диалектика. Когда абсолютного оружия скапливается слишком много, оно рано или поздно обращается в разменную монету. И попадает в руки людей, никому не подконтрольных, избавленных от предрассудков и догматической совести. А если эти люди к тому же воодушевлены идеей, если они организованы, умны, бесстрашны, они могут поставить себя над человечеством. И это свершилось! Я, я стою над человечеством!

— Вы хотите править сожженной Землей, — Полынов надеялся, что его голос не дрожит.

Гюисманс величественно вскинул голову.

— Это оружие бог вложил в руки верных сынов своих. Сжечь Землю? Ни в коем случае. Спасти. Придет час — он близок, — мы объявим о своей власти. Люди поймут, что мы не шутим. А туцицам придется показать маленький опыт. Воочию продемонстрировать наше могущество. Но надеюсь, до этого дела не дойдет. Мы не злодеи, мы хотим добра.

— Если цели добиваются с помощью страха и насилия, то это заведомо гнусная цель.

— В теории таких идеалистов, как ваш Карл Маркс. Мы используем нашу власть не для террора. Мы установим на Земле консервативный социализм!

— Как?! — Полынов чуть не упал с кресла.

— Вы поражены? Прекрасно. Мы твердо рассчитываем, что люди, подобные вам, на первых порах придут точно в такое же замешательство. Однако продолжу анализ. Силой можно добиться всего, силой ничего нельзя удержать. Тут вы правы, права история. Нет, будет по-другому. Человечество само поддержит нас. Само! Слушайте. Первым делом мы потребуем уничтожения оружия. Любого. Всюду. Везде. Осуществим вашу программу, ха-ха... Вы думаете, человечество не возлюбит тех, кто принес ему вечный мир и освобождение от страха? Они возлюбят нас вдвойне еще и потому, что мы скажем: деньги, которые раньше шли на оружие, пойдут на хлеб!

Вы возразите, что ваши друзья очень быстро най-

дут способ напасть на нас? Не успеют. Ибо третий наш лозунг: остановить прогресс! Вы потрясены, вы ужасаетесь? Но миллионы простых людей нас поддержат. Ведь для них прогресс — это прежде всего ядерное, геофизическое и прочее страшненькое оружие. Это автоматы, лишающие их работы. Этим прогрессом они сыты по горло. Они сами — заметьте, сами! — станут уничтожать лаборатории, жечь книги, избивать ученых, потому что втайне они боятся их и ненавидят. А мы снимем запрет страха, мы поможем им организоваться, мы дадим выход их энергии, отчаянию, ненависти. О, пойдут они тем охотней, что их прогресс — всякую там медицину, производство тряпок, телевизоров, автомобилей — мы не тронем. Мы организаторы и вдохновители, только и всего. Мы объединяем желания простых людей, указываем им врага, снимаем с них ответственность. Как великолепно они будут крушить все на своем пути!

Гюисманс перевел дыхание.

— Итак, прогресс остановлен, инакомыслящие скованы. Это не тактика, это стратегия. Консерватизм — какое великое слово! В прошлом веке люди без страха смотрели на небо. Это прогресс заселил их бомбардировщиками и ракетами! Раньше люди не дрожали за судьбу человечества, их не мучили кошмары радиоактивных пустынь. Это прогресс ужаснул человечество! Поэтому да здравствует консерватизм! Будем поjnинать те плоды, что есть, и не тянуться к новым, ибо недаром сказано в библии, «во много знаний и много горя».

Социализм? Это слово стало привлекательным, потому что за ним чудится какой-то выход из тупика, потому что каждый вкладывает в него свою мечту о будущем. Мы используем его. Ведь слово — это обертка, в него можно завернуть что угодно.

Полынов теперь не прерывал Гюисманса. Он внимательно слушал, надеясь, что тот, завороженный собственной речью, скажет что-нибудь лишнее. К тому, похоже, шло. Щеки Гюисманса пошли красными пятнами, ноздри раздувались, в глазах металось еле сдерживаемое исступление.

Но внезапно Гюисманс взял себя в руки. Он молча посмотрел на Полынова, потянул со стола коробочку, повертел ее, открыл и бросил в рот конфету.

— Любопытная философия, правда, не новая, — сказал Полынов, видя, что Гюисманс успокаивается. — Но я не вижу тут позитивной программы. Сжечь, сломать, остановить... Где же благо?

Гюисманс жевал конфету. Удовлетворенно кивнул.

— Ваш вопрос доказывает, что полет мысли гения недоступен обычному человеку. Чего хотят простые люди? Спокойствия. Хлеба. Безопасности. Веры во что-нибудь. Перспективы. Вот наша позитивная программа.

— Вера в бога?

— Да. Но в бога современного, космического. Вы верно выделили главное. Вера — вот цемент нашей программы. Чем больше изучашь человека, тем лучше видишь, что вера для него все равно, что дыхание. Но так уж важно во что: отрицание веры тоже становится верой. Религия была отличной штукой, но она устарела. Любой дурак сейчас может сказать: «бога нет» — вот чем она плоха. А у нас бог будет, реальный, зримый, творящий хлеб, спокойствие, безопасность, перспективу.

— Уж не вы ли?

— О нет! Конечно, пример Гитлера и ему подобных показывает, что человеку занять место бога в наш просвещенный век не так уж трудно. Но у такого бога есть наряду с достоинством серьезные недостатки. Во-первых, у него есть национальность, а это обстоятельство раздражает другие народы. Во-вторых, он смертен, что и вовсе плохо. В-третьих, такой бог не нов, у людей есть кое-какой опыт, и с этим надо считаться. Наш бог будет лишен всех недостатков. Ибо это космический бог!

Уперев руки в стол, Гюисманс наклонился к Полынову.

— Вы не понимаете? Вижу, что нет. Это-то и замечательно. Я не ошибся. На вас можно проверять реакцию того ничтожного меньшинства, которое по ло-

тике вещей окажет нам наибольшее сопротивление. Так вы не поняли? Отлично. Наш бог — это космические пришельцы!

«Да он рехнулся», — мелькнула у Полынова спасительная мысль.

— Ага! — торжествующе вскричал Гюисманс. — Вы настолько потрясены, что думаете, уж не сошел ли я с ума. Нисколько. Это только вы, коммунисты, поете «не бог, не царь и не герой», а люди в глубине души мечтали и мечтают о сильной личности, которая думала бы за них, направляла их, уберегала от необходимости решать самим. Это так! А уж как зовется этот символ — бог, фюрер, космический пришелец, да не все ли равно!

— Вы думаете, мир поверит такой наивной выдумке? — усмехнулся Полынов. — Умных людей немало. И даже обывателя, мещанина, на которого вы делаете ставку, трудно раскачать.

— Вы плохо изучали общественную психологию. Психологию масс! («Увы, — подумал Полынов, — я ее совсем не изучал».) Назовите мне реальность, которая бы так полно и долго владела людьми, как легенда о Христе, Магомете, Будде. Назовите, и я отрекусь от космического бога.

— Отрекайтесь, Гюисманс! Ненависть к угнетателям — раз, стремление к свободе — два, искания правды — три... Хватит? Вот реальности, властвовавшие над людьми задолго до появления ваших легенд! Или вам напомнить о нескончаемой цепи восстаний, революций, которые смели рабство, смели феодалов и сметут с лица земли королей угля, стали, нефти, расистов, фанатиков, фашистов?.. Не потому ли вы так спешите, что петух прошел и вам надо проваливаться в небытие? Не спасли костры, не спасли диктаторы, не спасла ложь, не спасла глупость обывателя... Космический бог? Нет, космическая авантюра, последняя, надеюсь, попытка изменить ход истории. Не выйдет. Ставка на шантаж, дикость, испуг перед трудностями века — старо, старо, старо!

Гюисманс взвился. Видимо, он хотел всего лишь грозно шагнуть к Полынову, но не учел слабой силы

тяжести. И как воздушный шарик воспарил к потолку.

Полынов едва удержался от смеха. Тонконогий кандидат в диктаторы испуганно барабанялся над столом, пытаясь ускорить падение. Крыльями птицы бились полы черного пиджака.

Наконец Гюисманс утвердился в кресле. Он тяжело дышал.

— Не понимаю, — сказал он, избегая взгляда психолога, — как вы упустили такую возможность разделаться со мной...

— Не в вас дело, — брезгливо бросил Полынов. — Дело в тех, кто стоит за вами.

— Так вы ошиблись, — к Гюисмансу возвращалось самообладание. Он вытащил новую конфету и сжевал ее, косясь на Полынова. — Но оставим это, мы слишком горячимся. Я ждал вашей критики, она мне **нужна**: противоречие отлично концентрирует энергию мысли. Кройте дальше. Только без общих слов, пожалуйста. Здесь нет толп рабочих, мы одни. Впрочем, толпа рабочих — это бараны. Всякая толпа — толпа баранов, я изучал. Но ближе к существу. Пока вы привели самое общее возражение, и, черт побери, вы правы. Да, быть может, это последняя ставка. Как видите, я откровенен. Но вы не учили одной малости. Власть мифов все еще сильна, куда сильней власти — как вы любите называть это — эксплуататоров. Мне не нужно, чтобы космический миф господствовал столетия. Хватит нескольких лет. Еще в незапамятные времена некий философ Хань Фэй — мир его праху! — написал ученый трактат, в котором доказывал, что человек в руках высшей власти все равно, что кусок дерева в руках ремесленника. А вскоре император Цинь Ши-хуанди принял этот тезис на вооружение. И кстати, ему удалось остановить прогресс. Темное прошлое, да? Гитлеру не потребовалось столетий для внедрения принципа Хань Фэя в сознание миллионов. А что было у Гитлера? Газеты, кино, микрофоны, гестапо, концлагеря. Кустарщина! В наше время мы располагаем менее грубым и, главное, несравненно более действенным набором. Электронная слежка, детекторы

лжи, звуковые пушки, для которых не существует стен, психотропные вещества, операции памяти для несговорчивых, управление психикой с помощью электромагнитных волн наконец. Представляете, какие это открывает возможности? Правительство одной страны уже ставило кое-какие опыты с комплексом всех этих средств. Независимо от нас, между прочим. Результаты потрясающие. И никакого шума в мире! Так-то. Пройдет год, от силы два, и люди всей Земли будут у нас вот где!

Гюисманс медленно свел пальцы.

— А люди, — продолжал Гюисманс, — дадут нам такую возможность. Я ведь не расшифровал еще один наш принцип — принцип Перспективы. От имени космических пришельцев мы объявим, что если человечество будет следовать нашим указаниям, то оно построит рай на Земле. Сначала я думал назвать этот рай коммунизмом... Вы шокированы? Да, коммунизмом, поскольку его строительством занято подавляющее большинство населения. Но тогда нас дурно поймут какие-нибудь американцы. Нет, придется объявить о каком-нибудь гармоничном будущем, обществе изобилия, кибернетическом коммунизме. Какой символ вам больше нравится?

— Почему бы откровенно не назвать вашу Перспективу неофашизмом?

— Не пойдет: скомпрометированный термин. Так я жду критики, уничтожающей критики, мой друг-враг.

— Интересно, как вы технически провернете свой фокус с космическими пришельцами?

— Это несложно. Они, то есть мы, а вернее, они через... К этому мы еще вернемся. Так вот, они объявят, что давно уже следят за земными делами (тут все вспомнят о летающих тарелочках, таинственных исчезновениях, фресках Тассиля и тому подобной белиберде). Они скажут, что их вмешательство стало необходимым. Но они гуманны, очень гуманны. Никаких покушений на существующие политические системы, уклад жизни, идеологию; они не вмешиваются в классовую и национальную борьбу. Они дают один-един-

ственный приказ: разоружиться. Разоружиться, потому что оружие стало смертельно опасным для человечества. Гуманно? Вполне. Абсолютно в духе сказок о высокоразвитых цивилизациях. Свой приказ они подкрепляют угрозой снять озоновый экран (тут будет пролито немало слез о тягчайшей ответственности, о их нежелании применять силу, о их любви к неразумным людям, которая единственна...). Слушатели будут всхлипывать от умиления, гарантирую. Почему озоновое оружие, а не какие-нибудь суперлуки, подобающие высокоразвитой цивилизации? Да в силу все той же гуманности, черт побери! Они не хотят подавлять своим могуществом, они не хотят лишних жертв, поэтому берут чисто земное оружие... Накрученено и здесь будет отлично.

А потом они будут давать только советы. Советы, и ничего больше. Совет временно остановить (хотя мы знаем, что навсегда) прогресс. Совет следовать их советам, чтобы построить рай на Земле...

— Космический бог в роли анонима. Пустой крючок.

— Ерунда! Да мы, если потребуется, покажем их по телевидению. И зрители увидят — ха-ха! — электромагнитное облако. Покажем им животных, пейзажики их планеты... А знаете, кто будет говорить от их имени? Думаете, я? База? Ничего подобного. Открыть базу — значит выдать подлог. Нет. От их имени будет говорить... Держитесь крепче. Вы!

— Я?!

— Не вы один, конечно. Весь экипаж корабля, который был приглашен пришельцами в гости для выяснения ряда деталей. Все вспомнят необъяснимое исчезновение «Антиноя» (это даже ученых кое в чем убедит). Пришельцы решили ближе познакомиться с представителями человечества, те пришли в восторг от мудрости и гуманности братьев по разуму. И сами — учите, сами! — убедили их вмешаться в земные дела. Ну и, разумеется, стали их апостолами. Недурно придумано, а?

— А если пассажиры не согласятся?

— Во-первых, среди них были наши люди. Во-вто-

рых, большинство пассажиров уже согласились. В-третьих, у нас есть возможности убедить остальных. В крайнем случае без некоторых мы можем обойтись. Но ваше участие очень, очень желательно. Почему? Да потому, что вы единственный человек оттуда. Есть, правда, еще один коммунист — Бергер. Весьма приличный человек, он быстро воспринимает доводы. Но вы... Ваше имя кое-что значит. Кроме того, нам нужны умные союзники. Но я жажду услышать критику.

— Что тут критиковать? Ваша затея просто обречена на провал.

— Любопытно все же узнать почему.

— По тысяче причин. Вас раскусят. И очень быстро.

— Пусть. Гитлера тоже раскусили, это ему не помешало.

— Вы забываете и о таких мелочах, как наши внеземные станции, поселки на других планетах, космический флот. Вас трудно обнаружить, это ваш плюс. Но также трудно обнаружить и тех, кто разыщет вас и уничтожит.

— Учтено. Не выйдет.

— Наконец, вы забываете о главном. Вы делаете ставку на испуганного обывателя, на мещанина, на особенности их психологии. Очень несложные особенности. «Лишь та боль — боль, которая моя», «лишь тот вкус верен, который мой», «хорошо то, что хорошо мне», «лишь мои представления о мире правильные», «человек человеку — волк». Но мещанин — это не человечество, это не рабочие, не интеллигенты, не крестьяне, хотя мещане есть среди них всех. Это носители определенной психологии, которую выработали века насилия, бескультурия, подавления в человеке человека. Людей, свободных от этой психологии, на моей родине подавляющее большинство. Уверен, что даже в уцелевших капиталистических странах их число выросло. Так что ваша духовная, так сказать, база со временем Гитлера заметно сузилась.

Но даже не в этом суть. Эта психология начисто лишена творческих начал. Она опасна лишь в соеди-

нении с неподконтрольной властью, с вами, ее родителями, воспитателями, охранителями. А ваше время прошло, вы это прекрасно знаете. Разве то, о чем вы говорите, это власть? Это шантаж, это отчаяние. Тот, кто послал вас сюда — а вас послали, не делайте изумленных глаз, — мыслил глупо. Пусть-де они, то есть вы, ломают себе шею. Их проигрыш ничем мне не грозит, а удача... Они полагают, что ваша удача спасет их. Не спасет. Нельзя отменить противоречия между теми, у кого в руках палка, и теми, на кого эта палка обрушивается. Тюрьма никогда не побеждала стремления к свободе, тупость не могла загасить творчества, стремление человека быть человеком никогда не мирилось с системой, убивающей человека в человеке. Найдите мне в истории пример долговечной тирании, и я признаю, что не прав. Но вы его не найдете, этого одного-единственного примера. И не думайте, что ваш новый электронно-биологический концлагерь будет крепче прежних. Лучшего идеала, чем тот, который был найден Марксом и Лениным, у человечества не было и нет. И миллионы это поняли, идеал выдержал испытания, отсюда ваш страх, отсюда ваши бескоечные авантюры.

Кстати, ваша последняя авантюра грозит не только вам. Все тайное рано или поздно становится явным. Вы поняли, что будет, когда человечество узнает о вашем заговоре?

Гюнсманн слушал, падменно улыбаясь. Однако многоопытный софист впервые не бросился в атаку, когда Полянов замолчал.

— Вы ужасно расстроили меня своими глупостями, — сказал он после недолгого молчания. — Но я, слава богу, отходчив. Так вы отказываетесь сотрудничать с нами?

«Слишком прямолинейно, — отметил про себя Полянов. — Он торопится».

— Пока я не говорю ни да, ни нет, — теперь Полянов развалился в кресле, словно его больше ничто не тревожило. — Вы поражены? Не все же вам удивлять меня... Я привык обдумывать свои поступки, сейчас у меня такой возможности нет. Помните два преж-

них разговора? Взвесив все, я тогда изменил свое принятное в запальчивости решение. Мне и теперь нужно все взвесить, проанализировать ваши доводы, в них много серьезного. Сколько времени вы можете мне дать?

Гюисманс пригладил жиденькие волосы и задумался. Лучи солнца, перепрыгивая за окном с вершины на вершину, ударили в стеклянный колпак. Стекло густо потемнело. Зажгли дополнительные лампы, их белесый свет убрал тени, усталое лицо Гюисманса побледнело, веки дрогнули. Он мигнул, в который уже раз потянулся к коробке с конфетами, выбрал одну, пососал, сморщился.

— У вас больной зуб? — вдруг спросил Полынов.

Гюисманс кивнул. Языком он катал за щекой конфету. Напротив Полынова сидел просто утомленный пожилой человек в патриархальной черной тройке. Обыкновенный, каких на Земле тысячи.

Докончив жевать конфету, Гюисманс выпрямился, губы его сжались.

— Много времени я вам не дам. Думайте быстрей. Я хочу, чтобы вы были с нами по доброй воле. А не захотите, все равно станете апостолом космического бога. Но вы уже не будете Полыновым. Нет, подождите. Прошу полюбоваться.

Гюисманс нажал кнопку. Крайний экран на пульте засветился. Его заполнили ряды остроносых ракет. Их головки самодовольно лоснились, они были очень чистенькие и аккуратные, эти ракеты. Их было много.

— А как вам нравится это?

Гюисманс переключил изображение. За сборочным конвейером стояли люди. Кое-кого Полынов узнал: это были пассажиры «Антиноя». Слева стоял Бергер, бесстрашный вольнодумец Бергер. Однообразным движением он вставлял в головки ракет желтые полуупрозрачные капсулы.

— Остальные не лучше, Полынов.

Полынов окинул взглядом кабинет. Если бы сюда собрались все его друзья, для Гюисманса тут просто не осталось бы места — не надо было бы и рук ма-

рать. Но они далеко, они ничего не знают. Они работают, читают, смеются, любят и не подозревают, что им грозит. Мы были слишком беспечными, слишком мало думали о ядовитых поганках, притаившихся в будущем. Слишком увлечены собой и своими заботами.

— Я подумаю, — сказал он.

Грегори отконвоировал его обратно. Свет в камере зажегся, едва он переступил порог. Крис в камере не было.

**6. Господин и раб** Жизнь почему-то не любит однообразия. События или нагнетаются так, что у человека перехватывает дыхание, или вдруг без видимой причины все стихает, время тянетя ровно и однообразно.

Никого, казалось, больше не интересовал Полынов. Он мог выходить из камеры когда ему вздумается, разгуливать, часами сидеть в больнице — для заговорщиков он словно перестал существовать. Но Полынов не заблуждался. Это всего лишь новая уловка. Истерзать человека бездельем, тревожным ожиданием, а потом нанести внезапный удар.

Девушка исчезла бесследно. Спрятанные в коридоре микрофоны игнорировали его вопросы. Лишний щелчок по самолюбию. Лишнее напоминание о том, что он крепко вожат в когтях. Месть Гюисманса за сопротивление. Пытка тревогой, тревогой за Крис.

Странный пациент зашел еще раз. Дело шло на лад, но напрасно Полынов ждал его третьего прихода. Электрик не появлялся, и Полынова это встревожило.

Заглянули еще двое охранников. Они жаловались на мелкие недуги, держались настороженно, и Полынов ничего не смог извлечь из их посещения.

Никого из пленников он так и не увидел. С теми охранниками, которые поцарапались Полынову в коридоре, он не смог перемолвиться и словом. Они сразу подбирались, их рукичи непроизвольно тянулись к оружию. Бедняги, они даже взмокали от тягостного недоумения: почему этому типу позволяют разгуливать?

Вероятно, Гюисманс встревожился бы, узнав, зачем Полынов так тщательно наводит порядок в хозяйстве больницы. Но психолог все время был на виду, он с дотошной тщательностью вытирая пыль, устанавливал пузырьки с лекарствами так, чтобы ничего не нужно было искать, долго проверял настройку аппаратуры — короче, вел себя как человек, которому здесь работать и работать. А то, что в его карманах исчезали кое-какие медикаменты, этого наблюдатель не мог заметить, потому что помещение просматривалось с двух точек, и уж Полынов позаботился, чтобы в нужный момент его руки не попадали в поле зрения соглядатая.

И нужно было быть специалистом, чтобы понять, какой ценностью обладали ампулы с миксоналом, несколько комочеков ваты, пузырек с раствором азотокислого серебра и микроанализатор. Когда все эти предметы очутились у него, Полынов тотчас поставил маленький опыт. Неаккуратно пролив три капли нашатырного спирта, он немного помедлил и прошел в свою камеру. Там, лежа ничком на тюфяке, он украдкой взглянул на анализатор. Показания прибора несказанно его обрадовали: база, как он и ожидал, была оборудована типовой схемой вентиляции и воздухоочистки.

Полынов нисколько не сомневался, что тюремщики и не подозревают о дьявольских возможностях похищенного им миксонала. Иначе это лекарство находилось бы за семью замками. Но оно лежало открыто, его ничего не стоило взять. Лишнее доказательство общезвестной истины, что предусмотреть все невозможно. Никому и нигде. Ошибкой всех тюремщиков была недооценка ума и знаний. Иначе, впрочем, и быть не могло. Тюремщики, кем бы они ни были, не задумываются, отчего со времен фараонов грубая, бесчеловечная сила часто побеждала, но еще ни разу не победила. Правда, если бы они это поняли, на свете давно бы не осталось тюремщиков.

Ликовать, однако, было преждевременно. У Полынова теперь было оружие, но воспользоваться им он не мог. Система переходов, запоров, паролей базы по-пре-

жнему оставалась для него загадкой. Не знал он и того, есть ли у него союзники среди заключенных, готовые на все. А прийти за ним могли в любую минуту. И конечно, Гюисман не преувеличивал, говоря, что есть способы заставить его стать тем, кем нужно. Последние достижения психотехники были известны Полынову. Правда, после такой операции у человека прежней остается только внешность, но в конце концов им на худой случай мог пригодиться и такой Полынов — со стертым памятью, механическими движениями и улыбкой годовалого младенца. Опытный режиссер у них, разумеется, найдется: уж как-нибудь они разыграют телепостановку с его участием.

Полынов все же успел продумать, как ему в нужный момент обезвредить электронного соглядатая в больнице так, чтобы это не вызвало подозрений. Но воспользоваться этим своим планом он не успел...

Войдя однажды в столовую, Полынов уловил слабый запах ландышей. Подавив волнение, он прошелся вправо и вперед, пытаясь определить источник запаха. Ему уже не накрывали на стол, он сам снимал тарелки с «подноса». Это было кстати. Он опустил раздатчик, ухватившись за шарниры, и как бы невзначай коснулся паза сочленений. Есть! Палец нашарил втиснутый туда кюмочек бумаги. Теперь и палец благорухал ландышами — любимыми, как он знал, духами Крис.

Как ни в чем не бывало он доел обед, хотя каждая минута промедления стоила ему неимоверных усилий. Записку он развернул лишь в больнице. Для этого пришлось вспомнить школьные навыки чтения шпаргалок под перекрестными взглядами учителей.

«Андрей! — буквы торопливо догоняли друг друга. — Я жива и здоровая. Сижу вместе с сенаторшей (помнишь?) и другими дамами. Они уговаривают смириться, а я не хочу, это омерзительно, что нам предлагаю. Работаем на заводе, совсем как рабы. От всех требуют участия в операции «космический бог» (ты, конечно, знаешь). Но соглашаются не все, тогда их уводят, и ужас какими они возвращаются. Меня пока не водили, но я боюсь...»

Дальше шли какие-то непонятные каракули, но Полынов прочел их без труда. Еще там, на корабле, они договорились о шифре, и Полынов научил Крис им пользоваться.

Записка неистово пахла ландышами, не иначе Крис опрокинула на нее весь флакон. Полынов с сожалением сжег ее на спиртовке. И тут он заметил, что его пальцы дрожат. Он строго посмотрел на них, дрожь унялась. Закралась мысль: как было бы хорошо, если бы миксонал мог распространиться по всем помещениям базы. Если бы он мог убивать. И для него хорошо, и для Крис, и для Земли. Увы, миксонал не мог ни того, ни другого.

Он слышал, как кто-то вошел, слышал тяжелые шаги, однако головы не повернул.

— Эй, док, да вы никак грустите? — Грегори плюхнулся на стул, так что тот заскрипел. — Плюньте. Были бы вы, как я, на войне, никогда бы ни о чем не горевали.

— Чего вы хотите? — устало спросил Полынов.

— Радости, док, радости. Забыли разговор?

Полынов еще не видел охранника таким распоясанным. Он держал руки в карманах, сидел, небрежно вытянув ноги, нагло подмигивал, его прямо-таки распирало самодовольство. Движением бровей Полынов многозначительно показал на гнезда с телевизионной аппаратурой.

Грегори весело захохотал.

— У слухачей маленькая техническая неполадка, док! Они ослепли и оглохли. Мы успеем договориться.

— Вот как... И долго будет длиться неполадка? — Полынов снова был готов к бою.

— Да уж час повозятся как пить дать. Парням тоже хочется горяченького. Вот они и устроили нам мужской разговор. Вы только подумайте. Бутылка виски на три дня, наш шеф импотент, не иначе. Так будет спирт?

«Зато ваш шеф понимает, чем грозит пьянство в космосе, — подумал Полынов. — Так тебе хочется вспасть напиться... Это дорого обойдется твоему холеному телу».

— Ладно, — сказал он вслух. — Но бизнес есть бизнес. Задарма ничего не дается.

— Конечно! Сколько?

— Мне не нужны деньги. Мне нужны пароли, мне нужно знать расположение помещений, нужно знать, сколько вас.

Грегори побледнел.

— Это измена... я...

Он инстинктивно схватился за пистолет. Полынов широко улыбался.

— Как вы полагаете, дорогой, зачем мне эти сведения?

Грегори подобрался, как перед прыжком. Он тупо соображал.

— Чтобы удрать! — радостно гаркнул он. — Не выйдет.

Он вскочил и выхватил пистолет.

— Скажи, Грегори, — Полынов продолжал улыбаться, — может один невооруженный человек удрать с базы? Нет? Ты прекрасно знаешь, что нет. Так зачем, по-твоему, мне эти сведения?

Охранник не спускал с Полынова глаз. Видно было, каких усилий стоила ему попытка догадаться.

— А все очень просто, — продолжал Полынов. — При игре лучше всего знать карты противника, так?

— Еще бы.

— У меня с твоим шефом своя игра, свой бизнес. Однако он знает мои карты, а я нет. Это мне не нравится. Бизнес есть бизнес.

— Ага! Это умно. — Грегори снова сел, но пистолета не выпустил. — Но меня это не устраивает. За такие штучки я самставил к стенке.

Вместо ответа Полынов наклонился к сейфу, отпер его и вынул колбу со спиртом. Взболтнул жидкость.

— Нет, док. — Грегори даже вздохнул. — Не пойдет.

— Никто не узнает.

Грегори кивнул. Вдруг его лицо просияло.

— Отдашь за так! Иначе я расскажу, как ты хотел подкупить меня.

— И получишь пулю в лоб. За спирт и за...

психолог помедлил, — за маленькую техническую неисправность.

Грегори угрожающе выпятил челюсть. Это он умел делать, это у него отлично получалось.

— Грозить задумал, гад...

Он сжал литые кулаки и шагнул к Полянову.

— Осторожней, нас подслушивают, — тихо сказал тот.

На этот раз Грегори сообразил мгновенно. Одним прыжком он долетел до двери и рванул ее. На пороге стоял Амин.

Взревев, Грегори втащил Амина за шиворот, захлопнул дверь и бросил его на колени.

— Падаль, падаль... — остервенело дышал Грегори. — Подслушивать... Ну, ты плохо меня знаешь...

Он пнул Амина. Но тот и не стремился оправдываться: он открыто и с ненавистью смотрел на Грегори. В ответ на удар, который подбросил бы его под потолок, не схватись он за ножку стола, Амин медленно и зло усмехнулся.

— Я скажу, и тебя...

Грегори на секунду окаменел.

— Так, — сказал он угрожающе. — Так. Испугать думашь? Я сотнями давил желтомазых, ты пополнишь список.

Он схватил Амина за руку и резко вывернул ее. Смуглое лицо Амина побледнело, он даже не мог кричать, из горла рвался хрип. Да, Грегори был мастер своего дела.

— Не сметь! — крикнул Полянов.

— Не путайся, док, зашибу, — пообещал Грегори. — А с тобой мы поговорим, Амин. Что, плохо, собака? Будет хуже. Кого кусаешь, падаль желторотая?.. А ну, клянись своим богом, что будешь молчать, ну...

Амин осел на пол. Его зрачки закатились, слепо белели бельма.

Грегори чуть отпустил руку.

— Очухался? Клянись, собака...

Амин что-то пробормотал.

— Не то! — Грегори снова дернул руку. Амин застонал. — Я вашу клятву знаю, говори как нужно...

Полынов не разобрал, что бормочет жертва. Но Грегори был удовлетворен ее прерывающимся шепотом. Он схватил Амина, словно нашкодившего щенка, поднял и вышвырнул в пустой коридор.

— Все они такие сволочи, док, — Грегори брезгливо вытер руки о мундир. — А слух у тебя...

Он с уважением посмотрел на психолога.

— Думаешь, не проболтается? — спросил Полынов.

— Ха! Он же истово верует в своего бога! С деревенщицой приятно иметь дело, надо лишь знать, как с ними обращаться. А уж я-то знаю! Ладно, давай спирт!

— Пароли.

— Слушай, не беси меня. Я ведь прикончу тебя раньше, чем ты пикнешь. За попытку к бегству. Соображаешь?

— Вполне. Амину ты серьезно повредил руку?

— А что?

— Пришли его ко мне.

— Зачем?

— Вправлю вывих.

— Тыфу, с тобой о деле...

— Спирт я тебе дам, если пришлешь.

— Ого! Сердечный ты человек, как я погляжу... Сентиментальнейский. Черт с тобой, давай спирт, пришлю. Вправляй руку мертвцу...

— Что?

— Ничего. С доносчиками у меня свой солдатский счет, тебя не касается.

Когда спирт очутился во фляжке Грегори, тот, дойдя до двери, вдруг обернулся.

— Слушай, док, я честный человек. Ты дал мне спирт, а я тебе в случае чего дам быструю смерть. Вот и будем квиты.

— И на том спасибо.

Дверь закрылась.

«Вот она, честность палача, — горько усмехнулся Полынов. — А ведь он ушел, гордый своим благородством».

Грегори выполнил обещание. Не прошло и пятнадцати минут, как Амин очутился перед Полыновым.

Маленький крестьянин по-прежнему был бесстрастен, будто ничего и не произошло. Он безропотно дал осмотреть руку, не дернулся, не застонал, когда Полынов вправил вывих, и не сказал ни слова благодарности. Он уже хотел встать и уйти, но Полынов остановил его.

— Вы знаете, что Грегори прикончит вас?  
Только веки дрогнули.

— Не верите?

— Я поклялся.

— Это не спасет вас.

На Полынова в упор смотрели темные, равнодушные, как у рыбы, глаза. Полынов растерялся.

— Вы знаете, зачем вы здесь, на базе?

— Мне заплатят много денег, и я куплю землю.

— Зачем?

— Много земли — много господин.

От Полынова ускользал последний шанс.

— Грегори убьет вас за то, что вы подслушали разговор. И у вас не будет земли, — с расстановкой сказал он.

Молчание.

«Понимает он или не понимает?» — недоумевал Полынов.

— Он господин, — вдруг сказал Амин.

— Но вы же шпионили за ним!

Снова молчание.

— И потом, какой он вам господин, вы оба солдаты.

— Сильный всегда господин.

— Я тоже?

— Ты слабый.

— А если я окажусь сильнее всех, я тоже стану господином?

— Да.

— И если ты станешь сильнее всех?..

— Да. Господином.

— Зачем?

- Так всегда.
- У нас не так, слышал?
- Всегда так.
- А если я сделаю тебя господином над Грегори, над всеми?
- Ты не сможешь.
- Если поможешь мне — смогу.
- Нет.
- Попробуй.
- Я тебе не верю, у тебя нет святого.
- Я верю в человека, это у меня святое.
- В меня?
- Пока ты раб — не верю.
- Я раб? Ты говоришь как Грегори, как все.
- Ты раб, потому что признаешь над собой господина. Сбрось его — и ты человек. А для Грегори ты всегда раб.
- Я господин, тогда я твой бог?
- Человек — это не раб и не господин. Понимаешь?
- Нет. Ты хочешь убить Грегори, убить всех — понимаю. Бога твоего — не понимаю.
- Ты хочешь, чтобы я убил Грегори, убил всех?
- Да, если не меня. Но ты не сможешь. Ты слабый.
- Вот как... Нет, я сильнее всех! Видишь?
- Чем беднее ум, жестче навыки, уже кругозор, тем легче человек поддается внушению. Полянов встал, торжественно коснулся плеча Амина.
- Ты не можешь шевельнуть руками, — убежденно сказал он. — Не можешь. И не пытайся. Они окаменели.
- Амин дернулся. Он пытался поднять руки; они не повиновались. В его глазах метнулся страх. Бедняга слишком привык находиться под чужим влиянием, сейчас он был беззащитен.
- Полянов вытащил у него пистолет, подкинул на ладони.
- Это ты видишь?
- Внезапно Амин упал со стула на колени.
- Ты сильный, ты сильный! — закричал он. —

Сильнее всех: никто Амина еще не делал камнем! Ты убьешь Грегори, спасешь меня, мой господин! Амин знает, что тебе нужно, Амин все скажет...

— Говори!

— Амин прав: ты хороший господин. Расколдуй меня, расколдуй, Амин все скажет! Когда Грегори убит, ты спасешь меня, дашь денег, много денег, я куплю землю, куплю сына Грегори, буду ему плевать...

Минут через десять Полынов знал все.

Оставил письмо, наконец, один, он долго не мог успокоиться. Такого он не ожидал. Это превосходило его понимание. Он не подозревал раньше, сколь велика и страшна власть чуда над такими, как Амин. Не знал, как истово веруют они в чудо, как жаждут его, как слепо идут за тем, кто посулит им чудо. Неважно кто, неважно зачем... Их приучили повиноваться силе, безропотно, бездумно, а за чудом им видится огромная, сверхъестественная сила.

Полынова тряслось от омерзения.

**7. „Зеленый ад“** Он ничего не успел предпринять.

Цоканье магнитных присосок, шаги, дверь отлетела — перед Полыновым, непреклонный как судьба, стоял Гюисманс. За его спиной маячил охранник.

— Хватит! — резко, не дав Полынову собраться с мыслями, сказал Гюисманс. — Время бесед и размышлений истекло. Да или нет?

— Уже? — вырвалось у Полынова. — Я не успел... Еще час, два...

Он лихорадочно соображал. Предательство? Случайность? Разгаданный ход?

— Странно, нерешительность не в вашем характере, — Гюисманс по-наполеоновски скрестил руки. — Ни секунды! Великий час пробил! Да или нет?

— Нет!

Мгновение назад Полынов хотел сказать «да», чтобы выиграть время. Не выдержал, сдали нервы, не справились с ненавистью и омерзением...

— Жаль. Гюнтер!

Охранник вытянулся.

— Взять! В камеру пыток! Девчонка уже там?

— Так точно!

— Милейший, — Гюисманс повернулся к Полынову, — вам будет для начала показано редкое зрелище. Вам и ее не жаль?

Гюисманс не успел увернуться. Но ярость ослепила Полынова, и удар пришелся неточно. Охранник прыгнул на психолога, выламывая руки. Гюисманс, прислонившись к стене, держался за щеку.

— Если вы думаете... Если вы думаете, что я пристрелю вас... Нет. Я дождусь, когда вы взмолитесь, когда вы будете на коленях ползать... А вы будете! И тогда я полюбуюсь вами. Увести!

Полынов шел, кипя от ярости. Так сорваться! Он презирал себя.

Машинально он все же отметил, что не слышит за собой шагов Гюисманса. Он искоса глянул через плечо. В двух метрах сзади, как конвоир по земному уставу и полагалось, вышагивал охранник с лайтингом наперевес. И больше в коридоре никого. Решение пришло внезапно. Раз этому олуху невдомек разница между Землей и астероидом...

Когда они проходили мимо комнаты с восковыми фигурами, у Полынова вдруг подвернулась нога. Падая, он что есть силы оттолкнулся от стены. Прежде чем охранник успел сообразить, Полынов, словно ракета, пролетел разделяющее их пространство. Страшный удар ногой в живот бросил охранника на пол. Он истошно взвыл, закатывая глаза. Перевернувшись в воздухе, Полынов перехватил падающий лайтинг. Удар прикладом по голове оборвал вопль охранника.

Дробя эхом тишину, заголосила сирена: за ними следили, конечно. Полынов метнулся в комнату с восковыми фигурами, полоснул лучом лайтинга по гнезду с телеаппаратурой, прикладом срубил выключатель. Свет потух, в темноте зловеще замерзала морда чудовища.

Полынов выхватил из кармана ампулы с миксоналом, флакон с солью, вату. Смочил ее, заткнул ноздри.

Хрустнуло раздавленное стекло ампул. Полынов залег в углу, взяв дверь на прицел. Сердце бешено стучало. Снаружи топали башмаки охранников.

— Здесь! Сюда!

Толчая за дверью.

— Эй, выходи!

Полынов не отвечал. Он считал секунды.

— Выходи добром! Все равно выкурим!

Выкурят, сообразил Полынов. Они не такие дураки, чтобы ворваться и поставить себя под выстрел. Швырнут какую-нибудь дрянь. Газовую гранату. Ждут, пока их доставят.

Полынов на ощупь проокрался к двери, резко толкнул ее, чтобы миксонал быстрей попал в коридор. Отпрянул назад. Снаружи тоже отпрянули. В распахнутую дверь влетел лиловый луч — что-то грохнулось, рассыпалось искрами.

— Не сметь! — бешено заорал динамик в коридоре. — Идиоты!

Полынов чуть не расхохстался. Они стреляли в Простого среднего человека. От восковой фигуры остался пар. «И у них шалят нервы», — с удовольствием отметил Полынов.

Долгая, невыразимо долгая для Полынова минута настороженной тишины.

И вдруг...

Коридор будто взорвался.

— Крылья, крылья, лечу!..

— Сколько ходов, сколько ходов, прекрасных голубых ходов...

— Да вы с ума... Уберите змею-ю-ю...

Полынов перевел дыхание. «Так, господа, вы еще не знаете, что такое миксонал? Сейчас вы узнаете. Дышите, дышите глубже, пусть снятся вам сны наяву, какие вам еще никогда не снились».

Он встретился взглядом с фосфоресцирующими глазами воскового чудовища. Не помешает. Подхватив под мышку длинное сплюстое туловище зверя, он вытолкнул его в коридор и тотчас, навскидку ударил лучом по телеглазу. Одному, второму. С потолка обрушился дождь осколков.

— А-а-а!..

Нечеловеческий вопль завибрировал на самой высокой ноте и оборвался.

Полынов выскочил. Пятеро охранников, шатаясь, тыкались во все стороны, как слепые. Их челюсти отвисли, словно в неоконченном зевке. По подбородкам стекала слюна. Рослый детина пытался вогнать в рот дуло лайтинга. Нечаянно он дернул спуск. Раздался негромкий хлопок. Полынов прикрыл глаза. Что-то теплое брызнуло ему на руки, в лицо. С глухим стуком осело тело. Полынов побежал, поскользнулся, едва удержав равновесие. Дышать мешала заткнутая в ноздри вата.

Вслед неслось шипящее бормотание.

— Ш-ш-шарство небесное виш-ш-шу...

— Я-я-яблоко не убе... х... х...

— Хде-е-е...

Плита, запирающая коридор, попала, повинувшись патрулю, вверх. Полынова едва не сшиб бегущий навстречу охранник. В обеих руках тот держал по газовой гранате. Опомниться охранник не успел: Полынов чиркнул ему по горлу ребром ладони.

Сунув в карман пару гранат, Полынов скатился по склону освещенной лестнице. Исследовать, где спрятан телеглаз, уже не было времени. Сзади надрывалась сирена. Теперь все зависело от того, как скоро враги сообразят, что отрава крадется к ним по воздуховодам, как скоро они включат фильтры.

От лестницы узкий ход шел и налево и направо. Полынов лихорадочно соображал. Он метнулся в одну сторону, в другую и тут увидел колодец. Крутые ступени, сбегающие в колодец, упирались в железную дверь. Прыжок — весом своего тела Полынов распахнул ее.

В лицо ударил яркий свет. Посреди камеры возвышался стол непонятной конструкции. Над ним с блока свисали веревки. В углу, возле оцинкованного стола, фыркала газовая горелка, на решетке вишнево светились раскаленные прутья. Над жаровней, что-то поправляя, склонился широкозадый, похожий на жабу человек. Рядом, прикованная к стене, стояла Крис.

Человек стремительно обернулся. На нем был фартук мясника. Полынов выстрелил, прежде чем узнал его. Большеголовый — с его лица не успела сползти глуповатая растерянность — упал, сбив собой жаровню.

Крис рванулась. Ее рот был раскрыт в беззвучном крике. Полынов что есть силы дернул на себя держащее цепи кольцо. Оно даже не дрогнуло. Полынов растерянно огляделся, схватил со стола какое-то орудие пытки, похожее на клещи — это и оказались клещи, — перекусил у запястий звеня цепи. Девушка упала на колени. Она попыталась встать и не смогла. Полынов рывком поднял ее.

— Что? — крикнул он, заглядывая в залитое слезами, смеющееся лицо.

Крис билась в его руках. Церемониться было некогда. Полынов замахнулся, чтобы пощечиной прекратить истерику.

Но Крис увернулась.

— Уже... Не надо... Сами!

Платье у нее на плече было порвано, она попыталась приладить лоскут. Другой рукой, наклонясь, она скользнула под фартук Большеголового, вытащила из кобуры пистолет. Полынов заметил на лице Большеголового две глубокие царапины от ногтей.

— Скорей, Крис!

Что-то скрипнуло сзади. Полынов порывисто обернулся; ему показалось, что он опять видит страшный сон: массивная дверь камеры лениво стронулась с места и затворилась.

— Птички думают улететь... — хихикинуло в углу.

Полынов ринулся к двери.

— Поздно, поздно! — услышал он в динамике знакомый насмешливый голос. — Твоя выходка с миксоналом недурна, но я предрекал, что тебя погубит благородство. Ты в ловушке, Полынов, ха-ха... Как ты мог забыть, что двери с электромагнитным запором способны закрываться сами, не пойму. Ну и сиди теперь, жди... Советую рассмотреть внимательней наши орудия производства.

Голос смолк.

Крис медленно повернула к себе дуло пистолета, завороженно уставилась в черный врачок. Ее лицо заострилось, глаза утонули в темных полукружьях.

— Спокойно, Крис...

Полынов отвел дергающийся пистолет, разжал пальцы.

— Это всегда успеется, — он даже смог ей улыбнуться.

Подняв лайтинг, он тщательно прицелился и аккуратно, точно гнездо клопов, выжег в углу ячейку подслушивания. Потом достал ватку, смочил ее, протянул Крис.

— Возьми. Кажется, Гюисманс не заметил одной своей ошибки.

Он припал на колено, утвердил лайтинг и, как по ниточке, полоснул лучом по стыку двери со стеной. Вспыхнула, лопаясь, краска, багрово засветился ровный шов. Поднялся едкий дым, па пол закапал металл. Полынов, не отпуская курка, быстро водил лучом.

— Не прожигает! — Крис сжала кулаки.

— И не надо. Эти запоры не терпят нагрева.

Дверь дрогнула, издала кряхтящий звук и приотворилась. Полынов отпрыгнул в сторону и увлек за собой Крис. Он ждал выстрелов. Их не было. Над колодцем не торчали дула лайтингов. Откуда-то издали доносились глухой шум, неразборчивые выкрики. Видимо, миксонал успел основательно затронуть базу.

Полынов взбежал по лестнице. За ним едва успевала Крис. Он выкрикнул пароль. Но щит стоял как влитой.

Случилось то, чего Полынов так боялся. Противник успел перекрыть все подступы к жизненно важным узлам базы. Теперь, выйдя из одной мышеловки, они попросту попали в другую — более просторную. Полынов безнадежно посмотрел на индикатор заряда лайтинга. Так и есть: достаточно для боя, но не для взлома перемычек.

— Ну, Крис, — на него навалилось отчаяние, — здесь нам придется схватиться с бандой в последний раз. Назад, в колодец! Там неплохой окопчик.

Он все-таки высмотрел, где тут спрятан телеглаз,

и по дороге к колодцу уничтожил его, а заодно и плафон. Теперь они могли видеть противника, а он их нет.

— Неужели все? — вырвалось у Крис, когда они залегли.

— Да, все. Бери на прицел левый коридор. И успокойся, у тебя дрожит пистолет.

— Я его возьму обеими руками. Они скоро придут?

— Не знаю. Вероятно, им сейчас не до нас, управляются с неразберихой. Минут через десять-двадцать, должно быть.

— Тогда я успею успокоиться.

— Конечно. Ты молодец. Учи, пистолет реактивный, без отдачи.

— Учту. Знаешь, о такой смерти я и мечтала.

— Что-о?

— В бою, не в постели. Чтобы быстро, не ждать, не думать об этом. Жаль, рано. Не успела пожить.

— Ах, так... Это всегда бывает слишком рано.

— Нет. Я хотела любить пока можно. И шестерых детей. Большего мне не надо.

— У меня все это было. Кроме детей. И многое другое. Этого мало.

— Может быть. Видишь, рука у меня больше не дрожит.

— Так и надо.

Они ждали. Минута проходила за минутой, смутный шум вдали не утихал.

— Скорей бы, — не выдержала Крис. Она прижалась плечом к Полыному и торопливо запептала: — Поцелуй меня, быстро... А то я разревусь.

Полынов наклонился, поцеловал ее в сухие, расщекавшиеся губы. Она несмело ответила, потом отстранилась, замерла, как мышь. У Полынова заколотилось сердце от нежности.

Нельзя, остановил он себя. Думай о тенях, которые заполнят сейчас коридор, думай о том, как не попасть к ним в лапы живым. Не надо зря терзаться. Замысел был неплох, им просто не повезло. Ракеты уйдут на Землю. Аккуратные остроносые ракеты.

Ему показалось, что впереди, наконец, мелькнул чей-то силуэт. Он прицелился. Лайтинг не успел остыть, жгло щеку.

И вдруг он ослеп. Разом погасли все лампы. Темнота упала, как обвал.

— Ой!

— Молчи! — Полынов вскочил. Отчаяния как не бывало. — Наша берет!

В темноте он нащупал руку Крис, потянул ее за собой.

— Но что это... Авария?

— Помощь, помощь, Крис... Осторожно, ступеньки...

— Я ничего не вижу...

— Я вижу. Держись... Двери! Нет тока — всюду пройдем...

Полынов не преувеличивал: опыт работы в космосе научил его ориентироваться там, где это казалось немыслимым. И первый же щит, который они нашарили, легко поддался их дружным усилиям.

Натыкаясь на выступы, распахнутые двери, сдирая пальцы в кровь, они куда-то спускались, куда-то бежали. То и дело мелькали фонари охранников, одетых в скафандры, хотя действие миксонала должно уже было кончиться. Кто-то кого-то звал, кому-то приказывал: крики, ругань, бред тех, кто успел надышаться отравы, создавали полнейшую неразбериху.

Полынов и Крис падали, едва к ним приближался луч света; один охранник даже споткнулся о вытянутые ноги Полынова и в сердцах стукнул его прикладом. Охранник истерически взвизгнул, когда навстречу выскочил, ошалело паля из лайтинга, его глотнувший миксонала приятель. Полынов и Крис поспешили отползти. Сумасшедшего быстро прикончили. Полынов, используя сумятицу, швырнул туда газовую гранату. Она лопнула, вызвав новый взрыв ужаса. Из пещерной тьмы, рикошетируя, полетели чьи-то пули.

Внезапно Полынов уперся во что-то мягкое. Оно дернулось и сказали:

— Ад зеленый, вовсе не огненный...

— Да, да, конечно, — согласился Полынов, увертываясь от шарящих пальцев.

Мечущийся свет фонарей и выстрелы помогали ему отыскивать дорогу. В самом нижнем коридоре было относительно спокойно, и беглецы перевели дыхание.

— Страхуй меня сзади, Крис, — сказал Полынов.

— Где мы?

— Здесь должен быть вход в цех. Ага, вот он!

— Осторожно, там надсмотрщики!

— Ерунда. Но хотел бы я знать...

Он чуть приотворил дверь. Вырвалась бледная полоска света. Полынов облегченно вздохнул: заводская аварийная сеть, как он и ожидал, была автономной.

Секунду подождав, чтобы глаза привыкли к свету, он ринулся внутрь.

Цех был невелик, во всех направлениях, бросая широкие тени, его пересекали трубопроводы. По оси, выстроившись в ряд, стояли какие-то аппараты, похожие на гигантские восьмигранные масленки. Пролет перекрывал прозрачный купол с противометеорным зонтом. Сквозь него просвечивали радужные звезды.

В центре, у постамента аппарата, сгрудилась кучка людей. Сейчас в них трудно было признать элегантных пассажиров «Антиноя». Они стояли, закинув руки на затылок, спиной к взявшим их на прицел четырем охранникам. Пятый сидел, положив лайтинг на колени, в стеклянной будке под куполом. Оттуда ему был виден весь цех.

Полынов выстрелил по будке. Брызнули стекла. Сзади щелкнул пистолет Крис. Она не хвасталась своим умением стрелять: один из надсмотрщиков упал, даже не вскрикнув.

— Руки вверх! — заорал Полынов, вскакивая на постамент соседней «масленки».

Если бы охранники не оцепенели от неожиданности, ему бы пришел конец, потому что он не мог быть из лайтинга по врагам: строй заключенных смешался и луч зацепил бы кого-нибудь. Он увидел вскинутое

оружие, но в то же мгновение охранник исчез под грудой тел. Остальные прилежно тянули руки вверх. Их тоже окружили, сбили с ног.

Кто-то, как крыса, метнулся в тень. Полынов не знал, друг или враг, и не стал стрелять. Но Крис, очевидно, знала, ее пистолет снова щелкнул, и человек споткнулся. Мелькнуло перекошенное лицо; Полынов последний раз встретился взглядом с Бергером. Тот упал. «Вот даже как», — успел подумать Полынов.

Не все заключенные вели себя одинаково. Кое-кто как упал, так и остался лежать, прикрыв голову. Но основное ядро действовало стремительно и организованно. К Полынову подскочил высокий чернявый парень в разодранной форме экипажа «Антиноя».

— Морис, — он вытянулся, как для рапорта. — Подпольная группа Сопротивления к бою готова! Как в концлагерях...

Он не удержался и лихо подмигнул. Второй глаз у него заплыл — видимо, ему довелось побывать в камере пыток.

— Я знаю о вас из записки Крис. — Полынов торопливо пожал протянутую руку. — Ваш план?

— Мы намечали перекрыть процесс, поднять давление в трубопроводах. Завод взлетит. Ваше мнение?

— Только атака. Нас здесь прихлопнут, как зайцев.

— Их много! Может, лучше взорвать?

— Они уже взорваны, там вы поймете. Атака тремя группами. Вот схема боя...

— Безоружным?

— Идти. Брать оружие убитых. Громче кричать. Только не «ура!». Всякую чушь. Больше шума.

— Не понимаю...

— Сообразите на месте. Помните: каждый должен постоянно выкрикивать «Зеленый ад!». Так мы будем узнавать своих. Победа близка. Вперед!

Штурмовые группы заключенных нырнули во мрак, и бой начался — нелепый, отчаянный, странный. То была свалка в кромешной темноте, раздираемой вспышками лайтингов, воплями, лучами фонариков.

Бой, где враг был по врагу, а свой терял друзей, где не было ни фронта, ни тыла, где все решали доли секунды, где отчаяние боролось с ловкостью, страх с решимостью. На стороне нападающих были внезапность, не успевшее угаснуть действие миксонала, понимание того, что происходит, точное знание цели. У противника каждый дрался сам за себя, плохо соображая, кто напал, откуда, сколько их. Зато охранники имели богатый опыт стычек, и было их больше... И они куда лучше знали свою базу. Там, где охранники успели собраться в группы и наладить командование, их ответная атака была ужасной. Они косили лучами лайтингов, не разбирая, кто перед ними — свои или чужие.

У Полынова и Крис уже был опыт странствований вслепую. Избегая схваток, они прокрались наверх, к энергоотсеку. Полынов отчаянно торопился, прекрасно понимая, что, если на базу будет дан свет, заключенных сомнут в два счета.

Он осторожно выглянуул из-за угла. Внутри отсека шарили два луча фонариков, выхватывая то бетонные плоскости стен, то мраморную белизну распределительного щита, то развороченные внутренности диспетчерского пульта. Беззвучно, нервно шла какая-то спешная работа, поблескивали инструменты, огромные тени прыгали за плечами склонившихся над пультом людей.

Крис неосторожно зацепила что-то локтем. Фонари словно задул. Ярчайшая вспышка ослепила Полынова, кинжалный луч опалил волосы, но Крис успела выстрелить в третьего притаившегося охранника, в плюнувший огнем глаз — и он потух.

Грохот, визг бетонных осколков в долю секунды сменила тишина, нарушаемая лишь отзвуками дальнего боя. Потерявшие друг друга из виду противники замерли. Лайтинги на ощупь искали в темноте прицела. Каждый сдерживал дыхание, сознавая, что первый же шорох станет последним.

Вдруг что-то звякнуло над головой Полынова. Инстинктивно он вскинул лайтинг, и тотчас шум за пультом выдал уловку противника. Он швырнул инстру-

мент, чтобы на мгновение отвлечь внимание и скрыться. Полынов торопливо нажал спуск. Слишком поздно: луч багровым фонтанчиком отразился от захлопывающейся двери. Враги бежали, оставив противнику поле боя.

Полынов включил еще по пути отобранный у мертвого охранника фонарик, привалил ко второй двери стол.

— Постереги вход, Крис!

Он наклонился над пультом. Аппаратура была разрушена толково. Виновник аварии не просто повредил трансферы блока управления энергосистемой; он умудрился подключить к ним такое напряжение, что они спеклись в сплошную зеленоватую массу, приварились к керамическим панелям. Их нельзя было вынуть и заменить, сначала требовалось выбить образовавшийся монолит, отскоблить и привести в порядок контакты. Этим и занимались застигнутые врасплох охранники. Рядом, на пульте, лежали запасные трансферы.

Полынов перевел круг света на автономный блок аварийного освещения. Умелая рука поработала и тут, но то ли человеку помешали, то ли у него был свой умывал — здесь трансферы были лишь разбиты, а проводка оборвана и перепутана. Блок уже почти восстановили. Полынов и Крис появились вовремя. Еще минут десять, и повсюду вспыхнули бы аварийные лампы.

Закрепляя в ячейках монокристаллы трансферов, Полынов жадно прислушивался к замирающим звукам боя. Изредка доносились выкрики «Зеленый ад!». Но кто побеждал? Если свои — надо включать свет. Если враги... Понять, на чьей стороне победа, не было никакой возможности.

— Вот что, Крис...

Полынов перевел свет фонарика. Девушка стояла, прислонившись к косяку, обеими руками поддерживая выставленный вперед пистолет. На ее правом плече расползлось темное пятно.

— Ранена?!

— Пустяк... Цараннуло...

Он быстро осмотрел плечо и облегченно вздохнул. Ничего опасного. Но крови вышло много, и Полынова удивило, как она еще держится после ранения и стольких испытаний. Он отодрал рукав своей рубашки и туго перстнянул плечо. То, что предстояло теперь сделать, пугало Полынова, но другого выхода он не видел.

— Слушай, дружок... — Он старался, чтобы голос не выдал его опасений. — Придется тебе еще продержаться. Ну, полчаса...

— Одна?

— От этого все зависит. Я на радиостанцию. Видишь это соединение? Приладишь — будет свет... Ты должна, понимаешь, должна выдержать и дать ток через пятнадцать минут, дать ток... Тогда, кто бы ни победил, я успею послать в космос сообщение. Понимаешь?

Она все понимала, она кивала, она старалась не упасть, она клялась честным словом, что не боится, что продержится.

Полынов отобрал у убитого охранника фонарик и лайтинг.

— Не надо, — прошептала Крис. — Не удержу... Пистолет... И сесть...

Он пошарил кругом света в поисках стула. Луч фонаря наткнулся на лежащее ничком тело. Полынов перевернул труп и медленно поднял руку, словно обнажая голову.

— Травка, зеленая травка, — пробормотал он. — Да...

— Кто это? — без интереса спросила Крис.

— Наш спаситель.

— Кто?

— Потом, Крис. Садись. И...

— Возвращайся...

— Вернусь.

Он не посмотрел на Крис, затворяя дверь. Он чувствовал себя предателем. Но так нужно, нужно...

К своему удивлению, он проделал путь беспрепятственно. Пахло горелым, под ногами что-то хрустело, то и дело попадались убитые, но живых не было вид-

но. Лишь эхо далеких выстрелов свидетельствовало, что еще не все кончено.

Радиостанция оказалась в полном порядке, если не считать распахнутых створок несгораемого шкафа и нескольких упавших на пол бумажек. Полынов на всякий случай сунул в карман эти узкие полоски, испещренные какими-то условными знаками. Сам шкаф был пуст — видимо, его содержимое перепрятали по тревоге в более надежное место. Или уничтожили, разбираясь было некогда.

Полынов включил каскады усиления, поставил развертку волны в положение «Всем, всем, всем» и стал ждать. Если они потерпели поражение, то теперь судьба Земли во многом зависит от стойкости никому не известной девушки — Крис.

Но кто-то ведь должен застопорить собой колеса человеконенавистнической машины. Они еще будут кружиться, не Гюисман, так другие постараются, чтобы они подмяли Землю в тот самый момент, когда человечеству кажется, что оно вот-вот бесповоротно расстанется с темным прошлым. Авантура следует за авантюрией, все ожесточенней, все отчаянней, все хитрее. Фашисты торопятся напялить чужие одежды, прикрыться ненавистными им лозунгами, чтобы вернее подобраться к живому сердцу. Торопятся, пока в арсеналах есть оружие, в сейфах — деньги, в руках — палка, в типографиях — послушные ротаторы. Пока не иссякли колодцы духовного рабства, невежества, слепоты. Используют любую ошибку, любую фразу, перекрывают, где могут, каналы человечности, замазывают от свежего ветра любые щели, пеленают мысль, чтобы люди не видели, не слышали, не догадывались, откуда на них ползет машина.

Легко будет потомкам взвешивать промахи: как это их предки видя — не видели, думая — не думали, борясь — не замечали врага за спиной. Им — умудренным, человечным жителям коммунизма — быть и судить, это неизбежно. Сам Полынов без страха думал об этом грядущем суде. Приговор будет вынесен сущности, а не видимости, делам, а не словам, и потому он будет справедливым. Тревожно, однако, знание, что

каждый твой поступок со временем получит точную оценку; тревожно и ответственно. В пору позавидовать нищете тех, кого заботит лишь тот приговор, который выносится при жизни. Но это все равно, что позавидовать амебе, ибо для нее нет будущего и нет поэтому ответственности перед будущим. А если не хочешь быть амебой-человеком, то тревога за будущее — твой спутник до конца дней.

Пятнадцать минут истекли. Пятнадцать минут, которые, быть может, решали судьбу миллионов. Свет не включился.

Неожиданно для себя Полынов ощущил не отчаяние, а безразличие. Слишком много испытаний для одного человека. Слишком. Это предел для него. Он слишком устал.

Все же он заставил себя получить забаррикадировать дверь. Еще не все потеряно с гибелю Крис, пытался он себя ободрить. Рано или поздно кто-нибудь даст ток. Тогда, если прежде его не обнаружат и не убьют, он успеет предупредить Землю. Не так важно, что будет потом.

В том, что Крис большие нет, он не сомневался.

Но свет внезапно вспыхнул. Мигающий, тусклый, вполнакала. Полынов ошеломленно следил за биением неоновых огоньков включенной аппаратуры. Он понял, что это конец. С таким напряжением в питающей сети радиограмму послать невозможно.

По двери грохнул удар.

— Сдавайтесь!!!

Баррикада из столов и стульев затрещала.

Полынов сел, поднял лайтинг. Машинально прикинул толщину двери, прицелился, плавно нажал спуск.

Луч не вылетел.

Все поплыло перед глазами Полынова. Он бешено тряс бесполезное оружие, как будто можно было исправить ошибку, вернуть лайтингу израсходованные в бою заряды. Дверь, треща, приоткрывалась, тесня баррикаду.

Полынов перехватил лайтинг как дубину, кинулся навстречу просунувшемуся в щель стволу, чтобы сбить его прежде, чем он плюнет смертью.

В последний миг психолог увидел перед собой бледное лицо врага...

— Полынов! — отчаянно закричал тот.

У Полынова обмякли руки.

— Морис...

Секунду спустя они, нервно смеясь, стиснули друг друга в объятиях.

— А я тебя чуть...

— Но я ведь тоже...

— Ох, боже мой, Полынов...

Психолог опомнился первым.

— Так мы победили?!

Морис растерянно посмотрел на Полынова.

— Хотел бы я знать... Моя группа погибла. Вся.

— Так. — Полынов снова был как взвешенная пружина. — Ясно. Радио знаешь?

— Еще бы! Связист «Антиоя».

— Останешься здесь. Я — в энергоотсек. Попробую наладить ток. Если удастся, радиограмму Земле немедленно!

— Понял. Лайтинг, ты забыл лайтинг!

— Эту памятку моей глупости?

Морис все понял.

У первого же убитого Полынов подобрал оружие и на этот раз тщательно проверил заряд.

Стены, пол, потолок переходов были вспаханы лучами лайтингов. В мигающем свете поблескивали осколки стекла. Больше всего Полынова поразила чья-то металлическая пуговица, вплавленная в бетон потолка.

Потрясала тишина. Ни звука, ни стона, ни движений. Теперь, когда вспыхнул свет, все живое попряталось, затаилось, потому что никто не знал, кто победитель, а кто побежденный.

Но едва Полынов свернулся к энергоотсеку, как из ниши метнулась тень. Охранник упал на колени, и торопливый выстрел Полынова пронзил пустоту.

— Не бей, не бей, хозяин!

— Амин?! — Полынов опустил лайтинг.

— Я, я! Ты обещал...

— Встать! Взять оружие! Никого не подпускать! Стрелять только в охранников!

— Слышаюсь... Я служу... Грегори — пух! — мертв. Я убил его! Многих убил!

— Хорошо, хорошо, потом...

У входа в отсек, обнявшись, как братья, лежали двое: пассажир «Антиноя», седой, величественный профессор космологии Джерри Карк и Грегори. Их скосил один и тот же луч.

Полышов поспешил перешагнуть через мертвцевов. Рванул дверь.

Он увидел привалившуюся к пульту Крис, увидел прыгающий в ее руке пистолет, увидел наставленное на него дуло...

— Ай!..

Крик девушки — последнее, что он услышал, прежде чем на него обрушилась звенящая чернота. А потом звон смолк, и все смолкло.

**9. Нокаут** Словно ветер кинул издали порыв смутных голосов. И пришла боль.

Он удивился: откуда могла прийти боль, если у него нет тела? Из темноты?

Но тело внезапно ожило. И дало ответ, что боль в нем самом, что он лежит, что запястья сжимают чьи-то пальцы, а вот звуки — они действительно идут из темноты.

Он поспешил отдать телу приказ встряхнуться, почувствовать себя, чтобы оно снова не растаяло, не ушло от него.

Резко зазвенело в голове, ему показалось, что он падает вниз, а оттуда, тесня черноту, скользит свет, скользит дикий пейзаж скал. Изображение ниже, ниже — селектор связи, чем-то очень знакомый стол; изображение колыхнулось, всплыли чьи-то лица... Крис! Он узнал Крис. Стоя на коленях, она что-то шепчет, закрыв глаза. Словно молитву читает. Губы у нее совсем черные, и вокруг запавших глаз тоже чернота. Да это молитва и есть — он различает слова.

Все стало на место. Был бой, был ад, был целящийся в него глаз пистолета, он лежит в кабинете Гюисманса, Крис здесь...

— Мы победили?..

Крис дернулась, как от удара тока. Сияющая, изумленная радость преобразила ее лицо.

— Жив, жив, жив...

Она уткнулась лицом ему в ладонь. Ладони стало мокро и горячо.

— Жив, конечно, — незнакомый голос и незнакомое лицо, широкое, благообразное, с трясущимися щеками, надвинулись одновременно. — Полынов, как вы себя чувствуете?

— Отлично, — сказал Полынов, не слишком покривив душой. Силы быстро возвращались к нему.

Он попробовал приподняться.

— Ничего, ничего, можно, — благообразный засуетился, подкладывая ему под спину подушку. — Маленький шок, ничего... Мисс удачно промахнулась.

Полынов ощупал повязку на голове. Тренированным усилием воли приглушил боль в правой части лба.

— Это я, я виновата... — Крис всхлипывала, судорожно сжимая руку Полынова, словно тот мог внезапно исчезнуть.

— Полно, ну полно... — Полынов растерянно погладил ее разметавшиеся волосы. — Морис... Он жив?

— Тут!

Француз скользнул к изголовью. Вид у него был истерзанный, но держался он по-прежнему браво.

— Можно? — шепотом спросил он благообразного.

— Можно или нельзя, — уже довольно твердо сказал Полынов, — говорите.

— Да, да, — поспешно закивал благообразный, с каким-то испугом косясь на Полынова, — все можно. С моего разрешения, конечно! — поспешил он добавить.

— Тогда докладываю, — Морис помедлил. — Значит, так. Нас уцелело шестеро. Противник в основном уничтожен.

— Точнее.

— Убитых девятнадцать, раненых семеро, в бреду — пятеро, скрылись трое. Мы еще не успели обшарить всю базу.

— Победа все-таки... Гюисман?

- Спрятался.
- А, черт!
- Что он может сделать в одиночку?
- Хм... Ладно. На Землю сообщили?
- Морис сконфуженно отвел взгляд.
- Я долго ждал, но...
- Но лучше с напряжением не стало. Дальше.
- Я побежал к вам. Тут Крис и... Мы перетащили вас сюда, поскольку здесь командный центр и...
- Понятно. Когда вы вернулись, радиостанция была уже испорчена?
- Да.
- Еще бы. На месте Гюисманса я сделал бы то же самое. Почему мигал свет — выяснили?
- Несчастная случайность. Крис очень ослабла, был обморок, потом она все-таки включила, но...
- Я ударилась плечом...
- Она повредила...
- Неважно, Крис! Прости, Морис... Маленькая, — Полынов заставил девушку приподнять голову, — маленькая, я... надо было сразу спросить, как ты...
- Болит... — Крис робко улыбнулась. — Нет, нет, я совсем оправилась! Это не я в тебя выстрелила, это мой страх...
- Забудь, Крис. Морис, как расставлены посты?
- Мы, четверо, здесь. Пятый стережет энергоотсек, шестой охраняет нас. Да, тут один охранник сам сдался и сказал, что вы...
- Это Амин. Тяжелый случай... Ладно, верните ему оружие, сейчас и такой союзник кстати. Но мне не нравится, как расставлены посты. Любой уцелевший бандит, если у него не совсем отшибло смелость, может...
- Мне тоже не нравится. И есть еще люди, которые...
- Это кто?
- Бывшие заключенные. — Морис брезгливо усмехнулся. — Те, которые сразу после освобождения забились в щели.
- Отлично! Найти, раздать оружие, пусть ловят уцелевших охранников.

— Этой мрази оружие! Да они же с радостью признали Гюисманса своим фюрером!

— Неважно. Сейчас сила у нас, значит, для них просто нет другого выхода, как помогать нам. Да они теперь с визгом бросятся выполнять любой наш приказ, лишь бы реабилитировать себя.

— Как хотите, Полынов, но доверять этим трусам, этим проституткам...

— Именно поэтому им сейчас и можно доверять. Страх за собственную шкуру, знаешь ли, очень способствует правильному пониманию вещей.

Морис проворчал что-то, но спорить больше не стал.

— Можно идти? — спросил он.

— Да.

Морис ушел.

— Крис, — тотчас сказал Полынов, — стереги вход. А к вам, доктор, у меня несколько вопросов, раз на большее я пока не гожусь.

В глазах благообразного мелькнул прежний испуг. Дрожащей рукой он вытащил из кармана очки с треснувшим стеклом и не сразу смог приладить их.

— Вы... вы меня знаете? Меня, Ли Берга?

— Врача, чье место я занял на базе? Конечно. Кто еще мог точно сказать Морису, сколько бандитов уцелело?

— Ах да, верно. Что вы хотели спросить? Я...

— Успокойтесь, я знаю, что вы искупили свое преступление или свою глупость, называйте это как хотите. Кто конкретно стоит за Гюисмансом?

— Не знаю... Честное слово!

— Верю. Жаль, что вы не знаете.

— Я — не они! Не скрою, мои взгляды...

— Интеллигентные по форме, фашистские по существу...

— Нет! То есть да... Вы правы, — голос доктора упал. — Нет, нет, только не фашистские, только не это слово! И потом я же...

— Никто не собирается судить вас, — неожиданно мягко сказал Полынов.

Крис, стоя у двери, с недоумением следила за разговором.

— Но я ничего не понимаю, — наконец решила она вмешаться. — Доктор Ли Берг такой же заключенный, как и мы, он дрался вместе со всеми...

— Такой же, да не совсем, — перебил ее Полынов. — Верно, доктор?

— Верно, верно, — прошептал Ли Берг. Возбуждение покинуло его, а вместе с возбуждением и силы. Он тяжело опустился на стул. — Спрашивайте, я все расскажу, мне нельзя ничего скрывать.

— Дорогой Ли, я же сказал — здесь не суд, а вы не подсудимый. Еще раз говорю, успокойтесь. Я уже достаточно окреп и могу избавить вас от неприятного рассказа. Я скажу за вас все, а вы поправите, если что не так. Хорошо?

Ли Берг машинально кивнул.

— Так вот. — Полынов прикрыл глаза. — Вы были хорошим специалистом, но очень, очень реакционно настроенным человеком. Вы этого не скрывали, вы этим гордились. Кроме того, у вас был опыт работы в космосе. Так?

— Так. Но откуда... Вы не могли знать мое прошлое!

— И вот в один прекрасный день, — продолжал Полынов, — вам было сделано очень заманчивое предложение. Год...

— Полтора.

— Полтора года работы на исследовательской базе в поясе астероидов. За бешеные деньги. Вы даже удивились, какие деньги вам посулили.

— Да, удивился и...

— И согласились, хотя кое-что вас смущало. Некоторая таинственность, например.

— Верно.

— Но, так или иначе, вы очутились здесь и сразу увидели, что это никакая не научная станция...

— Раньше, я понял это раньше! Нас, специалистов, везли всех вместе. Боже, вот это были фашисты! Но окончательно все открылось здесь.

— С вами поговорили. Обстоятельно, дружелюбно. В духе ваших теорий вам объяснили, зачем вы здесь. И поначалу план вам даже нравился...

— Нет!

— Да.

— Вы правы... — Несколько секунд губы Ли Берга беззвучно шевелились. — Вы правы, — к нему, наконец, вернулся голос. — Некоторые аспекты этого плана содержали в себе рациональное зерно. Единая власть над всеми народами, единый дух, единая цель... Но методы, методы!

— Это вас и отпугнуло. Когда вы поняли, какой ценой будет оплачено торжество ваших идей...

— Я заявил решительный протест! Я против...

— Вас долго и по-всякому уговаривали. Но вы...

— Я был непреклонен! Я был возмущен профанацией возвышенных философских идей, я сказал об этом открыто!

— И вас отправили на завод. Работать под дулом пистолета.

— И плетьью... — прошептал Ли Берг.

— До нашего прибытия рядом с вами работали темные, неграмотные, забитые солдаты, набранные из всевозможных иностранных легионов.

— Откуда вы и это знаете?

— Это же просто. Кто необходим для осуществления первого этапа операции «космический бог»? Во-первых, строители базы. Они уже мертвы. Боюсь, что на Земле их считают казненными... в некоторых земных тюрьмах. Во-вторых, требовалось молодчики без чести и совести. Охранники. Их набрали в основном из «белых легионов»: лучшего источника трудно найти. Затем рабочие — одновременно солдаты — на завод. Ведь белые легионеры не слишком обожают чернью работу. Эти солдаты — рабы, как я уже сказал, были извлечены все из той же клоаки неоколониальных войн. Сделать это было тем легче, что ремесло убийц стало теперь уж чересчур опасным. В-третьих, нужны были специалисты. Вроде вас. Отбирали тех, кто уже был умом и сердцем на стороне гюисмановского неофашизма. Конечно, в таком сложном и нервном деле не обошлось без накладок. Вы, например. И еще один. Электрик.

— Эриберт?! — воскликнул Ли Берг. — Не может быть! Этот отъявленный...

— Он оказался гибче вас. Согласился, принял, присягнул. И... в первый же день явился ко мне прощупывать. И в первый раз и во второй он ходил вокруг меня, как голодный кот вокруг каши. И мы уже совсем было столковались, но что-то помешало ему прийти на последнюю встречу. Вероятно, его в чем-то заподозрили. Но, так или иначе, мы все обязаны ему спасением. Это он в критическую минуту оставил базу без света. И погиб как герой. Умнейший был человек: сообразил даже, что на заводе свет лучше оставить.

— И все же нам повезло. — Крис тихонько вздохнула. Дверь была приотворена, и краем глаза она следила за лестницей, но ее внимание было поглощено разговором. — Мы везучие, раз все случилось так, как случилось, — повторила она.

— Везучие? — Полынов рассмеялся и с удовлетворением отметил, что смех не отдался в голове звенящей болью. — Конечно, мы везучие. Но не только. Это общее заблуждение, что грубая сила неодолима. А на самом деле она слаба. Потому что опирается она не на людей, а на примитивные автоматы в человеческом обличии. Нет, вы вдумайтесь: в тесноте, в условиях космоса собрано несколько десятков бандитов, взаимно ненавидящих друг друга. Угнетающая обстановка слежки; первы на пределе, потому как и тушице ясно, что противопоставить себя человечеству — безумный риск. Для уничтожения такого «коллектива», находящегося на грани истерики, не нужно бомб, достаточно хорошей паники. Устроить им такую панику, воспользоваться ею — да, это была задача. Тут нам везло.

— И больше не повезет!!!

У Ли Берга отвалилась челюсть. Крис вскрикнула. Поздно. Часть стены успела беззвучно повернуться, Гюисманс держал их на прицеле.

Он взглядом приказал Крис встать. Она, как под гипнозом, встала. С коленей соскользнул лайтинг.

— Игра проиграна, — торжествуя, сказал Гюисманс. — Ваших я заблокировал на заводе, изменник мертв. Радиограмму вы не смогли передать... Все!

— Ты дурак, Гюисманс, — Полынов как ни в чем не бывало поправлял подушку. Он даже не смотрел на врага. — И знаешь почему?

Гюисманс опешил. У него часто задергались губы.

— Ты еще смеешь!.. — прохрипел он.

— Просто я хочу указать на одну твою ошибку.

На Гюисманса страшно было глядеть, так его трясло.

— Нет больше ошибок, нет! — взревел он.

— Ошибка все-таки есть. Великолепный пинок под зад — вот что тебя ждет после случившегося.

На лбу Гюисманса вспухли вены.

— И еще одну ты допустил ошибку, — с расстановкой сказал Полынов. — Роковую причем...

Он помедлил, глядя Гюисмансу прямо в глаза.

— Ты не видишь, что сейчас делается... за твоей спиной! Бей!!! — закричал он.

Гюисманс обернулся как ужаленный. В тот же миг сзади на него обрушилась метко пущенная подушка. Нервы потряс дикий, торжествующий вопль Полынова.

Гюисманс вдруг вскинул руки, рванул, царапая шею, воротник и грохнулся на пол.

Ли Берг, схватившись за сердце, сполз со стула. Крис бросилась к лайтингу.

— Не надо, — сказал Полынов. — Он умер.

Еле владеющий собой Ли Берг подполз к Гюисмансу. Подняв голову, он секунду разглядывал потайной ход, в глубине которого, разумеется, никого не было. Потом перевел взгляд на Гюисманса.

— Мертв, — потрясенно пропел он. — Это чудо...

— Нет, — чуть слышно отозвался Полынов, борясь с нахлынувшей слабостью. — Был шанс, и я им воспользовался. Его убил испуг.

— Боже мой, психологический шок, и он мертв, мертв... — Ли Берг еще никак не мог опомниться. — Но почему, почему он не прикончил нас сразу?

— Почему? Станный вопрос... Его погубила общая для диктаторов черта характера. Они все позоры.

## В КРУГЕ СВЕТА

Все началось неожиданно... Впрочем, я ведь знал и все знали, что так это и будет — неожиданно. Наступит какое-то последнее утро... или день, или вечер, все равно, а потом... потом — это можно было тысячу раз представлять себе по-разному. Но своего, этого варианта я не предвидел. Мне он и сейчас кажется самым невероятным из всего, что могло случиться. Со мной или с кем угодно другим, неважно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума... Да это, наверное, так и есть! Но тогда... что же будет тогда с ними? Они ведь теперь целиком зависят именно от меня, от моего сознания, от моей воли, от моей любви...

По-видимому, я должен торжествовать — моя теория, моя вера победили. Но какая странная, горькая победа! Зачем теперь все это? Кому я расскажу? Им? Но им-то как раз и нельзя ничего рассказывать. Если бы я мог, я бы скрыл от них вообще все. Но этого не скроешь.

Я даже не могу представить себе, что сейчас творится в Париже. Радио умолкло сразу. Кругом все мертвое. По ночам на востоке над холмами встает тусклое багровое зарево. Что это? От свет пожаров, свечение радиации или просто продолжают пытать пережившие людей знаменитые огни ночного Парижа?

Недавно мы с Робером видели фильм... Странный, очень грустный фильм. Я долго не мог отделаться от глубокой печали, которую навеяли кадры этого фильма... Впрочем, там были не кадры в обычном смысле слова, а чередование статических фотоснимков — будто подлинные документы. Третья мировая война там

изображалась так. На Париж (он снят с птичьего полета) ложится тень. Потом тень исчезает — и половина Парижа лежит в развалинах. Трижды падает эта трагическая тень на Париж. Под конец — города нет. Торчат обломки Триумфальной арки, оплавленные, изуродованные конструкции Эйфелевой башни; тени домов, тени улиц. «Немногие уцелевшие укрылись в подвалах дворца Шайо», — говорит печальный голос диктора.

Что ж, может, так оно и есть на деле и где-то укрываются уцелевшие. А может, это пустая надежда... Мы с Робером за последнее время почему-то смотрели много фильмов о грядущей войне. Были очень страшные. Но на меня сильно подействовал этот, американский, не помню, как он назывался. Где от всей Америки уцелел экипаж одной подводной лодки, а от всего человечества — население Австралии. И то на время, все они обречены, незримая волна радиации неотвратимо движется на них. Да... интересно, жив сейчас режиссер, что делал этот фильм? Бряд ли... на таких фильмах капитала не сколотишь, так что атомного убежища у него нет...

Там, в этом фильме, американские моряки долго не могут поверить, что все, вот так сразу, кончено, что нет их семей, нет Америки. Они слышат таинственные беспорядочные радиосигналы откуда-то из Сан-Диего и все надеются: может, кто-то все же остался в живых и вот подает сигналы. Потом оказывается, что по ключу радиции стучала бутылочка из-под кока-колы: она зацепилась за кольцо шторы, колеблемой ветром.

У меня тоже была своя бутылочка... Впрочем, кто знает, что это было, — может, и вправду живая душа. Вон в том доме на склоне холма по вечерам загорался свет. В одном только окне. Раньше — всего неделю назад! — там жила большая семья. Я часто видел детей, носившихся по берегу Сены вперегонки с великолепным серым догоом; видел юношу, ездавшего на мотоцикле; иногда вывозили на кресле старика. Воспоминание об этом старике меня ужасает: а что, если он остался в живых и зажигал свет в своей комнате, чтобы дать о себе знать? Уже два вечера света нет...

Нас семеро тут, в вилле у подножия холма. И это все, что осталось от человечества? Возможно... Вот она, третья мировая война! Год от рождества Христова 19..., июль, солнечный французский июль... До самой последней минуты все верили, что как-то обойдется. Ведь и раньше бывали такие ситуации, что казалось, еще секунда — и все полетит к чертям. Вот и полетело в конце концов. Интересно, кто первым нажал ту знаменитую кнопку? Хотя какая разница теперь...

Снова и снова я думаю: а если еще кто-нибудь уцелел? Не таким странным образом, как мы, а более естественно? Ну, в противоатомных убежищах, например, или на подводных лодках, как в том фильме... Или в горах, где-нибудь в Тибете. Хотя кто знает, где и как это началось... Ну, все равно — не может быть, чтобы всюду так уж одновременно... Где-нибудь по дальше от главных очагов пожара, возможно, успели принять меры. Тогда... Впрочем, что тогда? Медленное угасание? Нет, если спаслось много людей и среди них ученые, кто знает, может, у человечества и есть надежда на спасение, на медленный, трудный путь — куда? Неужели опять в прошлое, по замкнутому кругу? Неужели?..

Странно, что я многого не могу вспомнить уже сейчас, через неделю. Помню мирное, очень ясное и теплое утро. Я собирался ехать в Париж, к Роберу Мерсеру, мы с ним договорились... О чем? Ах да, его опыты с электродами. Он обещал продемонстрировать мне, как это делается. Да, Робер... Я его почему-то теперь боюсь. Впрочем, сейчас я всего боюсь, и самого себя в особенности... Итак, я собирался поехать в Париж... Я помню даже, что вывел машину из гаража... Вот сейчас мне почему-то кажется, что я был в Париже, в кабинете Робера... Нет, это, конечно, чушь, я не мог там быть. Да, это он ко мне приехал, а не я к нему. Он был уже на полпути к нашей вилле, его машина подпрыгнула на шоссе от страшного подземного толчка, он обернулся, увидел вдалеке над холмами сияние яркой вспышки и погнал машину изо всех сил... А мы... да, мы тоже все увидели и поняли. Мы ждали неминуемой гибели, но все же наглоухо закрыли окна и

двери и сели внизу, в большом сумрачном холле. А потом появился Робер. И вместе с ним — отец и Валери.

Вот это самое странное! Почему они именно в эту минуту решили отправиться ко мне? Отца я не видел три года, а Валери... если не считать случайных встреч на улицах и в театрах, мы с ней не виделись уже девятнадцать лет. Почему она... Ну, я понимаю, Шарль умер, а она ведь тоже всегда боялась одиночества... Поэтому так все и вышло тогда, во время войны...

Нет, все это не поддается логическому объяснению. Робер смеется надо мной, он говорит, что моя теория вообще построена не на логике, а на вере. Пусть так, но я не во все могу поверить. Почему именно в этот день отец решил навестить меня? Он говорит — страсть, одиночество. Да, конечно. Одиночество! Они словно сговорились с Валери! Впрочем, оба они хорошо знают, как я всегда боялся одиночества, и понимают, что это объяснение я приму охотней, чем всякое другое. Но ведь Женевьевы умерла три года назад — почему же он только сейчас решил приехать? Тогда, на похоронах Женевьевы, я уговаривал его переехать к нам — он наотрез отказался.

Ну, допустим, он все же передумал. Как-никак ему семьдесят три года, хоть он и выглядит намного моложе. Но Валери! Пускай тысячу раз одиночество — но искать спасения от одиночества в доме своего бывшего мужа, в его семье? И я должен в это верить? Впрочем, Робер прав: она действовала не рассуждая. Как только первый приступ горя миновал, она почувствовала себя бесконечно одинокой и кинулась ко мне, потому что больше было некуда. И потом Констанс — она ведь такая спокойная, мягкая, рассудительная, Валери это знает... Вообще прошло девятнадцать лет, все изменилось и вне и внутри нас... А все же... если это моя любовь удерживает их всех в жизни, то, может быть, моя любовь и собрала их всех здесь в минуту опасности? Это, правда, уж совсем похоже на мистику, но они появились именно в этот момент, все трое... И Робер... А ведь я должен был ехать к нему в Париж... Странно, теперь я уже не могу понять, как мы с ним уговори-

лись, все путается... да, да, лучше не думать об этом, ведь это в конце концов несущественно.

Итак, на исходе первая неделя третьей мировой войны. Мы — возможно, последние остатки человечества — сидим в наглухо замкнутой вилле среди отравленной пустыни. Чего мы ждем, на что надеемся? Конечно, на то, что погибла не вся Земля, что где-то есть люди. Будем держаться до последнего... До последнего — чего? Что нас держит?

Не могу попытать, откуда у меня эта глубокая, подсознательная уверенность, что надо выдержать, что все держится на мне, все зависит от меня. Я не могу объяснить, что это. Просто свойство человека — надеяться вопреки всему? И Робер... Он верит тоже. Почему? Иногда мне кажется: он знает что-то неизвестное мне. Но что? Что можно знать теперь о мире? А вдруг он поймал сигналы? Но как же он может молчать об этом?

*Ну вот, контакт налажен... отчетливость поразительная, я бы не поверил заранее... хотя что удивительного после такой подготовки... Но сколько сможем выдержать мы оба?.. Теперь попробуем включить ток... Это даст передышку... если только... Ну, тут уж приходится действовать наудачу... Будем искать...*

Боже, почему я вдруг вспомнил эту встречу с отцом? Я ее даже и не помнил в общем. А теперь вижу все так ясно, будто мне снова шесть лет и мы сидим с отцом на скамейке в парке Монсо. Вот странно, я впервые вижу, что отец сидит, неловко вытянув правую ногу, и опирается на тросточку, — а ведь верно, он после войны не сразу вернулся домой, долго лежал в лазарете. С ногой было неладно и с легкими, кровохарканье не унималось. Я все это знал со слов матери. А сейчас вижу...

Яркое весеннее солнце, удивительно яркое, даже глаза слепит, но от него весело. Деревья и кусты в легкой желтоватой дымке. Над нашей скамейкой — старый каштан; я оборачиваюсь и вижу, что почки уже лопнули, от них остались клейкие коричневые чешуй-

ки, а листья, очень яркие, глянцевитые, еще не развернулись и похожи на маленькие сморщеные лапки. Я все время верчусь и болтаю ногами. Башмаки у меня стоптанные, на правом — аккуратная маленькая заплатка, закрашенная чернилами. Это мама красила вчера вечером. Отец тоже смотрит на мои башмаки и не то вздыхает, не то кашляет. Лицо у него землистое, усталое. Странно, я даже не помнил, чтоб он носил усы. Ах да, на свадебной фотографии, но там — маленькие, аккуратные, а эти — большие, некрасивые и вниз свисают. Но я сейчас же перевожу взгляд на аллею. Там движется что-то непонятное: половина человека. Это страшно. Я, наверное, не хотел этого помнить, а сейчас я чувствую, как мне было жутко тогда. Бледное, измученное лицо запрокинуто, глаза жмурятся от ярких лучей, рот растянут в гримасе усталости, и кажется, что он беззвучно хохочет.

— Папа, почему он смеется? — с трудом выговариваю я.

— Он не смеется, что ты... — Отец тяжело встает со скамьи, опираясь на палку, и подходит к калеке. — Закуривай, — говорит он и протягивает пачку сигарет. — Где это тебя?

— На Сомме, летом шестнадцатого года. Высота восемьдесят, не слыхал? — хрипло отвечает тот. — Снаряд. Я один в живых остался из всего взвода, а уж лучше бы...

Мне страшно, что отец с ним разговаривает. Я осторожно сзади подбираюсь к отцу и тяну его за рукав.

— Идем! — шепчу я.

— Твой? — равнодушно спрашивает человек. — А меня, конечно, жена вытурила: на что я ей такой! С другим снохалась, пока я по лазаретам валялся. Тебя, ясное дело, не выгонят: ноги при тебе, а что хромаешь чуть... — Он затягивается глубже и болезненно морщится. — Везет людям! Мне вот никогда не везло!

— Мы с женой тоже разошлись, — тихо говорит отец.

Я этого разговора не помнил, могу поклясться. Надо будет спросить отца. И того, что мне говорил отец.

немного позже, в маленьком полутемном кафе на площади Терн, где он угождал меня кофе с ванильной булочкой, я тоже не помнил. Наверное, я был занят лакомой едой — я и сейчас чувствую, какой вкусной мне казалась эта разнесчастная булочка, да оно и не удивительно, жили мы тогда почти впроголодь.

Отец сидит, слегка откинувшись на спинку стула и вытянув ноги. Он говорит тихо, почти бормочет — не мудрено, что я его не слушал тогда.

— Глод, мой мальчик, война — это такая штука... Тебе этого не объяснишь. Но она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает. Но твоя мама, она хорошая женщина, ничего не скажешь, ты ее слушайся, ладно?

Я киваю головой, продолжая уплетать булку. Отец вздыхает и морщится.

— С деньгами вот плохо, — говорит он доверительно, как взрослому. — Работать я пока не могу, сам видишь...

Да, понятно, почему его не принимали ни в один магазин, хоть он был хорошим продавцом. Он хромой, лицо у него истощенное, серое. Мать мне говорила, что он хватался за любую работу, но отовсюду его выгоняли, как только появлялся здоровый и сильный конкурент. Мать была уверена, что, если б не это егоувечье, все сложилось бы иначе и мы жили бы по-прежнему вместе.

— Они все вернулись из окопов какие-то чудные, — говорила она, — но у других это прошло понемногу, а ему, видишь, с работой не повезло, вот он и озлился. А тут еще эта гадина появилась, купила его задешево... Подумаешь, счастье какое — бистро в Бельвилле! Грязная дыра на вонючей улице...

Эти разговоры я хорошо помню, они часто повторялись.

— Мы с тобой будем часто видеться, да, сынок? — бормочет отец и, протянув руку через стол, треплет

меня по голове — рука у него большая и горячая. — И ты на меня никогда не сердись, ладно? Я ведь не виноват, что война была. И никто не виноват. Только — или бы уж всем воевать, чтобы все друг друга понимали, или никому. Никому-то — оно, конечно, лучше...

Он долго молчит. Я смотрю на его длинные смуглые пальцы, отбивающие военный марш на грязном столике, потом перевожу взгляд на темный, в полоску пиджак, на галстук бабочкой. Хозяин кафе оглушительно зевает, я с интересом присматриваюсь к нему: какой он толстый, и вот уж усы так усы! В кафе душно, пахнет ванилью и жженым кофе, с улицы ложится широкий сноп света, надвое разрезая узкий темный зал. Ослепительно сверкают в луче бутылки на стойке. На одной из них — яркая этикетка, изображен негр.

— ...А нам с ней все равно не жить вместе, — бубнит отец. — Ты уж не сердись, малыш. Это все война. А Сесиль не понимает... Только это чистая правда, и ничего уж тут не поделаешь... Если б не эта проклятая война... Может, это и потому, что мы с ней четыре года не виделись...

Вот как это было, значит. Кто знал, что через четверть века я буду опять слышать эти слова: «Война... ничего уже не поделаешь... почти шесть лет, Клод! Если б не эта война... Я думала, что ты не вернешься. Мне ведь сказали, что ты убит... Я ждала... а потом...» Она ждала год. «Всего год», — думаю я. «Целый год одиночества!» — говорит она.

Да, уж этот-то разговор я помню и никогда не забывал. Помню голос Валери, ее лицо — я все время глядел ей в лицо, стараясь понять, что произошло. Очень хорошо помню, как надсадно жужжала большая муха, колотясь о стекло. Помню запах табака в комнате, в нашей комнате. «Ты куришь?» — удивился я. «Нет, нет!» — поспешно ответила Валери. И запнулась. Я увидел белую мужскую сорочку на спинке стула и опять ничего не понял. Я даже обрадовался: мне показалось, что Валери ждала меня и начала готовить одежду. Я шагнул к стулу, взял сорочку, она почему-то

была очень большая. И тогда Валери сказала за моей спиной совсем чужим, сдавленным голосом: «Я... прости меня, Клод... я замужем...» Я круто повернулся, словно меня поленом хватили, и уставился на нее.

Можно тысячу раз все себе представить заранее, и не поверить, и надеяться на лучшее. Мы в лагере узнавали многое — большей частью случайно. У одного всю семью отправили в лагерь, у другого умерла мать, третьего жена бросила. Все это дела обычные, в лагере то и дело слышали такие истории. Но все равно думаешь — нет, со мной этого не будет! Не то что думаешь, а веришь, и все тут. Иначе не выжить. И потом — разные бывают браки. Но мы-то с Валери были созданы друг для друга. Поэтому Валери и оказалась тут, в круге света, через столько лет. Мы просто не представляли любить друг друга никогда. Мы могли годами не видеть друг друга, но если с Валери случалось несчастье, я об этом узнавал. Когда она упала и сломала руку, я увидел это, увидел крутую уличку на Монмартре, увидел, как Валери падает, и ощутил толчок падения и на миг — резкую боль в левой руке. И так было всегда.

А Констанс... Впрочем, что ж! Значит, мне так суждено — любить всю жизнь двух этих женщин, любить по-разному, но одинаково сильно. И теперь обеих одинаково удерживать в жизни своей волей и любовью... И если я не удержу... Нет, я не вынесу этой ответственности, я всего лишь человек, я не могу, чтобы жизнь других людей зависела от того, достаточно ли сильно я люблю... от того, достаточно ли я уверен в своей любви... Этого никто не сможет выдержать, даже самый сильный!..

Что со мной делается? Я немедленно ухожу от размышлений и опасных сомнений, переключаюсь на что-то другое, на воспоминания. Наверное, психика автоматически экранирует очаги слишком сильных переживаний, предохраняясь от перегрузки...

*А, браво! Это ведь он сам придумал! Хорошая мысль, надо ее подкрепить. Но почему он опять волнуется? Что он видит? Фронт... Нет, это ни к чему...*

Не понимаю, что со мной творится... Только что я вспомнил войну... Да нет, даже не вспомнил, не то слово: просто мне показалось, будто я снова сижу на бревне у блиндажа и слушаю, как Селестен Нуаре поет какую-то развеселую песенку. Это линия Мажино в Арденнах, неподалеку от Живе. Ноябрь тридцать девятого года, «странная война», мы, собственно, и не воюем, а стоим на бельгийской границе, мерзнем, мокнем и проклинаем все на свете. Я слушаю песню и ощущаю привычную глухую боль в сердце — это тревога за Валери, тоска по Валери. Вечер после дождя — багровый закат с темно-фиолетовыми рваными тучами, и лужи красные, словно в них кровь, а не вода, и вся холмистая равнина вокруг блестит мрачным, резким блеском. Я смотрю на широкое смуглое лицо Селестена, на его блаженно прижмуренные глаза. Он сидит рядом со мной, я вижу каждую складку на его щи-нели...

И вдруг все исчезло: и песня, и мрачный резкий свет, и сырой ветер... Надо мной сияет летнее солнце, такое ясное, мирное, безмятежное, а войны и в помине нет. Я выхожу из реки на берег, поросший травой, чувствую под босыми ступнями эту примятую шелковистую траву и прохладную, чуть влажную упругую землю, дышу свежестью воды и зелени. Капельки воды высыхают на теле, я чувствую, как приятно они щекочут кожу. Молодость, счастье, ощущение полета! Кажется, касаешься земли только потому, что тебе хочется чувствовать ее прикосновение.

Валери сидит на траве и смеется. Смуглая, кареглазая семнадцатилетняя девчонка. Все исходит от нее: и солнце, и трава, и река, и счастье. Как она красива! А может, и не очень красива, это ведь неважно. Просто — в ней для меня все. Как я жил раньше, не понимаю. Мне уже двадцать два года. Я мог встретить ее раньше, хотя бы на год! Ну, ничего, у нас все впереди.

Валери — в легком платьице, белом, в синих цветах. На загорелых ногах — белые туфельки с пряжками. Темные пушистые кудри коротко подстрижены в круежок — странные прически тогда носили... Впрочем,

Валери все к лицу. Даже серьги. Маленькие золотые, с бирюзой сережки. Я и забыл, что она носила серьги тогда.

Сверкающая река и смеющееся девическое лицо исчезают... Почему я сижу здесь один? Надо пойти посмотреть, что с другими.

Так, Констанс на кухне. Ее светлые волосы светятся в солнечном луче, как корона. В ней и вправду есть что-то царственное: осанка, походка, это лицо, спокойное, ласковое и строгое, редко меняющее выражение... Я прожил с Констанс девятнадцать лет, но до сих пор она мне кажется иногда загадочной. Валери, со всеми ее бесконечными переменами настроения, с ее лицом, на котором отражалось все, даже тень облачка, проплывшего в небе, казалось, оставляла след на этом смуглом подвижном лице, — Валери я знал и понимал всегда. Пока мы не расстались на шесть лет... А Констанс...

Констанс поворачивается ко мне, лицо ее спокойно и светло.

— Ты ошибаешься, — говорит она низким звучным голосом. — Ты не видел в Валери очень важного: ее слабости, ее постоянной потребности в защите. А во мне ты видишь и понимаешь все самое важное. Но тебе все еще хочется видеть во мне черты Валери, и ты не можешь поверить, что мы с ней совсем разные. Не можешь поверить потому, что любишь нас обеих...

Неужели она это сказала? Нет, мне почудилось, должно быть. Констанс опять стоит вполоборота ко мне и помешивает ложкой в кастрюле. Да, теперь, когда нет нашей Софи...

— Ты не должен об этом думать, — быстрее обычного произносит Констанс. — Это от тебя не зависело, ты же сам понимаешь.

Я смотрю на нее, похолодев. Такой совершенной связи у нас никогда еще не было. Что ж, она прямо читает мои мысли? Нет, невозможно. Наверно, она увидела рядом свой образ и образ Валери, уловила мои сомнения. Потом увидела Софи, поняла, что меня терзают угрызения совести.

— Да, Софи — такой, какой я ее видел в последний раз... Она проработала у нас восемнадцать лет, заменила нам мать. Я был уверен, что она в Светлом Круге... И вдруг я понял — нет! Чтò она поняла, чтò почувствовала — не знаю. Она стояла у двери и смотрела на меня своими узкими карими глазами в темных набрякших веках, ее лицо выражало лишь бесконечную усталость. Она медленно развязала передник, положила его на стул у двери, медленно покачала головой. Я молча глядел на ее высокую худую фигуру в синем платье — она так четко вырисовывалась на белом фоне двери. Потом дверь открылась, снова закрылась... Софи уже не было, и я знал, что это значит: ее нет вообще, и я тут виной, моя эгоистическая любовь. Софи была очень нужна мне и всем нам, но, значит, я не любил ее по-настоящему... Еле переступая, я побрел по дому; мне казалось, что уже никого нет: почем я знаю, кого люблю по-настоящему! И сейчас не знаю. Вспоминать о Софи — все равно что поворачивать нож, торчащий в теле; и я знаю, что тут не только угрызения совести, но и тоска и любовь... Почему же я не смог ее удержать?

— Ты понял, что любишь ее лишь после того, как ее уже не стало, — не поворачиваясь ко мне, тихо говорит Констанс.

— Нет, это слишком много, даже для нас с ней! А впрочем — почему бы и нет, в таких условиях? Ведь телепатические способности обостряются в час смерти или смертельной опасности. Правда, обычно в таких случаях речь шла о минутах; сейчас это состояние растянулось на часы и дни... Да, и вот лагерь, там тоже...

И вообще — о чём я думаю? Разве это обычный случай телепатической связи? Разве это не мы с Констанс, не самые близкие друг другу люди, связанные этой странной, загадочной связью уже долгие годы... почти девятнадцать лет? Разве эта способность не могла как угодно обостриться и трансформироваться в таких чудовищных, невероятных условиях? И что я знаю о природе той связи, которая сейчас удерживает всех нас в живых? Робер все-таки прав — то, что я делал, всегда относилось больше к интуиции, чем к логике,

больше к вере, чем к познанию. Но разве это моя вина? Да, я слишком мало знал, я шел на ощупь, добивался случайных результатов и довольствовался ими. Но разве кто-нибудь знает об этом и вправду больше? Больше того, что я постиг путем опыта? Я ведь не ученый — то есть в этой области я не был экспериментатором, не вел продуманных, планомерных исследований, вроде тех, какими занимался последние лет десять «по долгу службы», изучая физиологию ретикулярной формации. Или тех, какие вел Робер со своими пациентами.

Да, странно, что именно Робер после войны начал заниматься парапсихологией, гипнозом, а я — я этого боялся как огня. Единственное, на что я согласился — и то из-за Робера, чтоб быть поближе к нему, чтоб работать в одном институте с ним, — это переключиться на нейрофизиологию: я ведь до войны ею даже не интересовался. Но все равно я занялся вещами, не имеющими прямого отношения к тому, что мне довелось пережить и во время войны и потом... К тому, что определило нашу судьбу сейчас. Вся теория Светлого Круга — если эту отчаянную попытку самозащиты можно назвать теорией! — вся она возникла вне того, чем я занимался как ученый. Да и какая это действительно теория? Просто я всегда боялся одиночества. Два раза после войны было так, что я оставался одиночным среди людей. В третий раз я бы этого не вынес — так мне казалось. А если б я знал, что мне придется выносить взамен одиночества? Если б я мог предвидеть эту утонченную пытку, от которой не может избавить даже самоубийство? Боже, как я был слеп и наивен!

Нет, нет, я ни за что не стал бы заниматься опытами в этом направлении! Мои способности всегда внушиали мне ужас, но в лагере они были хоть полезны людям; а после войны на что они могли пригодиться? Я даже не огорчился, когда чуть не на год вообще утратил этот зловещий дар. Правда, с Констанс эта связь мне была необходима... Впрочем, так ли уж необходима, кто знает? Просто мне казалось так... А если подумать... Но к чему теперь об этом думать, когда все уже случилось так, а не иначе и ничего не исправишь, ничего не вернешь...

Мои способности за этот долгий, чуть ли не двадцатилетний перерыв между войнами ничуть не развились, скорее несколько атрофировались от бездействия, а может, дремали, ожидая этого нового потрясения, чтоб опять проявиться, совсем по-новому, неожиданно, непонятно... Если вдуматься, так оно и было: нужна страшная, неестественная обстановка, нужно предельное напряжение всего организма, чтобы эти странные способности проявились во всю силу. Вероятно, в лагере этому способствовало и крайнее физическое истощение... Ведь недаром йоги и факиры умерщвляют плоть, как и наши христианские святые и пророки... Разве можно себе представить румяного, упитанного пророка?

А после войны это было ни к чему... Наверное, даже с Констанс можно было обойтись без этого, если бы так панически не боялся одиночества, если бы не стремился проникнуть в душу Констанс, связать ее со своей душой той странной связью, которая тогда представлялась мне единственной надежной и прочной в ненадежном и изменчивом мире. Любовь, семья, дети — о, я на личном опыте убедился, как все это зыбко и непрочно! Уходит любовь, распадаются семьи, и дети никого недерживают. Связь с душой Констанс, власть над ее душой казалась мне тогда последней надеждой, единственной защитой от одиночества, перед которым я испытывал панический, заново обострившийся ужас. Никого, кроме Констанс, у меня тогда не было — или так мне казалось. Робер женился, и мне это показалось чуть ли не изменой — ну, глупо, конечно, да что поделаешь, это все из страха перед одиночеством, из-за того, что я уже не мог просиживать целые вечера с Робером, не мог вообще жить с ним в одной квартире, а я боялся уходить от него, боялся до смерти, как пытки, как работы в каменоломне. И Робер это понимал. «Но, видишь ли, я просто не могу не жениться на ней, раз она все эти годы ждала меня», — смущенно сказал он. И это была правда. А впрочем, если бы даже речь шла не о Франсуазе, а о другой: что ж, ему оставаться холостяком во имя лагерной дружбы? Все это было неизбежно. И наша с ним связь была в этих условиях

тоже слишком тесной; она выглядела теперь бессмыс-ленной и даже неделикатной. Робер об этом и не заикнулся, но я сам понимал все и приложил немало усилий, чтобы потом, когда мои телепатические способности снова пробудились, обрывать все спонтанные контакты с Робером; я запрещал себе видеть его.

Светлый Круг — собственно, это очень давний термин, но тогда он не имел такого глубокого и страшного смысла, как сейчас. Я, кажется, впервые применил его, когда в начале нашей совместной жизни рассказывал Констанс о своем прошлом — и о своем страхе перед войной и одиночеством. Я тогда сказал, помнится, что война всегда приносила мне в конечном счете одиночество. «Оба раза было так, — сказал я. — Война разрушила светлый круг любви и счастья, который защищал меня от ударов. И для себя я боюсь войны прежде всего поэтому». Констанс тогда нашла, что «Светлый Круг» — это звучит очень хорошо, и как-то у нас с ней это определение удержалось в обиходе. А я даже не знаю толком, откуда оно взялось. Возможно, из стихов Верлена, где говорится о световом круге под лампой — символе семейного счастья и уюта. И кто мог тогда знать, какой жуткой реальностью обернется этот мирный символ!

Нет, недаром я после войны чурался телепатии, не хотел работать в этой области! Я, правда, следил за тем, что публиковалось во Франции по этому вопросу, читал «Revue Metapsychique», работы Херумьяна, Варколлье, Дюфура, кое-что из американских и русских исследований, но в клинику Робера боялся даже заглядывать. Один раз он меня все-таки затащил к себе, попросил загипнотизировать и вылечить больную, страдающую истерическим параличом, — он никак не мог наладить с ней контакта. Я согласился очень неохотно; к тому же я вовсе не был уверен, что мне удастся проделать такой опыт в обычных, не лагерных условиях. Однако опыт удался превосходно, и я сразу понял, почему она так упорно не поддавалась воздействию Робера: эта некрасивая старая дева была в него влюблена. Я увидел, как она представляет себе его поцелуй и объятия, мне стало смешно и противно, я еле смог

закончить внушение и больше ни разу не появлялся в клинике... до этого утра, последнего утра перед войной... Все-таки почему мне кажется, что я был у Робера? Ведь я же не ездил в Париж...

*Поищем какой-нибудь участок. Надо бы отдохнуть, так нельзя, все может плохо кончиться...*

Что это? Как причудливо перескакивают мои мысли! И опять — какое яркое воспоминание...

Узкая, крутая уличка Лозена в Бельвилле, серый, пасмурный день, холодно — мне холодно, я в изношенной куртке, слишком короткой, синие руки нелепо торчат из рукавов. Я стучу зубами, но не от холода, я его почти не замечаю, а от волнения, от горя и недетской тоски. Я стою на пороге бистро «Под золотым орлом», а вокруг, напирая на меня, толпятся какие-то люди, я их совсем не знаю, да и почти не вижу, мне не до них. Я вижу одного отца, и то сквозь туман слез, его лицо расплывается и дробится, я отчаянно кричу, обращаясь к этому далекому, смутно видимому лицу: «Папа, ну я тебя прошу, идем домой! Я тебя очень прошу! Я без тебя не могу вернуться!» Кто-то сочувственно и насмешливо басит: «Вот разоряется малец, даже сошли пусты!» Я машинально вытираю нос рукавом куртки и снова кричу: «Папа, ну, папа!» Мое плечо упирается в чей-то мягкий дряблый живот; вдруг этот живот начинается бурно колыхаться, и над моей головой раздается визгливый крик: «Негодяй, иди домой, что ты ребенка мучаешь!» Я запрокидываю голову и вижу отвисший прыгающий подбородок, широко разинутый щербатый рот, обмазанный по краям ярко-красной помадой, соломенно-желтые пряди волос, торчащие из-под залихватской сиреневой шляпки, и мне становится страшно и противно. «Папа, — говорю я совсем тихо, и он, конечно, не слышит меня в этом шуме и гаме, — папа... я... тогда я лучше умру...» И мне вправду хочется умереть — так все тяжело, и я даже не успел сказать, что мама заболела, очень заболела, и я с ней один и не знаю, что делать, и теперь этого уже не скажешь, все шумят и кричат, а ведь я совсем не хотел устраи-

вать скандала, я только хотел, чтобы отец пошел со мной и помог маме, но когда я увидел его лицо, то потерял голову от страха и горя и начал кричать. Еще с порога я увидел отца рядом с Женевьевой за стойкой и вдруг понял: он совсем чужой. Он не сердился ничуть, он приветливо улыбнулся мне, но я понял, что ему совсем не до меня, а так никогда еще не было, и до этой минуты я никак не мог понять, что отец бросил нас с мамой, что он совсем ушел от нас, а теперь я все понял и ничего не мог с собой поделать, так мне стало больно...

Эту сцену я не любил вспоминать, но всегда помнил — конечно, в общих чертах, довольно смутно, мне ведь тогда и семи не было. Я, например, почти сразу потерял из виду Женевьеву и вообще толком не разглядел ее: высокая, худая, волосы рыжие, а лицо... Мне было не до ее лица, я на отца глядел: какой он ласковый, молодой, веселый — и совсем чужой мне. А теперь я вижу, что Женевьеву все время так и стояла за стойкой, не шевелясь, и лицо у нее было хорошее и грустное, и она смотрела то на отца, то на меня... Как странно перемешиваются у меня чувства: тогдашняя детская обида, боль, гнев — и теперешняя спокойная печаль...

Когда я сказал, что умру, и убежал, отец догнал меня внизу улицы Лозена, сунул мне в карман деньги, дал шоколадку. Я так плакал, что ничего не соображал. Я и не заметил, как он дал мне деньги, только дома их нашел, и шоколадку тоже. И что мама заболела, так и не смог сказать, слезы не давали. Насколько помню, я очень редко плакал в детстве, но в этот день и еще три года спустя, когда умерла мать, слезы у меня сами лились, и я не мог их удержать.

Я не слышал, что говорил отец. Мама спрашивала, я сказал: «Ничего не говорил!» А сейчас я вижу, что он проводил меня до площади, которая теперь названа именем полковника Фабьена, купил билет в метро — оттуда шла линия к площади Терн, мы с мамой жили на улице Понселе. И он все время говорил, очень тихо и печально:

— Малыш, не надо так плакать, право, не надо.

Вот вырастешь — поймешь, почему так получилось. А мне сейчас домой идти, ну, просто ни к чему, уж ты поверь. Мы с твоей матерью обо всем уже поговорили, что ж заново-то волынку начинать. Она не понимает, я ж тебе говорю, сий хоть неделю подряд толкай — не понимает, и все тут. И про Женевьеву тоже неправильно совсем говорит — будто я на ее кабачок польстился. Ты этому не верь, сынок, слышишь? Женевьева — баба душевная и горя хлебнула вдоволь. Мужа у нее на фронте убили в пятнадцатом году. Женевьева, знаешь, две недели не отходила от него, когда он умирал в лазарете, — это ведь подумать только, чего ей стоило пробиться туда, почти к самой передовой... А потом, когда он умер, Женевьева там осталась до самого конца войны, сиделкой работала... Она все понимает, вот в чем дело... Я уж лучше с ней буду, сынок. А тебя я никогда не оставлю, мы помогать тебе будем... Женевьева, она ведь добрая, очень добрая, право...

*Что он видит? Почему так волнуется?.. Нет, я что-то ничего не могу уловить... Попробуем сделать перерыв...*

Я спал? Который час? Впрочем, это неважно. Который час, который день... будто не все равно... Где отец? Мне кажется, что я его давно не видел...

Они все в гостиной — и отец, и Натали, и Марк. Я молча стою на пороге. Они меня не замечают. Отец читает журнал, то и дело поправляя сползающие очки. Марк, полулежа в кресле, уткнулся в какую-то толстую книгу, Натали облокотилась на подоконник и смотрит в окно... Как ей не страшно смотреть вот так, прямо в это пыльное стекло? Или она не понимает, что пыль на стекле радиоактивная, что там, за стеклом, смерть, невидимая и неумолимая? Что только моя воля, моя любовь мешают ей проникнуть внутрь дома и убить всех нас?

Я смотрю на Натали, и сердце у меня сжимается. Какая она худая, хрупкая, бледная, какое у нее бесконечно усталое лицо... и эти короткие густые волосы, только начавшие отрастать после того... после апреля...

Если б все шло нормально, Натали выздоровела бы, а теперь... Она и всегда была тоненькой, как хлыстик, но сколько в ней было жизни, веселья, энергии, пока не появился этот проклятый Жиль!.. Думает она сейчас о нем или забыла?

Марк — тот куда крепче и спокойней. Он пошел в Констанс: светловолосый, сероглазый, высокий — на вид ему все двадцать, а не шестнадцать лет. Он уже сейчас чуть ли не на голову выше меня. Лицо у него хмурое... И вдруг я понимаю, что оно давно такое, что я не видел улыбки на лице моего сына уже много дней, может быть, недель. Почему я именно сейчас, только сейчас это сообразил? И Констанс... Она ничего не говорила...

Отец смотрит на меня поверх очков. Я не привык видеть его в очках, он завел их перед самой войной, но я как-то не заставал его за чтением и об очках только слышал. Очки в светлой металлической оправе резко выделяются на его темном худом лице. Теперь я замечаю маленький беловатый шрам над верхней губой... почему я его раньше не видел? Или видел, но не замечал, не запоминал?

Отец снимает очки, встает и подходит ко мне.

— Это ты тогда, во время войны, был ранен? — спрашиваю я, показывая на верхнюю губу.

Отец инстинктивно подносит руку к шраму.

— Да, осколок на излете. Разворотил губу, я ведь даже усы тогда отрастил побольше, чтоб незаметно было. Ты маленький еще был, не помнишь.

Да, да, конечно, я был маленький, а вот помню, оказывается. Как жаль, что теперь уже не удастся поработать над этой проблемой — памяти активной и памяти пассивной, странных, неизвестно для чего существующих резервов мозга, заброшенных, недоступных кладовых, чердаков, подвалов нашего сознания, где вперемежку с кучами мусора и хлама, вероятно, лежат несметные сокровища, а мы об этом и не подозреваем...

— Ты выглядишь очень усталым, Клод, — озабоченно говорит отец. — Из-за этого?

Он показывает на окна, и мне становится смешно и грустно.

— Да, из-за этого, еще бы!

«Нет, это все же немыслимо, — опять думаю я, — такое буквальное исполнение пророчества... мрачного пророчества Робера тогда, после истории с Натали. «Если ты всех их поставил в такую зависимость от своей любви, ты взвалишь на плечи непосильный груз и переломишь себе хребет... А что тогда будет с ними? Ты потащишь их за собой в могилу, как древний воин, которого хоронили вместе с женами и слугами? Ты думал об этом?»

Конечно, я думал. Но тогда, в обычной мирной жизни, это не выглядело опасным. Разве это плохо, что очень близкие, любящие люди связаны между собой более тесно, более прочно и глубоко, чем все остальные? Разве плохо, что существует Светлый Круг любви и взаимопонимания среди нашего страшного, жестокого, разобщенного мира? Неужели это ошибка, даже преступление — вырваться из дьявольского хоровода замкнутых, непроницаемых, лживых лиц-масок, лиц-личин? Создать для себя хоть маленький светлый мир, где лица и глаза — живое зеркало души, где нет ни лжи, ни лицемерия, ни страха, ни злобы? Ведь должен же быть какой-то отдых, просвет во мгле, надежда на счастье? Разве не этим жив человек? Так пускай каждый идет своим путем к этой цели! Мой путь для большинства не годится — что ж! Это не причина, чтоб я им не воспользовался.

«Твой путь! — говорил Робер. — Ты идешь по доске, перекинутой через пропасть, а воображаешь, что это половица в уютной комнате. Как только ты поймешь свое заблуждение, ты сорвешься». Да. Сейчас я действительно балансирую на доске над прошастью. Но тогда?..

Тогда... Что поделать, если я больше всего на свете боялся одиночества? Возможно, это болезнь. Фобия. Бывает ведь агорафобия — страх перед открытым пространством, и для человека, который заболеет этим, невыносимо трудно даже переходить через улицу, а тем более идти по полю. Мало ли какие навязчивые, непреодолимые страхи преследуют иногда людей! Есть люди, которые боятся воды, темноты, кошек, лифтов — чего

угодно. Я знал в лагере одного человека, который больше всего боялся, что его похоронят заживо, — в детстве он наслушался страшных рассказов о летаргии... Да... Жан Ламарден, высокий, долговязый, с бугристым черепом. Я помню, как он повернулся ко мне, проходя по бараку вместе с другими, чьи помера только что были названы по лагерному радио, и прошептал: «Ну, из газовой камеры живым не выйдешь, это уж наверняка!» Я только минуту спустя понял, что означали эти последние слова: его не похоронят живым. Меня даже озабочил прохватил — радоваться газовой камере... о боже!

Так вот — я боялся одиночества, и тогда, в 1945 году, это, пожалуй, уже приобрело характер фобии. Наверное, этот страх нарастал постепенно. Уход отца, а потом смерть матери впервые заставили меня ощутить одиночество. Я ненавидел Женевьеву, потому что мать говорила о ней плохо, по мне было так тяжело одному, что я перебрался жить к отцу. Конечно, это дело другое. Когда мать умерла, мне еле исполнилось десять лет. Но и то правда, что за время болезни матери — а она болела долго — я стал очень самостоятельным, научился и наше несложное хозяйство вести и подрабатывать при случае. Я мог бы, вероятно, и сам прожить, но не решился. И конечно, все это было к лучшему. Отец и Женевьеву очень обо мне заботились, и, если бы не они, я бы не получил настоящего образования. Разве я мог бы мечтать о медицинском факультете, если бы не помочь Женевьевы? Правда, к этому времени и отец начал неплохо зарабатывать, открыл маленькую шляпную мастерскую... Но главное — Женевьевы. Мне было стыдно вспоминать, как я плохо думал о ней раньше. Впрочем, она все понимала, отец был прав, и это она тоже поняла.

После второй войны одиночество было страшнее. Правда, и оно скоро кончилось, но я с ужасом вспоминаю те летние месяцы 1945 года, когда я ходил по Парижу один, без Валери, все время думая о ней, зная, что она тут, рядом, в нашей комнате на улице Сольферино, а я даже постучать к ней в дверь не имею права: она там с другим... Странно, меня почти не мучила ревность, я слишком страдал от одиночества. Не было

ни Валери, ни Робера, они отошли от меня, у нее был Шарль, у него — Франсуаза, а я остался один, совсем один. И это было невыносимо страшно и тяжело, я не мог один.

Да, в лагере не было одиночества, потому что там был Робер. Если бы я не встретился с Робером, все произошло бы иначе в моей жизни, совсем иначе. Вероятней всего, я еще тогда, в первые месяцы плена, сошел бы с ума или покончил самоубийством — так терзала меня разлука с Валери, так тревожило ее непонятное молчание. А если бы я и остался в живых, то мои телепатические способности не проявились бы так ярко. Самое большее — мне иногда удавалось бы видеть Валери: с этого ведь началось, этим бы и кончилось.

У меня эти способности были с детства, только проявлялись очень редко. Я, например, сразу узнал, когда умерла мать в больнице. Это было утром, я стоял у стола и жевал холодную картофелину, оставшуюся от ужина: лень было готовить завтрак. И вдруг меня будто ледяным ветром обдало, и я понял, что мать умерла, — не знаю почему, но понял сразу и не ошибся. Года через четыре я напугал Женевьеву — готовил уроки и вдруг вскочил и крикнул: «Боже! Отца машина задавила!» Я даже видел вывеску бакалейщика на углу улицы, где это произошло, видел усатого шоferа грузовика. Отец тогда долго лежал в больнице...

А с Робером у меня все началось чуть ли не с первого взгляда. Я стоял у дверей барака. Высокий смуглый юноша в форме пехотинца почти пробежал мимо, перепрыгивая через свинцовые, рябые от ветра лужи. И вдруг он резко остановился, повернулся ко мне. С минуту мы молча глядели друг на друга.

— Как тебя зовут? — спросил он наконец. — Я Робер Мерсеро.

— Я Клод Лефевр, — сказал я, не сводя с него глаз.

Мы, конечно, могли и раньше встретиться. Оба коренные парижане, оба медики. И возможно, все было бы примерно так же: ощущение прочной духовной связи, родства душ... Но в условиях лагеря все это приобрело обостренную и странную форму. Робер уверял

меня, что тогда, при первой встрече, он остановился лишь потому, что его поразил мой напряженный взгляд, мои глаза. Кто знает, может, это так и есть. Активной стороной в нашей лагерной дружбе действительно был я. Активной или пассивной — это уж с какой точки зрения смотреть. Просто мне эта дружба была необходима, а Робера она поначалу тяготила, хоть он и любил меня. Потом, в гестапо и в концлагере, он иначе относился к нашей мысленной связи и даже научился извлекать практическую пользу из моих способностей, но вначале... Ну, это понятно: разве легко ощущать, что в любую минуту кто-то, пусть и очень дорогой тебе человек, может узнать, о чем ты думаешь, или увидеть тебя, когда ты не подозреваешь об этом. В лагере это не так неприятно, как в обычной жизни, ведь в лагере ты никогда не бываешь наедине с собой, и мысли как-то проще, конкретней, приземленней, но все же... Робер о телепатии кое-что слыхал раньше, но, как и большинство людей, не придавал этим разговорам никакого значения. Я для него был поразительным открытием. Дикарь на его месте объявил бы меня богом; средневековый человек сказал бы, что я одержим дьяволом; Робер Мерсеро, дитя XX века, посмеивался и подразнивал меня, уверяя, что мне было бы полезней установить постоянную телепатическую связь с начальником лагеря, чтоб всегда быть в курсе его затей; на деле, однако, Робер хоть и любил меня, но слегка побаивался. Даже не то что побаивался, но...

Да, с ним это было уже настоящей телепатической связью. Я в любую минуту мог увидеть его, прочесть его мысли. Он — нет. Вначале. Потом и у него стала проявляться эта способность. Особенно в концлагере.

Воспоминания, нескончаемой чередой идущие воспоминания. Они начинают уже мучить меня, слишком они навязчивы — и те, яркие и неожиданные, вдруг всплывшие из неведомых провалов сознания, и те, что неотступно следуют за мной всю жизнь. Память — страшный дар, я это знаю по всей своей прежней жизни. Мне не надо было помнить в лагере о счастье и уж

тем более не следовало так много помнить о лагере потом. Другие не все запомнили и редко вспоминали. Я запомнил слишком многое, я вспоминал слишком часто, и это сломало мне жизнь, отравило душу. Будь ты проклята, память, оставь меня в покое хоть сейчас, перед смертью, пожалей! Память о лагере, память о смертях и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном страхе, увечающем душу! Разве ты, сама по себе, не новый, изощренный вид пытки? Пытки, сконструированной как бомба замедленного действия? Чем дальше, тем сильнее терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство страшных лет, тем больше отравляет и глушил она другую, светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте, о любви, о свободе. Все обесценивается, обесцвечивается под ее разъедающим пристальным взглядом, и я снова, все чаще, чувствуя себя узником № 19732, вечным лагерником, у которого один путь к свободе — через трубу крематория.

Отец бормочет что-то успокаивающее и медленными, старческими, совсем уже старческими шагами отходит к своему креслу. И спина у него уже согнулась, и голова слегка тряется — боже, как он сразу постарел после смерти Женевьевы, да и что удивительного, какая это была верная подруга, и прожили они вместе целую жизнь... в самом деле, 42 года! Как я жалею его, как люблю... «Люблю? — спрашиваю я вдруг себя и вздрагиваю, словно от удара плетки. — А если — нет? А если — недостаточно?».

Нет, это тоже дьявольски хитрая пытка! Подлая, отвратительная пытка, бесчеловечная, унизительная! Поставить все в зависимость от моих чувств! Да какое же чувство, какая воля выдержит такой противоестественный груз и не надломится? Почему от меня можно ожидать того, чего не могли бы ждать от самых сильных?

«Кому ты жалуешься? — спрашиваю я себя. — Ведь некому жаловаться. Никто не в силах помочь тебе. Как на допросе. Как в лагере. Как на страшной крутой

лестнице из каменоломни. Камень, который ты несешь на согнутой спине, непосильно тяжел, но, если ты упадешь под этой тяжестью, ты погибнешь сам и вдобавок столкнешь в прошасть других — тех, кто идет следом за тобой. Держись, тебе нельзя падать... Еще шаг, и еще шаг, и еще, и так без конца, под неумолимо палящим солнцем или под ледяным ветром...»

И все же это не то. Мускулы могут в конечном счете подчиниться воле. А любовь? Разве она зависит от воли, от добрых, от самых прекрасных намерений?

Любовь... В спорах с Робером — а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки, — я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить, — только они могут противостоять гибели и хаосу.

— Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? — сарднически улыбаясь, спрашивал Робер. — Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне — лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанско-богатырское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!

Робер знал, что не прав, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства... Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным... А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он. Может быть, я должен был искать свое... Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было двадцать семь лет, а Роберу — двадцать три, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в фи-

лиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней — вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком... Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.

*Пожалуй, напрасно он так много об этом думает... И главное, так волнуется... Все, оказывается, гораздо сложней, чем я думал... А впрочем, чего же можно было ждать?*

Воспоминания... Опять воспоминания... Как странно-ярко светит солнце — такой праздничный, щедрый, веселый свет! Где это я? Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцати лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роа хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос — голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку — когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многое о ней не помнил, а может, и не знал. Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.

Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива. Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет — это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького, тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рождения посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьеве была недовольна, когда видела меня в обществе Роа.

Роз — в немыслимо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает — такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте. Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная пёбрякушками. Я и Роз провожаем ее взглядом и фыркаем — как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уже тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки «под нуль», небольшие чубики надо лбом. «Боже, что за нелепая мода!» — думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство — смесь ужаса и наслаждения, — что я вздрагиваю. В то же время я — теперешний — ощущаю, какая сухая, заструевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов... Я морщусь от этого странного букета — и в то же время замираю от восхищения.

Все-таки очень странно... У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявшей внезапно запах — особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! — вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел. Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с

моими. На что это похоже? Ведь это... да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг... или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп... Но просто так, ни с того ни с сего... или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы по-разному испытываем на себе ее воздействие? Да и как она может не проникать, ведь это обычная вилла, ничуть не похожая на атомное убежище.

*Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений... А я устал до того, что... Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше...*

Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели? Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том... — ну, как бы это поточнее выразить? — о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждым днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших «ультра», Вьетнам и расправы с неграми в Америке — все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.

Робер высказывался в том же духе, что и всегда: совместные усилия... если парни всего мира... и так далее. Я от него это еще в лагере слышал. Он называл меня индивидуалистом, эгоцентриком, эгоистом — ну,

словом, выдавал весь набор интеллектуальной ругани по адресу таких, как я. А я говорил, что нет ничего более ненадежного, чем все эти мифические общие цели в нашем разобщенном и враждующем мире. Людей труднее всего заставить действовать во имя общего блага, это давно было известно. А сейчас тем более: ведь сейчас понятия о добре и зле так противоречивы и опасно запутаны, как никогда еще не бывало в истории человечества. Я не философ и не политик — не в том смысле, что я не интересуюсь философией и политикой, а в том, что не претендую ни на какую самостоятельность в решении мировых проблем. У меня для этого не хватает и теоретических познаний и практического опыта. Я много читал и много пережил, это верно, но не изучал этих предметов специально... ну, в общем об этом не стоит даже распространяться. Просто я не гений, я обычный, рядовой житель планеты Земля. И я вижу, что эта моя любимая прекрасная Земля вот-вот превратится в радиоактивную пустыню.

Я, Клод Лефевр, рожденный накануне первой мировой войны и участвовавший во второй, песчинка, былинка, муравей, — что я должен делать, чтоб помешать чудовищной и бессмысленной катастрофе? Я вижу, что политики никак не могут договориться друг с другом, а опасность все растет, и в любую минуту можно ждать катастрофы. Что мне делать? Я не могу спасти мир, я не бог. Но я думаю, что можно спасти хотя бы часть человечества от гибели...

— И ты это можешь сделать один? — спрашивает Робер; я отчетливо слышу его голос.

— Да, на своем участке я один. Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы многие сделают так, бой за человечество пусть не будет полностью выигран, но и не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими «совместными усилиями», этим бумажным копьем, нацеленным в пустоту, а чувством личной ответственности за свое конкретное дело. Я здесь стою, я отстаиваю этот пункт, этих людей, за которых отвечаю и с которыми связан.

— Нелепость! — восклицает Робер. — Психология

рядового, который убежден, что в штабах ничего не смысят.

— А ты уверен, что там смысят?

— Не очень уверен. Но одни рядовые никогда не выигрывали войну, даже если каждый из них до конца отстаивал свой участок фронта. Они отступали или погибали. Но не побеждали.

— Я не хочу сдаваться без боя. А вести бой в масштабах фронта не могу. Я отвечаю только за свою огневую точку.

— Да это у тебя не бой! Это уход от боя! Какая там огневая точка — просто ты рекомендуешь всем спрятаться в свои дома и носа не высовывать. И вдвойне лицемеришь: ну, у тебя есть телепатическая связь с близкими, но ведь ты же знаешь, что у других такой связи нет. Допустим, ты спасешься, и Констанс, и дети, ну, а другие?

Воспоминание это — или разговор продолжается сейчас? Ну, конечно, что это со мной? Робер сидит тут, рядом со мной, в библиотеке, и на его лицо падает тот же мутный, зловещий свет сквозь пыльные стекла.

— А я и не заметил, как ты вошел, — неуверенно говорю я и вдруг чувствую странную усталость. — Может, я спал?

— Да, ты спал. И говорил во сне, — подтверждает Робер. — Ты и во сне продолжаешь спор со мной.

— Я все время об этом думаю. Да и что удивительного!

— Как ты считаешь теперь: ты победил в этом споре? — глядя на меня в упор, спрашивает Робер.

У меня такое ощущение, будто громадная тяжесть навалилась мне на грудь и на голову. Я с трудом выговариваю:

— Я не знаю, можно ли назвать это победой. Я не того ждал. Я и сейчас не понимаю, почему мы все живы.

— Ты перестал верить в свой дар?

— Не в этом дело... То, что сейчас происходит с нами, не имеет ничего общего с телепатией...

— Имеет. Другого объяснения ведь нет. Значит, ты сам не понимаешь границ своих возможностей. Ты же

не захотел заниматься теорией и знаешь лишь то, что дал тебе личный опыт. А личный опыт всегда ограничен, даже у тебя.

«В самом деле, — опять думаю я, — что мы знаем о телепатии, тем более в таких необычных условиях? Кто мог бы заранее предсказать, как очень прочная и глубокая телепатическая связь, возникшая в нормальных условиях, будет проявляться в условиях совершенно исключительных, небывалых, в абсолютно изменившейся среде, свойства которой, в свою очередь, не изучены (да и будут ли когда-либо изучены?)? Да, необычные, чудовищные, невообразимые условия! Дело даже не в том, как влияет на нас радиация (хотя она не может не влиять, я в этом убежден), а прежде всего в нашем безграничном, безнадежном одиночестве, в том, что мы — крохотный островок жизни, чудом уцелевший среди океана тьмы и смерти... Надолго ли, кто знает?»

— Но рассуждай же спокойней и логичней! — снова вмешивается Робер. — Почему бы не быть другим «островкам»? Хотя бы и на телепатической основе? Разве мало на свете людей, которые занимались телепатическими опытами и в то же время были глубоко связаны любовью или дружбой с другими? Наконец, в Индии — там ведь йоги проделывали поразительные опыты: обходились подолгу не только без пищи и воды, но и без кислорода. Почему бы им не научиться противостоять радиации?

— Йоги... возможно... — неохотно отвечаю я. — Но Индия так далеко...

— А может, рядом с тобой, во Франции, есть люди, которые успели достичь того же, что и ты?

Все так же льется пыльный, мутный свет из высокого окна библиотеки. Я вижу перед собой смутное, резко очерченное лицо Робера, его блестящие карие глаза. Но мне трудно шевельнуться, я лежу в кресле, словно скованный невидимыми цепями. Я пытаюсь встать и не могу. Что со мной?

— Вспомни еще, — говорит Робер, пристально глядя на меня, — недавно мы с тобой читали об этом загадочном острове Ниуэ, где люди издавна, а может, извечно живут и благоденствуют при убийственно высокой

степени радиоактивности. Они высокие, сильные, красивые, у них рождаются здоровые, полноценные дети. Кто знает, может быть, есть люди, от природы способные переносить радиацию. Наверное, их немного, — но, может быть, больше, чем можно предположить а priori? Достаточно для того, чтобы не дать человечеству исчезнуть с лица земли?

— Возможно... — бормочу я. — И что же? Ждать? Терпеть? Надеяться?

— Твоя задача, — Робер не спускает с меня глаз, и мне кажется тяжелым, материально весомым этот неподвижный пристальный взгляд, — твоя задача состоит именно в том, что ты раньше наметил для себя: отвечать за свой участок. Если ты сможешь уберечь всех нас, отстоять этот опорный пункт, бой будет выигран.

— Но почему? — вяло протестую я. — Откуда у тебя уверенность в том, что есть другие, есть надежда для человечества?

— А ты сам? — не отводя от меня своих тяжелых глаз, спрашивает Робер. — Разве ты сам в это не веришь?

На минуту я совершенно отчетливо ощущаю, почти вижу: Робер знает нечто крайне важное, скрытое от меня. Я вздрагиваю, пораженный этим ясным, безошибочным ощущением, мне хочется спросить: «Что же это?» Но Робер вдруг ласково улыбается, проводит рукой по моему лбу, говорит:

— Ну что ты? Что с тобой? Успокойся! Тебе надо заснуть!

Я все еще ощущаю это его загадочное знание. Я успеваю даже подумать: «А вдруг эта занавеска там, в доме на холме...» Но потом все мысли смывает сладкая, блаженная усталость. Я засыпаю мгновенно. Я слишком устал.

Когда я просыпаюсь, передо мной сидит Валерий. Должно быть, я спал недолго — солнце стоит так же высоко, и тот же мутный желтоватый свет заполняет комнату, — но чувствуя я себя отдохнувшим и свежим. Я легко встаю с кресла.

— Валери, — говорю я, — как хорошо, что ты пришла! Я уж беспокоился, что так долго тебя не вижу.

Валери поднимает на меня свои продолговатые блестящие глаза. Она очень бледна.

— Клод, — говорит она и слегка откашливается, будто в горле у нее что-то застряло, — Клод, я поняла, что сделала ошибку. Я не должна была...

Мы с Валери всегда понимали друг друга с полуслова. Настоящей телепатической связи у нас не было, но мы знали друг о друге все, как знают очень любящие, очень близкие люди. Мы наперебой высказывали одну и ту же мысль одинаковыми словами, и это нас всегда смешило и трогало. Мы безошибочно угадывали все оттенки настроения друг у друга. Ни со мной, ни с Валери не случалось несчастий за те четыре года, что мы прожили вместе, но думаю, что, если бы с одним из нас случилось что-либо плохое, другой немедленно почувствовал бы это.

Долгая разлука оборвала эту связь, казавшуюся нерасторжимой. В начале, в армии, были хоть письма... письма моей Валери, такие отчаянные и нежные, что я потихоньку плакал по ночам — от любви, от тоски, от мучительной тревоги за нее, такую одинокую, такую беззащитную и хрупкую... Я думаю, что способности к телепатии пробудились у меня прежде всего под воздействием этой непрестанной тревоги, тоски, страха за Валери. Когда я попал в плен, наша переписка оборвась... Я тогда не понимал почему — ведь других разыскивали через Красный Крест, слали письма, посылки. Потом, после войны, я узнал: Валери была убеждена, что я погиб, ведь ей это рассказывал Анри Дювернуа, который видел своими глазами, как снаряд разорвался на том месте, где я стоял. Это было почти правдой — только я за секунду до разрыва успел нырнуть в индивидуальный окопчик, очень аккуратно открытый; меня, правда, оглушило и присыпало немного землей, но я даже не терял сознания, хоть долго не мог выбраться из окопчика — так меня трясло. Ну, а потом сразу немцы зашли с тыла, мы начали поспешно отступать на север; еще полторы недели боев — и 23 мая я уже оказался в плену.

И вот тогда, не получая вестей от Валери, терзаясь горем и сомнениями, я начал видеть. Помню, что меня это даже не особенно поразило — должен же я был каким-то образом знать, что с Валери, не мог же совсем оборваться контакт с ней, которая была частью меня самого! Значит, любым путем... Меня огорчало лишь одно — что я вижу Валери редко, мало, не успеваю узнать о ней ничего, не могу спросить ее ни о чем.

Началось с того, что в сентябре 1940 года я сидел у окна барака. Сеялся мелкий серый дождик, быстро смеркалось. Я неподвижно глядел на маленькую продолговатую лужицу под окном — она слегка рябила от дождя, в ней отражался неяркий свет фонарей над воротами лагеря, — и вдруг все отодвинулось, я увидел Париж и Валери.

Вначале мне это было необходимо — сидеть и глядеть на что-то блестящее либо лечь и скрестить руки на груди, плотно переплетя пальцы. Потом я научился сосредоточиваться почти мгновенно, одним усилием воли, не прибегая ни к каким дополнительным средствам.

Итак, я увидел Валери, освещенную ясным вечерним светом. Она медленно шла по набережной Анатоля Франса. Мы с ней часто там ходили — дом наш был неподалеку, на улице Сольферино. Я хорошо видел ее лицо, она шла прямо на меня. Валери похудела, побледнела, в глазах у нее было незнакомое мне отрешенное выражение, будто она стояла на краю пропасти и уже решилась прыгнуть вниз. У меня сердце сжалось, я крикнул: «Валери! Валери!» Видение сейчас же исчезло. И вдобавок мне влетело от часового-немца за то, что я ору как сумасшедший.

Снова мне удалось увидеть Валери очень не скоро, лишь весной. Она тогда, вероятно, уже была замужем, но я этого не понял из минутного видения. Валери сидела в нашей комнате и тревожно глядела в окно. Меня удивило, что она хорошо причесана, что на ней красивый синий свитер, незнакомый мне. Удивило и огорчило, хотя я тут же обругал себя за эгоизм.

Прошли долгие годы, целая жизнь, а наша душевная связь с Валери не порвалась. Да иначе Валери и не

оказалась бы здесь, в Светлом Круге... Я вдруг вспоминаю, как мы — все четверо — увидели Валери. Удивительный это был случай.

Мы вчетвером — я, Констанс и дети — отправились в автомобильное путешествие по югу Франции. Однажды мы заночевали у небольшой рощицы на берегу реки. У нас были надувные матразы и подушки, так что устроились мы превосходно, и ночь была тихая, такая ясная. Полная луна стояла почти в зените, когда я открыл глаза и в призрачном белом сиянии увидел перед собой Валери. Вид ее поразил меня. Она была в пестром халатике, надетом поверх ночной рубашки, и в домашних туфлях на босу ногу. Лицо ее осунулось, глаза опухли от слез.

— Клод, — сказала она, и голос ее дрожал, — Клод, у меня такое горе, я так одинока! Клод, милый Клод... Шарль умер, только что. Мне позвонили, сказали. Он умер на операционном столе. Клод, я просто не могу одна.

Она смотрела не на меня, а куда-то прямо перед собой. Руки ее конвульсивно сжимались и разжимались. Это продолжалось минуту-две, потом Валери исчезла.

Я повернулся и увидел, что Констанс не спит. И что она тоже видела.

Натали и Марк спали поодаль, у машины. Они встали и подошли к нам.

— Кто это был? — спрашивали они с испугом. — И куда она ушла?

Они никогда не видели раньше Валери. Но точно описали ее одежду, лицо — насколько они могли разглядеть издалека. Мы с Констанс молча переглядывались, не зная, что сказать. В конце концов Констанс своим обычным спокойным голосом заявила, что мы выясним все утром.

Наутро я позвонил Валери из Тулузы. Все подтвердились. Я спросил, не приехать ли мне. Валери помолчала, потом сказала, что не надо.

— Нет, действительно не надо, — повторила она. — Я сначала подумала... но мне будет еще тяжелей, если ты... Нет, не приезжай, спасибо, Клод.

Это было год назад. Как она прожила этот год? Она не звонила мне, я ее не пытался видеть ни обычным путем, ни телепатическим. И вот она оказалась тут, в Светлом Круге. Это, конечно, не случайно.

Однако я сразу понимаю, что кроется за ее словами. «Я совершила ошибку», — понимаю и холдею от ужаса, ибо тут же ощущаю, что Валери права. И что мне не удастся ее удержать.

Валери говорит очень спокойно и тихо, а мне кажется, что каждое ее слово мне молотками вколачивают в сердце — так оно болит и сжимается от горя и страха.

— Тебе не стоит тратить на меня силы, Клод. Я ведь чувствую, что ты силой принуждаешь себя любить меня. Я знаю, что это означает для меня, — если ты не сможешь дальше любить. Но ты не должен из-за этого огорчаться. Я устала, Клод, очень устала. И ведь никто ни в чем не виноват, кроме меня самой.

— В чем ты виновата, бога ради, Валери! — восклицаю я. — Ты была так молода, шла война, ты осталась совсем одинокой. Я ведь все понимаю... Теперь-то, во всяком случае, понимаю... Тогда мне было слишком больно...

Валери качает головой. Лицо у нее действительно очень усталое, но молодое. Я плохо рассмотрел ее в первый день, не до того было. А потом она казалась мне по-прежнему молодой и красивой. И сейчас не скажешь, что через месяц ей будет сорок шесть лет. Будет?.. Мне опять становится страшно. Ощущение такое, будто ты альпинист и изо всех сил тянешь за веревку, пытаясь удержать повисшего над пропастью товарища, а веревка скользит, скользит... И вдобавок тебе понятно, что это ты сам, от равнодушия, от подлости не можешь держать веревку как следует. Даже не от страха — тебе самому смерть не угрожает, ты не скользишь в пропасть...

Впрочем... я ведь не знаю, что будет со мной, если все... О чём ты думаешь, боже! Если все уйдут, зачем тогда ты? И разве ты выдержишь такую пытку?

Валери встает и бесконечно знакомым мне движением скрещивает руки на груди, охватив ладонями пле-

чи. Руки у нее все такие же — гладкие, смуглые, узкие, с длинными, слегка заостренными пальцами. И белый тонкий шрам на правом мизинце — след глубокого пореза еще в детстве... Я вижу на ушах у нее еле заметные точки проколов и вспоминаю то утро на реке и серьги с бирюзой.

— Клод, дорогой! — говорит она, глядя мне прямо в лицо.

Я вижу мелкие золотые искорки в ее карих зрачках, голубизну белков, легкую темную тень в наружных уголках век, удлиняющую рисунок глаз... Такие знакомые, так часто видевшиеся мне во сне и наяву глаза моей Валери. И вдруг мне становится легче. То, что хочет сказать Валери, — бессмыслица, явная бессмыслица. Я любил ее всю жизнь и люблю сейчас. Констанс права: я люблю их обеих. Но с Констанс было иначе, совсем иначе. Был мучительный страх одиночества, был расчет — не корыстный, не денежный, а более сложный, психологический расчет человека, который слишком много всего навидался и натерпелся и не может действовать очертя голову, не взвешивая всех обстоятельств. С Валери я не рассчитывал — я был счастлив, молод, силен, и это были самые прекрасные годы жизни.

И если б не война... Да, вот так говорила и мать, незадолго до смерти, в больнице: «Это все война виновата, сынок. Фернан, он ведь был такой хороший, веселый, заботливый. Родился ты, и все было так хорошо. Мы решили, что потом будет еще девочка. И тут началась война... Война все испортила, все поломала... Если б не война...»

Да, если б не война... Мы были бы счастливы с Валери, я работал бы по-прежнему в лаборатории профессора Армины... Правда, не было бы многого другого. Опытов с телепатией... а может, меня что-нибудь натолкнуло бы на это? Не было бы Натали и Марка... Констанс вышла бы замуж за кого-нибудь совсем другого... Мне вдруг становится больно от этой мысли...

Валери кладет мне руку на плечо.

— В том-то и дело, Клод, — говорит она. — Обеих нас ты не удержишь. И перевес не на моей стороне.

Ты и сам понимаешь: я — прошлое, Констанс — настоящее. Со мной ты был всего четыре года...

— И шесть лет войны, плена, лагерей!

— Это не то... Это уже воспоминания... А с ней — девятнадцать лет. Половину сознательной жизни.

Я встрихиваю головой, стараясь отделаться от тягостного ощущения кошмара. Мне кажется, что это не Валери говорит — я сам внутри себя веду этот опасный и бесчестный спор со своей совестью. Но Валери стоит передо мной, и от исхода этого спора зависит ее жизнь. Веревка скользит, скользит...

— Впрочем, дело не в Констанс, — продолжает Валери. — Я знаю, что она все понимает и мое пребывание здесь мало ее тревожит. Но сам подумай: зачем мне оставаться?

Я смотрю на нее, недоумевая: ведь она сама сказала, что знает.

— Да, я знаю, конечно, — говорит Валери.

Значит, связь стала теперь всеобщей? Но почему же я не могу по произволу видеть других? Вот и сейчас — где отец, я не знаю. И о чем думает Валери, тоже не знаю. Значит, действует только обратная связь? Они для меня закрыты, а я для них насквозь прозрачен? Самое плохое, что может случиться при такой ситуации.

— Клод, я так не могу, — мягко и настойчиво говорит Валери. — Ты знаешь, какая я. За эти годы я не так уж изменилась. Что для меня — такой, как я есть, — осталось ценнего в этом мире? Твоя любовь? Боже, Клод, я не упрекаю тебя, пойми, но ведь ты же знаешь, что это любовь-phantom, любовь-воспоминание. Мне этого мало. Было бы мало даже в нормальном мире. А здесь... Клод, дорогой, здесь я задыхаюсь. О любви я сказала, потому что для тебя это очень важно. Но ведь здесь вообще ничего нет, кроме запертых наглухо дверей и этих аловещих пыльных стекол. Нет дорог, вьющихся по холмам, нет свежего ветра, нет реки — все это там, за стеклами, и нереально, как декорация. А мы сами — мы разве реальны? Мы, запертые здесь, неизвестно как и для чего?

— Валери, умоляю тебя, успокойся! — с трудом

произношу я. — Наше спасение в том, чтоб терпеть и надеяться.

— Терпеть — во имя чего? — страстно спрашивает Валери, и лицо ее совсем молодо, как в давние годы. — Надеяться — на что? Клод, не обманывай себя! Мир погиб, а мы случайно уцелели. Если и остались на Земле еще живые, до них добраться так же трудно, как до жителей других планет. Да и к чему? Ну, будет нас тогда не семеро, а вдвое, втрое, вчетверо больше — что из того? Кругом смерть. Выйти за пределы узко очерченного, тесного, страшного, бесмысленного мира нельзя. Если даже объединятся две-три разрозненные группы, к чему это приведет? Исчезли все перспективы.

Это говорит Валери? Нет, не может быть, это не ее слова, она другая. Это голос внутри меня. Холодный, вкрадчивый, неотвязный. Ведь это правда. На что я надеюсь?

— Но я люблю тебя, Валери! — с отчаянием говорю я. — Я не могу отпустить тебя... не могу согласиться, чтоб ты ушла... совсем...

Валери улыбается, и мне становится не по себе от этой незнакомой, холодной, какой-то отрешенной улыбки.

— Любишь? — говорит она. — И ты уверен, что это любовь? А не страх одиночества? Не страх гибели? Ведь не только наша жизнь зависит от того, действительно ли ты любишь нас, — твоя тоже. Что ты будешь делать, если мы все уйдем?

Веревка скользит и тянет меня в пропасть. Выпущу я веревку или буду отчаянно сжимать ее до конца, все равно я погибну вместе со всеми. И никого мне не спасти...

— Ты сам понял, видишь, — сочувственно говорит Валери и делает шаг к двери. — Прощай, Клод. Ничего тут не поделаешь. Я больше не выдержу.

Валери медленно отодвигается к двери, будто плывет над полом. Я не в силах шевельнуться, не в силах крикнуть, но мысль работает с небывалым напряжением. «Как это будет? — думаю я. — Если она откроет дверь на веранду, то... Впрочем, неужели обычная

дверь способна защитить от радиации, не будь Светлого Круга? Но тогда... тогда логично предположить, что мы можем выйти из дома... свободно ходить... Тогда уход Валери ничего не означает, я ее люблю и буду любить...»

— Нет, ты не прав, — я вижу, что это говорит Валери, ее губы шевелятся, но голос звучит внутри меня. — Я ухожу совсем... навсегда... И другим выходить нельзя. Светлый Круг не движется. Тот, кто уходит, выключает себя из защиты Круга... Прощай, Клод!

Все происходит, как в кошмаре. Я по-прежнему скован, а Валери все движется к двери, медленно, будто скользя. Потом легко, неожиданно легко раскрывается застекленная дверь, силуэт Валери на миг очень четко проступает на фоне дальних зеленых холмов и светлого праздничного неба. И сейчас же дверь захлопывается. Я вижу, как Валери, высоко вскинув голову, проходит по веранде, сбегает вниз по ступенькам — и исчезает.

Мое оцепенение сразу проходит от невыносимой, острой, отчаянной боли в сердце. Такую же боль я испытал много лет назад, в нашей комнате на Сольферино, когда понял... Я бросаюсь к двери. Валери уже не видно. Я хочу распахнуть дверь. И резко обрачиваюсь, услышав голос Констанс.

— Клод, не надо, — спокойно и печально говорит она. — Валери уже не вернешь. И не надо так горевать. Она права: прошлое есть прошлое.

— Ты... ты слышала? — с трудом бормочу я, кусая губы, чтоб не кричать.

— Я теперь все слышу, — так же печально и медленно отвечает Констанс. — Клод, ты должен успокоиться. Я знаю, как тебе тяжело. Но... думай о других. О нас.

— А ты уверена, что есть зачем думать? — почти кричу я. — Ведь ты слышала! Валери права! Я уже сам не знаю, люблю ли вас или только боюсь потерять. Я сам не знаю, есть надежда или нет. Я не могу выдержать... Я теряю силы... Прости меня, Констанс, если можешь!

Констанс обняла меня и гладит по волосам. Ее лас-

ковые, сильные, теплые руки. Но сейчас и они не в силах избавить меня от боли, от страха, от острого чувства вины и бессилия.

— Констанс, — бормочу я, уткнувшись лицом ей в плечо, — Констанс, дорогая, наверное, это уже конец! Я больше не вытяну, да и к чему?

Констанс ласково отстраняется, охватывает ладонями мою горящую тяжелую голову, заглядывает мне в глаза своими большими, ясными серыми глазами.

— Ты устал, ты так устал, — говорит она. — Тебе нужно уснуть.

— Я не могу спать! — сопротивляюсь я. — Как я смог бы заснуть сейчас!

И ловлю себя на том, что мне хочется заснуть. И уже не просыпаться. Констанс озабоченно сдвигает свои прямые брови.

— Я позову Робера, — говорит она.

Да, конечно, Робера. Как странно, в сущности, что именно я оказался средоточием Светлого Круга! Я, а не Робер или Констанс. Конечно, способности были развиты больше у меня. По крайней мере до этих дней: сейчас все изменилось. Но зато Робер и Констанс гораздо сильнее меня, спокойней, уверенней. Они бы удержали в своем Круге всех, кого захотели удержать. Они не ошиблись бы в своих чувствах, не начали бы позорно и преступно колебаться, обрекая других на смерть своей трусостью и нерешительностью. Мне этого не вынести. Ну ладно, я получил от бога или от кого там еще этот странный дар. Но я ведь не стал от этого ни лучше, ни сильнее. Мне было бы легче, если бы я обладал, скажем, властью над числами, умел бы молниеносно считать. Это ни к чему не обязывает. А мой дар обязывает ко многому. Это свойство, достойное гения. И я не соответствую — я, такой, как есть, — своему дару. В чем же дело? Только в том, что я придумал эту теорию Круга? Да полно, я ли? Ведь я совсем не то имел в виду, Робер, ты же знаешь...

Это я говорю, обращаясь уже прямо к Роберу. Констанс ушла, а Робер стоит передо мной, очень бледный и измученный.

— Я знаю все, — тихо говорит он. — Мы с тобой потом поговорим, посоветуемся, как быть. Сейчас ты должен спать. Обязательно. Ложись вот тут, на диван.

Я покорно ложусь. Робер задергивает плотные желтоватые шторы, и в комнате становится почти темно.

— Спи, — говорит Робер, наклоняясь надо мной. — Ни о чем не думай. За время твоего сна ничего плохого не произойдет. Ты выспишься и будешь чувствовать себя хорошо.

«Странно, ведь это очень похоже на гипноз, — думаю я, погружаясь в сон. — Раньше Робер не мог меня гипнотизировать...» Потом я засыпаю.

*Он слишком возбужден. Нервы у него хуже, чем я думал. Сделать вливание аминазина? Но это может все испортить... Нет, пускай отоспится... Боже, как я устал! Я не думал, что будет так тяжело... Который час? Половина четвертого... Иногда мне кажется, что я не вытяну... мне больно глядеть на него. Какое у него страшное бывает лицо! Но что же делать? Что?*

Я просыпаюсь. В библиотеке совсем темно. Я сразу все вспоминаю и сажусь на диване. Но воспоминание о Валери уже не причиняет такой нестерпимой боли. Я чувствую себя крепче и думаю, что есть еще смысл бороться. Надо только обдумать, как поступать дальше. Поговорить с Констанс и Робером. Посоветоваться. Мне стыдно перед Констанс за этот недавний приступ отчаяния и бессилия, но Констанс, она ведь все понимает, она такая мудрая и спокойная...

Я сижу в темноте и думаю о Констанс. Мне хорошо думать о ней, это защита и отдых. С первых дней нашего знакомства Констанс была для меня защитой от боли и холода одиночества, и я искал у нее этой защиты, еще не понимая, что привлекает меня к этой высокой светловолосой девушке, всегда такой спокойной, доброй, ласковой. Наверное, это нелепо и некрасиво, когда тридцатидвухлетний мужчина, проживший такую трудную, сложную, напряженную жизнь, ищет опоры и защиты у девушки, которой едва исполнилось девятнадцать лет и которая сама пережила бог знает

какие ужасы. Но в том-то и дело, что жизнь, которой я жил всю войну, была мне не по силам. Если б не Робер, я бы не выдержал всего этого. Сошел бы с ума, бросился бы на проволоку под током — не знаю что. Пять лет лагерей! Тот, кто не попробовал, что это такое, не поймет меня. Да и лагерники, пожалуй, не все поймут, многие вышли оттуда даже более сильными, готовыми снова драться... ну, хотя бы Робер. А я... я для этого не годился. И мне не стыдно признаться, черт возьми, что я не тружусь для такой нечеловеческой, страшной, невообразимой жизни. Другие выдерживали — ну что ж, честь им и слава! А меня и сейчас, даже сейчас охватывает панический страх, когда я вспоминаю о лагере.

Не надо об этом думать. Сейчас это позади; сейчас люди устроили себе такую надежную и прочную могилу, что даже миллионы сожженных в крематориях кажутся чем-то не таким уже страшным, если поразмысль... Нет, нет и тысячу раз нет! Это крематории второй мировой войны, это пепел сожженных, которыйсыпался на поля и дома мирных обывателей, живших по соседству с лагерями, но не стучал в их сердца, это проклятое, невозмутимое, непробиваемое, позорное, преступное равнодушие большинства — вот что привело к сегодняшней трагедии! Вы все отмахивались от «политики», вы думали, что гроза опять минует вас, прогремит, просверкает над вашими драгоценными тупыми головами да и уйдет! Ну, погибнут еще миллионы — евреев, русских, поляков, японцев, американцев, кого там еще, пусть и французов, разве мало кругом всякой красной сволочи, смутьянов, вот им и достанется, а мы-то, мы будем жить, уж как-нибудь да останемся живы, не пугайте, нас не убьешь... Да, да, вы были живы, пока оставалось в живых человечество, вы были его неотъемлемой частью, и из-за того, что вы были внутри и повсюду, человечество с таким трудом продвигалось вперед и так часто отступало назад. Торжествуйте, проклятые свиньи с самодовольно задранными пятаками, вы победили! Жаль, что вы не видите солнца своей победы! Оно так затуманено ядовитой пылью, что вы смогли бы смот-

реть на него, не щуря своих бесцветных самоуверенных глаз. Вот оно, ваше мертвое солнце, проклятые мещане!

*Почему он проснулся так рано? Что с ним? Нет, так нельзя, я не должен спать, он один не справится... Надо быть всегда начеку, это может кончиться катастрофой. Ax, черт, что это? Зачем ему вспоминать о лагере? Не надо...*

Минуту назад я думал, что сойду с ума. Но, видимо, моя психика теперь включает воспоминания, как защитное устройство. Это страховка. Очень остроумно устроила природа: подсовывает мне прошлое, любое прошлое, чтоб я мог позабыть о настоящем... Но как быстро, лихорадочно быстро сменяются самые разные картины! Сначала мелькнуло лицо Констанс, юное, светлое, задумчивое. Потом вдруг передо мной возникла ржавая колючая проволока, а на ее фоне — черное от щетины, грязи и усталости лицо с провалившимися сумасшедшими глазами. Это лагерь военно-пленных поблизости от Арраса, и парня я знаю — это бельгиец Леклерк, он потом погиб во время нашего неудачного побега. Я не помню, почему он вначале не получал посылок Красного Креста, но голодал он очень. Я сую ему краюшку хлеба и кусок сыра. Он прерывисто вздыхает, и на глазах его проступают слезы. «Спасибо, дружище», — хриплым шепотом говорит он и отходит, волоча по сырой земле ногу, обмотанную покерневшим бинтом.

Ну, вот и лагерь исчез. Светлое, ясное солнце детства светит над парком Бютт-Шомон, отражается в тихой зеленой воде озера. Мы, ватага мальчишек, сидим на теплых белых камнях и блаженно жмуримся от весеннего солнца. Отсюда, с высот Бельвилля, нам виден чуть ли не весь Париж в голубой апрельской дымке. Невдалеке блестит широкая полоса канала Сен-Мартен, а за ним дымят и грохочут вокзалы — Северный и Восточный; дальше уходят в гору улички Монмартра, такие же крутые и узкие, как здесь, в нашем Бельвилле; на самой вершине холма сияет белоснеж-

ный храм Сакр-Кер. Видны и Сена, и Эйфелева башня, и Триумфальная арка. Нам по одиннадцати-двенадцати лет, мы наслаждаемся весной и свободой и лениво спорим о том, кто толще — мясник Жерар с улицы Лозена или дядюшка Сиприен, владелец бистро на улице Симона Боливара. Большинство держится того мнения, что дядюшка Сиприен потолще за счет брюха; некоторые говорят, что нельзя учитьвать одно брюхо, а загривок, руки и ноги у мясника куда виновительней. Мне спорить об этом уже надоело, и я растягиваюсь навзничь на разогретых солнцем камнях... Безмятежное счастье, кусочек светлого и доброго, безвозвратно исчезнувшего мира!

И мне становится очень грустно, когда гаснет ясное солнце далекой весны 1925 года и откуда-то наплывает пестрая хаотическая масса лиц, вывесок, деревьев, дорожных знаков, книг, птиц, лестниц — да, какая-то полутемная, выщербленная, остро пахнущая луком и кошачьей мочой лестница, ведущая кто знает куда, я не могу вспомнить, да и вспоминать некогда, я уже на улице, в каком-то тихом туличке, там старые ветвистые деревья и густые шапки зеленого плюща на серых каменных оградах, и дети играют в «классы» на тротуаре, а я опять в другом месте, на шумной пыльной улице, кажется, эта Пасси, только давнишняя, лет тридцать назад, вывеска «Франсуа Мишодо — король подметки» с лиху нарисованной туфлей роскошно-алого цвета, и еще вывеска «Специальность — обеды за семь франков»... И опять мельканье картин, будто смотришь из окна стремительно несущегося поезда...

Мелькающий мир внезапно замедляет свой бег, я лежу на соломенном тюфяке, а рядом сидит Робер, обхватив руками колени. В тусклом красноватом свете, еле сощащемся сквозь пыльное зарешеченное окно, я вижу, что у Робера громадный кровоподтек на левой скуле, что губы у него разбиты и опухли. Я пробую протянуть к нему руку и чувствую, что рука не слушается, что все тело нестерпимо болит, я прикусываю губу, чтоб не стонать, но губы тоже рассечены и болят, и зубы слегка шатаются. Это камера полиции, но мы с Робером и другими участниками побега нахо-

димся в ведении гестапо, и допрашивали нас гестаповцы, и завтра нас перевезут в Париж, чтоб допрашивать дальше.

— Клод, дорогой, ты очнулся? — обрадованно говорит Робер. — Ну, как ты, ничего? Пить хочешь?

— Хочу, — с трудом выговариваю я.

Я пью воду из алюминиевой кружки, Робер поддерживает мою голову и тихо говорит:

— Нас поместили в одну камеру, это удача — на-верное, думали, что ты не придешь в себя. Нам надо сейчас условиться, Клод, все отрицать не удастся, Фелисьена они заставили проговориться, он сказал, что о списке узнал от нас с тобой. Придется сказать, что список увидел я, случайно зашел в канцелярию, — пускай они с коменданта взыскивают за неосторожность, черт с ним. А насчет бланков и печатей — можно свалить на тех, кто погиб, на этого Леклерка и на Жана Вермейля. Леклерк тем более знал немецкий язык; скажем, что он и заполнял бланки.

— Они не поверят, — бормочу я. — Ты в канцелярии не мог быть, и я тоже, ведь Геллер им объяснил.

Робер молчит с минуту.

— Придется все же стоять на этом, — он наклоняется ко мне. — Клод, прости, что я втянул тебя в эту истерию. Но сейчас уж надо держаться. Нам все равно отсюда не выбраться, а других подводить нельзя. Ладно, Клод?

Я так измучен, что мне почти все равно. Я говорю: «Да, ясно». Мы еще плохо представляли себе, что нас ждет. Если б я знал... а впрочем, что я мог бы сделать, ведь даже самоубийством нельзя было покончить...

— Но подумать только, на какой чепухе попались! — говорит Робер. — На том, что Леклерк не вовремя достал зажигалку.

Да, на следующей станции мы должны были бежать, у нас в заплечных мешках была кое-какая штатская одежда, и всем участникам побега уже выдали на руки справки об освобождении из лагеря по болезни... Я увидел в лагерной канцелярии список тех, кого включили в очередной эшелон, я видел его

ясно и продиктовал Роберу имена, и тогда Робер и другие решили, что из эшелона бежать удобней. Никого не подведешь, да и путь лежит куда-то на юг, ближе к Парижу. А бланки для справок нам достали писаря из лагерной канцелярии, датчанин Йоханнес и бельгиец Сегюр, и этих ребят выдавать мы не могли, а насчет моих телепатических способностей и заикаться не стоило, теперь оставалось только терпеть и молчать, что бы с нами ни делали. А если б Леклерк не начал закуривать, стоя рядом с конвоиром, и не выронил при этом справку об освобождении, мы были бы теперь далеко, кто знает где...

— Знаешь, мы могли бы попасться и потом. Эти справки тоже... — говорит Робер.

И на этом воспоминания обрываются, и боль уходит из тела, и надо мной загорается мертвый, тусклый свет вверху, под потолком библиотеки. В дверях стоит Робер.

— Ну как, отдохнул? — заботливо спрашивает он.

— Отдохнул... — неуверенно отвечаю я. — Ты прав, мне полезно было выспаться.

— Но вид у тебя по слишком-то... — замечает Робер, пристально глядя на меня. — Мне кажется, ты слишком много думаешь...

— То есть? — Меня поражает это замечание. — Как это слишком? Что ты считаешь нормой в нашем с тобой положении?

Робер слегка усмехается.

— Ты, конечно, прав. Но я хотел сказать, что нельзя слишком сосредоточиваться на... ну, на этом самом нашем положении. Мы не в силах ничего изменить, и надо принимать это как факт, не рассуждая.

Мне становится холодно, словно на сквозняке.

— Робер, зачем ты это говоришь? Я думал... Я почему-то надеялся, что ты знаешь...

— Что знаю?

— Ну, какой-то выход из положения... — Я невольно с надеждой смотрю ему в глаза.

— Какой же выход? — Робер отводит глаза. — Я не бог.

— Значит, нет надежды? — допытываюсь я.

— Надежда всегда остается. Мы не знаем, что происходит сейчас на всей Земле. Но надо надеяться и ждать.

— Надеяться и терпеть... Я сказал это сегодня ей, Валери...

— Не думай о Валери! — поспешил говорить Робер. — Ее нет. Думай о тех, кто остался. О Констанс и о детях в первую очередь. Ты ведь их хотел сохранить, вот и старайся добиться этого.

Робер говорит очень серьезно, почти хмуро, и я стараюсь понять, почему мне мерещится, что он в душе подсмеивается надо мной. Здесь, в таких обстоятельствах? Невероятно! Сколько бы мы ни спорили об этом раньше...

— В Констанс и детях я уверен! — почти с вызовом говорю я. — Это прочная связь, перасторжимая.

Робер долго молчит.

— Разве есть перасторжимые связи? — печально и мягко говорит он. — Разве в лагеро ты не думал того же о Валери? И разве эти условия не страшнее той войны?

Я прикусываю губу, чтоб не вскрикнуть. Что он, нарочно? Я исподтишка гляжу на это лицо, такое волевое, гордое. Робер Мерсеро, мой Робер говорит это? Я молчу, но он понимает меня и без слов.

— Что я сказал, я с ума сопел, должно быть! — Я вижу, что он сильно взъярен. — И на меня, видно, действует эта страшная обстановка. Прости меня, Клод!

Он встает и уходит, а я никак не могу понять, что произошло. Слова Робера не оговорка, он к этому вел, да и последнюю фразу долго обдумывал, не сгоряча ляпнул. Но что это значит? Желать смерти Констанс, Натали, Марку? Даже если он ревнует меня к ним (хотя я этого никогда не замечал), то ведь сейчас не время сводить личные счеты! Нас осталось всего шестеро. Может быть, на всей земле. И хотеть, чтобы трое из нас погибли? Немыслимо! Даже если бы это был не Робер Мерсеро, а кто угодно другой... разве что опасный маньяк... И вдруг я чуть не вскрикиваю от ужаса: а что, если Робер сходит с ума?

*Я сам не в порядке. Не стоило начинать в таком состоянии... Но кто знал? Как нелепо вышло! Как он волнуется, бедняга! Что же делать? Нет, с Натали ему говорить сейчас нельзя.*

Я спал? Опять спал? Как странно! По-прежнему горит лампа вверху, кругом тихо, я один в библиотеке. Который час? Сколько я проспал? И где все остальные? Почему все-таки я потерял способность видеть их? От непрерывного напряжения и страха? Возможно. Я на время терял уже эту способность — сразу после выхода из лагеря и разрыва с Валери. Почти на год. Констанс сначала и не подозревала об этом. Только когда я узнал, что она беременна, и стал все время думать о том, где она и не случилось ли с ней что плохое, способность видеть вернулась. О Констанс я знал все в любую минуту. Ее это сначала очень пугало, и я стал скрывать свое знание, но мне это плохо удавалось. Потом она привыкла. Потом сама стала... постепенно.

В первый раз она позвала меня на расстоянии, когда мне было нестерпимо тяжело. Я медленно шел по улице Мира, певдаке от Вандомской площади, и толстая консьержка, стоявшая у дверей, прокричала мне в самое ухо: «Вот счастливая парочка, не правда ли?» Я поднял глаза — и застыл на месте. Валери с мужем. Они шли счастливые, нарядные, красивые, им ни до кого не было дела. Мне было так больно, что я не мог двинуться с места и все стоял, а консьержка трубила мне что-то в ухо, и я думал, что хорошо бы сейчас умереть или хотя на время потерять сознание, сойти с ума, — что угодно, лишь бы не эта боль. Совсем так же, как тогда, в лагере после побега. Нас подвесили вниз головой, язык распух и душил меня, голова разрывалась от боли и казалась горячей и громадной, втрое больше всего тела, и я хотел умереть или потерять сознание, но мне не удавалось ни то, ни другое. И тогда, на улице Мира, я не упал в обморок и не умер от боли, а ненодвижно стоял и вдруг услышал далекий, но ясный голос Констанс: «Клод! Клод! Где ты, отзовись, отзовись!» Тогда меня

это не удивило и не обрадовало, но боль немного утихла, я прошел дальше, к Вандомской площади, и попробовал ответить Констанс. Она уловила мой ответ и немного успокоилась. Я подозвал такси и поехал домой. Только по дороге я сообразил, что произошло, — и так обрадовался, что забыл о недавних мучениях...

Да, Констанс... Что было бы со мной, если бы я не встретил ее? Она не права, я вовсе не искал в ней черт Валери, меня привлекали ее цельность, ее спокойная сила и ясность... Впрочем, кто знает... Констанс понимает, возможно, больше меня самого. Ведь были такие дни, когда ее спокойствие казалось мне слишком невозмутимым, почти мистическим, лишенным человеческого обаяния. В самой сильной и верной любви есть свои черные дни, есть полосы кризисов, и я не раз уже думал, что Констанс рассудочна, равнодушна, что ее спокойствие опирается не на силу, а на отсутствие эмоций, что нет в ней истинной доброты, нет живого огня. Было и такое, и она это знала. Не путем телепатии; ведь она раньше, до катастрофы, могла воспринимать мои мысли и чувства либо в момент какого-то очень высокого их напряжения — как при встрече с Валери, — либо когда я сам сознательно передавал ей что-то на расстоянии. Просто она всегда была внимательней, проницательней, тоныше...

Робер часто подсмеивался надо мной, уверяя, что в моем организме явный избыток женских гормонов и психика у меня скорее женская, чем мужская. Может быть, это и так; ведь принято считать, что повышенная чувствительность, острые потребности в любви и дружбе, в опоре и защите — это чисто женские черты. У меня они, видимо, существуют от рождения; то, как сложилась моя жизнь, в одинаковой мере определяется и внешними обстоятельствами и особенностями моей психики.

Да, война дважды разрушала все вокруг меня; но будь у меня другой характер, я вел бы себя по-другому. Прежде всего я мог не реагировать на все так резко и бурно. Мало ли у кого распадалась семья в наше время, и далеко не все делают из этого трагедию. Тем более что у меня все складывалось не так

уж плохо. Отец всегда старался помогать мне — это мать отказывалась от помощи, потому мы с ней так и бедствовали, — а потом Женевьева сразу приняла меня, как родного сына. Потеряв Валери, я тут же встретил Констанс, идеальную жену и подругу.

Выходило внешне так, что я даже выигрывал от этих перемен. Если б отец остался с моей матерью, я вряд ли получил бы образование; если б мы продолжали жить с Валери, я не смог бы так много и хорошо работать, как с Констанс, которая сняла с меня все житейские заботы, никогда не жаловалась на нехватку денег, даже если их было явно недостаточно, и обес печила мне то душевное равновесие, которого мне всегда не хватало. И все же... все же я не мог ничего забыть, я не умел приказать себе — хватит, брось самокопание, не будь слюнтяем.

Робер еще потому так говорит, что наши с ним взаимоотношения с самого начала строились по принципу: слабый ищет защиту у сильного, а тот милостию снисходит. Ну, может, и не совсем так, ведь Робер искренне любил меня, а в лагере дружба и любовь ценятся куда выше, чем в обычных условиях. Но о Робере-то уж не скажешь, что у него есть женские черты в психике! Он воплощение мужественности и внешне и по характеру. А я...

К сожалению, я не наделен другими чертами, тоже причисленными к женским: у меня нет той чуткой внимательности, которая действительно присуща большинству женщин. Или, вернее, она есть, но не всегда включается. Иногда я вообще ничего не замечаю вокруг себя — и не по недостатку интереса, вовсе нет! Констанс всегда уверяла, что это от занятости, от увлеченности работой, и я принимал это объяснение — лестно и удобно. А на самом деле — кто знает?

Во всяком случае, в истории с Натали эта моя ненаблюдательность едва не привела к трагедии. Едва не привела? Или трагедия все же произошла? Я так и не знаю, как об этом судить. Констанс и Робер — каждый со своей точки зрения — считают, что я не имел права так поступать. Возможно, они правы...

Если бы я мог с ними посоветоваться... Но Констанс тогда была в Лионе у родственников. Робер улетел в Америку на конгресс нейрофизиологов. И тут появился этот проклятый Жиль.

Сначала я услышал, как Натали говорит с кем-то по телефону, и впервые понял, что моя дочь — взрослая. И что она влюблена. Этот тихий, с нежным приздыханием, смешок: «Ах, Жиль...» Я молча отошел от двери кабинета. Потом, за чаем, спросил: «С кем это ты говорила?» Натали ничуть не смущилась, только перестала улыбаться: «С одним знакомым». Я не решался больше спрашивать, но, конечно, встревожился. Натали свою равная, скрытная, самолюбивая. Впервые я пожалел о том, что побоялся проводить опыты с детьми. Психика Натали была для меня подлинным «черным ящиком». Я рассеянно глотал чай и, делая вид, что читаю газету, исподтишка наблюдал за Натали. Да, она взрослая и, пожалуй, красивая девушка. Во всяком случае, «стильная», как говорится. Сейчас в моде именно такие — длинноногие, с тонкой талией, с пышной шапкой взлохмаченных волос, с лицом, которое будто состоит лишь из глаз да губ.

Поймав мой взгляд, Натали выпрямилась как пружинка. Тонкий алый свитер обтягивал ее прямые плечи.

— Ты хочешь знать, кто такой Жиль? — слегка заносчиво спросила она. — Он работает в автомобильной фирме, рекламирует машины.

Я не очень понимал, что это значит, — нечто вроде коммивояжера, что ли? Но в ту минуту меня запоминало другое: почему Натали это сказала чуть ли не через полчаса? Я ведь ничего больше не спрашивал. Мое молчание вряд ли могло ее смутить — я за завтраком всегда читал газету, тем более в воскресенье. Желание пооткровенничать? Я этого за Натали даже в детстве не замечал. Интуиция? Возможно. Но что, если она ответила на мой внутренний вопрос? Я ведь все время думал об этом Жиле и даже разглядывал Натали с точки зрения постороннего мужчины — какое она должна производить впечатление?

Я безразлично пожал плечами и уткнулся в газету.

Но мысленно спросил: «Ты давно с ним знакома?» Я повторил этот вопрос три раза и услышал запинающийся ответ Натали: «Недавно. Я с ним знакома всего неделю».

И вдруг Натали закричала:

— Я не хочу, слышишь, не хочу!

Я отложил газету и стал глядеть в глаза Натали. Она прикусила губу.

— Чего именно ты не хочешь? — спросил я. — И почему?

В общем на меня это мало похоже — такое поведение. А тем более с Натали — она всегда была такой нервной, излишне чувствительной, я-то ее ницимал лучше других и не хотел бы мучить. Но тут у меня появилась какая-то не очень ясная идея — вдруг удастся избавиться от этого Жиля хотя бы до приезда Констанс, а потом пускай она рассудит, как быть. Ну, а к тому же я поддался импульсу исследования, хоть и знал, что все эти занятия — палка о двух концах.

— Ты не должен читать мои мысли! — выпалила Натали. — Это... некрасиво!

Я усмехнулся: меня позабавило, как все перепуталось в ее восприятии.

— Но я вовсе не читаю твои мысли, девочка. Ты все говоришь вслух.

— Да... Это верно! — растерянно согласилась Натали. — Но ты... ты приказываешь мне. Я же чувствую. Это гипноз! Ты не должен этого делать! Ты... ты не имеешь права, нет, серьезно. Ты даже не знаешь Жиля, а уже ненавидишь его.

— С чего ты взяла? — сказал я, понимая, что она в общем правильно все воспринимает, хоть и преувеличивает: я не мог ненавидеть неизвестного мне Жиля, но хотел бы от него избавиться; впрочем, для Натали тут существенной разницы нет.

Натали замолчала и долго глядела на меня. Я потом думал: почему эта внутренняя связь между нами возникла так внезапно? Ведь я боялся посвящать детей в нашу связь с Констанс и никаких опытов с ними не проводил. Правда, я знал, что, если они будут

в опасности, я это увижу на каком угодно расстоянии, — знал и проверил на фактах. Но что создало наш контакт с Натали? С ее стороны была влюбленность, сразу резко изменившая ее внутренний мир. С моей — крайняя усталость (я заканчивал серию очень сложных опытов с животными, один лаборант к тому же срочно уехал к больной матери, и вслед за этим заболел другой, так что у меня остался всего один помощник) и тоска по Констанс — мне всегда было тяжело расставаться с ней, я чувствовал себя словно черепаха, лишенная панциря. В ночь под воскресенье я рассчитывал отоспаться по крайней мере, но почему-то напала бессонница, я проворочался до рассвета, потом глотнул снотворного, а Софи меня разбудила, как мы уговорились с вечера, в десять часов. Я вышел к завтраку с тяжелой головой и по дороге услышал этот самый телефонный разговор. В общем какие-то сдвиги в психике были и у меня и у Натали.

Я понимал: эта мысленная связь именно потому так испугала и раздосадовала Натали, что совпала с ее первой «взрослой» влюбленностью, с таким периодом, когда потребность в тайне особенно возрастает. Она боялась, что я читаю ее мысли. Но это было не совсем так. В ту минуту, во всяком случае, я примерно догадывался, что она сейчас чувствует, просто на основании собственного опыта. Потом я стал добиваться большего уже сознательно.

Жиль вскоре появился в нашем доме, и я решил, что мои инстинктивные опасения оказались справедливыми. Это был высокий черноволосый парень, очень элегантный по теперешним понятиям, с уверенными, чуть небрежными манерами опытного соблазнителя. Я таких всегда ненавидел. Может быть, из зависти, уж не знаю. Хотя меня никогда не прельщала слава покорителя женских сердец. Думаю, что, если б какая-нибудь фея одарила меня этим свойством, я скорее счел бы себя несчастным. Но рядом с этими уверенными, элегантными, неотразимыми парнями я все-таки чувствовал себя ничтожеством. Валери расхохоталась, когда я признался ей в этом: «Да зачем тебе?.. Разве

ты донжуан?» Даже ей я не мог объяснить, в чем тут дело. Да и сам не до конца понял.

Так или иначе, Жилья я действительно возненавидел с первого взгляда. Но прежде всего потому, что понял, какой властью он пользуется над Натали. Он был старше ее всего на семь лет, а выглядел зрелым, опытным мужчиной, и Натали беспрекословно подчинялась его молчаливому взгляду, легкой улыбке, движению руки. Мне стало по-настоящему страшно, когда я увидел из окна, как они идут по улице и как Жилья целует ее. В эту минуту я репился.

Писать Констанс, советоваться с ней было невозможно, да и медлить не следовало. Я подсыпал Натали в вечерний чай дозу снотворного и ночью провел с ней сеанс гипнотического внушения. Утром она сидела молчаливая, тихая, глаза у нее были испуганные, и у меня сжалось сердце. Вечером пришел Жиль, и я, страдая, наблюдал, как мечется бедная девочка между его и моей волей. Под конец она разрыдалась и выбежала из комнаты. Тогда Жиль подошел ко мне.

— Вы думаете, это хорошо — так поступать? — спросил он.

Я покал плечами. Он продолжал:

— Я вообще не понимаю, что вы имеете против меня. Я вас чем-нибудь обидел? По-моему, нет.

— Зачем вам Натали? — резко спросил я.

Он снисходительно усмехнулся.

— Вы, старшее поколение, вечно задаете какие-то дикие вопросы. Зачем это действительно парню в моем возрасте может понадобиться девушка?

— Вы хотите на ней жениться? — не обращая внимания на его тон, спросил я.

— Не знаю еще. Возможно. Я не знал, что вы торопитесь выдать ее замуж. Она ведь так молода.

Меня разозлили не столько слова, сколько снисходительная, поучающая интонация, ленивая наглость, с которой он это произнес. Я встал и довольно нелепо выкрикнул:

— Убирайтесь вон из моего дома!

«Господи боже мой! — подумал я тут же. — Что за идиотская ситуация! Благородный отец и ко-

варный соблазнитель — прямо из старинной мелодрамы!» Если б Жиль реагировал как-нибудь иначе, я, наверное, просто сдался бы. Но он возразил тоже повышенным тоном, что привлечет меня к ответу «за все эти штучки с гипнозом», и тут я совсем разъярился — вероятно, оттого, что чувствовал себя виноватым.

Вспышки такой бешеной ярости у меня бывают крайне редко, и я сам их побаиваюсь, потому что теряю власть над собой. Силы у меня тогда удесятеряются. В двенадцать лет я чуть не убил человека. Я был худеньким невысоким парнишкой, а мой противник, шестнадцатилетний силач Жан, слыл опытным драчуном. Но он грязно обругал Женевьеву, и вдруг у меня перед глазами пошли красные круги. Я даже не помню толком, как все случилось. Я поднял его на воздух и вырынул с такой силой, что он скатился вниз по крутым ступеням бельвильской улички и два месяца провалился в больнице с переломленными ребрами и пробитым черепом. Отчасти из-за этого отец и Женевьеву продали быстро и перебрались в XIV округ, на улицу Алезиа, распустив слух, что мы вообще уезжаем из Парижа: они боялись, что Жан со своей компанией убьет меня, как только выйдет из больницы...

Я поднял тяжелый дубовый стул и взмахнул им над головой.

— Убирайся немедленно, подонок! — крикнул я.

Жиль понял, что дело нешуточное, и попятился к двери. На пороге стала Натали. Я еле различал белые пятна их лиц — перед глазами плыси красные круги, застилая все. Но я услышал, как Жиль властно сказал:

— Натали, ты идешь со мной!

— Нет! — крикнул я. — Нет! Натали, не смей!

Я увидел, что Натали застыла на пороге. Потом она зашаталась и упала. Красные круги прекратили свою бешеную пляску. Я тяжело опустил стул.

— Видите, что вы наделали! — неожиданно мягко и растерянно сказал Жиль.

Стоя на коленях, он поддерживал Натали — она лежала с закрытыми глазами, белая как мел.

— Ладно, вы все-таки уходите, — пробормотал я.— Дайте ей успокоиться.

— Я-то уйду, раз вы настаиваете. — Он поднял Натали, уложил ее на диван. — Но разве так можно поступать, если вы ее любите? О ней нужно думать, а не о себе, ведь верно?

— Ладно, ладно, идите, — повторил я, и он ушел, а я позвал Софи.

Может, он вправду был совсем неплохой парень. По крайней мере так уверяла Констанс. Но уж очень все неудачно сложилось.

Натали вскоре пришла в себя, но весь день пролежала молча, отвернувшись к стенке. Я решил было ночью внушил ей, что она немедленно уехала в Лиона к Констанс, но вечером у нее было уже около сорока градусов, она бредила. Врач сказал, что это вирусный грипп. В девятнадцатом веке это называли бы первной горячкой, тем более что болезнь дала осложнение — менингит.

Констанс немедленно приехала, не успев даже получить моей телеграммы, — она почувствовала беду. И начала распутывать все, что я так безнадежно и опасно запутал.

Мало что можно было сделать в таких обстоятельствах. Констанс подолгу беседовала и с Жилем и с Натали, когда той стало лучше. Я уж готов был примириться с этим парнем, но Констанс объяснила мне, что Жиль из-за всей этой истории охладел к Натали.

— У них ведь все только начиналось — во всяком случае, у него. А тут какие-то нелепые трагедии, гипноз... — говорила она, не глядя на меня. — Ну, поставь себя на его место... даже себя. А он парень трезвый и бесстолковых трагедий инстинктивно избегает. Да и Натали сейчас очень подурнела.

Действительно, Натали, бледная, осунувшаяся, с обритой головой, ничуть не была похожа на ту «стильную» девушки, которую я недавно рассматривал через стол поверх развернутой газеты. У меня сердце болело, когда я входил в палату и видел ее лицо, неподвижные, равнодушные глаза. Она по-

прежнему не сказала мне ни слова, а с Констанс говорила только наедине, и то неохотно.

— Что же делать с Натали? — спросил я. — Я понимаю, что во всем виноват... Но ведь тебя не было! И что теперь? Как нам быть?

Констанс долго обдумывала ответ. Он оказался совсем неожиданным для меня. Она считала, что дия через три-четыре, когда Натали немного окрепнет, надо будет проделать во сне сеанс гипноза и внушить ей, что она разлюбила Жиля и не думала об этой истории вообще. Может, понадобится и не один сеанс, но это необходимо, иначе она будет очень страдать и возненавидит меня.

— А ты не думаешь, что это опасно? — спросил я.

— Из двух зол приходится выбирать меньшее, — вздохнув, ответила Констанс.

*Он волнуется... счень волнуется... Но ведь об этом надо помнить, иначе... Или, может, не стоит так долго?.. Слишком уже много у него болезненных наслонений.*

Конечно, все мы люди искалеченные, и Робер тоже, хоть он и держится лучше. Я так и не понимаю, как могла Констанс полюбить меня, особенно тогда, в сорок пятом году. Я ведь был совсем сумасшедший после лагеря и после разрыва с Валери. Правда, в присутствии Констанс я становился спокойней, мягче, даже смеялся, но это было так внешне, так ненадежно! Она не могла этого не чувствовать, да и не только она. Стоило мне улыбнуться, как губы начинали непривычно дергаться, улыбка походила на судорогу, и я отворачивался смущаясь.

Я долго не понимал, не решался понять, что Констанс меня любит. Это было невозможно, невероятно. Я и сам не мечтал об этом: просто ходил к ней по вечерам, сидел, и мне всегда было очень трудно уходить. Да и куда уходить? Робер женился на женщине, которая ждала его все шесть лет: он сам был несколько смущен этой верностью и объяснял, что от Франсуазы он этого никак не ожидал. «Все у нас было, пони-

маещь, как-то наспех. Не успели толком переспать, а тут война... Правда, она заявила, что будет меня ждать, но мало ли что говорят в таких случаях...» Оставаться с молодоженами в одной квартире не годилось, а мне — тем более. Я снял комнату в паршивенькой гостинице на улице Бернардинцев, потому что это было рядом с домом, где жила Констанс, и мы начали проводить вместе все вечера.

Она неохотно рассказывала о себе; я знал только, что она круглая сирота, работает в министерстве юстиции стенографисткой.

Собственно, насчет министерства юстиции я знал с самого начала; там я с ней и познакомился. Пришел проведать Марселя Рише, моего лагерного дружка, и увидел Констанс: она шла навстречу мне по длинному коридору, и волосы ее светились, как ореол, каждый раз, когда она проходила мимо окна. Когда она прошла, я молча повернулся и пошел за ней — почему, сам не знал. Я никогда не умел знакомиться с девушками вот так, на ходу, а уж после лагеря и вовсе разучился разговаривать как следует, ухаживать... Впрочем, это не то слово, я не собирался тогда ухаживать за Констанс и вообще не знал, что я собираюсь делать. Просто вошел в комнату вслед за ней и самым дурацким образом уставился на нее. Она сначала пытаясь выяснить, что мне угодно, потом мило улыбнулась и сказала: «Простите, у меня срочная работа», — и принялась очень быстро стучать на машинке.

Наконец я собрался с силами и встал. Молча постоял с минуту — мне казалось, что уходить нельзя, что потом я вернусь и, как в сказке, не будет уже ни этой комнаты, ни светловолосой девушки за машинкой. Но Констанс все так же приветливо и безлично улыбнулась мне, и я вышел, хотя каждый шаг давался мне с трудом.

Я говорил с Марселеем, смотрел на страшный багровый шрам, наискось рассекавший его лицо, и вспоминал, как он лежал в ревире, до полусмерти избитый в каменоломне, и еле слышно хрюпал: «Париж, я еще увижу Париж, я увижу Париж, я не умру!» А лицо у него было залито кровью, и глаз затек и распух, и

все тело было исполосовано плетью, перевитой проволокой, — плетью капо Гейнца Руппера, истоптано тяжелыми подкованными сапогами, и мы не знали, доживет ли он до утра. А он дожил, и я дожил, и Робер, и мы все унесли с собой эту страшную память, и можно ли человеку, на чьей душе неизгладимая печать лагеря смерти, тянуться к молодому, здоровому, спокойному существу? Зачем? Чтоб душевно омолодиться за чужой счет, ценой чужого спокойствия? Престарелый царь Давид клал себе в постель моло-деньких девочек, чтоб они согревали его кровь, — ну что ж, на то он и царь, да и власть его простиралась лишь на тело, а не на душу. Девушки уходили и с на-смешливой улыбкой вспоминали о старице, которого уже собственная кровь не греет, а он все цепляется за жизнь...

— И все равно я спросил:

— Послушай, Марсель, а кто эта высокая блондинка? Которая работает в четыреста тридцать шестой комнате?

Я старался говорить небрежно, и все же Марсель сразу понял.

— Вот не знал, что ты интересуешься девушками! Ты какой-то, знаешь ли, не от мира сего... Или это в лагере так казалось, черт его знает... Ну, объект ты выбрал не очень-то удачный. Констанс — девушка серьезная, ей не до флирта... — Он поглядел на меня. — Да ты что, Клод? Ты всерьез, что ли?

Я молчал и глядел на него. Он встал.

— Ну, пойдем, я тебя познакомлю. А там уж смотри... — он сделал неопределенный жест.

Мы пошли к Констанс, Марсель меня официально представил. Я неловко пробормотал слова извинения, Констанс опять улыбнулась, мило и безлично. Она и сейчас умеет так улыбаться, если хочет поскорее от-делаться от собеседника. В принципе это хорошо дей-ствует, я наблюдал; но па меня тогда ничто не могло подействовать.

Это не было ощущением яркого счастья, праздника, пылкой влюбленности, как с Валери. Просто я боялся уходить от Констанс, боялся, что больше ее не уви-

жу, — и тогда конец мне, я не вытяну. Чего я от нее хотел, от этой чистенькой, беленькой, ласковой и замкнутой девочки, я и сам не понимал. Вначале я вовсе не думал на ней жениться — может, потому, что никак не рассчитывал на ее согласие. Соблазнять ее я тем более не собирался. Мне даже не приходило в голову поцеловать Констанс. Вообще я вначале относился к ней не как к женщине, а как к источнику света, тепла, спокойствия — всего этого так не хватало мне тогда!

И вот вечер за вечером я сидел в ее чистенькой, очень скучно обставленной комнате, смотрел, как она ходит, заваривает чай, как она штопает чулки. Однажды я припес ей две пары нейлоновых чулок — выменял у американца за уникальную лагерную зажигалку из спиральной гильзы. Эту зажигалку мне подарили чех Франтишек, я его вовремя предупредил об опасности — увидел его имя в списке для газовой камеры на столе у начальника лагеря, и ребята дали ему номер мертвца, перевели в другой барак — ну, как обычно делали в таких случаях, если удавалось заранее узнать. Я тогда уже научился видеть...

Констанс не испугалась и не смутилась, когда я принес ей чулки. Я даже удивился — думал, она будет отказываться, рассердится. Но она улыбнулась — по-хорошему, не той, официальной улыбкой — и сказала: «Это замечательно. Мне так надоело штопать чулки! А нейлон, говорят, очень прочный».

После месяца ежедневных встреч мы поразительно мало знали друг о друге. Я сказал ей, что был в лагерях, — да и Марсель представил меня: «Мой друг по лагерю». Сказал, где работаю, где живу. О Роберре рассказывал. Один раз заговорил об отце и Женевьеве, но о матери сказал только, что она умерла. И это все. О лагерях и о Валери мне было, пожалуй, одинаково трудно говорить, у меня в первые годы даже температура поднималась до сорока градусов, если я начинал рассказывать. О телепатии я попросту побаивался упоминать, тем более что у меня эти способности вдруг исчезли, и я склонен был думать, что они могли проявляться так ярко лишь в лагерной об-

становке. Ну, а если исключить три эти темы, рассказывать мне было особенно нечего. И как-то не хотелось. И Констанс тоже не хотела говорить о себе. Я спросил, давно ли умерли ее родители. Она коротко ответила: «В сорок втором году», — и надолго замолчала. Я больше не решился расспрашивать. Я вообще болезненно не люблю спрашивать. Мне даже трудно расспросить о дороге, если я не знаю, куда идти. Это у меня с детства. Отец считал, что это от избытка самолюбия. Вряд ли. По-моему, от робости.

Через неделю после свадьбы мне приснился лагерь. Тогда он мне часто снился, да и сейчас еще случается. Приснился допрос. У меня все еще болели ребра, переломанные в 1940 году, и почки, отбитые в 1943-м. Так что кошмары были очень реальными, я опять задыхался от боли и ужаса и опять кричал: «Больше не могу, убейте меня, убейте меня, я ничего не знаю!»

Это я всегда кричал, пока мог выговаривать слова, хоть невнятно. Потом я выл, хрюпал — и в особенно счастливых случаях терял сознание. То есть начинал все чаще терять сознание. Вначале меня отливали водой, и все повторялось: нестерпимая боль, нечеловеческий крик, раздирающий рот, разрывающий глотку, и опять спасительный провал в черноту. Потом, наконец, меня оставляли в покое. Робер уже без шуток говорил, что и в этом я похож на женщину — внешне слабый, тщедушный, а выдерживаю то, что не под силу атлетам. Это верно — и сознание я терял так редко, так ужасно, невыносимо, беспощадно редко!

Я двадцать часов висел на вытянутых, нестерпимо болящих руках и хрюпал: «Убейте, убейте меня, я больше не могу!» Но я это вынес. Меня пытали неделю подряд, с перерывами по три-четыре часа, не больше. Делали все, на что у них хватало фантазии и техники: прижигали кожу сигаретами, загоняли длинные раскаленные иглы под ногти, стегали плетьями по часу, по два, по три, обливали водой из ведра, и снова ложились на спину не удары, нет, а будто падали горящие балки, переламывали мне хребет, переламывали

изо всех сил и все никак не могли доломать, и я беззвучно кричал: «Скорее, только скорее, я больше не могу, убейте меня, убейте меня скорее!»

Самое страшное было, когда меня и Робера пытали одновременно, в двух разных камерах. Мы оба испытывали двойную боль, двойной ужас, двойное умирание. Как мы выдержали, не понимаю. Позднее мы договаривались, чтобы не попасть в одно время — телепатически договаривались, — перестукиваться мы не могли, сидели на разных этажах. Это было трудно, очень трудно устроить. Однажды мне удалось внушить своему следователю на расстоянии, что он болен, совсем болен, с сердцем плохо, и он вызвал меня лишь под конец дня, когда Робер уже лежал без сознания в своей камере. В другой раз Роберу сказали в кабинете следователя: «Валяйся тут, мы при тебе допросим другого, потом опять примемся за тебя! Жди своей очереди!» Робер успел передать мне это прежде, чем потерял сознание. Я сейчас же начал внушать своему следователю, чтоб он вызвал меня. Это было очень трудно потому, что я боялся вызова больше всего на свете, и, если б можно было покончить самоубийством, я бы, не задумываясь, воспользовался этим выходом. Но он вызвал меня, и вскоре я хотел лишь одного — поскорее потерять сознание, поскорее, пока Робер не придет в себя, иначе... Кричать я уже не мог, голос был сорван, я хрюпал, бормотал и иногда с недоверием слушал: неужели это мой голос?.. Робер все же пришел в себя, и пытка удвоилась, но вскоре это кончилось...

Прошло много времени, прежде чем я научился терять сознание по произволу. И то мне это удавалось лишь тогда, когда давали хоть короткую передышку и я мог сосредоточиться. Я вспомнил «Межзвездного скитальца» Джека Лондона и попробовал повторить его опыты. Но это было не то. Во-первых, получалось слишком медленно — эсэсовцы не давали столько времени; во-вторых, из этого состояния можно было довольно легко вывести. Герою Джека Лондона не загоняли иголок под ногти, его просто встрихивали, пинали, развязывали, и он приходил в себя. Это пока-

зывает, что цивилизация продолжает совершенствоваться. По крайней мере в одном направлении. Разве во времена Джека Лондона могли себе представить, что такое газовая камера и крематорий? А через четверть века после его смерти с этим познакомились на личном опыте миллионы людей. Еще лет через пять некоторая часть человечества узнала, как здорово действует даже небольшая атомная бомба, если ее сбросить на город. А теперь все человечество на личном опыте убедилось, что обитателям Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года пришлось и вправду нелегко. Впрочем, большинство, наверное, уже не успело осознать этого.

Когда боль превышает силы и уничтожает в человеке человеческое, люди кричат в общем одинаково. Все мы, заключенные концлагерей, узники гестапо, слыхали не раз этот страшный захлебывающийся вой, в котором нельзя уже распознать слов, нельзя узнать знакомого голоса, не всегда можно даже отличить, мужчина это или женщина. Все мы слыхали невнятное бормотанье, всхлипыванье, стоны сквозь горячечный бред, когда человек с телом, превращенным в кровавое месиво, валяется на полу камеры и уже не сознает, где он, продолжается ли пытка или наступила передышка, остался он еще в живых или умирает.

Года три назад мне пришлось лечь в больницу — какие-то лагерные памятки остались, и иногда у меня начинается обострение воспалительного процесса: лихорадка, боли. Ночью мне приснился лагерь, я проснулся в холодном поту, но и наяву не мог отделаться от кошмара. За стеной кого-то пытали. Я сразу узнал это всхлипывающее бормотанье, прерываемое хриплым воем, эти невнятные, бессвязные мольбы, такие бессмысленные, такие трагически-наивные: «Я не могу больше... Я не выдержу... честное слово... я не могу, не могу, лучше убейте меня!» Я с невероятным усилием открыл глаза, ожидая встретить нагой, мертвый свет рефлектора или пересеченный решеткой тусклый световой квадрат тюремного окна. Но в палате царил ровный синеватый свет ночника, делавший все прозрачным, я лежал на мягкой, чистой постели и слушал

эти невероятные, фантастические в мирной обстановке крики. Я вскочил, кинулся к двери. В коридоре за столиком сидела ножилая сестра милосердия с очень усталым лицом.

— Что... что это? — спросил я. — Крик... почему?

— Сейчас иодействует морфий... — тихо сказала она. — Это печеночная кома.

Я вернулся в палату и лег. Крики за стеной становились все глупее, слабее, перешли в жалобное бормотанье, прерывистые вздохи. Я слушал, обливаясь холодным потом, даже сейчас, когда узнал, что это. При печеночной коме сознание помрачнено, и когда к человеку прикасаются, то вся боль, которую он терпит, сосредоточивается именно в том месте, до которого дотрагиваются руки врача. Боль от укола он воспринял как жестокую, бессмысленную пытку... «Сколько ему лет? Может, он тоже лагерник?» — думал я. (Утром я узнал, что он умер; ему было всего двадцать четыре года.)

Итак, мне приснился лагерь, и я стонал во сне, а может, и кричал. Констанс разбудила меня.

— Тебя... пытали? — спросила она незнакомым, сдавленным голосом.

— И вдруг уткнулась лицом в подушку и так горько, отчаянно заплакала, что я растерялся. Я просто не представлял себе, что Констанс может плакать, — такая она была ясная и сильная.

— Констанс, милая, ведь это уже прошло... это прошло и больше не повторится, — бормотал я, глядя ее плечи, ее разметавшиеся шелковистые волосы.

Потом я принес воды, она выпила, понемногу успокоилась. Это в первый и в последний раз я увидел ее плачущей. Мы сидели на постели, обнявшись, Констанс прижималась ко мне, все еще неровно дыша от рыданий.

— Ты прости, Клод, — сказала она наконец. — Это из-за тебя... И еще из-за родителей. Они ведь погибли в тюрьме Френ, и мне рассказывали, как их пытали... вместе, нарочно, чтоб им было тяжелей... чтоб

заставить их заговорить... Мне рассказывала женщина, которая сидела в одной камере с матерью. Но они никого не выдали.

Только в эту ночь я узнал, что Констанс, как и ее родители, работала в подполье, что она была связной, ездила в другие города, перевозила листовки и гранаты, передавала инструкции.

— Почему ты мне раньше ничего не сказала? — спросил я.

Констанс ответила застенчиво и чуть удивленно:

— Но ведь ты не спрашивал... Я думала, что ты знаешь обо мне от Марселя Рише... и что тебе тяжело вспоминать обо всем, что связано с войной...

Вряд ли есть хоть что-нибудь в моей жизни, о чем Констанс не узнала после этого. Мне вдруг отчаянно захотелось рассказать все, выговориться, самому понять, что и как было со мной. Это был почти сплошной монолог: Констанс слушала, бледная, спокойная, и я знал, что она все понимает. Иногда я спрашивал ее: «А ты? Расскажи о себе!» Она говорила, но скрупульно и неохотно. Я шел на уловки — рассказывал о каком-нибудь дне своей жизни и добавлял: «Это было такого-то числа, такого-то месяца. А что было с тобой в этот день?» Иногда Констанс начинала рассказывать:

— Ах, девятое октября сорок второго года... В этот день я поехала в Лион... В поезде ко мне придрались полицейские, будто у меня документы не в порядке... В Лион мы прибыли вечером, и меня до утра продержали в камере... Там были две воровки, но они ко мне отнеслись очень хорошо и все советовали, чтобы я побольше плакала, когда меня будут допрашивать. Но утром меня допросил комиссар и выпустил. Даже обругал полицейских: «Свиньи, мучают детей!» Правда, они зря придрались, документы у меня были в порядке. А потом уж все в Лионе прошло хорошо.

Констанс совсем иначе воспринимала все, что ей пришлось пережить, даже гибель отца и матери. Для нее это была борьба за идею, битва против фашизма. Гибель в этой битве была хоть горькой, но почетной; жизнь вне борьбы — бессмысленной и жалкой. Ее отец

был коммунистом, участвовал в испанской войне; она росла в атмосфере политических споров, борьбы во имя политики, подвига во имя борьбы, и для нее все это казалось нормальным и естественным. Кстати, ее молчаливость, нежелание расспрашивать и рассказывать, ее удивительная выдержка — все это было результатом не только врожденных свойств, но и воспитания в определенной среде.

Я и сейчас не могу понять, как это Констанс вышла замуж за меня, родила мне детей, отошла от политической жизни, — не потому, что я был против политики, вовсе нет, просто ее поглотили заботы обо мне и о детях. Конечно, большую роль тут сыграло то, что я был в лагерях и она меня причисляла к борцам, к людям ее окружения, ее душевного склада (вот, пожалуй, единственная польза от этих страшных пяти лет!). Я понимал это и чувствовал себя неловко, будто самозванец.

Но я ничего не мог тогда объяснить Констанс. Она спокойно улыбалась и говорила:

— Но ведь это правда, что ты участвовал в организации побега? Правда, что, когда вас так ужасно пытали в гестапо после провала, ты никого не выдал? Правда, что ты и в Маутхаузене продолжал работать в лагерной организации и сделал очень много?

Я пробовал возражать:

— Но, дорогая, это все внешнее. А внутренне я вовсе не способен бороться. И если бы не Робер...

Констанс отвечала:

— В борьбу многие вступают из личных побуждений: любовь, дружба, семейные связи. Что ж из этого? Вот, например, моя мать: она приняла участие в борьбе из любви к мужу. Разве это порочит ее? Разве она не делала все, что могла, и не погибла, как героиня? Разве к великой цели ведет лишь один путь?

Что я мог на это сказать? Со своей точки зрения Констанс была права. Но разве действительно важны лишь действия, а побуждения безразличны? Может быть, к цели ведет и не один путь, а множество параллельных и переплетающихся между собой, но ведь вопрос и в том, что считать целью!

— А что же было твоей целью? — серьезно выслушав все это, спрашивала Констанс.

И это ставило меня в тупик. В самом деле, как определить мою цель? Разве я хотел чего-то другого, не того, что Робер? Разве мне не хотелось уничтожить фашизм, прекратить войну? Боже, да кому этого не хотелось!

— Может быть, дело не в цели, Констанс, — соглашался я. — Дело во мне самом. Я хотел бы стать таким, как Робер и другие, но не могу. Ну, ведь бывает же сплошь и рядом, что человек занимается делом, для которого он совершенно не годится. Потому что так складываются обстоятельства, понимаешь? Вот так было и со мной в лагере. И я без ужаса не могу об этом вспомнить!

— О чём — об участии в лагерной организации?

— Вообще о лагере! Обо всем, что с ним связано! Если бы я узнал, что меня снова отправляют в лагерь, я бы покончил самоубийством! Я замираю от ужаса, когда вспоминаю, что там было, я теряю всякое мужество!

— Но ведь всем страшно вспоминать такие вещи...

— Значит, не всем одинаково... Робер — он другой, он ничего не боится. Вот он — герой, борец, а я... я невольный участник борьбы. Я трус, пойми это! Ты принимаешь меня за героя, а я всего лишь жертва. Не ставь меня на пьедестал, я там все равно не удержусь.

— Видишь ли, герои бывают разные, — отвечала Констанс. — Почему ты считаешь, что герой — это тот, кто ничего не боится? Я даже не знаю, есть ли на свете люди, которым так уж никогда и не страшно. Ну, я понимаю, что иногда можно совсем не бояться смерти. Но не бояться ныток — это может только по-мешанный. Ты слишком честен, Клод, и слишком многое от себя требуешь, в этом все дело. Не надо так. Может быть, это и благородно, но ты так мучаешь себя! Смотри, как получается: ты хотел того же, что все хорошие люди, и делал то же, что они. А сейчас ты доказываешь мне, что ты не такой, как они, потому что ты боялся. Ну, неужели ты думаешь, что Робер

не боялся? Я его мало знаю, это правда, но разве он не человек? Может быть, он скрывал свой страх, чтоб другим было легче...

— Вот видишь! Ты сама думаешь...

— А что я думаю? Разве ты выказывал свой страх? Конечно, нет. Иначе тебе не позволили бы участвовать в таких важных делах.

Я старался вспомнить себя в минуты ожидания опасности. Кто знает, может, Констанс и права со своей ясной логикой борца. Действительно, если б товарищи по лагерю понимали, что я испытываю, они бы меня отстранили, и все. Наверное, я невольно вел себя, как все, подстраивался к ним... Наверное...

В конце концов я перестал спорить с Констанс. Какой в этом был смысл? Я даже перестал понимать, кто из нас прав. Мне казалось, что герой — это тот, кто идет к цели, несмотря на все препятствия, ясно видит эту цель, считает ее главной в жизни. А я? У меня была другая цель, чем у них, — поскорее вернуться домой, увидеть Валери, работать, жить... И вот я вернулся. Чем я занимаюсь? Личными проблемами, и они меня больше всего интересуют, так уж я устроен. Теперь, когда у меня есть Констанс, когда начала затихать тоска по Валери, я буду с удовольствием работать. Меня многое интересует в науке. Но политика? Боже мой, ведь я в ней по-прежнему ни черта не понимаю! Я знаю лишь одно: что я до безумия боюсь новой войны, а она опять угрожает миру. Я с удивлением и завистью гляжу на многих моих товарищев по лагерю — они так и рвутся еще податься. Ну, вот они и есть настоящие мужчины... А я... что ж, прав Робер, у меня в характере слишком много женских черт. Не могу же я себя переделать!

*О чём он думает? Констанс... лагерь... пытки... Констанс... Валери... почему-то лаборатория... сцена митинга... лица Марселя и Симона... Я не могу поймать ход его рассуждений...*

— О чём ты думаешь? — спрашивает Робер, появляясь на пороге библиотеки с подносом в руках. — Констанс прислала тебе кофе, давай выпьем.

Мне вдруг становится почему-то жутко. Кофе, он сказал? А когда я ел и пил в последний раз? Когда вообще кто-нибудь из нас ел, вот за эту неделю? Почему я не могу вспомнить ни одного обеда, ужина, завтрака? Почему?

— А мы сегодня разве обедали? — неуверенно спрашиваю я Робера.

Он ставит поднос с чашками и кофейником на низенький журнальный столик, садится рядом со мной на диван, берет мои руки в свои большие теплые ладони и смотрит мне прямо в глаза. Я отвожу взгляд.

— Конечно, обедали, чудак! — убедительно говорит он. — Разве ты не помнишь? Констанс приготовила чудесное рагу, даже не скажешь, что оно из консервированной говядины. И компот из клубники. Как же это ты забыл, а?

Да, теперь я ощущаю на языке вкус острого соуса — Констанс прекрасно готовит соусы, не хуже Софи! — и аромат клубники... Действительно, как странно, что я забыл... Мы обедали и сидели все вместе... Да, наверное, все вместе...

— Послушай, — говорит Робер, — что это ты все время сидишь один? О чём ты думаешь?

Действительно, почему я так долго сидел один? И думал о прошлом — словно оно имеет теперь какое-то значение! Как странно... Я опять поднимаю глаза на Робера: почему мне стало так трудно, физически тяжело выносить его взгляд?

— Так о чём же ты думаешь? — повторяет Робер. Я делаю безразличный жест.

— О чём можно сейчас думать? Так... вспоминал прошлое...

— Ты прав, — неожиданно соглашается Робер. — Сейчас лучше всего вспоминать прошлое. Мы пока обречены на бездействие и ожидание. Но давай еще подумаем вот о чём: чего мы можем ждать от будущего, мы, такие, как мы есть? Ну, если спасемся, конечно... во что я верю! Верю! — Он предостерегающим жестом поднимает руку. — Ну, ну, я понимаю, ты не так уверен, как я, это даже естественно — ведь ты столько тяжешь сейчас на себе... Но все же и ты

не собираешься, я надеюсь, кончать самоубийством, хотя бы потому, что ты и нас за собой потащил бы. Итак, давай подумаем: кто мы, случайно уцелевшие? Ведь согласись, что это случайность: твои уникальные свойства, наша почти мистическая связь с тобой...

Меня все больше охватывает тревога. Мне упорно кажется, что Робер подсмеивается надо мной. Но это же нелепо, кошмарно нелепо! Почему он может смеяться надо мной в такой обстановке? Это бред...

— В конце концов могло быть иначе, — продолжает Робер. — Допустим, что палицо не загадочная телепатическая связь, а вполне реальное, хорошо оборудованное противоатомное убежище. Конечно, такая штука стоит бешеных денег. Но вдруг ты нашел клад, получил наследство от неизвестного родственника — американского миллионера или что-нибудь еще в этом роде. И мы все, вполне естественно, пользуемся твоим гостеприимством...

— Боже, насколько это было бы проще и легче! — вздыхаю я.

— Почему же? — возражает Робер. — Запасы кислорода, воды и продовольствия наверняка лимитировали бы нас куда строже и точнее, чем твоя загадочная и практически неисчерпаемая сила. Я могу, например, предполагать, что ты относишься ко мне совсем иначе, чем к Констанс или к детям, твой мозг работает для меня на каких-то иных волнах, и я вряд ли забираю энергию, предназначенную для них. А воздух и еда для всех одинаковы, и я бы, пожалуй, не рещился...

— Ах, Робер, ничего я не знаю и не понимаю! — с отчаянием говорю я. — Может быть, ты и прав... Но я так боюсь, что от одного этого страха с ума сойти можно... а сходить с ума мне ведь нельзя, и поэтому я еще больше боюсь... очень боюсь, что не выдержу. Если ты что-нибудь знаешь, Робер, не мучай меня, помоги!

— Что же я могу знать? — очень серьезно отвечает Робер, не спуская с меня взгляда. — Но поверь моей интуиции, мы дотянем, мы выживем! Ты мне веришь?

— Верю... — И я чувствую, что мне действительно верится. — Верю, потому что я с тобой... ты же знаешь...

— Ну, это ты все вверх ногами ставишь... Но пусть так, если тебе легче со мной, то я очень рад...

Робер явно взволнован и смущен. Странно: его на сантименты не подднешь, да и слишком привык он к тому, что я вечно цепляюсь за него.

— Ладно, — помолчав, говорит Робер. — Давай все же пофилософствуем: что нам еще остается, верно? Так вот, давай сравним наше теперешнее положение с той ситуацией в лагере. Ну, ты знаешь, что я имею в виду: когда ты больше суток не спал и непрерывно напрягал волю, чтобы видеть, слышать и вспоминать свою волю. Тебе было тяжело, разве нет? Физически куда тяжелее, чем сейчас: ты был страшно истощен, измучен, и вдбавок тебя избил этот скот Вернер...

Ничего тут не поделаешь — вот уже случилось самое страшное, что могло случиться и со мной и с человечеством, а я все-таки вздрагиваю от ужаса, вспоминая лагерь. А ведь прошло так много лет, и, когда туристы, разъезжая по Австрии, направлялись от Вены к Линцу, большинство из них даже не думало о том, что здесь, над голубым Дунаем, в живописной холмистой местности, десятки, сотни тысяч людей терпели жесточайшие муки без надежды на избавление и погибали такой страшной смертью, какая мирному жителю и во сне не приснится. Туристы, наверное, с восторгом смотрели на мощные цепи Альп, встающие на горизонте, а мы... для нас не существовала красота гор, мы взглядывались в очертания горной цепи лишь с одной целью — узнать, будет сегодня дождь или нет: ведь в каменоломни надо было отправляться при любой погоде...

Каменоломни... Действительно, с этими моими таинственными способностями обстояло так: чем хуже, тем для них лучше. Чем ужасней была обстановка, тем ярче и разнообразней они проявлялись. В лагере военнопленных я был связан этой незримой связью главным образом с Робером; в гестаповской тюрьме после пыток я научился по произволу видеть других,

даже чужих и враждебных мне людей, научился на расстоянии внушать им свою волю... В концлагере я владел своим странным искусством уже достаточно для того, чтобы защитить от многих опасностей себя и Робера, а иногда помочь и другим. Надо было лишь взвесить и оценить все условия и продумать, когда и что можно сделать.

Начал я действовать внезапно, случайно, в минуту крайней необходимости... Впрочем, такие минуты в лагере бывали слишком часто, чтобы... Ну, словом, я увидел — обычным образом, своими глазами, как Робер ударил капо. Мы тогда всего неделю пробыли в концлагере и не успели привыкнуть к его правилам — если в этом аду существовали какие-то правила... Впрочем, старожилы лагеря, поляки, говорили, что незадолго до нашего прибытия порядки в лагере резко изменились к лучшему. Но с меня и этого хватало, боже, кто угодно счел бы это адом, я сам не верю, что смог все это вынести!

Итак, Робер ударил капо, Гейнца Рупперта.

Мы тогда еще не знали, что это обычное развлечие Рупперта. Он подходил к какому-нибудь заключенному и начинал с ним мирно беседовать. Потом вдруг ни с того ни с сего изо всей силы бил его кулаком в лицо. Когда заключенный с трудом поднимался, Рупперт как ни в чем не бывало продолжал беседу. Но заключенный, ожидая нового удара, при первом движении Рупперта невольно вскидывал руки, закрывая лицо. Тогда Рупперт, от удовольствия скаля кривые желтые зубы, наносил жестокий, точно рассчитанный удар под диафрагму. После такого удара подняться было почти невозможно, и Рупперт деловито добивал человека; обычно он просто затаптывал его насмерть своими короткими, кривоватыми мощными ногами. Иногда он изо всей силы бил носком сапога в пах — после этого и топтать уже не приходилось, человек выл несколько минут от нестерпимой боли и умирал.

Поведение Рупперта ошеломило нас не только дикой жестокостью, но и какой-то нелогичностью. Гестаповцы были жестоки не менее любого из лагерных

убийц, но цель их действий была ясна: они хотели добить сведения. Попусту мучить они не стали бы: это не входило в их обязанности. А здесь... Я не сразу понял, что означают слова — концлагерь третьей степени, лагерь уничтожения.

Здесь убивали и мучили не только за проступки против лагерного режима, да и проступки эти были до такой степени несоразмерны с чудовищным наказанием, что первое время мы глазам своим не верили. Не успел сдернуть шапку перед эсэсовцем — смерть; испачкал только что начищенные ботинки в жидкой грязи на полу умывальной, где заключенные в страшной спешке кое-как оплескивают ледяной водой лицо и руки, — смерть. Не обязательно, не по уставу, без всякого церемониала, но очень часто — смерть. Мало ли как может сытая безмозглая тварь, вооруженная револьвером и дубинкой, прикончить истощенного, безоружного, беззащитного человека! Но дело даже не в проступке; дело в том, что людей сюда присылали для уничтожения. Значит, можно уничтожить любого из них в любую минуту, придавшись к любому поводу или вообще ни к чему не придираясь...

Когда я научился видеть, что творится в душе у этих лагерных заправил, я сначала себе не поверил. Я ведь не мог видеть всего: для меня заметны были лишь основные стимулы, самые сильные желания и страсти, а мелкое оставалось неразличимым. Но что делать, когда мелкое как раз и оказывается главным, когда душа вся состряпана из мелочей — из инстинктов, из примитивных страстишек, из тупой, хищнической свирепости?.. Нет, не из ненависти, ненависть — это уже человеческое качество, она доступна пониманию, даже если несправедлива. А эти вооруженные питекантропы не умели ненавидеть. Иногда у них бывали приступы бессмысленной, стихийной злобы, вот и все. А большей частью они убивали и пытали просто потому, что это было выгодно — пусть и не прямо выгодно, но таковы были условия их работы, в лагере это было принято, как принято в обычном, нормальном мире носить чистую рубашку.

Но вначале ни я, ни Робер этого не знали, и имен-

но дикая, зловещая беспричинность действий Рупперта вывела Робера из равновесия. «Ты понимаешь, я просто испугался и потерял власть над собой, — говорил потом Робер. — Я ведь уже знал, что ударить капо — это самоубийство, и вдобавок нелепо жестокое; уж лучше прыгнуть вниз с обрыва каменоломни, чем вытерпеть перед смертью все, что может придумать осатаневший от злобы питекантроп». Может быть, на Робера подействовало и другое: Рупперт расправлялся с чудесным парнем-поляком, лагерным поэтом. Звали его Виктор — поляки и русские произносят это имя с ударением на первом слоге, — и у него были великолепные синие глаза... Так или иначе, а Робер размахнулся и отвесил Рупперту такой удар, что тот грохнулся наземь и некоторое время лежал недвижимо.

Пока никто не видел, что случилось. Мы — Робер, Виктор и я — работали за выступом скалы, на крохотной площадке. Но в любую минуту должны были появиться заключенные с носилками для камня, да и сверху мог заглянуть эсэсовец-охранник. Мы молчали. Виктор лежал, скорчившись, и глухо стонал: он вряд ли понял, что произошло. Рупперт зашевелился. И тогда, в ожидании смерти, я почувствовал, что могу это сделать. Могу заставить эту тварь слушаться — ведь есть же у нее мозг, пусть самый неразвитый.

Я знаком попросил Робера молчать и не шевелиться и направил всю свою волю на Рупперта. Мне было очень тяжело, физически тяжело, я обливался потом и цеплялся за руку Робера, чтоб не упасть. Но я вскоре добился своего: Рупперт встал как ни в чем не было, подобрал свалившуюся фуражку и ушел не оглядываясь. «Ты ничего не помнишь, — мысленно приказывал я ему вслед. — Не помнишь, был ли здесь вообще. Но нас ты помнишь, всех троих, и тебе не хочется нас трогать. Нас нельзя трогать. Ты знаешь, что нельзя».

Робер не спрашивал, что я сделал: он видел.

С этого все и началось. Тут, в Гузене.

У Робера чаще бывали всякие осложнения, чем у меня. Ко мне в общем меньше цеплялись, хотя он

и физически был сильней и выдержка у него обычно была железная. Но он порядком смахивал на еврея, особенно в лагере, когда глаза и нос сделались непропорционально большими на его истощенном лице, и этого было достаточно, чтобы привлечь внимание эсэсовцев и капо. Даже если они знали, что Робер не еврей, им все же хотелось его помучить. Я не в силах был защитить его всегда и всюду. Поэтому я решил добиться, чтоб нас обоих зачислили в команду, строящую бараки. Это было нелегко — туда все стремились, там и работа была полегче, и, главное, каю, баварец Франц Юнге, был на редкость порядочным человеком: никого никогда не бил, заступался за своих работников не только на строительстве, но и вообще в лагере, часто выручал их из беды. Пришлось «уговаривать» и самого Франца, чтоб он согласился принять в свою команду двух людей, понятия не имеющих о строительных работах (впрочем, он это делал уже не раз, и без всякого гипноза), и Рупперта, чтобы он не поднимал шума, и еще кое-кого из лагерного начальства. Так или иначе, а мы оказались в этой бригаде. Там мы работали до начала 1943 года; потом в лагере произошли большие перемены к лучшему, и тогда мы с Робером попали на работу по специальности, в медицинский блок — ревир, как он назывался по-лагерному.

Но Роберу всего этого было мало, и он втянул меня в лагерную организацию. Он считал, что просто грех не использовать мои возможности как следует — а «как следует» в его толковании означало: для всех. Я тщетно объяснял ему, что это безумие. Что весь секрет моих успехов — в сосредоточенности на близкой, очень важной для меня лично цели. И еще — что если о моих способностях будут знать многие, то рано или поздно до меня доберутся эсэсовцы. Не могу же я держать весь лагерь под контролем! Но на Робера все эти доводы плохо действовали, и кончилось, разумеется, тем, что я уступил. И вдобавок Робер сказал мне:

— Если бы ты был вполне убежден в своей правоте, ты бы постарался меня загипнотизировать и подчинить своей воле. Разве нет?

Он это сказал с ехидцей, а я промолчал. Отчасти потому, что обиделся, но главное — потому, что впервые понял: Робера мне не удастся подчинить своей воле. То есть я впервые об этом вообще подумал, мне и в голову не приходило гипнотизировать Робера, но тут я почувствовал, что это для меня практически невозможно. Не знаю почему, но мне стало тогда страшно. Я испугался, ясно увидев границу своих возможностей именно в тот момент, когда узнал, что от меня потребуют полной отдачи, максимального напряжения. А может, ощущил, что, несмотря на свою загадочную силу, нахожусь в подчинении у Робера.

Вскоре я начал понимать, что Робер был прав. Лагерная организация так блестяще продумывала разные предприятия с учетом моих способностей, так интересно и успешно разыгрывались сложнейшие акции, что мне становилось горько: сколько людей можно было бы спасти, если бы с самого начала работал не один! Я и сам раньше не подозревал, сколько могу сделать при настоящей, крепкой поддержке... Но не всегда... боже, не всегда...

*О чём он думает? Да, все то же... Ряды серых бараков, мокрый, потемневший песок лагерной улицы и монотонные узоры колючей проволоки, четко проступающие на зеленом вечернем небе... Капо Шуман — Ходячая Смерть... Бог мой, до чего страшные лица у всех лагерников, ведь это живые трупы, неужели это так выглядело? Неужели мы все это прошли?*

Я поздно узнал — на четверть часа позже, чем следовало, — о том, что Феликс и Леон, поляки из Варшавы, попались на глаза капо Шуману — Ходячей Смерти в ту минуту, когда они наносили новые данные на карту военных действий.

Какая это была великолепная карта и сколько она стоила труда! Сведения для нее собирались украдкой, по крохам. То кто-нибудь из эсэсовцев бросит неосторожное слово, то заключенный, ремонтируя что-либо в кабинете начальника лагеря, услышит обрывки радиопередачи, то удастся заглянуть в газету... Но зато можно было воочию видеть, как неуклонно продви-

гаются по карте линии фронтов с востока и с запада, как они сближаются, все плотнее сжимая Германию и неся нам свободу.

Леон и Феликс сделали эту карту, они и вели ее почти три месяца, до середины апреля сорок пятого года. И надо же было попасться, погибнуть так ужасно в преддверии свободы!

Я увидел их уже избитыми, с окровавленными лицами. Допрос только начинался. Что они пережили потом! Сорок часов пыток. Они молчали. Я знаю, что они молчали бы в любом случае. Но они надеялись на меня. Они прямо обращались ко мне, пока были в сознании... да и потом... А я... я был бессилен. Я потерял способность воздействовать, я мог только видеть. Лишь потом понял, в чем дело: я выглядел очень плохо, и перед началом операции, которую мы разработали, чтобы спасти товарищей, мне дали какое-то питье для подкрепления. В нем была изрядная доза брома. В лагере мне никогда не приходилось принимать бром, и я впервые узнал, как он может действовать на меня, — узнал ценой мучений и смерти двоих чудесных людей, моих товарищев! Тогда я ни о чем не знал и выбивался из сил, пытаясь действовать. В конце концов от этой жестокой борьбы с самим собой, от немыслимого напряжения я потерял сознание. Меня еле привели в чувство, я был очень слаб, и Робер запретил мне продолжать попытки.

Начали тогда действовать обычными путями, подкупом эсэсовцев. Но единственное, что нам удалось сделать, — это избавить товарищев от последней пытки, от газовой камеры. Они умирали среди своих, и мы достали морфия, чтоб они не мучились. Я видел их вывихнутые, распухшие руки; я-то знал, что это значит — провисеть больше суток! Я выдержал двадцать часов, но и сейчас не понимаю, почему я не умер. А они висели двадцать восемь часов, и это после шести лет лагерей и тюрем.

Да, но туннель... тут Робер прав...

Туннель... Впрочем, это был не туннель, а гигантский подземный зал, вырубленный в скалах. Заклю-

ченные работали в три смены, готовя эти громадные убежища для работы военных заводов. Как только заканчивали хоть вчера один зал, в нем сейчас же устанавливались станки, и работа продолжалась. Под слоем земли и камня толщиной в 35—40 метров не страшны были никакие бомбёжки. А в это время, к концу 1944 года, авиация союзников начала все чаще навещать соседние с лагерем промышленные центры Австрии. Когда бомбили Линц, мы хорошо слышали и разрывы бомб и лихорадочную пальбу зениток. Как мы радовались! Все были уверены, что лагерь бомбить не будут, и, как только начинали выть сирены, мы, несмотря на строгие запреты эсэсовцев, высыпали из бараков и вовсю глазели на сверкающие в синем небе самолеты. Громадные серебряные птицы, несущие нам свободу. Несущие смерть нашим палачам. Гибель и разорение их домам и фабрикам, их семьям и лавкам. Проклятый черный паук — свастика, — сосущий кровь из всей Европы, скоро тебя раздавят самолеты и танки! Мы гадали, кто придет в эти места первым — русские или союзники; но пам-то было, в сущности, все равно: кто угодно, лишь бы скорее свобода.

Но эсэсовцы начали загонять нас во время налетов в подземные цехи: они не хотели из-за нас торчать наверху, рискуя жизнью. В начале 1945 года стали гнать в подземелье всех, даже больных, которые еле передвигались. Гнали в бешеной спешке, натравливая собак, колотя прикладами автоматов. Им надо было загнать заключенных и успеть спрятаться самим, а эскадрильи союзников возникали на горизонте очень быстро вслед за сигналами тревоги...

4 апреля 1945 года в полдень над лагерем опять завыли сирены, и эсэсовцы начали загонять заключенных в подземелье. Но нам сразу почудилось что-то недоброе. Сирены умолкли, а самолетов все не было, да и эсэсовцы, как нам показалось, меньше торопились, чем обычно.

Мы с Робером из окна ревира тревожно наблюдали за всей этой процедурой.

— Дело плохо, — сказал вдруг Робер. — Посмотри, многие эсэсовцы не пошли в подземелье. И капо

остались — вон, видишь, мордастый Отто прохаживается, а там сейчас прошел Рупперт... Дело плохо, говорю тебе, Клод. Никаких самолетов нет, сам видишь.

Подошел польский врач Казимир. Он тоже был очень встревожен. На лагерном жаргоне, примешивая немногие известные ему французские слова, он сказал, что вчера прибыл товарный поезд и один вагон разгружал лично начальник лагеря с двумя своими помощниками. Таскали они какие-то ящики. Кроме того, ему известно, что все выходы из подземелья замурованы, остался лишь один, а неподалеку от него в скале высверлена большая ниша. По мнению Казимира, эсэсовцы решили уничтожить сразу всех заключенных — ведь в подземелье сейчас более двадцати тысяч людей, и если завалить выход, то все они там погибнут.

Мы давно опасались такого финала и сейчас сразу поняли, что это может быть правдой. Робер и Казимир поглядели на меня.

— Что же делать? — беспомощно спросил я. — Ведь некогда даже обдумывать...

— Выход пока один: ты должен оседлать Бранда. Можешь ты его найти?

Я кивнул. Тело стало невесомым и будто чужим, голова казалась прозрачной и хрупкой, все вокруг начало туманиться и двоиться. Я знал, что это означает: Свободу и Власть. Я уже не видел двухэтажных коек ревира с пожелтевшим, застиранным бельем, не видел странных рыжевато-синих потеков на грубо выбеленных стенах. Я лишь смутно ощущал, как кто-то усадил меня на табурет, как голос Робера произнес:

— Ты его видишь?

Я его видел. Начальник лагеря Пауль Бранд стоял на широких бугристых ступенях лестницы, вырубленной в скале. Неподалеку зиял огромным темным отверстием вход в подземелье. Сухое, костистое лицо Бранда было искривлено гримасой недовольства, он постукивал стеком о высокие сапоги, зеркально блестевшие на солнце.

— И вы ручаетесь, что этого будет достаточно? — раздраженно спрашивал он.

— Разумеется, герр штандартенфюрер! — с убеждением отвечал румяный крепыш Отто Лехнер, его помощник. — Это научно рассчитанная порция на такую кубатуру.

— Я знаю эти расчеты, — мрачно говорил Бранд. — Но ведь тут двадцать две тысячи заключенных. И потом в газовых камерах все нагло заперто, и циклон сыплют сверху, через отверстия. А тут? Самое большее, что мы можем, — бросить открытые банки внутрь... и то с опасностью для жизни.

— Они наденут противогазы, — с готовностью отвечал Лехнер, указывая на двух эсэсовцев, понуро стоявших у входа в подземелье.

— Да вы представляете себе, что начнется, если мы будем швырять туда, внутрь, эти банки с циклоном? Нет, я против. Взорвать и завалить выход, и только. Они и без газа отправятся на тот свет.

Лехнер был явно недоволен.

— Как вам будет угодно, герр штандартенфюрер, — отвечал он. — Но тогда придется надолго поставить часовых с ракетами у всех выходов. Иначе они пробьются на волю. Инструменты там есть...

Я сказал товарищам, о чем говорят Бранд и Лехнер. Я улавливал, что, кроме Робера и Казимира, рядом со мной находится еще кто-то. Потом я узнал, что это был немецкий коммунист Бруно Шефер — он тогда лежал в ревире с громадной флегмоной на бедре. Все остальные члены лагерной организации были в подземелье.

— Ну, пробуй, пробуй, Клод! — говорил Робер. — Внущи ему, что он боится.

Я молчал: мне всегда трудно было говорить в таком состоянии. Я чувствовал, впрочем, что Бранд и так боится. Боится ответственности, наказания. Но боится и ослушаться приказа.

— Ты можешь что-нибудь сделать? — спрашивал Робер.

Я пробовал ответить — и не смог. Я напрягал всю свою волю, приказывая Бранду: «Ты этого не хочешь,

ты боишься, из этого ничего хорошего не выйдет, ты боишься, ты не можешь брать ответственности на себя...» Я видел, что надменно-брюзгливая мина Бранда сменилась выражением растерянности и страха. Он медлил, опустив голову и помахивая стеком. «Ты боишься! — кричал я ему из дощатого барака ревира. — Тебе очень страшно! Отвечать за это придется тебе, а не другим! Ты боишься, пошли они все к черту, ты боишься!»

Кто-то осторожно обтер мне лицо чем-то приятно холодным, влажным. Товарищи всегда говорили, что на меня в таком состоянии страшно смотреть, — я бледнею до синевы, обливаюсь потом, и чувствуется, в каком я страшном напряжении.

Бранд поднял голову, в его глазах было выражение испуга.

— Ничего из этого не выйдет, — сказал он глухим голосом. — Отвечать придется мне в случае чего. Дайте отбой тревоги, и пускай они все выходят.

Лехнер очень удивился, по-видимому, но молча откозырял и ушел. Вскоре над лагерем завыли сирены, и заключенные длинной нестройной шеренгой потянулись из подземелья. Бой был выигран, и я потерял сознание от усталости. Я просто свалился с табуретки, и Робер еле успел меня подхватить и отнести на койку.

— Бог нас спас, только бог! — крестясь, повторял в тот страшный день вышедший из подземелья польский священник. — Мы видели, что они затеяли, и смерть глядела нам прямо в глаза. Но бог отвел руку убийц...

Я уже пришел в себя и слушал это, лежа рядом на койке. Бог... Вот он, твой бог, валяется на койке в грязном полосатом тряпье и рукой шевельнуть не в силах от истощения. К этому времени в лагере опять начался жестокий голод, посыпки от семей и с востока и с запада перестали приходить, даже скучное лагерное продовольствие поступало с перебоями. Я недавно глянул в зеркало в умывальной и невольно отшатнулся — жуткая грязно-белая кожа, обтянутые скулы, провалившиеся глаза, уши торчат, волосы ко-

ротко острижены, голова кажется бесформенной, бугристой от шишек и чирьев... Бог... ходячий скелет, как и все кругом... «И все-таки я сотворил чудо», — вяло подумал я и тут же заснул.

Затем с подземельем больше не повторялась. Правда, после этого случая многие выкопали себе тайные укрытия и во время тревоги прятались там, чтобы не ходить в подземелье: эсэсовцы не очень тщательно обыскивали лагерь, им было не до того, налеты повторялись все чаще. Но Бранд окончательно решил плюнуть на приказы из Берлина. Я ему, правда, время от времени внушал это, но думаю, что он и без моего воздействия уже не решился бы вторично затевать всю эту историю.

— Что ты вспоминал? Подземелье? — спрашивает Робер. — Да, это было здорово. Но все это продолжалось максимум десять минут. А вот история со списком!

Да, это было сложно и трудно. Я не думал, что выдержу. Без помощи я и не выдержал бы. Капо Шумахер через своих пособников разузнал кое-что о лагерной организации. Он составил список — я потом увидел этот список на столе Бранда, там были и члены организации и люди, никакого отношения к организации не имевшие, но чем-то не угодившие Шумахеру. Нужно было действовать немедленно и решительно. Мы разработали план, но почти все зависело от того, выдержу ли я...

— Да, так вот: если ты выдержал тогда, почему ты боишься, что не выдержишь теперь? — спрашивает Робер.

— Это ведь совсем другое... — нерешительно говорю я после долгого раздумья. — Я был все-таки на много моложе...

Робер нетерпеливо взмахивает рукой.

— Ну при чем тут возраст? Ты и сейчас не старик. А по характеру тебе легче и естественней любить, чем ненавидеть. Так что действие, наполовину продиктованное ненавистью, было для тебя вдвойне трудным. Разве не так?

Я стараюсь припомнить, что я тогда чувствовал. Ненависть? Вряд ли, мне было уже не до этого. Просто — адское напряжение и... да, тоже страх, что я не выдержу и тогда все пропало. Тогда — пытки для десятков людей, смерть для сотен, а может, и тысяч... То есть я знал это, но старался об этом не думать.

Нельзя было думать об этом. Вообще ни о чем нельзя было думать. Нужно было все время видеть Бранда, его красное, изрезанное морщинами лицо, его водянистые голубые глаза и говорить ему: «Ты знаешь, что капо кухни Шумахер — вор, паглый вор, что он и тебя обкрадывает и позорит и, чего доброго, потащит за собой на суд, а потом на Восточный фронт. Тебе давно пора с ним расправиться. Список, который он тебе подсунул, — сплошное вранье, он просто старается отвлечь твое внимание от своих грязных манипуляций».

Я в это время уже знал, что лучше всего удается внушение, если не просто приказываешь, но при этом заранее видишь, как тот, кому ты посылаешь приказ, выполняет его. Надо во всех подробностях представить себе, что и как он делает, а потом... потом сразу освободиться от этого образа, будто вытолкнуть его из себя. При этом нужны перерывы в действии — для разрядки и нового накапливания энергии. Я рассчитал, что в этой операции такие перерывы в принципе возможны, и решился, для начала по крайней мере, прибегнуть к самому верному способу.

Я знал, что товарищи все подготовили там, у Шумахера, и поэтому отчетливо представил себе, как Бранд берет список, застегивает мундир на все пуговицы и своим деревянным прусским шагом направляется к бараку, где живет Шумахер. Он быстро проходит, почти пробегает по коридору, ударом ноги распахивает дверь и... Тут его, собственно, можно было бы отпустить. Он и сам сделал бы все, что нам нужно, увидев, как Шумахер делится награбленным продовольствием со своим любимчиком Вилли, он и сам начал бы обыскивать все шкафы, перерыл бы постель и нашел бы и золотые коронки, и кольца, и портсигары, которые Шумахер выменивал путем слож-

ных комбинаций у обслуживающих крематорий и у команды «Канада». Но мне нужно было еще, чтобы Бранд в ярости разорвал список и швырнул его в лицо Шумахеру, в это наглое, сытое лицо с телячьими глазами, теперь некрасиво, пятнами побелевшее и исказившееся от животного страха. Он сделал это, я отключил образ и сразу почувствовал себя опустошенным.

Обливаясь холодным потом и стуча зубами, я смотрел сквозь туман смертельной усталости на сосредоточенные, напряженные лица товарищей.

— Выльешь? — спросил Марсель Риппе. Он протянул мне помятую алюминиевую кружку; на дне ее колыхалась синеватая пахучая жидкость — разбавленный медицинский спирт.

Я покачал головой. Я знал, что алкоголь может усилить мою способность видеть и действовать, но уж очень я был слаб. Все плыло и туманилось перед глазами, и я не понимал, откуда возьму силы, чтобы действовать дальше.

— Мне бы кофе... или кофеину, — еле выговорил я.

Я до сих пор не знаю, где и как раздобыли мне кружку горячего, крепкого, сладкого кофе. И два белых сухаря. Я вернулся к жизни. Голова стала ясней, туман перед глазами рассеялся, и я снова увидел маленькую комнату врача при ревире, дощатые стены с паклей, торчащей в щелях, электрическую лампочку с колпаком из пожелтевшего газетного листа...

Пригибаясь по привычке в дверях, вошел Длинный Курт и посмотрел на меня с тем характерным выражением острого любопытства и тревоги, к которому я уже успел привыкнуть: так смотрели на меня все, кто знал об этом.

— Бранд потащил Шумахера к проволоке, — сказал Курт. — Он зол, как тысяча чертей.

Теперь мне следовало включаться. Я должен был заставить Бранда немедленно доложить о случившемся начальству главного лагеря, Маутхаузена, — Бранд был начальником нашего филиала, Гузена. Если он сообщит начальству, делу уже нельзя будет дать обратный ход. Клочки разорванного списка успели по-

добрать и уничтожить, но если Шумахер выкрутится из этого дела, он снова составит список и снова найдет способ его подсунуть. Он ловок и хитер. Франц Шумахер, мюнхенский карманний вор, капо лагерной кухни, но мы его перехитрим. Пускай он простоит ночь у проволоки, щелкая зубами от холода, а утром получит двадцать пять горячих да в придачу дюжины крепких затрецин и пинков, пускай отправляется в штрафную команду, в главный лагерь. Разжирел на краденых харчах, подлец, да еще мало ему показалось, что обворовывал голодных и беззащитных, захотел выслужиться, захотел кровью защитить жирную жратву — так получай от нас сполна! Получай, сътая скотина! Ты до поры до времени был не хуже, даже лучше своих дружков, ты был слишком ленив и жирен, чтоб много драться, и мы не думали, что именно с тобой придется рассчитываться раньше, чем с другими, но ты сам сунул голову в петлю — так вот тебе, получай, что выбрал!

— Нет, я ненавидел его, ненавидел, как все, — говорю я Роберу, вспомнив все это. — Мне тогда ненависть не казалась неестественной.

— И все-таки тебе было очень тяжело, — отвечает Робер, пристально глядя на меня. — Ты припомни, как получилось тогда с Кребсом!

С Кребсом! Да, действительно... Это было совсем неожиданное осложнение. Тот же Длинный Курт прибежал и сказал, что к ревириу идет Кребс.

— Какого дьявола ему понадобилось в ревирие, да еще в такой поздний час? — удивился Робер, котому он это шепнул на ухо.

Курт пожал плечами и поглядел на меня. Я как раз в эту минуту отключился от Бранда. Я испытывал то особое чувство облегчения, которое означало, что внушение удалось. Это очень хорошее, сильное и какое-то чистое чувство. «Чистое», наверное, не то слово, но по крайней мере в лагере оно соответствовало сути: я никогда не применял там своих способностей в нечистых, нечестных целях.

Услышав имя Кребса, я встревожился. Даже не только потому, что появление эсэсовца ночью, в непо-

ложенным месте почти наверняка означает беду. Моя тревога была несколько иного свойства. Дело в том, чтоoberшарфюрер Кребс был одним из моих «подопечных». Я уже не раз приказывал ему, и он довольно послушно выполнял приказы. Сейчас, отключившись от Бранда, я сразу почувствовал, что Кребс ищет меня. Я не успел перехватить его, всплыть, чтобы он забыл об этом намерении, — по коридору ревира прогромыхали подкованные сапоги, и Кребс распахнул дверь комнаты врача, где я сидел.

Я смотрел на него, пытаясь сообразить, что ему нужно. Кребс был на редкость красивый парень, этакий идеал арийца: белокурый, румяный, голубоглазый, с четкими, правильными чертами лица. Если бы он не косил так здорово, с него можно было бы плакаты писать. Он смотрел на меня своими разбегающимися глазами — один в темное окно, до половины занавешенное накрахмаленной марлей, другой в угол, — а я ловил его мысли и никак не мог понять, в чем дело. Я тогда еще не знал, что при такой связи может возникнуть спонтанный контакт, особенно когда я напряженно работаю. Тот, кто уже принимал от меня телепатемы, может внезапно, помимо моей и своей воли, включиться в цепь контакта, не имеющего к нему никакого отношения. Так вот и получилось у меня с Кребсом. Я, наконец, уловил: он понятия не имеет, что его заставило прийти сюда, и уже начинает злиться. Но я был слишком истощен экспериментом с Брандом и не мог сразу, без отдыха иерестроиться на Кребса. А тот злился все больше, но пока помалкивал. Все тоже молчали.

— Вы нездоровы, герр обершарфюрер? — спокойно спросил врач Казимир.

— Не твое дело! — оборвал его Кребс. — Вы что тут делаете? Почему собрались?

— Привели больного, — все так же спокойно ответил врач, указывая на меня. — У него сердечный приступ. Сейчас я сделаю ему укол. Кофеин, — добавил он.

Казимир быстро приготовил шприц и сделал мне укол. Кребс все еще колебался: он был сбит с толку,

не знал, зачем пришел. Тут я почувствовал себя лучше и начал командовать. Кребс повернулся и молча ушел. Тогда мы стали совещаться, как с ним быть.

— Если он будет вот так, без толку лазить за тобой, мы все пропали, — сказал Марсель.

— А если и другие? — предположил Робер.

Я ничего не мог сказать, для меня это было совсем неожиданно, и я здорово встревожился. Хорошенькое дело, вот такие спонтанные, непроизвольные контакты с эсэсовцами и капо! К чему это может привести?

— Насчет других пока ничего не известно, — сказал Казимир, — а вот Кребса, пожалуй, придется убрать.

С этим все согласились — тем более что Кребс считался одним из самых злобных надсмотрщиков в каменоломнях и на его совести были уже сотни застреленных, затоптанных сапогами, забитых плеткой узников. Недавно он завел собаку, здоровенную темно-серую овчарку, и теперь тренировал ее, стараясь добиться, чтобы Рекс различал, когда хозяин приказывает хватать заключенных за ноги, а когда прямо вцепляться в горло. Рекс пока что плохо разбирался в этих тонкостях...

Мы начали обсуждать, что и как сделать. Убивать Кребса было, разумеется, нельзя: за убийство эсэсовца жестоко поплатился бы весь лагерь. Скомпрометировать его было пока невозможно: Кребс не участвовал в спекуляциях и кражах, и вообще, по нашим сведениям, за ним никаких особых нарушений не числилось. Эсэсовский ангелочек, такой же идеальный, как его арийское косоглазое лицо. Оставалось одно — симулировать самоубийство.

Это можно было сделать, в сущности, одним путем — послать Кребса на проволоку.

— Ты же понимаешь, Клод, — сказал Робер. — Без тебя нам не справиться с этим молодчиком. Ты как, в форме?

Я молча кивнул. Кофеин для меня доставали «с воли» путем сложных комбинаций. Действовал он безотказно: мне даже не приходилось напрягать в-

лю, чтобы видеть; энергия расходовалась только на внушение.

План мы разработали такой: вывести Кребса из его комнаты, где он сейчас сидит по моему приказу, и заставить пойти к проволоке неподалеку от сторожевой вышки, чтоб часовой видел и потом мог подтвердить, что Кребс сам бросился на проволоку. Все это было нетрудно, за исключением самого последнего действия: такого приказа Кребс не сможет выполнить, страх смерти пересилит любое внушение.

— А ты внуши ему, что проволока не под током, — посоветовал Робер, когда я объяснил это.

Я задумался.

— Даже если не под током, какого ему черта трогать проволоку? Чтоб проверить? — сказал Марсель. — Нет, это не то...

— Я знаю, что надо сделать, — заявил Казимир. — Ты ему внуши, что через проволоку лезет заключенный. И пускай он его схватит. Верно?

Это была блестящая идея. Я «вывел» Кребса к проволоке. Я видел, как он идет, привычно печатая шаг, и прожекторы на вышках равномерными, медленными взмахами рубят тьму, обливают белым мертвым светом ладную, статную фигуру Кребса и уходят дальше, двигаясь плавно и ритмично, как в зловещем танце. Я увидел, как Кребс нерешительно остановился у самой проволоки. Тут я выключил зрение, мне было уже не до этого. Я начал во всех деталях представлять себе, как Кребс видит фигуру в полосатой одежде, видит, как узник, озираясь, подбегает к проволоке и начинает взбираться вверх. Видит даже кожаные перчатки на руках заключенного и понимает, что это он надел для защиты от колючей проволоки. «Ведь он убежит! — внушал я Кребсу. — Хватай его!» Я представил себе, как Кребс молча, одним прыжком оказывается возле заключенного и яростно хватает его обеими руками, чтоб стащить на землю, затоптать начищеными саногами, избить до полусмерти, а потом поволочь на допрос, на новые пытки. Я представил все это ярко, точно, детально, вплоть до последней слепя-

щей вспышки — и, словно толчком, выбросил из себя этот образ.

Я медленно открыл глаза, возвращаясь в комнату при ревире.

— Ну как? — спросил тревожно Робер.

— Удалось, — еле выговорил я.

Мне не нужно было идти к проволоке, чтоб увидеть там скорченное смертной судорогой тело Кребса с руками, прикипевшими к проволоке: я знал. И счастье удачи отнимало у меня последние силы.

— Отнесите его на постель, — успел я услышать голос Казимира, а потом провалился в тихую тьму.

Неужели мне тогда было легче? Нет, наверное, я просто забыл о том страхе и нечеловеческом напряжении, забыл за эти двадцать с лишним лет и теперь уже не могу представить свое тогдашнее состояние.

— Не знаю, Робер, — говорю я наконец. — Может, ты и прав: мне и тогда было не легче. Но какое это имеет значение?

— А вот какое, — Робер наклоняется ко мне, и я опять чувствую его тяжелый взгляд. — Тебе не кажется в эти дни, что ты один, совсем один, несешь на себе всю тяжесть и никто тебе не помогает?

Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, что меня вдруг обливает холодный пот. Робер говорит правду, жестокую правду. Подлую правду!

— С чего ты это взял? — как можно спокойней отвечаю я.

— Что толку притворяться? — возражает Робер, и я понимаю, что он видит меня нас kvозь. — Именно потому тебе и тяжело. В лагере ты хорошо знал, что на нас можно вполне положиться: свою часть работы мы выполним, мы облегчим твою задачу, насколько это в наших силах. И ты действовал по заранее намеченному, здорово продуманному плану. Ведь были предусмотрены все варианты, подстрахованы все опасные пункты. Конечно, если б ты не выдержал, весь план рассыпался бы, как карточный домик. Но план и был рассчитан на твои способности... на крайнее напряжение этих способностей, верно?

Я молча киваю головой. Подлая правда, жестокая,

никчемная правда! Я не хотел ее знать, она лишает меня сил. Да, там был план, была организация, были верные, надежные друзья. А здесь? Боже мой, здесь, среди тех, кого я считаю самыми близкими и дорогими людьми, я один. Никто мне не помогает... Наоборот... Я одинок, непонятно, бессмысленно, несправедливо одинок. Почему? Что я сделал, за что они бросили меня, отвернулись от меня, когда мне так нужны их помощь, их любовь, их понимание?

— Но почему? Почему? — беспомощно бормочу я.

— «Почему?» — как эхо, повторяется Робер. — Разве ты все еще не понял? Мы ни в чем не виноваты. Не виноваты, что ты своей волей попытался спасти нас от гибели. Мы были частицей человечества, кирпичами гигантского здания всемирной цивилизации. А что мы сейчас? Жалкая горстка отщепенцев. Мы потеряли все: Париж, Францию, весь мир, все человечество. Мы, словно кусок дерна, насищенно вырезаны из питавшей нас почвы и брошены среди ядовитой пустыни. Пускай даже яд не убьет нас; но разве мы сможем жить без почвы, без ее живительных соков, без солнца, дождя и вольного ветра? Чего ты хочешь от нас и от себя? Разве ты не понимаешь, что жизнь теперь потеряла смысл? И твоя любовь — тоже?

— Зачем ты говоришь мне это... теперь? — еле шевеля губами, произношу я. Мне кажется, что я повис в черной, холодной пустоте, совершенно один, один во всем мире, и никого вокруг.

Робер долго молчит.

— Да, ты прав! — неожиданно говорит он. — Ты прав, Клод. Я не должен был говорить тебе это. Мне просто хотелось, чтоб ты здраво судил о вещах и не строил ненужных иллюзий. Но если тебе так легче...

Он ставит недопитую чашку с кофе и уходит. Я сижу, стараясь собраться с мыслями... «Жить без почвы», — сказал он... Конечно, это так...

— Констанс! — кричу я, вскакивая. — Констанс, где ты?

Мне так хочется ее видеть, так мне страшно и одиноко без нее, что я, как ребенок, внезапно потеряв-

ший из виду мать, бросаюсь к двери. Но Констанс уже стоит на пороге, бледная, спокойная, ясная.

— Что с тобой? — тихо говорит она. — Сядь, успокойся, на тебе лица нет. Ты должен быть спокоен, понимаешь, очень спокоен...

«Я схожу с ума, конечно же, я схожу с ума», — думаю я. Даже в этих простых и ласковых словах мне чудится горечь и скрытая издевка. Но ведь это невозможно, чтобы Констанс... Впрочем, почему невозможнo? «Надо трезво смотреть на вещи», — говорит Робер, — и не строить иллюзий». Констанс могла измениться, потому что все вокруг изменилось, потому что я сам изменился... Жить без почвы...

Я сажусь рядом с Констанс на диван, глажу ее руку и пытливо вглядываюсь в ее ясное лицо. Она немного осунулась и побледнела, под глазами легли синеватые тени, но все равно это прежняя Констанс, моя верная, сильная, надежная Констанс. Разве не так?

Может, и не так. Что я знаю? Ведь я потерял внутреннюю связь с Констанс... и со всеми. Я не знаю, о чем она сейчас думает. А она безошибочно читает мои мысли... Лучше, чем я сам, пожалуй...

— Я-то прежняя, — тихо говорит она. — Но ведь все кругом изменилось. И что толку в том, что я прежняя? Человек тем и силен, что может примениться к обстановке. А я чувствую, что не могу. Я не знаю, как мне дальние жить и что делать.

— И ты говоришь, что осталась прежней! — с отчаянием отвечаю я.

«Значит, и Констанс тоже... самая верная, самая прочная опора... Значит, прав Робер... и тогда...»

— Да, конечно. Я вообще с трудом меняюсь. Даже тогда, в молодости... Мне ведь было очень трудно отойти от партии...

— Я понимаю... — неуверенно говорю я. — Но ты была всегда такая спокойная...

— Я должна была сохранять спокойствие ради тебя. Мне нужно было сделать выбор, не вмешивая тебя.

— Между мной и партией? Констанс, но разве я...

— Нет, нет, — поспешно отвечает Констанс, и ее

серые, с золотыми искорками глаза слегка темнеют.— Ты никогда ничего не сказал бы, я знаю. Но я не умею так делить душу пополам. Ты был как больной ребенок: надо было или принимать всю ответственность за тебя, или сразу отказываться...

— Ты мне никогда этого не говорила... — бормочу я. — И почему, собственно...

— Потому, — мягко говорит Констанс, — что ты не смог бы этого вынести. Если б тебе пришлось отвечать за это, тебя совесть замучила бы... Разве я не понимала тебя уже тогда?

— Значит, ты была несчастлива все это время? — тихо спрашиваю я.

— Я была счастлива, — спокойно отвечает Констанс. — Но тогда пришлось делать выбор сразу, и мне было очень трудно. Еще и потому трудно, что я прятала это от тебя. Как хорошо, что ты тогда не читал в моей душе! А потом я понемногу успокоилась, и все было в порядке. Нет, ты не должен огорчаться. Просто я хотела сказать, что очень медленно меняюсь. Вот и сейчас...

Мне становится страшно, очень страшно. Нет, если подумать, Констанс никогда не была счастлива. Просто она очень сильная, добрая, мужественная, она взвела на себя тяжелый груз, да так и тащила его все эти годы, никогда не жалуясь, не прося помощи, не выдавая даже мне своей боли и усталости... А я воображал, что все знаю о ней! Эгоисты всегда знают только то, что их устраивает, остальное они прекрасно умеют не замечать.

— Я эгоист, Констанс, — говорю я. — Теперь я вижу, до чего я был слеп и себялюбив. Теперь, когда уже поздно...

— Ты большой ребенок, — Констанс улыбается мне своей бесконечно знакомой, доброй и тихой улыбкой, еле трогающей уголки губ и глаз. — Зачем ты себя упрекаешь? Мне было хорошо с тобой. А если б я отказалась от тебя, мы оба были бы несчастны, разве не так?

— Я был бы несчастен. Я вообще не знаю, что со мной стало бы без тебя. Но ты... ты могла найти дру-

того, нормального, спокойного человека, и тогда не понадобилось бы делать выбор...

— Я полюбила не другого, а именно тебя. И никого другого полюбить не смогла бы. Разве ты этого не понимаешь?

Да, я понимаю, я все понимаю. Ей так кажется. Так мне казалось, когда я был с Валери. Но Валери давно нет... Теперь ее совсем нет... совсем нет, это невероятно, и об этом не надо думать, не надо думать... И вот я прожил долгие и счастливые годы с Констанс и без нее, вероятно, вообще не смог бы жить... А впрочем, кто знает? Теперь я во всем готов усомниться. «Человек многое может вынести», — говорит один из героев Ремарка, и мне ли этого не знать! Правда, всему есть мера и предел; но если б я не встретил тогда Констанс... ведь не умер бы я с горя, это смешно в наш век, и не сошел бы с ума, не покончил бы самоубийством, раз уж я не сделал ни того, ни другого в лагере. Я даже не спился бы, потому что не люблю и не умею много пить и хмель не приносит мне даже того минутного ощущения легкости и счастья, из-за которого можно пристраститься к алкоголю. У меня были друзья, была работа... Смешно выдумывать детские сказки... Жил бы, женился и детьми обзавелся бы. Да, это были бы не Натали и Марк, а другие... Ну и что ж? Разве в этом для тебя оправдание? В том, что они такие, а не иные? Да и какие, собственно?.. Впрочем, все равно. Если даже считать, что продолжение рода само по себе может оправдать существование человека, то и в этом случае твоей заслуги тут мало. Неустанные заботы Констанс, ее сила и доброта — вот что держало нас всех, вот что помогало нам жить.

— Констанс, — говорю я и целую ее руки, ее добрые, сильные руки. — Констанс, без тебя ничего не было бы... и меня не было бы...

Слова эти сами сказались, будто из глубины души, я вполне искренен. Но ведь минуту назад я думал иное и тоже был искренен, горько искренен. Тут я заливаю от страха — я забыл, я не могу привыкнуть к тому, что Констанс меня видит... И вдруг я по-

нимают впервые, что означало для Констанс мое постоянное присутствие в ней, внутри ее души. Это было как тюремный глазок — в любую минуту, в любой позе тебя могут увидеть чьи-то глаза. И если это не чужие глаза, пожалуй, тем хуже. Мне казалось, что это так прекрасно, что это высшая форма связи, возможная между людьми, что это предвестие будущего...

— Но ведь ты прав, — отвечает мне Констанс, и меня опять ужасает, что она видит. — Ты прав: наверное, в будущем все смогут так...

Да, в будущем. В далеком будущем, которое теперь отодвинулось еще дальше, а вернее всего, исчезло. В том ясном, счастливом, гармоничном мире, которого никто из нас никогда не увидит. Я видел его отдаленный отсвет в глазах Констанс, я слышал отзвук его гармонии в ее душе. Но и это оказалось обманом... самообманом, еще одной эгзистенциальной ложью, вполне достойной нашего века. Делать вид, что все хорошо, когда ясно видишь, что ни черта хорошего быть не может; уверять себя, будто ты создал оплот идеальной любви и дружбы, когда отлично знаешь, что нет и не может быть никаких баррикад против всего мира, против всего человечества, гибнущего от взаимного непонимания, от нелепой, бессмысленной вражды. И вдобавок закрывать глаза на то, что делается внутри твоего крохотного, мнимоидеального мирка! Ну, разве ты этого не видел? По совести — так совсем и не видел? Ты никогда не думал над тем, что означает для Констанс, с ее убеждениями, с ее воспитанием и биографией, отход от партии? Ты верил ее спокойствию, ее уравновешенности, ее тихой улыбке, — так уж безусловно, безоговорочно верил? Брось притворяться, ты просто закрыл глаза на то, чего тебе не хотелось видеть, и решал, что это для тебя не существует.

А то, что случилось с Натали, когда ты попробовал вмешаться в ее жизнь, — это разве не должно было раскрыть тебе глаза? А Марк? Ты постарался забыть, какое у него было лицо в те дни, когда Натали... Ты постарался забыть его разговор с приятелем...

А какой толк забывать, вытеснять из памяти все это, если сам Марк ничего не забыл и не простили?

Да, его разговор с приятелем... с этим рыжим пареньком Луи Милле... Я постыдился рассказать Констанс об этом, ведь вышло так, что я шпионил за Марком, — и это сразу после трагедии, разыгравшейся с Натали. Но я был глубоко встревожен... Я поймал очень странный взгляд Марка, мне показалось, что сын меня не то боится, не то ненавидит... И мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, что он делает. Мне показалось... ну, в общем я начал искать Марка и нашел его. Я даже не думал, что мне так быстро иочно удастся установить контакт. Правда, в лагере это уже стало для меня обычным, но после войны...

Марк и Луи оказались возле Нижнего озера в Булонском лесу. Луи откинулся на спинку скамейки, щуря глаза от солнца, Марк сидел, сгорбившись, и упорно разглядывал свои ногти. Разговор шел как раз о том, что меня интересовало, — паваринос, поэтому мне так и захотелось искать Марка именно в эту минуту.

— Нет, ты пойми, этот самый Жиль мне вовсе никакому, — говорил Марк. — По-моему, он дешевый парень, а Тали — просто дуреха, что в него втрескалась. Но дело не в нем, а в родителях.

— Да... это варно, — отозвался Луи. — Я от них не ожидал, то есть от твоей матери, отца-то я плохо знаю.

— Мать, она еще ничего. Если б она дома была, все обошлось бы. Но отец... Я, знаешь, никак опомниться не могу. Раньше девушек в монастырь отдавали. Так, по-моему, уж лучше монастырь, чем такие вот штучки.

— И что ж, она позабыла этого своего парня? — спросил с любопытством Луи. — Совсем-совсем?

— Не позабыла. Я этот их разговор, отца с матерью, слышал... Случайно, ты не думай, — добавил он, краснея. — Если б отец внушил ей забыть, мог получиться скандал. Жиль — он ведь кузен Люси, той длинной брюнетки, что ты у нас видел...

— Ага... ничего девочка, — Луи прищелкнул языком.

— Ну вот. Рано или поздно Тали встретится с этим Жилем или еще с кем-нибудь, и если она его не узнает... Ну, словом, отец ей внушил, чтобы она разлюбила...

— Да-а, — протянул Луи. — Черт знает что! Жутко даже.

— Вот именно, что жутко! — с ожесточением, потрясшим меня, сказал Марк. — И знаешь, мне и сейчас жутко. По-моему, он за нами следит. Нет, ты не думай, я не псих. Он ведь может следить, это уж точно. Я... если он и слышит, то пускай... я иногда его ненавижу, вот даю слово!

— Это я читал, — авторитетно заявил Луи. — Называется «эдипов комплекс».

Марк выслушал довольно путаное объяснение насчет эдипова комплекса и недоверчиво усмехнулся.

— Это все, по-моему, чепуха. И вообще речь идет о другом, я же тебе объясняю... Нет, я чувствую, он следит, давай кончать разговор.

«Неужели и этот разговор не раскрыл тебе глаза? — спрашиваю я себя. — Неужели ты не понял, что твой мир — это тоже мир, основанный на деспотизме, и вдобавок на деспотизме самого страшного вида — деспотизме всепроникающем, всевидящем, всемогущем, владеющем душой человека, а не телом?»

— Не надо так! — говорит Констанс, сжимая мою руку. — Что ты себя терзаешь? Это ведь преувеличение. Ты сам говоришь: в этом мире не может быть ничего идеального. И все-таки мы были ближе всех к будущему.

Ближе всех? Что ж, может, Констанс все же и права. Первые проявления будущего всегда непривычны, часто смешны, иногда страшны. Потом они входят в норму, и их перестают замечать. Но до того как они станут обычными, они проходят долгий путь и выглядят, может быть, совсем не так, как вначале. Кто знает, как будет проявляться и восприниматься в будущем то, что сейчас именуется внечувственным восприятием, мозговым радио, криптэстезией, шестым

чувством, телепатией — какие еще есть термины для того, что пока далеко не всем доступно и не всем кажется вероятным, для того, что одни считают зачатком будущего, а другие атавистическимrudиментом вроде аппендицса? Может быть, и вправду жители Земли будут общаться между собой и с обитателями других планет посредством этого «мозгового радио», не страдая от разноязычия, не тратя времени на изучение все возрастающего количества необходимых языков?

Будут? Жители Земли? До чего странно, что я сижу и вот так преспокойно рассуждаю о блестящих перспективах нашего будущего, словно не понимаю, что будущего нет. Будущего нет. Ничего уже нет.

— Ты же не знаешь, что творится на всей планете, — опять вмешивается Констанс. — Вполне возможно, что и другие уцелели.

— Да, да, конечно, — сиену согласиться я. — Ты права. Просто я еще не привык. А где Натали и Марк?

Констанс вдруг отводит глаза. Я холдею от ужаса.

— Они... с ними что-нибудь... Констанс!

— Нет, нет, — торопливо отвечает Констанс. — Пока ничего. Но... я тревожусь, особенно за Натали. Она хочет говорить с тобой, я ее давно удерживаю...

— Почему же? — стараясь казаться спокойным, говорю я. — Я и сам хочу с ней поговорить.

Констанс вздыхает.

— Тебе будет трудно... Она очень странно настроена... Я не знаю, сможешь ли ты выдержать...

В эту минуту Натали появляется на пороге. И я сразу ощущаю, что дело плохо, что я не выдержу, что не надо этого разговора, нет, не надо, прошу, молю, не надо. Я пробую внушить это Натали, но убеждаюсь, что она не воспринимает моих внушений. Это я впервые пробую, после того как внушил ей забыть Жиля. Я дал слово Констанс, но ведь сейчас...

— Натали, девочка, не надо сейчас говорить, — мягко и настойчиво шепчет Констанс. — Папа очень устал, ему тяжело.

— Не знаю, кому тяжелее, — ломким, безжизнен-

ным голосом говорит Натали. — Я, во всяком случае, больше не могу. Это не в моих силах. Ты, мама, уди. Я при тебе не могу. Мама, ты все равно не защита мне. — Она не смотрит ни на Констанс, ни на меня, вообще не поднимает глаз, и лицо ее кажется в белом свете лампы гипсовой маской. — Мама, я тебя прошу, уди. Я больше не могу выдержать. Я не хочу лгать! Ты же сама учила меня не лгать! Только трусы лгут, да? Так вот, я не трушу! Мне очень тяжело, — она судорожно откашливается, — но это не от страха. Да и чего теперь бояться, ведь все равно...

— Натали... не надо, все это не так... — шепотом говорит Констанс.

— Нет, так, именно так, и ты сама это знаешь! — выкрикивает Натали.

Она впервые поднимает глаза, и я поражаюсь: она чужая, совсем чужая! Глаза чужие, холодные, горькие, и лицо, это белое, осунувшееся лицо с глубокими тенями под глазами. Это лицо взрослой страдающей женщины. Ненавидящей меня женщины, вдруг понимаю я. Пускай я потерял способность по-настоящему видеть, что происходит в душе других, но ведь есть же обычное человеческое чутье... Я ощущаю токи ненависти, идущие от Натали, ощущаю их почти физически, кожей, глазами, губами. За что? Почему? Этого не может быть, Натали, что с тобой, Натали?

Мы все трое стоим и молчим, глядя друг на друга. Молчание гнетет меня все сильнее, я чувствую его тяжесть, мне становится трудно дышать. Почему молчит Констанс? Какое у нее лицо — скорбное и смертельно усталое... Почему она уходит? Констанс?

Констанс останавливается на пороге.

— Я ничем не смогу помочь, — тихо говорит она. — Все зависит от тебя, Клод, только от тебя. Боже, если б ты оказался в силах!

Она уходит, а я молча смотрю, как закрывается дверь, отделяя меня от Констанс, и мне хочется кричать от страха. Только от меня... Если б я оказался в силах... Нет, Констанс не может так говорить, мне померещилось, я схожу с ума, Констанс не оставит меня одного, я не выдержу, мне страшно, это страш-

нее всех пыток на свете. Я невольно делаю шаг по направлению к двери.

Натали загораживает мне дорогу.

— Нет, ты не уйдешь, — тихо говорит она, и ее губы сжимаются в узкую обесцвеченную полоску.

— Почему ты так говоришь со мной, Тали? — Голос у меня прерывается, еще немного, и я не выдержу, закричу, разрыдаюсь, убегу...

— Потому что... Ты сам знаешь. Я хочу покончить со всем этим, я больше не могу. А ты боишься. Но ведь рано или поздно...

— Что? Что рано или поздно? С чем ты хочешь покончить?

Я сажусь, почти падаю в кресло. Я вижу свои руки, лежащие на подлокотниках, — они дрожат. Натали стоит передо мной, такая хрупкая, бледная, измученная. Ее волосы уже отросли немного, перестали топорщиться, они теперь похожи на пушистый блестящий мех, темный, с рыжеватыми отсветами. Глаза кажутся громадными на этом бескровном истаявшем лице. Боже, ведь полтора месяца назад, когда Натали выходила из больницы, она выглядела куда здоровей и спокойней... Я был уверен, что все мириовало...

— Ты был уверен! — с горечью говорит Натали. — В том-то и дело.

Я никак не могу привыкнуть к этому ужасному ощущению, когда ты для окружающих весь будто стеклянный, а люди для тебя — черные ящики. Всегда было наоборот...

— Теперь ты понимаешь, — говорит Натали, — каково было другим с тобой! Но я сначала не очень боялась, даже когда все поняла. Я думала... я была уверена, что ты меня любишь и никогда не причинишь мне зла. А оказалось... Нет, нет, можешь не говорить, я ведь и так понимаю тебя. Теперь я тебя вижу, а ты меня нет! — злорадно и торжествующе восклицает она, и лицо ее на миг оживляется, но сейчас же снова гаснет и мертвееет. — Я знаю: ты думал, что так лучше. Но думал один, сам, за меня! А разве я не человек? Какое ты имел право думать и решать за меня,

без меня? Только потому, что я твоя дочь! Да, только потому! Ты не сделал бы ничего подобного с другой девушки, ведь нет? А я... а со мной... Ты хуже, чем рабовладелец! Знаешь, кто ты? Ты... ты этому у фашистов в лагерях выучился!

— Боже мой! Натали, что ты делаешь!

Я вскакиваю. Сквозь гнев и возмущение пробиваеться все тот же неотступный страх: мне показалось, что Натали совсем чужая, что я не люблю ее, что...

— Я знаю, что я делаю! — Натали вплотную подходит ко мне и, глядя прямо в глаза, отчетливо и медленно произносит: — Я размыкаю Круг, да? Я уже вне твоего Круга, верно?

Последним усилием воли я удерживаюсь от того, чтобы кричать, не биться головой о стенку. Итак, все пропало. Все усилия этих страшных дней — ни к чему. Все это лишь предсмертная пытка, жестокая и бессмысленная, как в лагере. Если бы я верил в бога или дьявола, я решил бы, что это они придумали... эту веселую шуточку в мировом масштабе... Все конечно, теперь я понимаю, что все кончено. Еще раз откроется и захлопнется дверь, и не будет Натали... Нет, нет, только не это! Я не вынесу этого, лучше я сам уйду, чтобы все сразу...

Натали все стоит и смотрит на меня в упор. Ее глаза постепенно оживают, лицо, застывшее и жесткое, смягчается.

— Я, наверное, не должна так говорить с тобой, — медленно произносит она. — Тебе тоже тяжело. И потом я не имею права решать за всех остальных, а ведь если ты не выдержишь... — Она говорит очень тихо, почти бормочет, словно размышляя вслух. — И вообще ты прости, мне очень больно, я кричу от боли, а не рассуждаю...

«Как она похожа на меня!» — думаю я, и вдруг меня словно теплой волной обдает нежность, любовь, жалость к этой измученной, несчастной девочке, моей дочери. Пускай она несправедлива ко мне — я тоже был несправедлив к ней в том, прежнем мире, громадном, великолепном и жестоком, а теперь мы с ней связаны общим горем и не смеем бросать друг друга

в беде, потому что от прочности нашей связи в конечном счете зависят все остальные, уцелевшие вместе с нами... Кто знает, может быть, зависит судьба всего человечества...

— Я люблю тебя, разве ты не видишь, Тали, моя девочка! — говорю я.

Натали печально и покорно улыбается.

— Да, ты прав, конечно, ты прав, и я постараюсь... я только не знаю, как у меня получится. Сейчас мне будто бы легче, а вообще...

Голос у нее срывается, она опять судорожно глотает и подносит руку к горлу. Потом Натали поворачивается и уходит, такая тоненькая в этом алом свитере и узкой черной юбке — вот-вот переломится пополам и упадет, да и походка у нее неуверенная... Но я уже ничего не смогу сделать, даже слова сказать не могу, силы меня покинули, и мне хочется одного — чтобы пришла Констанс, чтобы поскорее пришла Констанс, она одна может мне помочь, без нее я пропал, и все мы пропали.

Констанс входит, я порывисто обнимаю ее, мы стоим молча, моя голова лежит у нее на плече, и я чувствую запах ее кожи, ее белой, нежной, чуть вянущей кожи, такой знакомый, такой дорогой, и мне становится чуть легче, страх отступает...

— Мне стыдно, Констанс, если бы ты знала, до чего мне стыдно! — шепчу я. — Всю жизнь я целился за тебя, всю жизнь был для тебя тяжелым грузом и сейчас ничего не могу с собой поделать...

Констанс слегка отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза.

— Клод, не мучай себя, — спокойно и ласково, как всегда, говорит она. — Ты хорошо понимаешь, что для меня ты был всей жизнью, а ведь жизнь — это не так просто и легко, — она улыбается и привычным жестом приглаживает мои волосы. — Зачем ты говоришь об этом?

— Потому что я устал... Впрочем, Констанс, ты ведь теперь видишь меня, все видят меня, а я вдруг ослеп... Ты знаешь, как все это получилось... с Натали... Почему она... Констанс, ты все понимаешь... по-

чему она так со мной... Неужели я и в правду преступник?

Констанс тихонько вздыхает.

— Нам всем сейчас очень тяжело, — уклончиво говорит она.

— Нет, нет, я о другом... об апреле...

— Апрель? Что ж, мы ведь говорили об этом еще тогда... Ты поступил опрометчиво, необдуманно... Натали пришлось очень тяжело...

— Я думал, что она излечилась от этого...

— Излечилась? — грустно переспрашивает Констанс. — Что ты называешь этим словом? То, что ей удалось разлюбить Жиля при твоей помощи? Но ведь она ничего не забыла, ты же знаешь!

Да, мы с Констанс тогда решили, что я не должен заставлять Натали все забыть, потому что ей могло бы показаться, что она с ума сошла. И потом — этот Жиль: у них с Натали много общих знакомых, рано или поздно они бы встретились, и тогда опять начались бы разговоры о гипнозе и о нравах в нашей семье...

Так было благоразумней, конечно. Но лишь сейчас я понимаю, что происходило все эти месяцы в душе Натали. Первая любовь, первое счастье, в самом начале, никаких еще плохих воспоминаний, никакой горечи — одни надежды, мечты, предчувствия... И вдруг все это насилиственно обрывается — и она не может противодействовать, она беспомощна, она чувствует себя опозоренной тем, что ты с ней сделал, тем, что у нее такой отец. Она знает, что Жиль и ее начал считать сумасшедшей... Любовь ушла, пускай и безболезненно. Но ведь осталась память о ней, остались пустота, холод, чувство бессилия перед моей нелепой и трагической властью... Ну, конечно, при всем этом должна была возникнуть ненависть ко мне. Ведь это я был всему виной, я грубо вмешался в то, во что нельзя вмешиваться, все разрушил, уничтожил — почему, по какому праву? Разве не права Натали, когда бросает мне в лицо самые страшные оскорблении, когда называет меня рабовладельцем и фашистом? Она имеет на это право, бедная девочка! Только бы она

выдержала, боже, только бы она нашла силы выдержать все это, дождаться!..

— Да, да, мы дождемся! — подхватывает Констанс и улыбается мне. — И Натали, она поймет, она успокоится, она ведь умная...

Мне становится бесконечно грустно. Констанс видит все во мне, но все ли она понимает? Это ведь я повторяю себе: «Дождемся, дождемся». Повторяю повторяю почти без веры. Но, может быть, я внушаю эту веру другим? Ведь Констанс не может знать ничего, кроме того, что знаю я... Или все-таки Робер?.. Нет, неужели Робер все же...

— Мне Робер ничего не говорил, — низкий, певучий голос Констанс звучит ласково и успокаивающе. — Но я знаю, что он тоже верит. И ты веришь, но почему-то нервничаешь... Как перед началом работы...

Перед началом работы! Я горько усмехаюсь — когда теперь начнется работа, да и какой она будет? Но это правда: перед началом какой-нибудь новой работы я всегда испытывал мучительную неуверенность, даже, вернее, мучительную уверенность, что ничего у меня не выйдет, что я бездарен и глуп, как пень, и через это отвратительное состояние мне неизбежно приходилось пробиваться к началу работы, к первым ее строкам, к первым наброскам. Но что будет тут...

— Нет, нет, я только в том смысле, что ты напрасно нервничаешь, все уладится, — поспешно отвечает Констанс.

Что уладится? Боже, что она говорит? Нет, я не должен даже думать об этом, пускай она верит, я ведь и сам ничего не знаю...

— Где Робер? — спрашиваю я.

Робер сразу же появляется на пороге, будто он подслушивал за дверью.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — заботливо спрашивает он, и этот вопрос, такой мирный, такой не соответствующий обстановке, поражает меня так, что я с трудом удерживаюсь от истерического смеха. Да, в самом деле, как я себя чувствую? Благодарю,

голова немного побаливает, надо прогуляться на свежем воздухе, и все пройдет.

И вдруг я начинаю ощущать, что это не бессмысленная вежливость, что Робер спрашивает не зря. Мне и вправду плохо, я болен, меня трясет озноб, все кости ломит. Что это, радиация? Нет, будто непохоже.

— Нет, это не радиация. Ты просто переутомился, — отвечает Робер. — Я уже давно вижу, что ты страдаешь от перенапряжения. Надо, чтоб ты побольше спал. Засни опять, прими снотворное.

— Не хочу снотворного, — почти машинально отвечаю я.

Меня гнетет предчувствие какой-то новой неотвратимой беды. Я заметил, что Робер еще с порога обменялся взглядом с Констанс, и взгляд этот был тревожный и понимающий. О чём это они?.. Нет, я решительно не завидую тем, кто имел со мной дело прежде! Ходить вот так, опусться, как слепому, рядом с человеком, который все видит в тебе, даже самое потаенное, скрытое от всех, — боже, какое это мучительное, унизительное ощущение!

— Что случилось? — почти кричу я. — Почему вы ничего не говорите, ведь вы знаете! Я должен знать!

Робер и Констанс опять обмениваются тревожным взглядом, будто советуясь. Потом Робер пожимает растяжно плечами.

— Видишь ли, Клод, — говорит он. — Тебе сейчас важнее всего отдохнуть. Ты никому и ничем не поможешь, если будешь убивать себя перенапряжением. Вот отоспись, и тогда мы поговорим. Все равно...

Это «все равно» меня добивает.

— Кто? — кричу я. — Кто, ради бога? Говорите правду! Натали?

— Нет... — почти беззвучно произносит Констанс. — Отец...

— Отец? Где он? — Я с ужасом соображаю, что все это время даже не вспомнил об отце. — Где он?

Робер и Констанс отводят глаза. Нет, не может быть!

— Но он... он же не мог, вот так... Почему вы мне ничего не сказали?

— Ты говорил в это время с Натали... — тихо и печально отвечает Констанс. — Он все время, с утра, сидел и курил. Потом подошел ко мне — я стояла у окна — и сказал: «Девочка, ты крепкая, я тебе одной и скажу. Я решил пойти прогуляться вон туда, видишь? Тропинка идет по склону холма, огибает его, а что дальше — не знаю. Даже сквозь это проклятое пыльное стекло видно, как там хоропо». Я сказала: «Разве вы не знаете, что там смерть?» Он ответил: «Да толком не знаю. Я ведь человек простой, в науке не разбираюсь, а то, что Клод устроил с нами, это, знаешь ли, штука тонкая. Чертовщина просто. А потом — что ж такое смерть? Мне с ней давно уж пора поговорить. Вот пойду, может, и встречусь». Я умоляла его оставаться, просила хоть поговорить с тобой, но он только головой качал. «Клод, он меня простит за невежливость, он мальчик добрый. А мне лучше уйти потихоньку. Ничего он тут поделать не может, только расстраиваться попусту будет. Я посидел, знаешь ли, в уголке и все обдумал. Ему всех не удержать, так что уж лучше мне отпустить веревку — как Валери сделала».

— Отпустить веревку? Он так сказал? — холдея, спрашиваю я.

«Значит, он слушал мой разговор с Валери, мои мысли? Или это случайность? Неужели меня слышат даже на расстоянии? Боже, о чем я думаю! Ведь отец — он ушел туда, он умер... или умирает? Умирает? Почему я не думал о том, что стало с Валери, Софи, почему я не понимал, что они, наверно, еще ходят или лежат там где-то... умирают, беспомощные, в невыносимых мучениях? Почему я не думал о настоящем облике атомной смерти, а только об уходе?»

— Ты не должен об этом думать, — приказывает Робер, глядя мне в глаза.

— Но я не могу...

— Можешь. Я объясню тебе, в чем дело. Я наблюдал за всеми. Если видел, что приближается крити-

ческий момент, то давал таблетку — знаешь, эти, с цианистым кали, которые убивают мгновенно.

— Ты не имел права этого делать! Ты с ума сошел!

— Имел. Все зависит не от них, а от тебя. Если ты не можешь удержать кого-нибудь из нас, то я могу хоть избавить его от мучений. Скажи, что я не прав! Наша старая лагерная правда, Клод.

Да. Та правда, во имя которой мы дали смертельные дозы морфия Леону и Феликсу, когда я... не смог удержать веревку! Все верно, Робер, ты прав, тысячу раз прав, а я... своим равнодушием я отправил на смерть любимую женщину и отца.

— Это не равнодушие, ты же знаешь, Клод, — говорит умоляющее Констанс. — Ты не виноват. Это... ну, просто это жизнь.

Жизнь? Чудовищная нелепость этого слова в таких обстоятельствах лишает меня сил. Я молча смотрю на Констанс, на Робера. Боже, как они спокойны, хоть и печальны, как они уверены в своей правоте! Да и что удивительного — ведь не они за все отвечают... Не они... Все же страшный удар, доставшийся мне, — это поразительная несправедливость, он не по силам мне, он надламывает меня.

— Твой дар связан с твоим характером, — говорит Робер. — Ты же знаешь. Именно твоя повышенная впечатлительность, чуткость, острота переживаний делают тебя способным к ясновидению, к передаче мыслей. Человек более уравновешенный и сильный не добился бы таких потрясающих результатов, ему помешали бы именно уравновешенность и сила.

Мне стыдно признаться — именно перед ними, которые так хорошо все это понимают, — до какой степени тяготит меня этот странный односторонний разговор: я думаю, они отвечают. Впрочем, что я: ведь я признаюсь автоматически, раз думаю об этом. И чего мне стыдиться перед Робером и Констанс, с ними-то у меня была двусторонняя связь, пусть не такая четкая и налаженная с их стороны, но все же... Да, это правда, они меня видели почти всегда в исключительных обстоятельствах — в минуты опасности, тяжелых

страданий. С Робером у нас связь была двусторонней практически лишь в тюрьме и лагере.

— Потому что в нормальных условиях эта связь вообще не нужна. Я же тебе говорил, — отвечает Робер. — А теперь ты на собственном опыте видишь, до чего это неудобно и даже, откровенно говоря, бессовестно. Ну, что хорошего вот так, в любую минуту, без стука и без звонка открывать дверь в чужую душу? Да еще пытаться наводить в ней порядок по собственному разумению. Ты ведь знаешь, какого я мнения был всегда об истории с Натали. Сам видишь теперь, к чему это привело...

Ладно, пускай он прав, пускай прав тысячу раз, но о чем мы говорим? Отец ушел, сам ушел, он понял, что я... да, что он понял, что подумал? Может быть, в эту минуту где-то, на тропинке среди дальних холмов, на пологом скате у реки или в прохладной тени леса, где нет больше птичьего щебета и свиста, а слышен лишь похоронный напев ветра в густой листве, он почувствовал предсмертную дурноту и присел, чтобы глотнуть крохотный белый шарик, избавляющий от мучений? Впрочем, кто знает, сколько рентген там, снаружи? Может, ему осталось жить еще двое-трое суток, и он будет тянуть до последнего, пока страдания не перевесят удовольствия от свободы, от свежего воздуха, и ветра, и солнца. Может, он дойдет до городка, устроится в одном из опустевших домов... Опустевших? А может, там еще есть люди... медленно умирающие в мучениях...

— Не думай об этом! — Взгляд Робера опять становится ощутимо тяжелым. — Ты не имеешь права зря растрачивать силы.

— А имею я право быть человеком? — медленно, с усилием, будто бредя против течения, говорю я.

Взгляд Робера сковывает меня все сильнее, он придавливает меня к креслу. Я начинаю думать, вяло и равнодушно, о том, что уровень радиации в нашей местности необычайно высок, по-видимому: ведь все кругом затихло и вымерло в первые же сутки. Ну, первые часы я почти не смотрел в окно, а народу тут не так много было, я мог и не заметить, если кто-ни-

будь проходил по холму. А животные или птицы? Нет, не помню, были ли они в тот первый день; потом уж никого не было, это точно. Вероятнее всего, люди успевали добраться до дома, а потом им становилось настолько плохо, что они не могли выходить наружу, — да и к чему? Должно быть, все поняли, что произошло, ведь этого ждали и боялись столько лет подряд... Целое поколение выросло в страхе перед атомной войной — и вот...

— Не думай ни о чем. Тебе надо спать, — приказывает Робер. — Спи. Или вспоминай что-нибудь. Со средоточься и вспоминай, это тебя хорошо отвлечет. А мы с Констанс уйдем.

Мне уже все равно. Я их не вижу. Я лежу на старой резной деревянной кровати с высокой спинкой, а на стенах и потолке играют причудливые струящиеся световые пятна — отблески речной зыби и трепещущей листвы платанов. Рядом со мной Валери. Она мерино и легко дышит во сне, и синяя тень густых ресниц лежит на ее смуглого-розовых щеках. Это воскресное утро на набережной Цветов; там мы с Валери прожили первые полгода, потом переехали на улицу Соль-Ферино. Значит, это август или сентябрь 1935 года. Скорее сентябрь: утро солнечное, но свежее, от Сены тянет холодком, и в густой листве платанов перед окном уже просвечивает желтизна. Я счастлив; мне все кажется прекрасным: и эта продолговатая, довольно мрачная комната, обставленная тяжелой, старомодной мебелью, и большая ветвистая трещина, бегущая по высокому потолку как раз над моей головой, и поблекшие обои — букетики мелких желтых роз на пальевом фоне, — и эта темная, потемневшая от времени, от сырости, от бесчисленных людских прикосновений кровать. Мне нет дела до того, кто лежал на ней, на этой парижской многотерпеливой кровати, до меня, — сейчас я здесь, я с Валери, с самой прекрасной девушкой на свете, и я все еще не могу поверить, что она моя жена. Валери вздыхает чуть глубже, и вдруг этот вздох, от которого приоткрываются ее темно-ро-

зовые губы, переходит в легкий смех, в солнечную улыбку, распахиваются ресницы, и глаза Валери, сияющие сквозь дымку сна и счастья, смотрят на меня. Мне двадцать два года, и я вижу в этом высшее счастье. Да и сейчас, почти через тридцать лет, глядя на это юное смеющееся лицо в изменчивом свете ясного утра, я думаю, что высшего счастья в мире нет. Потом у меня было другое, многое другое, может быть, на том же уровне, но не выше... а впрочем, как это измерить, кто знает...

Я, двадцатидвухлетний, в той далекой, из другого мира, комнате обнимаю Валери, с восторгом ощущая, какие мы оба молодые, как свежа наша кожа и упруги мускулы, как чудесно пахнут темно-каштановые пушистые волосы Валери и как прекрасны ее горячие губы, тянущиеся навстречу моим. Как легко и естественно каждое движение, когда ты молод, когда ребра еще не переломаны, почки еще не отбиты и тебе не приходится иной раз припомнить, как долго ты лежал, широко разбросав руки, вывернутые в плечах, распухшие, горячие руки, потеряв даже силы стонать, после долгих, бесконечно долгих часов, которые ты прокричал, простонал, прохрипел, подвешенный к балке за эти руки, принявшие на себя всю тяжесть твоего тела, исхудавшего, истаявшего — и все же такого невыносимо тяжелого!

Что я говорю? Разве могло быть такое счастье потом? После того как мы прошли войну? Разве эти воспоминания, эти бесчисленные незаживающие рубцы на теле и на душе не отравляли тебе самые прекрасные минуты? Медовый месяц с Констанс... это было прекрасно, но мы оба знали, что таится в глубине и всегда готово всплыть наверх: память о погибших, память о муках, память о том, что способны сделать люди с людьми — обычные люди с обычными людьми. Что было бы, если б я остался с Валери? Впервые, пожалуй, я так отчетливо задаю себе этот вопрос. Констанс з п а л а; Валери — нет. Валери была по ту сторону страданий, бесчеловечности, бессмысленной и безграничной жестокости. Ей было тяжело первый год без меня; потом она нашла себе защиту и опору,

и дальше все пошло обычно. Да, в Париже были немцы, была война, трудновато получалось с продуктами. Но ведь я-то знаю Валери: она любила и была любима, а все остальное имело для нее мало значения. Да и что — остальное? Шарль, как видно, умел жить, он и при номцах устроил так, что Валери ни в чем не испытывала особого недостатка, а Валери много и не надо было...

И я будто снова слышу бормотанье отца, доносящееся из далекой дали лет, из призрачного девятнадцатого года, из давно не существующего полутемного маленького кафе на площади Терн: «Клод, мой мальчик, война — это такая штука... она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает... Я ведь не виноват, что война была...»

Отец сознательно выбрал Женевьеву — ту, которая знала. Меня заставили сделать выбор. А если бы не заставили? Могла бы Валери, жизнерадостная, легкая, мечтательная Валери начать новую жизнь, невеселую жизнь со мной, новым, совсем иным, искалеченным физически и душевно? Нет, положительно, все к лучшему в этом лучшем из миров, даже то, что он, этот наш распрекрасный, безнадежно запутанный мир валится в тартарары, туда ему и дорога!

Но, размыслия так, я сквозь проклятый, отравленный, гибнущий мир 19... года продолжаю видеть мир ясный и светлый, мир юности и любви, — мир, каким он был для меня в 1935 году. Вот я встаю с постели и гляжу в настежь распахнутое окно на ослепительную рябь Сены, на серые теплые плиты набережной, на большие старые деревья острова Сен-Луи, отделенного от нас узким протоком, и листья платанов шумят и трепещут перед окном, так близко, что протяни руку — и коснешься этих прохладных, гладких, узорчатых листьев.

А потом... потом мы пьем кофе за круглым столиком у окна, и на Сене рокочет буксир, по набережной с сухим шорохом проносятся машины, такие неуклю-

жие и громоздкие с моей теперешней точки зрения, такие нарядные и стильные для нас с Валери. Я перегибаюсь через стол и целую Валери, она тихо смеется, и на ее лицо ложится мелкая светлая зыбь от чашки с кофе, которую она держит в руке. Быстрая тень скользит по нашим лицам, по столу, накрытому пестрой скатертью, — это перед окном пролетел голубь. Я, сегодняшний, все больше удивляюсь своей тогданий безмятежности. Что, собственно, делалось в мире? Ведь уже был фашизм и в Италии и в Германии, готовилась война... Или мы ничего не видели?

Стучат в дверь — коридорный принес газеты. Я шарю по карманам серого пиджака, висящего на стуле, нахожу мелочь, сую в потную лапу долговязого худосочного паренька с копной рыжих волос — я знаю, что его зовут Клод, так же, как меня, — и бодро говорю:

— Ну, Ри, сейчас мы узнаем, что творится в мире!

Боже, у меня не было никакого желания узнать, что творится в мире, я произносил пустые, ничего не значащие слова, мой мир был здесь, около Валери, вокруг Валери, а все остальное, даже работа, не очень-то занимало меня.

Я читаю газеты. Как странно читать их, видя все одновременно — через юношеский, нелепый, трагически-наивный оптимизм и через теперешнюю горькую мудрость обреченного... Я читаю газеты и все больше ужасаюсь — как я мог быть таким кретином? Ну ладно, молодость, беспечность, первая любовь, все понятно, — однако есть ведь какие-то пределы всему! Видеть — и не видеть; читать, даже раздумывать о прочитанном — и ни черта не понимать; слышать глухие раскаты грозы, надвигающейся на мир, — и принимать их с легким сердцем, смеясь и бессмысленно надеясь на то, что все уладится превосходнейшим образом! Да, таков мир, таковы люди, и нечего удивляться тому, что случилось и в четырнадцатом, и в тридцать девятом, и в этом году...

Я, двадцатидвухлетний, читаю газеты спокойно и весело, не видя, что мир балансирует на грани войны, как Лаваль, изображенный на карикатуре в виде

большого полосатого кота, балансирует между Муссолини и Черчиллем, осторожно шагствуя по забору с надписью «Женева». Над этим безмятежным солнечным миром уже звучат все громче сигналы тревоги, часовой механизм безжалостно и поспешно отсчитывает последние минуты до взрыва, а люди затыкают уши и весело смеются.

Аддис-Абеба празднует окончание периода дождей. Празднует потому, что так принято, хотя конец дождей означает начало войны; Муссолини уже готовит свои войска, и абиссинские пехотинцы, темнокожие, босоногие, в узких белых штанах и живописно разевающихся накидках, тоже маршируют, готовясь к бою. «Что будет с Европой, — пишет «Матэн», — если абиссинские события и их последствия создадут для Адольфа Гитлера неотразимое искушение? А последствия такого искушения можно уже сейчас предвидеть». Мой юный двойник беспечно переворачивает газетный лист. Война на пороге, а он ничего не видит.

Карикатура — Муссолини и Гитлер обняли земной шар, и Гитлер уже целился флагом со свастикой в Мемель. Мемель должен вернуться к Германии. Немецкие военные корабли в бухте Клайпеды. Лаваль заигрывает с Муссолини. Упражнения отрядов противогазовой обороны в Лондоне. В Германии 15 сентября принят закон о защите германской крови и германской чести. Члены общества «Французская солидарность», вооруженные дубинками и револьверами, нападают на евреев. Еще карикатура — Гитлер салютует у могилы Неизвестного немецкого солдата, а Геринг шепчет ему: «Осторожнее, Адольф! А вдруг он был еврей?» .

Политики, видимо, понимают, что все это значит. Вот перепечатка из «Дейли геральд»: «Каждый сторонник мира надеется, что не понадобится прибегать к силе для защиты мира и права. Но если мы хотим сохранить право и мир, то все страны должны показать, что для этого они готовы в случае надобности применить силу. Допускать какие-либо послабления в этом пункте — значит отдать человечество в руки безумцев и поджигателей войны».

Да, все это звучит прекрасно; только Англия и Франция думали-думали, торговались-торговались да и отдали Муссолини Абиссинию, а потом погубили Испанию, потом вздыхали, глядя, как Гитлер глотает Австрию, потом отдали ему в добычу Чехословакию, а когда спохватились, было уже поздно.

А я весело смеюсь и говорю Валери:

— Смотри, девочка, в Брюссель на выставку прибыли двадцать восемь королев красоты! Будут избирать мисс Universum.

Валери садится ко мне на колени, и мы рассматриваем королев — белокурых и темноволосых, большеглазых, длинноногих, загадочно и беспечно улыбающихся; мы находим, что некоторые из них попросту дурнушки. Потом мы советуемся, когда пойти в Театр де Пари на новую пьесу Саша Гитри «Когда мы играем комедию», хохочем над рекламой мыла «Пальмолов»: «Купите сегодня же три куска мыла «Пальмолов»... Я всегда буду верна «Пальмолову».

— Я всегда буду верна Клоду! — заявляет Валери и звонко чмокает меня в ухо. — Смотри-ка, до чего симпатичный пляж в Сен-Жан де Люс! Хочу вот в такую полосатую палатку. И чтобы плавать до одуриения! На волнах! Мы туда поедем будущим летом, да?

Мы не поехали в Сен-Жан де Люс ни следующим летом, ни потом. В мае тридцать шестого года мы славно побродили по Пиренеям, на другое лето отправились в Бретань... Так я и пе был в Сен-Жан де Люс, а жаль... даже сейчас жаль.

Пушистые волосы Валери щекочут мне щеки, ее дыхание смешивается с моим. Какая она прохладная, легкая, гибкая, какое счастье сидеть вот так, держа ее на коленях, и говорить о чем угодно! О том, что Жюля Лядумега зря исключили из Федерации атлетизма — подумаешь, получил плату за выступления, так это называется «торговать своими достоинствами»! — о том, что хорошо бы пойти на гастроли Жозефины Бэкер, но билеты нам не по карману, а впрочем, бог с ней, с Жозефиной Бэкер, и почему бы нам не купить загадочный артсель — живой камень, обладающий физико-химическими и магнитическими свой-

ствами? «Каждый может иметь талисман всего за 1 франк 50 сантимов марками!» Вот и мы будем иметь талисман, почему бы и нет? Потом мы сходимся на том, что Морис Шевалье великолепен, и что хорошо бы поехать еще в Виши, и что это, конечно, жуть, когда целая куча голых женщин на сцене, как в «Альказаре». Мы вместе читаем газеты, и нам хорошо. Нам всегда хорошо вместе. В Париже сегодня днем будет 22 градуса, ночью — 15; превосходно! Ирен Жолио-Кюри в интервью с нашим корреспондентом сказала об атоме и о четвертом измерении: «Я уверена, что через тысячу лет дети в школах будут проглашать это, как молоко. Я верю в будущность человеческого разума», — здорово сказано. А вот это, смотрика, до чего смешно, вот чудаки!

Я смотрю на газетную полосу вместе с этими великолепными и беспечными молодыми кретинами, которым я все же отчаянно завидую, — смотрю, и мне грустно, потому что эта спиритическая белиберда начинается со слова «война», и это тоже одна из попыток спасти мир, хоть и жутко нелепая...

### *Война!*

*Сpirитам принадлежит знание. Знание есть ответственность. Дух героев прошлой войны взыывает к вам о мире.*

*Молитва принесет мир. Мы умоляем тебя дать твоим посланцам власть для создания мира и благожелательства на земле. Аминь.*

Последняя фраза — текст молитвы. Спириты верят, что если люди во всем мире будут каждый вечер, ровно в девять часов, произносить эту фразу, обращаясь к богу, то они добьются мира. Что ж, вера не хуже всякой другой. Если б люди во всем мире могли хоть в девять часов вечера делать что-либо абсолютно дружно, они многоного добились бы. Спириты это поняли, молодцы, спириты, браво, спириты!

Валери слегка сдвигает брови, свои темные крылатые брови на гладком смуглом лбу и поворачивается ко мне.

— Клод, — говорит она и проводит мизинцем по моей брови. — Клод, милый, у тебя вот тут волосок

торчит совсем отдельно и поперёк. И не хочет приглашаться. А что, если я его выдерну?

— Выдерни, — восторженно соглашаюсь я.

Валери соскальзывает с моих коленей и роется в туалетном столике. Она приносит маленький пинцет и уже нацеливается на непослушный волосок, но вдруг останавливается и спрашивает:

— Клод, а почему они так пишут? Эти спириты? Разве будет война?

— Не знаю, — рассеянно отвечаю я, любуясь ею. — Наверное, будет.

Валери аккуратно выдергивает волосок и сдувает его с пинцета. Потом она откладывает пинцет, опять садится ко мне на колени и говорит:

— А по-моему, войны не будет. Потому что это глупо — воевать. Зачем?

— Не будет, — сейчас же соглашаюсь я. — Действительно — глупо. Действительно — зачем? Ты умница, Ри!

Валери хватает газету.

— А вот газеты все время кричат про войну... Слушай, а кто такой Мотори Норинага? Великий Мотори Норинага?

— Понятия не имею, — честосердечно признаюсь я. — Японец какой-то, наверно?

Мы с Валери читаем: «Дух Ямато — это цветы горной вишни, благоухающие на восходе солнца». Что такое Ямато, я тогда тоже не знал и лишь впоследствии выяснил: так называлась Япония в древности. Дух Ямато — это нечто вроде понятия «галльский дух». А вот если б спросить меня, читал ли я стихи Мотори Норинага, я готов был бы поклясться, что никогда не читал и имени такого не слышал. Да, странная штука эти мои воспоминания... предсмертные, немыслимо яркие воспоминания...

Впрочем, это воспоминание вскоре обрывается. Я, тогдашний, успеваю еще встать, подойти к столику у постели, надеть часы на руку, увидеть новый, даже не разрезанный пока роман Жана Жироду «Жюльетта в стране мужчин», подумать, что вечером мы его будем читать, обнявшись, в кресле у окна, — и светлый

мир гаснет, исчезает, начинают беспорядочно мелькать какие-то обрывки воспоминаний.

Потом я снова оказываюсь на набережной Сены. Но это другая набережная — Сен-Мишель у Малого моста — и другая Сена, осенняя, обволакивающая все вокруг промозглой сыростью. Унылые гудки буксиров в мутном тумане, и хриплые пьяные возгласы вокруг, и мокрые, черные, озябшие кусты вдоль черно-блестящих плит набережной, и порывистый ледяной ветер — другой, совсем другой, неуютный, неприветливый Париж, чужой Париж, потому что Валери уехала к большому отцу в Тулузу, ее нет уже целую неделю, и мне так тоскливо, что я готов зайти вот в этот сомнительный кабачок и выпить что-нибудь для бодрости, а впрочем, черт с ней, с бодростью, на что мне бодрость, и из кабачка пахнет спиртным перегаром, потом и дешевой пудрой, и мне противно туда идти, лучше уж домой...

Я не успеваю попасть домой, не успеваю ни шагу сделать больше по мокрой и скользкой набережной. Ночь внезапно рассеивается, брезжит мутный туманный рассвет, и я в полосатой одежде стою на апель-плаце под моросящим дождем, под ледяным ветром, и кругом одинаковые полосатые тиковые куртки и брюки, и одинаковые, истощенные, страшные, неживые лица, и передо мной стоит эсэсовец Рюммель и замахивается плеткой, а я говорю: «Покорнейше сообщаю, герр роттенфюрер, что за ночь я хорошо отдохнул!» — и вдруг Рюммель круто поворачивается и уходит, печатая шаг по мокро шуршащему гравию, а я слышу, как рядом со мной облегченно вздыхает Марсель Рише.

«Ночь» — это был пароль для моих лагерных «крестников». Мы долго придумывали, какое слово выбрать для этой цели: нужно было общеупотребительное, но не из самых необходимых и неизбежных в лагерном обиходе.

Это было после того, как я послал Кребса на проволоку. Доказать ничего нельзя было, но шуму вся эта история наделала много, и мы понимали, что повторить такой номер уже нельзя. А спонтанные контакты с «крестниками» могли возникнуть у меня

в любую минуту. Мы вспомнили и обсудили все, что знали о гипнозе, и решили, что самое лучшее будет, если я всем им внушу одно и то же: услышав слово «ночь», они должны немедленно уходить и засыпать. Марселя и Казимиру это показалось невероятно забавным, они долго хохотали и никак не могли успокоиться, да это и вправду было смешно, однако и опасно в такой же мере. Хорошо еще, если «крестник» подойдет ко мне наедине, — а если это будет при других? Послушается ли он приказа — идти спать, если рядом будет его начальник? И что подумают другие о моем странном упоминании насчет ночи, ведь если разговор будет сугубо официальным, вряд ли удастся ввернуть такую фразу, не вызвав никаких подозрений. Особенno если на эту фразу так необычно отреагирует мой собеседник. Раз-другой это может сойти, а потом...

К счастью, это заклинание пришлось применять редко. И всего один раз я произнес фразу с паролем вот так, при всех, на апельльпльце, и никто из лагерного начальства не понял, что произошло. Наш блоковой потом спросил меня, с чего это я вздумал докладывать Рюммелю, как провел ночь, но Марсель сказал: «Да ты что, не понимаешь? Со страху что угодно брякнешь!» — и блоковой вполне удовольствовался этим объяснением. А вот Рюммелю здорово влетело за то, что он ни с того ни с сего отправился спать в часы службы...

Вот и кончились воспоминания. Я по-прежнему полулежу в глубоком кресле, и Робер пристально смотрит на меня.

— Выспался? — спрашивает он.

Разве я спал? Воспоминания — во сне? Такие яркие? Странно. Впрочем, я вижу, что здесь, в этом мире, в этом моем фантастическом Светлом Круге, все возможно и ничто не странно.

— Робер, что ты делал в сентябре 1935 года? — спрашиваю я неожиданно для себя самого.

Робер не удивляется. Он хмурит брови, вспоминая.

— Ничего особенного, пожалуй, — неуверенно говорит он. — Ну, посещал лекции, работал в лаборато-

рии... Я с первого курса начал работать, и даже не только из-за денег... В сентябре тридцать пятого, говоришь? Ну, два события я запомнил хорошо. Я отбил Жюльетту у Большого Мишо — ох, и девчонка была! — а еще я был на митинге Всеобщей Федерации Труда. Мне ребята добыли приглашение, и я пошел. Когда Торез шел к трибуне, весь зал поднялся и запел «Интернационал». Так что любовь и политика, все на высоком уровне. А ты что делал в это время?

— Занимался любовью. Политикой — нет. Неужели ты в восемнадцать лет уже интересовался политикой?

— Даже раньше. Как и любовью, впрочем. Я более гармоничен, чем ты, вот и все.

Робер произносит все это своим обычным, небрежным, насмешливым тоном, и мне опять становится страшно. О чем мы говорим, о чем думаем!

— Как ты думаешь, Робер, почему у меня здесь начались такие яркие и странные воспоминания? — спрашиваю я.

Нет, Робер положительно что-то скрывает от меня! Он вдруг смущается, отводит глаза и с неестественным оживлением начинает говорить о состоянии перевозбуждения, о том, что в этом состоянии, возможно, растормаживаются какие-то глубинные слои психики, что это было бы весьма любопытно для нейрофизиологов...

— А может, скорее для невропатологов и психиатров? — прерываю я его. — Послушай, Робер, ты ведешь какую-то дурацкую игру со мной, хитришь, что-то скрываешь... К чему? Ведь ты пойми: мне еще тяжелее, когда я вижу, что ты, даже ты — не со мной...

— И что ты совсем одинок, да? — с каким-то странным, жадным любопытством спрашивает Робер.

— Ты уже говорил об этом... — медленно отвечаю я, изо всех сил борясь со страхом. — Ты уже внушил мне это... Зачем, Робер? Зачем? Чего ты от меня хочешь?

Робер глубоко, очень глубоко вздыхает, будто ему не хватает воздуха. Лицо его вдруг становится бес-

конечно усталым, почти старым. Ни слова не сказав, он круто поворачивается и уходит.

И почти сейчас же появляется Натали. Я откидываюсь на спинку кресла, раздавленный ужасом и горем: сейчас мне ясно, что это конец, у меня нет больше сил держать Натали, она так глубоко и остро ненавидит меня, что эта ненависть рвет связь между нами, выводит ее из Светлого Круга. Мне хочется плакать, кричать, просить: «Натали, не надо так, Натали, я не виноват, верни мне свою любовь, свое доверие, иначе мы оба пропали!» Хотя... зачем кричать, зачем вообще говорить теперь? Ведь я прозрачен, как стакан, для всех окружающих.

— Сейчас поздно говорить об этом, — отвечает Натали, и голос у нее безжизненный, матовый, хрупкий. — Сейчас вообще уже все поздно, кроме...

— Кроме?.. — как эхо, повторяю я.

— Кроме того, чтобы уйти. Я... я старалась, но больше не могу выдержать. — Голос Натали оживает, в нем звучат глухая боль и тоска. — Не могу.

— Это из-за той истории, да? — зачем-то спрашиваю я.

— Не знаю... — помолчав, отвечает Натали. — Вероятно... в конечном счете... Я ведь так и не могла прийти в себя по-настоящему... Весь мой мир лежал в обломках и осколках — такие острые, куда ни ступишь, все больно. А теперь... теперь рухнул весь мир вообще. Я знаю, вы, старшие, на что-то еще надеетесь... Если б я не была так тяжело ранена, может, и я бы надеялась. Впрочем, дело не в надежде — я все равно не могу больше переносить эту боль, этот страх, эту пустоту. Лучше — туда, и сразу всему конец. Да, сразу. У меня есть пильюля.

Значит, и Робер это понял. Значит, все потеряно. Я ее не удержу, нет, и она права — лучше уж сразу конец.

— Прощай, — говорит Натали, и лицо ее становится серым, как пыль на окнах. — Если можешь, продолжай держаться. Я уже не могу.

Она идет к двери на террасу, осторожно, словно балансирует на доске, переброшенной через пропасть.

Я сижу, не в силах пошевельнуться, не в силах даже крикнуть. Дальше повторяется, как в неотвязном кошмаре, сцена ухода Валери: на фоне синего неба и пологих зеленых холмов возникает девический силуэт, потом дверь захлопывается, слышны легкие, стремительные, нетерпеливые шаги — вниз, вниз, по деревянным ступенькам, вниз, вниз, к свободе и смерти.

Только на этот раз я не встаю, не пытаюсь броситься вслед, и Констанс не приходит спасать меня от себя самого. Я продолжаю сидеть, даже когда дверь библиотеки распахивается с такой силой, что бьет о стену и от этого удара дребезжат стекла книжных шкафов. Я только смотрю на Марка и молчу. Мне уже все равно, и я ничего не могу поделать.

*Больше я не вытяну, надо кончать. Да и ему плохо. Опасная это игра, но раз уж начал... Нет, я скоро свалюсь от усталости. Я не думал, что это потребует такого напряжения... то есть не думал, что я не выдержу. А он? Ну да, ему намного тяжелее оттого, что я устал, не успеваю за всем следить... Но до чего он изранен, бедняга! Чего ни коснись, все сводится в конечном счете к войне, к лагерю, и от этого не уйдешь... Надо кончать, а мне страшно. Да, страшно, и все тут. Боюсь, что я сделал такую ошибку...*

Марк стоит, широко расставив ноги и засунув руки глубоко в карманы. Он ссугутился и нагнул голову к левому плечу. Так он делает, когда собирается драться. Марк не в меня, он умеет драться молча, спокойно, без ярости, но всерьез, по-деловому.

— Натали ушла? — отрывисто и глухо спрашивает он.

Я молчу. Он тоже хочет уйти, да? Так вот — мне все равно. Уходите все, а потом и я пойду — прогуляюсь по берегу Сены перед смертью, подышу напоследок этим прекрасным, свежим, смертоносным воздухом! Последний завтрак осужденного перед казнью. На закуску — пилюля.

— Ушла! — констатирует Марк почти спокойно. — Ну, так вот...

Мое безразличие вдруг сменяется приступом стра-

ха. Я невольно вскидываю руки к лицу: трагически-бессмысленный жест лагерника, которым он пытается защитить себя от ударов и только больше разъяряет палачей. Лучше стоять навытяжку, руки по швам, пока еще можешь стоять, а собьют с ног — старайся опять подняться, и опять — по стойке «смирно»... Так скорей отстанут. Я забыл их, почти забыл, эти бессмысленные и опасные жесты, эти запрещенные защитные рефлексы полосатой армии лагерников, мне все это снилось лишь по ночам, а теперь, в эти страшные дни, все всплыло наверх из подводных глубин психики, и с каждым часом я становлюсь все более похожим на заключенного № 19732, на тот скелет в полосатой одежде, который пять лет прожил в аду, в двух шагах от мирного австрийского рая.

Не знаю, понял ли Марк, что означает мой жест, — вряд ли! — но в глазах его мелькает нечто похожее на жалость. Однако он упрямо закусывает нижнюю губу и говорит:

— Все это, понимаешь, ни к чему!

— Что ты имеешь в виду? — устало спрашиваю я: мне уже опять все равно.

— Все вообще. Ты знаешь. И все равно у тебя не хватит сил.

Я барабащично пожимаю плечами. Это тоже смахивает на одно из состояний лагерника, на то полнейшее отупение, рожденное дистрофией, которое вплотную подводит к грани между жизнью и смертью. Таких, ко всему равнодушных, полумертвых, людей называли в лагере «мусульманами» — из-за их покорности судьбе, из-за совершенной неспособности активно действовать. Это был первоочередной материал для газовых камер; впрочем, мусульмане и без газовых камер были обречены, они могли умереть в любую минуту, во сне, на ходу, сидя на койке или стоя на аппеле: они жили, так сказать, впритирку к смерти.

Итак, круг завершен. Почти через двадцать лет заключенный № 19732 все-таки вернулся, чтобы умереть. Вместе со всеми близкими. Методы массового убийства за это время усовершенствовались, полностью автоматизировались: прогресс, как известно, не оста-

новишь! Теперь не нужно загонять людей силой или обманом в газовые камеры, не нужно экономить жестяники с «Циклоном Б», не нужно сжигать трупы (а какая это была нелегкая работа, сколько пришлось поломать голову умникам и в Берлине и на местах, пока не придумали более или менее подходящие способы побыстрее и поосновательней сжигать тысячи трупов!). Вообще ничего не нужно — нажал кнопку, а дальше все происходит само собой. Правда, в этот безотказно действующий механизм уничтожения попадает в конечном счете и тот, кто нажал кнопку, но это уже несущественная деталь. А зато какой размах, какой блеск, какая чистая работа! Жаль, что любоваться некому.

— Что же ты решил? — спрашиваю я.

Марк не смотрит на меня. Он напряженно думает.

— Я хочу сказать, — говорит он наконец, — что так все равно нельзя. Понимаешь? Даже если мы останемся в живых — так зачем? Это и вообще было противно — что мы не такие, как все... Ты, может, и не знаешь, но мне было чертовски неприятно, ведь я понимал. А сейчас это выглядит... ну, как-то даже некрасиво: все погибли, а мы живем. Почему мы, именно мы? Разве мы лучше других? Мы не лучше, а даже, может быть, хуже.

Все-таки надо бороться. Не будь мусульманином.

— Чем же мы хуже? — с усилием спрашиваю я. — И разве война разбирает, кто хуже, кто лучше? Кто-то гибнет, кто-то остается в живых, вот и все.

— Так ведь сейчас уже и не война, — мрачно возражает Марк. — Ну, какая это война, если сразу и воевать некому, и ни героев нет, ни трусов — всех прикончили? А что мы уцелели — вот это как раз и получается плохо.

— Если б мы оказались в противоатомном убежище, получилось бы все нормально, да? — говорю я. — Хотя мы не стали бы от этого ни хуже, ни лучше.

Марк упрямо встряхивает головой.

— Ты знаешь, что я хочу сказать! Мне всегда не нравилось то, что вы с мамой... ну, словом, эти штуки с телепатией — ты прости, но это, понимаешь... Снача-

ла-то мне было плевать, но уже после того, что ты сделал с Натали!..

— А ты знал? — уже задетый, выведенный из равнодушия, спрашиваю я.

— Как же я мог не знать? Что я, по-твоему, кретин? Да я, если уж начистоту говорить, я хотел удрать из дома. И удрал бы, если б не это все... Понес бы работать, я уж договорился, в редакцию рассыльным. А жил бы вместе с одним парнем, у него комнатенка неплохая, платили бы пополам... Это не потому, что я к тебе и к маме плохо отношусь, нет! — спохватывается он. — Но я больше не мог, когда вот так, прямо к тебе в мозги лезут без спроса, да еще и командуют... Не мог, и все тут!

— Тебя же никто не трогал... — слабо возражаю я, потрясенный этим взрывом.

— Натали тоже не трогали, а зато уж как тронули! — Марк передергивает плечами и морщится. — Разве вам можно после этого доверять?

Можно ли нам доверять? И это говорит Марк! Ну, пускай еще обо мне, я был тысячу раз не прав в истории с Натали, — не прав и жесток, от невнимательности, от слепоты, от слабости духа... но Констанс? Разве можно найти во всем мире такую изумительную мать... такую жену...

— В том-то и дело, что она сначала жена, а лишь потом мать! — почти кричит Марк, и мне кажется вдруг, что я уже слышал где-то эти страшные слова. — Она любит тебя и на все пойдет для тебя. Я ее не виню, но она не защита ни мне, ни Тали! Лучше уйти подальше.

Марк даже не заметил, что он прямо отвечает на мои мысли. — мысли, а не слова. Итак, Констанс не защита для них... от меня... Да ведь это сказала Натали. Не защита! Печаль и гнев охватывают меня. А расстояние — ты думаешь, это защита? Я справлялся с этими тупыми и злобными тварями-эсэсовцами, так неужели я не смогу воздействовать на родного сына? Да на каком угодно расстоянии...

Лицо Марка медленно бледнеет, это заметно даже сквозь бронзовый летний загар. Он судорожно выпрям-

ляется и сжимает кулаки. Конечно, он все это видит — то, что я думаю. Но что же делать? Марк видит — и уже сообразил, что видит, но так потрясен этим, что не может себе поверить... Идеальный брак... Идеальные дети... Светлый Круг... Боже, какая все это дикая чепуха и как можно так нелепо заблуждаться в моем возрасте... А Констанс? Неужели и она ничего не понимала? Или понимала, но молчала из любви ко мне, из страха за меня?.. Тогда... тогда, вероятно, прав Марк, и она прежде всего жена, моя жена, а остальное, даже дети...

Марк сдвигает свои густые темно-золотые брови, прикусывает губу и напряженноглядывает в меня. Он сбит с толку и напуган.

— Зачем ты это делаешь? — наконец спрашивает он. — Чтоб напугать меня? Это... это же нечестно! И вообще неужели ты мог бы... — он бледнеет все больше.

— Не знаю... — честно признаюсь я — Ведь тебе всего шестнадцать лет, я боялся бы за тебя, и кто знает... Глаза Марка темнеют, я пугаюсь этих расширенных неподвижных зрачков и поспешно заканчиваю: — А сейчас... сейчас я вообще ничего не делаю и вовсе не пытаюсь тебя запугивать... Это получается само собой и не зависит уже от моей воли...

Марк переводит дыхание, поза его становится менее напряженной, но руки по-прежнему сжаты в кулаки.

— Ну ладно, — наконец говорит он, и я понимаю, как он ошеломлен новыми для него ощущениями. — Сейчас я хоть вижу, что ты говоришь правду. Но ты же сам понимаешь, как это могло получиться. Ты желал бы мне добра, как желал бедняжке Тали, а ведь ты мог убить меня, свести с ума... бр-р! — Он зябко передергивает плечами. — Даже помимо воли... ты прости, но я слышал, как ты объяснял маме, что с Тали все получилось помимо твоей воли...

— Это совсем другое дело... — тихо говорю я: усталость и равнодушие опять одолевают меня.

— Уж не знаю... а, да теперь это все равно! Но ты можешь мне объяснить, почему мы остались живы?

Я бессвязно и безнадежно бормочу что-то о Светлом

Круге... о великой силе любви и дружбы, о невидимых нитях, связывающих людей... о том, что телепатия усиливает эту духовную связь... Марк слушает и качает головой.

— Я так и думал, что ты сам толком не знаешь, в чем дело. Теперь слушай. Оставаться здесь я больше не могу. И никто не может, ты же видишь. Один за другим уходят и уходят. Я тоже хочу пойти. Может быть, это вовсе и не смерть, мы же ни черта не знаем, сидим, как рыбы в запыленном аквариуме, а кругом, может быть, море, надо только решиться.

— Марк, ты с ума сошел! — Я не хочу сдаваться, хоть не верю в победу. — Ты видишь, что я не пытаюсь пускать в ход силу, чтоб удержать кого-либо из вас. А ведь это стоило сделать — вы уходите, чтоб умереть. Только потому, что не хватает терпения.

— Дело не в терпении, — объясняет Марк. — Для чего терпеть — вот вопрос. Или мы одни остались во всем мире, тогда... ну, все равно, тогда это не жизнь. Или же еще есть люди — вот я и пойду их искать.

— Марк, ну разве ты не понимаешь, что такое радиация?

— Понимаю. Мало я книг читал об этом, мало фильмов видел? Но мы-то сейчас не знаем, что там, за окнами. У нас даже счетчика Гейгера нет. Почем ты знаешь, может, это была «чистая» бомба, нейтронная и никакой радиации вовсе и нет?

Я ошеломленно молчу. А если в самом деле?

— Этого не может быть, — глухо говорю я наконец.

— Ах, не может? А чтобы телепатия защищала от радиации — это может быть?

— Но почему же тогда никто не вернулся? — растерянно бормочу я, стараясь сообразить, когда ушла Валери.

— А почему они должны были возвратиться? — спрашивает Марк.

Это меня добивает. В самом деле, почему? Что им тут делать, если они поняли, что я трус и жалкий эгоист, что никого я на самом деле не люблю и всеми этими побасенками о Светлом Круге и великой духовной связи лишь прикрываю свое душевное бессилие?

Марк ловит мои мысли и явно смущается. Что он испытывает? Жалость, смешанную с презрением? Ну да, вдобавок он все же подозревает, что я сознательно передаю ему свои мысли, и это кажется ему некрасивым. Еще бы! Дорого я дал бы теперь за возможность спрятаться, уйти в себя, не быть таким прозрачным и беззащитным!

— Значит, ты этого не хочешь? — недоумевая, спрашивает Марк. — Но тогда зачем же?.. Ты, значит, действительно уже не можешь с этим справиться? — догадывается он. — Ну, вот скажи теперь: разве я не прав? Разве с тобой можно... Ну, прости, конечно. Но, знаешь, я хоть и не трус, а эти штуки меня пугают. Это чертовщина какая-то, что ни говори. И знаешь что: тебе лечиться надо, ты такой издерганный стал... Я маме уж говорил...

Вот он, результат долгих и терпеливых трудов, оправдание моей жизни — моя идеальная семья, соединенная такой прочной, такой глубокой связью, мой Светлый Круг, защищающий от враждебного мира! Дочь меня ненавидит, сын презирает, жена... жена, вероятно, жалеет по доброте своей, но и ей я основательно испортил жизнь. А другие? Отца и Валери я предал своим равнодушием, и они узнали мне цену... Даже Софи, простая душа, увидела сразу, чего я стою. И это ты считал прообразом будущего, окном в совершенный, гармонический мир? Имей мужество хоть признать свое поражение!

— Да, да, все вы правы, я один виноват! — кричу я, задыхаясь от боли и унижения. — И ты прав, Марк! Иди, что же ты стоишь!

Марк некоторое время колеблется, с тревогой глядя на меня.

— Я сейчас, только позову маму, — бормочет он.

Но как раз этого я уже не в силах вынести. Я чувствую, что не могу сейчас видеть никого, даже Констанс, и, может быть, даже особенно Констанс.

— Ты не уходишь? — Слова еле проходят сквозь мои сведенные судорогой губы. — Тогда я... я тоже не могу больше!

Я бросаюсь к двери на террасу; я бегу, боясь, что Марк меня опередит, удержит; я только одного хочу, уже не сознанием — сознание где-то вне меня, а кожей, сердцем, пересохшим ртом, руками, цепляющимися за пустоту, — хочу уйти, уйти куда угодно от осколков моего разбитого мира. Но я не могу уйти, я топчуясь на месте, задыхаясь от нечеловеческих усилий, а звенящие, сверкающие осколки со всех сторон рушатся на меня, впиваются в тело, в мозг, я слепну, я глухну, я немею от яростной, беспощадной боли, я уже не в силах произнести хоть слово, не в силах молить о пощаде и только кричу, кричу нечеловеческим криком, как двадцать лет назад. И, как тогда, спасительная тяжелая тьма наплывает на меня, наконец-то избавляя от пытки...

Начинало смеркаться, в глубине комнаты было уже совсем темно, и Робер включил настольную лампу у дивана.

— Клод все равно скоро проснется, — сказал он. — Я дал ему очень небольшую дозу.

Констанс смотрела на серое, осунувшееся лицо Клода — лишь легкое подергивание век говорило о том, что он жив.

— Все же я не понимаю, Робер, — тихо произнесла она, — как дошло до этого. Я ведь все время чувствовала, что ему плохо. А вы... разве вы не чувствовали?

Робер колебался.

— Видите ли, это был очень сложный эксперимент... — Он вдруг замолчал.

Констанс повернулась к нему.

— Сложный эксперимент? — медленно переспросила она. — Но ведь речь шла просто о гипнотическом внушении!

— Это и было гипнотическим внушением, — Робер шарил по карманам, ища спички. — Только не просты... Ну, вы же знаете, с Клодом ничто не просто.

— Да. Так что же все-таки? — Констанс глядела ему прямо в глаза.

— Я не мог просто внушить ему, чтоб он забыл.

Или переменил мнение. Это была его *idée fixe*, центр его жизненной философии... Ну, все это, с телепатией, с подлинной связью между близкими людьми, с очагами сопротивления... Надо было наглядно показать ему, что получится, если Светлый Круг...

— Пожалуйста, продолжайте, — без выражения сказала Констанс.

— Ну, если Светлый Круг окажется реальностью... в условиях... в условиях третьей мировой войны. Если все кругом погибнут, а останемся лишь мы, которых он держит своей любовью. И все будет зависеть от его любви и нашего взаимопонимания.

Констанс долго молчала, опустив голову.

— Я не понимаю, как это было возможно, — наконец сказала она.

— Ну, я все заранее продумал и подготовил... Гипноз... И потому у нас с ним ведь существовала прочная телепатическая связь, так что я мог в известной степени контролировать опыт... Ему я обещал продемонстрировать опыты с электродами... Это я тоже делал для перебивки, вызывал различные воспоминания...

— Значит, Клод все это время был уверен, что началась война? — ровный голос Констанс слегка дрогнул, она откашлялась. — Но ведь война была его постоянным кошмаром, из страха перед войной он и придумал всю свою теорию! Теперь я понимаю... Боже, Робер, вы не должны были этого делать! Это может его убить!

— Я... нет, я в самом деле не подозревал, что он до такой степени болен страхом перед войной. У него все сводилось к мыслям о войне и к воспоминаниям о лагере.

— Вы-то знаете, что он пережил...

— Но я был вместе с ним, и Марсель, и многие другие, и мы в общем-то довольно редко об этом думаем.

— Он никогда не забывал. Не мог забыть.

— Теперь я вижу... Констанс, он, кажется, просыпается!

Дыхание Клода стало неровным, он пошевельнулся и простонал. Робер и Констанс молча стояли у дивана

и ждали. Клод открыл глаза и сейчас же, вскрикнув, зажмурился.

— Клод, милый, что с тобой? — тихо спросила Констанс.

— Ты не ушла... и напрасно, — пробормотал Клод, не открывая глаз; лицо его было искажено судорогой глубокого страдания.

— У тебя глаза болят? Попробуй открыть глаза, Клод, пожалуйста, попробуй.

Клод осторожно приоткрыл глаза и сразу же, щурясь, сел на диване. Вид у него был растерянный.

— Подождите... Значит, это все-таки была нейтронная бомба?

Робер прикусил губу.

— Послушай, Клод, мы должны тебе объяснить... — начал он.

Клод внезапно встал и, нетвердо ступая, подошел к окну. В Люксембургском саду серели прозрачные летние сумерки. На аллее играли дети, их звонкий смех, приглушенный шелестом листвы и шорохом автомобильных шин, доносился в окно кабинета, на четвертый этаж старого дома на улице Вожирар. Клод постоял с минуту, потом вернулся и лег на диван.

— Что со мной было? — еле слышно проговорил он, не открывая глаз. — Я... я болен?

— Нет... Ты помнишь, что мы с тобой уговорились встретиться сегодня утром?

— Сегодня утром? — ошеломленно переспросил Клод. — Нет...

— Ну, так вот, сегодня утром, в десять часов, ты приехал ко мне, — хмуриясь, сказал Робер. — Твоя машина стоит и сейчас за углом, на улице Бонашарта. Ты поднялся ко мне и все это время провел в моей лаборатории. Сейчас девять часов вечера. Последний час ты проспал. Опыт продолжался около десяти часов. Констанс почувствовала, что тебе плохо, и приехала.

— Какой опыт? — очень тихо спросил Клод.

Робер сделал жест отчаяния.

— Констанс, я больше не могу! Объясните ему, бога ради!

Констанс взяла Клода за руку.

— Только не волнуйся, теперь все уже позади. И не сердись на Робера, он сам жалеет, что все так получилось...

Клод вскочил. На лбу у него заблестели крупные капли пота.

— Значит, опыт? — задыхаясь, спросил он. — Гипноз? И электроды на височных долях? Только и всего?

— Клод, ты должен понять... — начал Робер.

Клод провел рукой по мокрому лбу.

— Опыт... — прошептал он. — Опыт... Я всегда восхищался твоим умом, Робер! До такого эсэсовцам, конечно, не додуматься! Правда, эсэсовцы меня не знали так хорошо, как ты... Тебе легче было добраться до самой глубины... и все уничтожить... все... до конца...

— Я не хотел, Клод... — пробормотал Робер. — Но я должен был тебе это сказать. Я хотел, чтоб ты понял...

— И ты это сделал! Талантливо сделал! Я все понял, не беспокойся. Прекрасный урок с наглядными пособиями.

Он нагнулся, ища туфли. Робер и Констанс встревоженно переглянулись.

— Что ты хочешь делать, Клод? — спросила Констанс.

Клод завязал шнурки туфель, встал, надел пиджак, висевший на спинке стула. Он был по-прежнему очень бледен и не поднимал глаз.

— Я поеду домой, — глухо проговорил он. — Сюда, в город. Мне нужно побывать одному и подумать.

— Я с тобой, — сказала Констанс.

— Нет! — Клод покачал головой. — Я должен быть один. Даже без тебя. Не сердись, иначе я не могу.

Констанс посмотрела на Робера, но тот стоял, опустив голову, и словно разглядывал что-то у себя под ногами. Тогда она слегка вздохнула и сказала:

— Как хочешь, Клод.

— Ты знала об этом? — вдруг спросил Клод.

Констанс заколебалась.

— Знала... то есть не обо всем... так, в общих чертах, — с трудом выговорила она. — Мы хотели...

— Я понял, чего вы хотели, — без выражения произнес Клод. — Спасибо. Ты правдива, как всегда. Как почти всегда, впрочем. Теперь я знаю все, что мне нужно.

— Для чего? — сдавленным голосом спросила Констанс.

— Для решения задачи, — так же бесстрастно и невыразительно ответил Клод.

Сизый табачный дым извилистыми полосами плавал по комнате и, подхваченный легким током воздуха, устремлялся в окно. На низком столике темнела большая пепельница, доверху забитая окурками.

Робер встал и подошел к окну. Но тут же отошел, нервно передернув плечами.

— Я вспомнил, как он подошел к этому окну, и понял, что никакой войны не было... — глухо сказал он. — Спасибо, что ты пришел. Я уж совсем...

Марсель покачал головой. Его худое нервное лицо, изуродованное большим шрамом, наискось идущим от виска к подбородку, выражало неодобрительное удивление.

— Ты пей, — сказал он, подвигая Роберу недопитый бокал вина. — Все же легче будет разговаривать... Я чего не могу понять — это как вы с Констанс могли его отпустить одного в таком состоянии.

— Он заявил, что хочет быть один. Ничего тут нельзя было поделать. Констанс поехала вслед за ним в такси, увидела, что он действительно отправился домой. Она несколько раз потом звонила Клоду, просила, чтоб он позволил ей прийти. Он решительно отказывался. Потом перестал отвечать на звонки. Она ходила по другой стороне улицы, видела, что он сидит в кресле у окна, курит. Около часу ночи он нерешительно открыл дверь спальни, зажег ночник. Констанс немного успокоилась, вернулась ко мне. На рассвете она разбудила меня и сказала, что Клод умер. Мы поехали на авеню Клебер и еще издалека увидели санитарную машину, полицию... Он был уже мертв... Ну, сам понимаешь, с пятого этажа на тротуар...

— Все-таки надо было иначе...

— Ничего бы не помогло. Он так решил, значит, он сделал бы это рано или поздно. Нервы у него были чувствительны, как у девушки, и он считал себя малодушным и слабовольным, но на самом деле воля у него была стальная. Убить его было нелегко. Он правильно сказал, что эсэсовцам бы этого не добиться, — это мог сделать только я, его лучший друг, при помощи Констанс. Ты пойми, Марсель, это лишь видимость самоубийства. Это убийство, и я убийца. Ты юрист, ты должен это понимать.

— Ладно, пусть будет так, если ты настаиваешь. Но почему ты все это затеял? Ты что, не понимал, какая это опасная игра? Да и Констанс...

— Ну, конечно, я не понимал по-настоящему! Что ж, ты думаешь, это было преднамеренное убийство? А Констанс — ну, она ведь понятия не имела о том, что я хочу сделать. Она думала, что это будет просто сеанс гипноза...

— А он-то как на это согласился?

— Он тем более ничего не знал. Я ему рассказывал, что дают опыты с электродами, наложенными на мозг. В институтской лаборатории мы вживляем электроды в мозг подопытных животных; ну, с людьми, сам понимаешь, обычно приходится накладывать электроды поверх черепа. Результаты не такие точные, но все же очень интересные. Клод рискнул испытать на себе это наложение электродов. О моих опытах с гипнозом он знал, но, конечно, не имел понятия, что я собираюсь его загипнотизировать. Я наложил ему на виски электроды, ток сначала не включал, а вместо этого начал мысленно гипнотизировать его. У нас с ним контакт был превосходный, так что мне быстро удалось...

— Значит, можно внушить человеку, что началась война? И он все увидит и ощутит?

— Что угодно. Можно даже внушить ему, что он ранен. А тут я все хорошо обдумал заранее, с деталями. Правда, вскоре выяснилось, что я далеко не все предусмотрел, но кое-что можно было подправлять по ходу дела... Ну и ощущение времени я подправлял тоже — внушал ему, что прошел день... еще день... что

сейчас утро, а теперь уже вечер... Я погружал его в глубокий сон, а потом внушал, что он проспал не минуту-две, а несколько часов... понимаешь? Забыл внушить ему вовремя, что он обедал, вообще ел, потом пришло это исправлять, а то он забеспокоился... Ну, что ты на меня так смотришь? Выглядит все это дико, я понимаю. Но послушай, ведь я полагался на прочный контакт с ним, ты же знаешь по лагерю, как это у нас было. Я считал, что в состоянии гипноза этот контакт станет еще более четким. Я думал, что смогу держать под контролем весь опыт. Ну, был уверен, что смогу. Да я как будто бы все и воспринимал, что он видел. Очевидно, я не рассчитал своих сил. Ведь от меня потребовалось громадное напряжение. Я только тогда по-настоящему оценил удивительную силу Клода. Ведь он в лагере, истощенный, избитый, смертельно усталый, подчинял своей воле людей, чуждых и враждебных ему, держал под контролем иногда сразу нескольких, посыпал приказы. Недаром он, окончив внушение, часто падал в обморок. Я сам иногда думал, что потеряю сознание — в таких хороших условиях!

— А когда ты заметил, что дело обстоит неблагополучно, почему ты не прекратил опыта? Должен сказать откровенно, Робер, что твое поведение в этой истории непонятно мне с начала и до конца.

Робер встал и зашагал по комнате.

— Не знаю... — отрывисто бросал он на ходу. — Сейчас дело другое... все так повернулось... я оказался преступником, убийцей... Я этого не ждал, пойми!

— А чего ты ждал? — спросил Марсель, глядя на него из глубины кресла. — Что за жестокий эксперимент! И над кем — над лучшим своим другом, над Клодом! Как ты мог после всего, что мы пережили в лагере?..

Робер круто повернулся к нему.

— В том-то и беда, что Клод был совершенно искалечен войной. Я этого не понимал, пока не начался эксперимент.

— Ну, а когда ты понял?

— Почему не прекратил опыта? Да вот попробуй объясни это сейчас, даже тебе! Ну пойми, я следил за

ходом опыта, я видел почти все, что видел он, и понимал, что он может переживать... Наверное, все же не до конца понимал. У него были совсем другие реакции, другой уровень восприятия. То, что меня могло лишь на мгновение взволновать, доводило Клода до грани помешательства. И вообще у него вся психика была настроена на одно — на память о войне. Конечно, я перемещал электроды вслепую и к тому же не всегда отчетливо понимал, что он видит в данную минуту, но главное, я плохо улавливал ход его мысли. У него все воспоминания, все переживания в конечном счете сводились к мыслям о войне. Я поймал для него чудесное утро, вдвоем с любимой, и войны тогда еще не было, а он ухитрился и по этому поводу огорчаться: мол, какие мы были кретины в 1935 году, ничего не понимали...

Марсель хмуро усмехнулся и покачал головой.

— Что ж, это верно. Мне тогда было двадцать лет, и я думал о чем угодно, только не о войне.

— Да, но сейчас-то ты вспоминаешь об этом, хоть и с грустью, но спокойно, как и я. А у Клода немедленно наступало острое возбуждение, перегрузка, и мне оять приходилось искать новые участки памяти или прибегать к внушению... А я сам уже еле на ногах держался от усталости...

— Так какого же черта все-таки...

— Да пойми ты, я вел с ним спор! Я должен был его убедить!

— Странный метод вести спор, как ни говори...

— Только не для нас с ним! Для нас это был вполне естественный метод. Неужели ты не понимаешь, ведь ты же видел все это в лагере!

— Ну, допустим, метод хороший. А результаты?

— Что ж, я, по-твоему, сознательно добивался этих результатов? — Робер устало опустился в кресло. — Опыт был рискованный, сложный... Все получилось не так, как я предполагал... Я это ощущал, но очень приблизительно и неточно.

— Ну, вот видишь...

— Но ведь я мог предполагать лишь приблизительно! Таких опытов никто еще не делал. Сочетание слож-

нейшего гипнотического внушения с глубоким и прочным телепатическим контактом, да к тому же еще электроды! Разве тут есть точные критерии, разве можно на любой стадии дать однозначный ответ: да — да, нет — нет? Конечно, я сразу заметил, что Клод очень легко перевозбуждается, и старался притормаживать, приглушать его реакции в особенно острых случаях, когда перо электроэнцефалографа начинало чертить слишком резкие зигзаги на ленте. Но ведь если б мне не удалось вызвать у него яркие эмоции, это означало бы, что опыт провалился. Понимаешь? Я и то старался снимать и приглушать слишком сильные реакции — ну, когда уходила Валери, потом Натали, отец... Я оставлял ему память об этом, но прикашивал воспринимать это спокойней, более философски, что ли...

— Просто черт знает что! — пробормотал Марсель, наливая себе вина. — Ты объяснял-объяснял, а я все-таки не понимаю, как это все возможно. Ну, вот хотя бы то, что он стал «прозрачным» для всех.

— Ну, это получилось само собой. Было бы немножко сложней внушать ему, что он понимает всех, а сам непроницаем, пока не выскажетсѧ. Создалась бы путаница в восприятии... Ну, и для моих целей был полезней этот вариант: чтобы Клод понял, как это тяжело для других...

— Ладно, — вздохнув, сказал Марсель. — Я в этой вашей чертовщине все равно не разберусь как следует. Но, значит, ты затеял всю эту жуткую историю для того, чтобы переубедить Клода. А в чем? Я и этого что-то не понимаю. В том, что борьба за мир возможна? Но что ж ты ему доказал? Скорее уж обратное. Да и вообще, что за методы...

— Ах, да не в этом дело! — нетерпеливо ответил Робер. — При чем тут борьба за мир? Ты пойми, ведь он ослеп, он шел по краю пропасти, и я видел, что он вот-вот свалится и, пожалуй, потащит за собой всех. Ну, представляешь себе, что это значит, когда человек делает ставку на одно, только на одно? И вдобавок на самые хрупкие, самые ненадежные чувства?

— Почему же самые ненадежные? Любовь, дружба, семья...

— Не будем об этом спорить, хотя я считаю, что любовь между родителями и детьми — чувство сложное и обычно одностороннее. Но если от любви и дружбы, даже самой искренней, требовать слишком много, она неизбежно надломится. Таков уж закон жизни. Это все равно, что впрячь скаковую лошадь в телегу ломовика. Если ты попробуешь отгородиться любовью от всего мира и видеть в ней единственное спасение и единственную подлинную ценность, ты проиграешь неминуемо. Проиграешь, как ты ни цепляйся за эту любовь!

— Ну, я-то ничего подобного и не собираюсь делать, меня ты не агитируй, — сказал Марсель. — Но как получилось, что Клод так ухватился за эту свою идею насчет внутренних очагов сопротивления? Как могло случиться, что Клод Лефевр, лагерник, отличный боец, идеально честный человек, — и вдруг увлекся такой теорией... Ведь если разобраться, это мещанство!

— Вот видишь! Это я ему как раз и пытался втолковать! Парадокс заключается в том, что мое определение его глубоко оскорбляло: он искренне ненавидел мещан! И был уверен, что его теория — именно анти-мещанская. Что эти очаги внутреннего сопротивления станут форпостами будущего мира, гармонического, прекрасного и доброго.

— Как же ты это объясняешь? — спросил Марсель.

— Я думаю, что он был слишком глубоко травмирован войной. Психика у него сверхчувствительная, для таких тонких организаций годы лагеря — это...

— Но он же превосходно держался в лагере!

— Боюсь, что никто из нас не понимал, чего это ему стоило. Ему было вдесятеро тяжелей, чем нам, а он, не жалуясь, выносил такие перегрузки, которые не под силу и людям покрепче. Но зато он уже и не смог выздороветь. Если б не Констанс, он умер бы с горя или покончил самоубийством еще тогда, девятнадцать лет назад.

— Но как же ты, зная все это, решился именно с ним на такой эксперимент?

— Я же тебе объясняю, что лишь теперь понял это по-настоящему. А вмешаться в его дела мне казалось необходимым, да и Констанс просила. Ее очень встревожила эта история с дочерью... ну, я тебе рассказывал. И она боялась за сына.

— А он и сына втянул в эти дела?

— По-настоящему — нет... то есть, я хочу сказать, Клод специально этим не занимался. Но Натали он тоже не занимался до этого случая, а связь у них все же была. Атмосфера такая создалась в семье, тут уж неизбежно... Я долго не бывал у них, ездил много за последние месяцы, после смерти Франсуазы мне как-то не сиделось на месте... Да и раньше мы с Клодом больше встречались вне дома, он еще с тех времен, с 1945 года, инстинктивно сторонился Франсуазы... Понимаешь, не то что он не любил ее, но всегда помнил, как ему было тяжело тогда, без Валери и без меня... Так вот, вернулся я из Америки, зашел к ним, посидел вечер — и жутко мне стало. Натали похожа на живой труп, а ведь была такая милая, веселая девчонка. Марк дома почти не сидит и ни с кем не разговаривает. Констанс, как всегда, держится молодцом, но я-то вижу, что на душе у нее кошки скребут. А Клод ничего не замечает и твердит: «Моя идеальная семья, мой Светлый Круг, мой очаг сопротивления...» С ним говорить было попросту невозможно. А за исключением этого пункта — семьи и телепатии, — он был в порядке. Много работал, заканчивал очень интересную серию экспериментов.

— И ты решился тоже провести эксперимент?

— Да. Видишь ли, я считал, что отвечаю за него. Да и Констанс, по-видимому, так считала. Я хотел вылечить его от этой сумасшедшей идеи. Но как? Логические доводы на него не повлияли бы: это была вера вне логики, вне фактов. Вот я и решил создать модель его психики, его микромира, этого самого Светлого Круга, и показать ему наглядно, до чего хрупки все личные связи в нашем мире...

— Во имя дружбы и любви показать, что на дружбу и любовь рассчитывать нечего? — подхватил Мар-

сель. — Нет, Робер, это просто черт знает что! Твой эксперимент мало того, что бесчеловечен и жесток, — он еще и лишен смысла. Что ты мог доказать в конечном счете? Что нельзя жить в наглухо изолированном от общества личном микромире? Но ведь такой идеальной изоляции в жизни не бывает. Ты поставил эксперимент в искусственном вакууме. И не бывает так, чтоб уж все абсолютно зависело от воли и чувства одного человека, тем более в такой прямой и трагической форме.

— Но ведь я должен был искусственно заострить и подчеркнуть все главное. Конечно, моя модель не уменьшенный макет, а скорее символ внутреннего мира Клода. Логический вывод из его посылок.

— Возможно, ты и прав, — помолчав, ответил Марсель. — Но вообще — что за мрачная идея! Ты, Робер, прости меня, не обращался к психиатру? Или к этим, как их, психоаналитикам?

— Зачем мне психоаналитики? Я и без них понимаю, что меня толкнуло на этот эксперимент. Я привык отвечать за Клода еще со времен лагеря. Хоть он и был старше меня, но всегда искал моей поддержки, так уж получалось. При всех своих удивительных способностях он был совершенно беспомощен и беззащитен в повседневной жизни. Как большая птица с подрезанными крыльями — взлететь и оторваться от земли ей надолго нельзя, а ходить по земле она не умеет. Да... Многие считают, что телепатические способности — это проявление атавизма. Но как бы там ни было, а мне Клод Лефевр иногда казался человеком, который из будущего, ясного и гармонического, мира попал в наш жестокий век. И тут его замучили насмерть — и друзья и враги... Меня его глаза поразили при первой же встрече, в лагере военнопленных. Я помню: Клод стоял у двери длинного серого барака, кругом была осенняя вепролазная грязь, лужи, и все было такое же казенное, холодное, серое, как этот проклятый барак. Но глаза Клода — они были из другого мира, говорю тебе! Я с разгона пробежал мимо него, а потом сразу вернулся и уже не мог оторваться от его глаз, такие они были ясные и страдальческие. Боль-

шие, красивые, как у девушки, серо-голубые глаза с длинными темными ресницами.

— Это верно, глаза у него были необыкновенные, особенно когда он задумается, бывало. Но во время этих самых сеансов я на Клода просто боялся глядеть. И глаза у него становились мутные и страшные, и лицо застывало как-то... бр-р! Как он только выдерживал, действительно...

Они долго молчали.

— Что же мне делать, по-твоему? — спросил, наконец, Робер. — Идти в полицию? Можешь мне поверить, я колеблюсь не из страха. Мне легче было бы отсидеть, сколько положено, в тюрьме, чем вот так, как сейчас... Я Констанс не то что в глаза не смею смотреть, я... ну, да что говорить, сам понимаешь...

— Насчет полиции ты брось, это ни к чему. Тебя почти наверняка оправдают, а пока что ты потащишь за собой на скамью подсудимых Констанс и наделашь шума. Кому от этого будет легче, спрашивается? Если жаждешь славы, иди в редакции вечерних газет, они тебя благословят за такую сенсацию.

— Ты вправе издеваться надо мной, я заслужил, — устало сказал Робер. — Но пойми хоть одно: я вынужден был действовать! Вся эта история быстро кончилась бы катастрофой. Натали совершенно надломлена, рано или поздно Клод перестал бы тешить себя иллюзией, что она выздоравливает. А главное — Марк собрался уйти из дома. Констанс знала, что он медлит только из жалости к Натали, ждет, чтоб ей стало хоть немножко лучше. Так вот — или Марк ушел бы, и тогда Светлый Круг рассыпался бы на глазах у Клода. Или — еще хуже, пожалуй, — Клод постарался бы удержать Марка гипнотическим внушением и искалечил бы душу сыну так же, как и дочери. Уж поверь, Констанс попнапрасну бить тревогу не стала бы, у нее выдержки и спокойствия на троих хватит.

— Но все-таки... неужели он решился бы сделать это с Марком?

— В том-то и дело! Констанс осторожно спросила у него, пользуясь подходящим случаем, как он поступил бы, если б Марк предпринял какие-либо неверные

шаги. Он ответил: «Что ж, вероятно, я вмешался бы. Ну, более продуманно, чем с Натали, но не могу же я смотреть, как сын подвергается опасности, и не защищать его...» Этот ответ до такой степени напугал Констанс, что она тут же позвонила мне и условилась о встрече. Она-то знала, что Клод так и поступит, если успеет.

— Послушай, но получается так, что ты, спасая Клода от катастрофы, решил ускорить эту катастрофу! Разве нет?

— Нет. Скорее это можно определить так: я попытался сделать прививку, чтобы избежать смертельно опасной болезни.

— Хороша прививка, от которой умирают!

— Такое случается и с проверенными вакцинами. А тут слишком много неизвестных...

— Как же ты мог...

Робер опять вскочил.

— А что мне было делать? — выкрикнул он. — Смотреть и молчать? Тогда я был бы ни в чем не виноват, да? И, видя, как они все гибнут на моих глазах, мог бы считать, что моя совесть чиста? А я не могу так считать, пойми ты! Я никогда не боялся ответственности.

Марсель поднял голову и посмотрел на него.

— Знаешь, что я тебе скажу? — медленно произнес он. — Очень плохо бояться ответственности, от этого очень много зла на земле. Но еще хуже брать на себя ответственность за то, что неминуемо выскоцнет из-под твоего контроля!

Робер долго молчал, расхаживая по комнате. Потом он сел в кресло и налил себе вина.

— Вероятно, ты прав, — тихо сказал он. — Но, видишь ли, это не вообще ответственность за другого, не абстрактный вопрос: может ли А отвечать за В? Это мы с Клодом, наша с ним дружба. Почти четверть века, почти шесть лет лагерей и тюрем... Даже ты не все знаешь... Я многое изменил в его судьбе — может быть, не всегда к лучшему. Я заставлял Клода действовать вопреки его убеждениям... то есть четких убеждений у него тогда, пожалуй, не было, — но вопреки его нату-

ре. Он не был бойцом — я заставил его участвовать в борьбе, и он это делал из любви ко мне, ну, и, конечно, из врожденной доброты и честности.

— Я не понимаю... — пробормотал Марсель.

— Да вот тебе пример: наш побег из лагеря военнопленных. Ведь это из-за меня Клод вынес такие нечеловеческие пытки в гестапо. Если б не я, он, может, вообще не решился бы на побег, и лучше бы ему сидеть до конца войны там, чем попасть в Маутхаузен. Ну, а если б он и бежал, то иначе, без всей этой шикарно задуманной истории с подложными справками. Ведь нас с ним почему так зверски пытали? Потому что нельзя было объяснить, как мы узнали, кто включен в список на эшелон, и откуда достали бланки для справок. Доступа в лагерную канцелярию мы не имели... Походило наговор с немецкой комендатурой — значит, гестаповцы выбивали из нас имена предателей рейха, врагов фюрера...

— Вон что! А на способности Клода вы не решались сослаться?

— Да гестаповцы либо не поверили бы, либо все равно убили бы нас обоих — на что им такие опасные типы! К тому же в этом деле были действительно замешаны парни из комендатуры. Если б мы все рассказали, как есть, до них добрались бы обязательно. А они были хорошие ребята. Оставалось нам валиТЬ все на мертвых да твердить: «Больше я ничего не знаю, убейте меня!» И Клод все это вынес и никогда ни словом не попрекнул меня.

— А ты? Ты себя не упрекал?

— Я?.. Видишь ли, я и тут не все понимал в душе Клода. Это я сейчас, после всего, понимаю, что он жил бы иначе, если б не мое вмешательство... Правда, он всегда уверял, что вообще умер бы от горя и тоски в лагере, если б не встретил меня... Может, так оно и есть. Клод, он ведь был совсем особым, непохожим на других. Но тогда — тогда я думал, что он все воспринимает в общем так же, как и я. Что борьба — это для него естественно и просто, ведь он благороден, кристально честен, ненавидит фашистов всеми силами души...

— Ты хочешь сказать, что, если бы не дружба с тобой, Клод просидел бы всю войну, ни черта не делая? — удивленно спросил Марсель. — Однако не слишком лестная характеристика!

— Я думаю, что поступки Клода нельзя было мерить обычными мерками, — устало и задумчиво проговорил Робер. — Он был... ну, словно из другого измерения...

— В нашем мире все же действуют наши мерки, ничего тут не поделаешь. И я думаю, что дело не только в тебе. Не смог бы такой добрый и чистый человек, как Клод, оставаться в стороне... Ну, да ладно!

Марсель задумался.

— Ты хочешь сказать, насколько я понимаю, — сказал он потом, — что был уверен: Клод простит тебе любую жестокость по отношению к нему?

— Что он поймет: я действовал из любви к нему! — поправил Робер.

— Вот в этом и состоит твой страшный просчет, я же тебе говорю! Ты сначала показал ему в этой своей модели, как ты это называешь, что на любовь и дружбу не стоит рассчитывать, а потом и наяву убил его доверие к себе и к Констанс. Чего же ты хотел? Весь его мир вдребезги разлетелся под твоими ударами — ты знал, куда бить вернее! — и ты хотел, чтоб он после этого остался в живых?

Смуглое лицо Робера посерело.

— Вероятно, ты прав... — сказал он совершенно безжизненным голосом. — Но что же мне было делать? Я действительно считал, что дружба дает мне права... или, если хочешь, налагает обязанности...

— Права или обязанности мучить, убивать? Во имя дружбы? Да, ты должен был рискнуть, я понимаю, но есть же всему мера! Ты обязан был снова усыпить Клода, когда увидел, что с ним творится! И внушить ему, чтоб он все забыл!

Робер устало покачал головой.

— Он бы не поддался гипнозу. Я совершенно выдохся к тому времени и сам был настолько потрясен, что... И потом — я вообще не смог бы пойти на такое.

К чему тогда были бы все мучения — и его и мои? Надо было, чтобы он продумал и понял...

— Но есть ведь границы всему, даже дружбе! Нельзя же насилием вторгаться в душу человека и переделывать там все по своему вкусу! Когда это попытался сделать Клод, ты возмутился и пожалел его семью. А ты сам? Клод, как я понимаю, действовал импульсивно и сам горько жалел об этом. Но ведь ты-то все продумал и подготовил заранее! Нет уж, прости, Робер, но эти твои шутки здорово попахивают лагерем. На более высоком уровне, да эсэсовцам бы до этого ни в жизнь не додуматься...

Робер медленно, с усилием встал. Лицо его было совсем серым.

— Спасибо, — глухо проговорил он.

Марсель тоже встал. Багровый шрам причудливо подергивался и пульсировал на его лице.

— Прости, но я должен был тебе это сказать! Лучше, чтобы ты понял...

— Сначала ты повторил то, что Клод сказал мне: что эсэсовцам бы до этого не додуматься. Потом — то, что я сказал Клоду: «Я должен был это сделать, надо, чтобы ты понял...» Вот видишь, как это все получается — во имя дружбы, во имя долгa?

— Я ведь только сказал, может быть, слишком резко, слишком жестоко, но...

— В том-то и дело! Разве ты твердо знаешь, где граница между жестокостью полезной и жестокостью смертоносной? Разве ты можешь точно определить в таких случаях, какую дозу лекарства надо дать, чтоб оно излечило, а не убило? Всегда можешь обозначить, где грань между добром и злом? В лагере это было в общем ясно, а теперь... Видимо, я свернул с правильного пути, хотя и в другом направлении, чем Клод...

— Ну, направление-то у вас, пожалуй, одно — лагерь... Не сердись, но это так. Разве тебе никогда не приходило в голову, что не только Клод, но и ты, и я, и все, кто так или иначе прошли через это, стали другими? Послушай, ну, вот припомни: каким ты был до войны? Ты мог бы не то что сделать, а хоть задумать что-либо подобное по отношению к другу?

— Абстрактный вопрос. Я же тогда ничего этого не знал.

— Дело не в том, что ты знал, но что ты мог? Что вмешалось в твоей душе?

— Понимаю... Что ж, может, ты и прав... — Робер стал у окна, глубоко вдохнул влажный ночной воздух. — Может, война смешила и раздробила многое в наших душах. Изменился мир, изменились и мы. До войны мы не могли подумать, что вот такой ночной дождь над Парижем способен убить человека, — сейчас мы знаем, что это возможно. Но вряд ли человечество изменилось так уж радикально — и в плохом и в хорошем смысле. Человек остается человеком, хотя все очень усложнилось и запуталось... Разве совсем исчезли мерки добра и зла?

— Я этого вовсе не думаю. Я вообще говорил не обо всем человечестве... хотя...

Робер повернулся к нему.

— Ты мне отвешь все-таки: что сделал бы ты на моем месте? Ждал бы катастрофы сложа руки? Или все же попробовал бы вмешаться, спасти то, что можно спасти? Даже если б надежда на успех была очень мала? Даже если б ты рисковал прожить остаток дней, терзаясь угрызениями совести? Что сделал бы ты, Марсель, на моем месте?

Марсель долго молчал. Потом он поднял глаза.

— Не знаю... — сказал он тихо. — По совести говоря, не знаю...

## ПОЛИГОН

**1** Сначала на остров высадились люди с маленького катера.

Вода у берега была мутной, ленивой, насыщенной несчинками и пахла гниющими водорослями. Возле рифов клокотали зеленые волны, а за ними расстилась синяя теплая равнина океана, откуда день и ночь дул устойчивый ветер. Над пляжем росли острые бамбуки, за ними высались пальмы. Крабы отважно выскакивали из-под камней, бросаясь на мелких рыбешек, которых волны выносили сотнями на песок.

Люди с катера, их было трое, неторопливо обошли из конца в конец доступную часть острова, сопровождаемые тревожными, недоверчивыми взглядами индейцев, — здесь в маленькой деревушке жило несколько индейских семей.

— Как будто бы то, что надо, — сказал один из приехавших. — Ближайший остров в пяти километрах. Пароходных и авиалиний поблизости нет, место вообще достаточно глухое. Пожалуй, начальству должно понравиться. А впрочем, черт их знает.

— Лучше нам не найти, — согласился другой. Он повернулся к третьему, высадившемуся с катера, к переводчику. — Идите скажите индейцам, что они выезжали. Объясните, что это примерно на неделю, а потом они смогут вернуться.

Переводчик, долговязый, в дымчатых очках, кивнул и побрел к деревушке, с трудом вытаскивая ноги из песка.

Первый приезжий вынул из полевой сумки аэро-снимок острова, карандаш, линейку и принялся прикидывать:

— Здесь поставим жилой корпус, рядом столовую. Тут отроем окоп, здесь блиндаж. На этом холме они могут поместить свою установку. Расстояние как раз пятьсот метров от блиндажа.

— А что это за штука будет? — спросил второй.

Первый, не отрывая от карты глаз, пожал плечами:

— Мне-то какое дело? У меня есть приказ подыскать остров. А у вас — доставить материалы. На остальное-то нам наплевать, верно? — Он вздохнул и распечатал пакетик жевательной резины. — Ну и жарища! Куда это переводчик запропастился?

Переводчик пришел через полчаса.

— Ничего им не втолкуешь. Не хотят уезжать. Говорят, они всегда тут жили.

— А вы сказали, что здесь будут военные испытания?

— Думаете, они способны это понять? В их языке и слов таких нет. И что такое «запретная зона», до них тоже не доходит.

— Ладно, поехали, — сказал второй. — Остров мы нашли, жителей предупредили. Когда сюда материалы придут, индейцы сами уберутся.

Они подошли к катеру, столкнули его с помощью моториста в воду и через десять минут скрылись за горизонтом.

Некоторое время волны болтали этикетку от жевательной резинки возле самой кромки песка. Подошли индейцы, долго смотрели вслед катеру. Мальчионка потянулся за серебристой бумажкой. Старший из индейцев, с обветренным лицом, с могучим мускулистым торсом, прикрикнул на него.

— Непонятны эти белые. Никто никогда не делает какого-нибудь дела целиком — от начала до конца. Велели уезжать, а зачем? Долговязый, с глазами, спрятанными за стеклами, сказал что и сам не знает. Каждый делает только кусочек чего-то большого. А во что эти кусочки потом складываются, они и думать не думают.

Через двое суток к острову подошла небольшая флотилия. Плоскодонная баржа доставила на берег

бульдозер и экскаватор. Кран жилистой лапой подавал мешки с бетоном, трубы, балки, оконные рамы, а потом, напрягшись, осторожно поставил на песок затянутый в брезент предмет, такой тяжелый, что тот сразу осел в землю сантиметров на десять. Своим ходом выкатились по мосткам две противотанковые пушки.

Солдаты с помощью машин быстро вырыли окопы. Бульдозер снес рощицу пальм. Они упали, перепутавшись листьями, непривычно густые, когда их вершины оказались на песке.

В течение десяти часов на месте рощицы вырос павильон с двойной крышей, а в песок упрятался блиндаж с бетонированными стенами.

Индейцы видели все это не до конца. В середине дня старший вышел на берег, долго всматривался в небо, принявшее у горизонта на юге странный красноватый оттенок. Затем он вернулся к хижинам, что-то сказал мужчинам. Жители деревни быстро погрузили все свое имущество в две большие лодки и уехали на другой остров.

Вечером вокруг ящиков, паваленных возле павильона, долго слонялся верзила с интендантской эмблемой на петлицах. Сверялся со своими записями. Все должно быть подготовлено к приезду следующей партии, ни в чем ей не полагалось испытывать нужды. Потому что это были люди, которым и следовало приезжать на все готовое. У верзилы куда-то запропастился ящик с минеральной водой. Он махнул рукой: в конце концов черт с ним, спишется!

Техник-строитель включил и выключил свет в павильоне, проверил, бежит ли из крана вода. Экскаватор вырыл еще одну яму, бульдозером столкнули в нее весь строительный мусор. Потом солдаты подогнали обе машины к воде, кран перенес их на баржу, военные погрузились в бронекатера, и вся флотилия отчалила.

На острове остались только двое: капрал с автоматом и седой остролицый штатский с впалыми щеками. Капрал побродил вокруг одетой в брезент глыбы — охранять ее вроде было не от кого. Он подошел к берегу, носком ботинка поддел камень. Из-под камня выскочил маленький краб.

Они поели вместе со штатским. Тот спросил, как зовут капрала. Капрал ответил. Штатский осведомился, откуда капрал. Тот ответил. Штатский спросил, знает ли капрал, что у него под охраной, и капрал сообщил, что не знает и не интересуется.

Солнце опускалось за горизонт. Штатский прошелся взад-вперед, потом пересек остров, сел на песок возле густых, как щетка, зарослей молодого бамбука. Небо окрасилось тысячью переходящих один в другой, непрерывно меняющихся оттенков ультрамарина и изумрудна, у горизонта еще сияла светящаяся область, а над головой стало темно. К северо-западу над океаном бушевали грозы, молния просверкивала среди отчетливо видных полос дождя. Неожиданно возникла огромная туча, косо поднявшаяся на третью небосклон, может быть готовящая тайфун. На юг к зениту протянулась от вод цепочка облаков, подкрашенных кармином снизу и фиолетовых в верхней части.

Даже неловко было одному-единственному оказаться свидетелем чудовищного по масштабам, неповторимого, подавляющего спектакля света, цвета и тьмы.

Только здесь, в этом избранном изо всей вселенной месте!

Только раз за всю бесконечную вечность!

Мужчина в штатском вынул из кармана блокнот, задумался.

«Дорогая Мириам, я устал, плохо сплю. Засыпаю на десять минут, затем просыпаюсь и помню, о чем думал, когда засыпал. Я веду сам с собой бесконечные монологи, сознание как бы раздвоилось, и обе стороны никак не могут примириться. Это мучительно. Победа одной стороны будет означать поражение другой. А ведь та, другая, — это тоже я... Впрочем, поражение все равно неизбежно.

Но начну по порядку и сообщу, что в группу включен, наконец, Генерал. (Он у меня идет с большой буквы, потому что это не вообще генерал, а тот самый, которого я и имел в виду.) Долго-долго он маячил где-то за пределами нашей команды, но его отсутствие ощущалось всеми так отчетливо, что делалось как бы уже присутствием. Я ждал его, как недостающий эле-

мент в таблице Менделеева, и вот теперь он возник. Генерал не постарел со временем нашей последней встречи, но как бы «обветеранился», огрубел и играет роль этакого старого вояки, у которого, однако, мужества и задора хватит на десяток молодых. Он меня не узнал, чему я, естественно, не удивился. Ведь публика такого рода запоминает только тех, от кого зависит продвижение вперед, а от меня оно в тот момент не зависело. Так или иначе, он здесь. Я должен был радоваться, но теперь не испытываю никакого подъема.

Почему?

Это такая длинная история! Человек живет, работает и делает важное дело. (Как делал я в 43—45-м годах.) У него семья, все нужны ему, и он нужен всем. Но время идет, и постепенно положение меняется. Престаешь служить тому, чему, по твоим понятиям, должен служить. А затем обрушивается ряд ударов. Выясняется, что вы с женой уже чужие друг другу люди, и она уходит. Но еще страшнее другое — дети выбирают неверную дорогу. То есть когда-то она была верной, в те времена, когда ты и сам шел по ней сознательно. Но теперь дорога ведет в пропасть, к гибели, и дети проходят ее до конца. Тогда человек спохватывается. Он начинает искать виновных и находит их. Он хочет осуществить правосудие.

И все это вместе взятое — первый этап. А за ним начинается второй. Пущено в ход большое предприятие, тебе кажется, что оно нужно и разумно. Приведены в движение люди, материалы, документация, и эта лавина, которой ты дал начало, катится сама собой. В какой-то миг начинаешь понимать, что все зря, все неправильно. Но ты уже не волен и не властен. Дело дойдет до конца, даже если ты понял его бессмыслисть.

Вы скажете мне, дорогая Мириам, что они ничего не поймут. Я знаю. Более того, я уверен, что и мои мальчики желали бы с моей стороны не мести, которая, в сущности, ничего не изменяет в мире, оставляя в неприкосновенности условия для новых преступлений, а чего-то другого, деяния. Я знаю это, но я уже беспомощен. Я строю дом, который обречен на снос, и самым

страшным станет для меня тот час, когда будет положена последняя балка. Когда мне нечего будет больше делать в жизни и внутри воцарится ужасная, глухая пустота. Конечно, они ничего не поймут. А если даже и поняли бы, это ни к чему теперь не приведет и ни на чем не отразится. Но слишком поздно мне это пришло в голову. Драма-то ведь и состоит в том, что многое начинаешь осознавать ясно лишь тогда, когда уже невозможно что-нибудь изменить».

Стальной шарик карандаша бежал по бумаге... Коридоры и кабинеты военного министерства, бесчисленные совещания на уровне «секретно», «сверхсекретно» и «секретно в высочайшей степени», частные переговоры, полуофициальные встречи с «нужными людьми», официальные — с ненужными и вообще все то, чем занимался последние годы человек в штатском, ложилось на бумагу нервными быстрыми строчками.

«...наконец сделано, комиссия прибывает завтра. Все так засекречено, что нам даже не разрешается называть друг друга по имени. Ни одна душа в мире не знает проекта в целом, и если б мы все вдруг исчезли с лица земли, пожалуй, никто не сумел бы отыскать концов.

Сейчас я думаю, как чувствовали бы себя члены комиссии, если б знали, что их ожидает на острове».

Седой мужчина в штатском аккуратно сложил листки из блокнота и сунул их в карман. Отправлять их ему было некуда, никакой Мириам не существовало. Он записывал то, что думал, просто из потребности как-то сохранять для себя собственные душевые движения. Последнее время ему начало казаться, что у него не осталось в мире вообще больше никаких других ценностей.

Он закурил и посмотрел вверх. Небо было темным, но не черным; темнота — не загораживающей, а проницаемой, мягкой, зовущей взгляд вдаль.

Мужчина поднялся, прошел в павильон, разделся в отведенной ему комнате, взял из чемодана ласты и акваланг. Ему хотелось посмотреть, какие течения у южного берега острова.

Он вернулся на пляж. Ветер стих, волны почти

не было. Издалека доносился шелест морской зыби на рифах, резко, по-ночному пахли цветы. Мужчина вошел в воду. Она сначала обожгла его холдом, но тело быстро привыкло к изменившейся температуре. Он надел маску, повернул вентиль баллончика со сжатым воздухом.

Еще несколько шагов, и он погрузился с головой. Тьма сомкнулась вокруг. Но она тоже была живой, проницаемой, пронизанной там и здесь огоньками — созвездиями и галактиками светящихся живых существ. Мужчина включил фонарик. Разноцветными лучами что-то вдруг вспыхнуло совсем рядом; мужчина отшатнулся, но затем губы его под резиновой маской сложились в улыбку. То была всего лишь рыбка анчоус, серая и тусклая на суще, на прилавке магазина, и такая сияющая, искрящаяся здесь, в своей стихии.

За первой гостьей, привлеченной светом фонаря, последовала вторая, затем третья. Они кружились возле человека, подобно праздничным огням фейерверка, делаясь то синими, то зелеными, то красными.

Мужчина начал различать теперь и взвешенные в воде частицы твердых веществ. Откуда-то появились длинные красные черви, затем еще рыбы, и через несколько мгновений все вокруг него уже кишило жизнью. Он двинулся в сторону, ведя желтым лучом по неровному дну. Песок шевелился у него под ногами, моллюски сидели в своих вороночкиах, вдыхая кислород, а из маленькой пещеры вдруг глянули два круглых загадочных глаза.

И человек забыл на миг, зачем он прибыл на остров...

А наутро пришел катер с членами комиссии и артиллеристами.

**2** — Да, интересно, — сказал генерал. Отодвинувшись от стенки окопа, он тыльной стороной кисти стряхнул с мундира сырватый песок и усмехнулся. — Если так дальше пойдет, эта штука всем нам, военным, подпишет приказ об отставке, а?

Полковник с выпяченной челюстью заглянул генералу в глаза и охотно рассмеялся.

— Причем еще до пенсионного возраста. Вот что обидно.

В окопе произошло движение. Люди отряхивались, поправляли мундиры. Толстый майор снял фуражку, платком вытер вспотевший затылок и лысину. Он повернулся к изобретателю.

— А как все же машина действует? В чем главный принцип?

Изобретатель взглянул на майора, собираясь ответить, но в этот момент в разговор вмешался капитан.

— Ну, в чем? По-моему, нам объяснили достаточно ясно. — Ему было стыдно за несообразительного майора. — Принцип в том, что борьба происходит не в сфере действий, а в сфере намерений, если я правильно все понял. Ведь если кто-нибудь из нас хочет уничтожить танк, он сначала обязательно думает об этом, верно? Вот, скажем, я артиллерист и сижу на месте нашего капрала у пушки. Прежде чем выстрелить, я должен навести орудие, а затем нажать рычаг спускового устройства. В этот момент у меня в мозгу возникает особая Е-волна, или «волна действия». Вот на нее-то и реагирует блок, смонтированный внутри танка. Включает соответствующее реле и дает танку команду передвинуться.

— Ну пусты, — настаивал майор. — А почему тогда танк не двигается просто от мыслей? Вот я, например, в этот момент думаю, что хорошо бы попасть ему снарядом прямо в башню. Там, где он сейчас стоит. Я думаю, но танк не двигается. Однако нам ведь говорили, что мы все будем в поле действия машины, в поле действия этого устройства. Весь остров.

Изобретатель чуть заметно пожал плечами.

— Конечно, в этом случае танк непрерывно получал бы команды и непрерывно двигался бы. Но Е-волна возникает в мозгу только в момент перехода к действию. Выражаясь более научно, она реагирует на тот заряд, который возникает в коре лобных долей, начинаясь от условного стимула и продолжаясь вплоть до появления безусловного.

— Черт! Я все-таки тоже не понимаю, — вмешался полковник с выпяченной челюстью. — Но почему танк уходит именно с того места, куда попадает снаряд из орудия? Ведь я-то могу думать, что снаряд попадет в одно место, а практически он попадает в другое. Что же служит сигналом для машины внутри танка — действительный полет снаряда или мое желание?

— Для этого есть блок расчетного устройства, — ответил изобретатель. — Прежде чем ваш артиллерист начинает стрелять, он снимает с приборов данные: расстояние до цели, скорость движений цели, направление. Он снимает их, какой-то миг они держатся у него в голове, затем он передает их на считающее устройство своей пушки. Но моя машина в танке тоже получает все эти расчеты, тоже определяет траекторию снаряда и соответственно уходит с предполагаемого места его падения. То есть когда вы прицеливаетесь в танк и производите выстрел, вы тем самым даете команду машине увести танк как раз с того самого места, куда должен попасть снаряд... Одним словом, главное, что мешает попасть в танк, — это то, что вы хотите в него попасть.

— Гм, — начал генерал. Он чувствовал, что разговор слишком долго обходится без его участия. — Гм... И тем не менее я думаю, что это еще не совершенное оружие.

— Когда будет создано совершенное оружие, — холодно сказал изобретатель, — нужда в профессиональных военных исчезнет.

На миг все умолкли, потом полковник рассмеялся.

— К этому, кажется, и идет. — Он заглянул в глаза своему начальнику. — Как вы думаете, генерал?.. Все делают машины. Нам остается лишь получать жалованье.

Генерал улыбнулся и кивнул. Затем лицо его как бы высохло.

— Ну, прекрасно. Продолжим. Майор, дайте ребятам команду на пост, пусть открывают огонь.

Он подпустил в голос порцию хорошо рассчитанной

официальности, смешанной с горловой хрипотцой независимого вояки — командира и отца своих солдат. При этом он подумал, что никакая машина не смогла бы отмерить эти две дозы с такой точностью.

Испытания продолжались. Танк-мишень с усиленной броней и укороченной пушкой стоял на месте до самого момента выстрела. Затем, чуть опережая вспышку дульного пламени из блиндажа, гусеницы приходили в движение, танк прыгал в сторону, снаряд рвался сзади, впереди или сбоку, осколки горохом стучали по броне, и машина опять застывала, как огромный серый камень. По распоряжению генерала танк стали обстреливать из двух орудий сразу. Земля на полигоне поднялась тучей, танк скрылся в ней, но потом, когда пыль и песок осели, он снова оказался невредимым, спокойно и равнодушно ожидающим следующих стрелов.

К двум часам пополудни все уже устали от жары и неудобного стояния в окопе.

— Ну, отлично, — сказал генерал. — Это все была оборона. Теперь как насчет наступления? Отдайте танку приказ, чтоб он начал обстрел блиндажа.

— Пожалуйста, — ответил изобретатель. — Одну минуту.

Он один был невоенным здесь, выделялся среди других помятым штатским костюмом и фразами вроде «С удовольствием... Сию минуту». Он подошел к прибору, напоминающему небольшой радиоприемник, открыл верхнюю стенку, посмотрел что-то там, взялся за ручку настройки.

— Но приказа «начать обстрел» я не могу отдать машине. Зря она обстреливать не будет. Поскольку люди не боятся. Танк вступит в бой, когда получит сигнал страха. И будет в дальнейшем руководствоваться этими сигналами. Так включать?

Он посмотрел на генерала. Его голубые глаза свелись.

— Давайте, давайте, — сказал генерал. Он глянул на часы. — Пусть танк немного пострелят, а потом пойдем обедать.

Изобретатель повернул ручку. В приборе что-то пискнуло и оборвалось.

— Готово.

Все смотрели на танк. На полигоне было тихо.

— Ну? — сказал полковник с челюстью. — Что-то зало, да?

Изобретатель живо повернулся к нему.

— Нет, все в порядке. Ничуть не зало. Но машине нужен сигнал. Она не стреляет сейчас, потому что это было бы безрезультатно. Она не расходует боеприпасы бесполезно, как это часто случается с вашими специалистами. Солдаты в укрытии, и снаряд в них не попадет. Необходимо, чтобы они ощущали себя уязвимыми и боялись, что танк их уничтожит. Одним словом, опять-таки нужна Е-волна. Но на сей раз Е-волна страха. Как только кто-нибудь станет бояться машины, она сразу откроет огонь. Принцип тут в том, что жертва, если можно так выразиться, должна руководить палачом.

— Уф-ф, — вздохнул майор. — Может быть, мы тогда все-таки сначала пойдем пообедаем? — Он был самый полный здесь и больше других мучился от голода.

— Ладно, — согласился генерал. — Пообедаем, а затем приступим к дальнейшему. Вообще-то веять перспективная.

Идти до павильона с двойной крышей было далеко. Члены комиссии растянулись на добрых сто метров. Последнимишли изобретатель и генерал с полковником.

— Послушайте, — сказал генерал, когда изобретатель остановился, чтоб завязать шнурок на ботинке. — А вы ее выключили, вашу машину?

Штатский поднял к нему бледное лицо с капельками пота на висках.

— Она не выключается. У нее нет такого устройства.

— Как нет? — спросил полковник с выпяченной челюстью.

— Так. Я не предусмотрел.

— А когда же она кончит работать?

— Никогда. Это же самозаряжающийся автомат. Получает энергию от солнечных лучей. Если кончатся снаряды, будет давить противника гусеницами. Но и снарядов довольно много.

— Весело, — сказал генерал. — А как же мы ее будем увозить отсюда, если танк начнет отстреливаться? Как мы к нему подойдем?

— Мы его и не увезем, — ответил изобретатель. У него никак не ладилось со шнурком. — Он нас всех уничтожит.

Двое помолчали, глядя на штатского.

— Ну, пойдемте, полковник, — сказал генерал.

Они отошли на несколько шагов, и генерал пожал плечами.

— Черт их разберет, этих штатских. Остроумие ученого идиота? «Он нас всех уничтожит»... К сожалению, без них теперь не обойдешься.

— В том-то и беда, — поддакнул полковник.

**3** Выпили соки, разнесенные вестовым генерала, и поговорили о погоде и о гольфе. Генерал выскользнул в пользу тенниса. Несмотря на свои пятьдесят два года, он обладал отличным пищеварением, превосходным здоровьем и почти каждый миг жизни — даже в ходе самых серьезных заседаний в министерстве — ощущал свое тело, крепкое, налитое, все еще жаждное па движения и на пищу.

Съели картофельный суп и поговорили об альпинизме. Генерал пожалел, что в наше время молодые офицеры уделяют мало внимания благородному конному спорту. Разговаривая, он тоже постоянно ощущал свое тело. Вспомнил о том, как месяца три назад у него начала побаливать поясница и как по совету своего врача он, добавив несколько упражнений в утреннюю зарядку, излечился от этой боли.

Съели второе и припомнили, где и как кого кормили в различных дальних поездках, командировках и кампаниях. Генерал рассказал, как одно время было трудно со снабжением в Конго и как все время было легко со снабжением во Вьетнаме. Он единственный из при-

существующих был участником военных операций в обеих странах, и, несмотря на то, что военные действия трактовались им прежде всего с гастрономической точки зрения, его выслушали в строгом молчании.

Изобретатель в течение всего обеда молчал, скатывая пальцами на столе хлебные шарики. Когда кофе был выпит и члены комиссии закурили, он взял ложечку и постучал ею по чашке.

Все повернулись к нему.

— Прошу минуту внимания. — Он подался вперед. — Я хотел бы сообщить вам, что параллельно с испытанием самозапищающегося танка я решил на этот раз провести еще один небольшой опыт. Так сказать, изучение реакций у людей, безусловно обреченных на смерть... Несколько слов о причинах, побудивших меня предпринять это скромное исследование. Дело в том, что все вы здесь являетесь военными и, если можно так выразиться, профессионально связаны с убийством. Вот вы, например, генерал, планировали операцию «Убийца» и операцию «Петля» в одной «бандановой» республике. И еще несколько им подобных. Кстати, именно в этой стране у меня погиб второй сын.

— Я выражаю вам свое сочувствие, — сказал генерал.

Штатский отмахнулся.

— Благодарю вас... Итак, вы планируете войны, но они предстают перед вами в несколько опосредованном виде, не правда ли? На карте, в качестве планов, приказов, смет. Такое-то количество пропавших без вести, такое-то — раненых, такое-то — убитых. Одним словом, слишком абстрактно. Так вот, я поставил своей задачей дать вам почувствовать, что это такое — лежать в окопе с пулей в животе или ощущать горящий на спине нашатырь. Это будет завершением вашего образования. Позволит вам хоть один раз довести начатое дело до логического конца.

Он встал, отбросив стул.

— Итак, имейте в виду, что машина не выключена. Теперь старайтесь не испугаться. Помните, что танк реагирует на Е-волну страха.

И поспешно вышел из столовой.

Зазвонил телефон. Капитан, самый младший здесь по званию, блондин с вьющимися волосами, автоматически потянулся к аппарату.

— Капитан у телефона.

Всем был слышен голос сержанта-артиллериста в трубке.

— Извините, мы уже можем выйти, сэр? То есть мы уже выходим, но выключена ли эта штука?

— Можете, — сказал капитан. — Пообедайте, и чтоб через полчаса быть на месте.

Он положил трубку на рычаг, тупо уставился на нее, затем губы у него шевельнулись, испуг мелькнул в глазах, и он схватил трубку опять.

— Эй, сержант! Кто там есть! Эй! — Он кричал так громко, что вены у него на шее набухли. — Эй, сержант!

Он опустил трубку и растерянно посмотрел на присутствующих.

— Пожалуй, этим нельзя выходить, раз такое дело. А? — Он вскочил и выбежал из павильона.

Остальные тоже встали.

Солнце заливало остров отчаянной жаркой белизной. Все как бы плыло в голубоватом мареве, в отблесках океанской равнины. По песку от блиндажа шагали две фигурки.

— Эй, сержант! — закричал капитан. — Эй, опасность! — Он замахал руками в тщетной надежде, что артиллеристы поймут эти знаки как приказ вернуться в блиндаж.

— Минутку, — сказал полковник. У него отвисла челюсть. — А мы?

Генерал с салфеткой в руке посмотрел на него. Он побледнел, и эта бледность как бы передалась всем. Полковник вдруг сорвался с места и, согнувшись, с быстротой почти непостижимой бросился к зарослям бамбука.

А в следующий момент раздался резкий свист. Сверкнуло пламя, звук выстрела и грохот разрыва слились в одно. Горьковато, напоминая войну, беду, несчастье, пахнуло пороховым дымом.

**4** Полковник, раненный осколками, сидел в окопе, сжавшись, и прислушивался к рычанию танка не подалеку.

Полковника трясло. Он всхлипал, и слезы катились по его худощавому лицу с мужественной челюстью. Он плакал не от боли. Обе раны были несерьезны и перестали мучить сразу после первого шока. Он плакал от обиды и переполнявшей его ненависти. Ему было сорок лет, он ни разу в жизни не совершил ничего предосудительного. Всегда слушал указания начальства, никогда не пытался внести в мир что-нибудь новое, свое. Он был безупречен со своей точки зрения, и вдруг оказалось, что руководители предали его. Танк, предназначавшийся для других, гнался теперь за ним.

Его трясло от злобы и обиды. Первым из членов комиссии, стоявших у входа в павильон, он сообразил, что случилось, и, как зверь, не рассуждая, бросился в заросли. Полковник слышал вары в позади, слышал, как два снаряда ударили по артиллеристам, которые тоже, видимо, испугались. Он видел из кустарников, как одинственный снаряд вдребезги разбил и утопил катер у берега вместе с сидевшим там мотористом, который при первой же тревоге стал поспешно заводить двигатель.

А потом машина начала охоту за ним.

Полковник непрерывно двигался, прыгая из ямы в яму, и несколько раз ему удалось ускользнуть от прямых попаданий. Потом он сообразил, что надо попытаться попасть в мертвую зону — туда, где наклон орудия не позволит машине достать его выстрелом. Ему удалось приблизиться к танку, и он спрыгнул в окоп. Танк был теперь метрах в тридцати от него и не стрелял более.

Полковник знал: машина не стреляет лишь потому, что он понимает, что в него нельзя попасть. В том-то и заключалась дьявольская сила изобретения — жертва должна была командовать палачом.

Полковник закусил губу и выглянул из-за бруствера. Танк стоял неподалеку, спокойный, равнодушный. Люк для танкистов был заварен. И фары, помещаю-

щиеся обычно под башней по обеим сторонам люка, тоже были сняты. Это неживое существо не нуждалось в том, чтоб видеть дорогу перед собой — его вели мысли и страхи тех, за кем он охотился.

Низколобый, приплюснутый, серый, танк ждал...

Полковник всхлипнул еще несколько раз. Здесь он находился в сравнительной безопасности, и ему злорадно подумалось, что лишь его одного осенило бежать не от машины, а к ней... Потом он вяло сказал себе, что генерал и все другие просто не успели сообразить, куда бежать. Их снесло первым выстрелом.

Он оглянулся в сторону разрушенного павильона, затем снова посмотрел на танк, и вдруг в голову ему пришла мысль о гусеницах. Ведь изобретатель говорил, что танк может использовать и это.

И тотчас танк зарычал, гусеницы послушно пришли в движенье, и машина рванулась вперед.

Полковник упал на дно окна. Танк приблизился, рыча, гусеницы показались над бруствером, смяли его и легли на противоположный край окопа. Брюхо машины было теперь как раз над головой полковника. Он сжался, стараясь сделаться как можно меньшее, и затем с облегчением подумал: «Не достанет».

И тотчас мотор умолк.

«А если он начнет вертеться?» — спросил себя полковник.

Мотор заревел, гусеницы двинулись, и танк стал вертеться над окопом, стараясь разрушить его. Но стеки окна были достаточно прочны, укреплены балками, и полковник с облегчением сказал себе, что из этого ничего не выйдет. Он не успел додумать эту мысль до конца, как мотор выключился и танк остановился.

Ужасно! Полковник скрипнул зубами.

Было тихо, как будто остров уже совсем вымер. Полковник пощупал плечо. Кровотечение остановилось, рана не болела. Жара усиливалась. Не хватало воздуха, пот катился по лбу полковника, спина у него взмокла. Лежа он видел, как постепенно меняет цвет и вроде как бы сгущается небо. Оно становилось синее и одновременно чуть краснело.

Полковник стал размышлять, иногда прерывая свои

мысли судорожными всхлипываниями. Ну, хорошо. Вот он лежит теперь. Но как долго можно выдержать это? На военной базе, откуда они прибыли, вероятно, хватятся через какое-то время. Но не скоро. Вся операция так засекречена, что никто толком и не знает, где они и когда должны быть обратно. Комиссия вообще не подчинена командующему этой ближайшей базы. Он будет сначала связываться с министерством в столице, начнутся переговоры, поиски нужных людей, полетят радиограммы, и, может быть, недели через две сюда прибудут катера... Через две недели! А ему и двух суток не выдержать без пищи и воды.

И даже если он выдержит. Что тогда?.. Вот пришла помощь, люди высадились, ходят по острову. Пока еще они не понимают, в чем дело, пока не боятся танка, им ничто не грозит... Вот к нему подошел человек. Он, полковник, сообщает, что танк держит его здесь, в окопе. Человек моментально пугается, в тот же миг танк начинает пальбу и расстреливает всех приехавших.

Но можно сделать иначе. Ничего не говорить про танк, а просто приказать, чтобы ему дали в окоп радио. А затем с ее помощью связаться с базой, объяснить, в чем дело. Но, конечно, приехавшие все равно почувствуют что-то неладное. Они бросят его и смоются.

Нет, сказал он себе, это не выход. Уж не говоря о том, что прихода катеров ему ни за что не дождаться.

Он еще раз с ненавистью подумал о генерале — уж с тем-то, наверное, все кончено. И поделом. Нельзя же быть такой шляпой.

Полковник посмотрел на днище танка над ним. Эх, если бы была граната!

Танк вдруг ожил, мотор включился.

Но ведь нет гранаты.

Мотор выключился.

Проклятье!.. А что, если вылезти из окопа позади машины и взобраться к башне? Полковник стал на четвереньки, осторожно приподнял голову. Только бы танк не отъехал и не развернулся!

Двигатель сразу зарычал, танк отъехал и, лязгая, развернулся.

Полковник застонал и сел на дно окопа. Безвыходно.

Он посмотрел на машину. А что, если она сейчас отъедет, оставит между ним и собой достаточное расстояние и тогда произведет выстрел? Оком-то ведь не спасет. Он подумал об этом и тотчас схватился за голову. Нельзя было об этом думать! Нельзя, потому что танк вздрогнул, взревел и задним ходом, грохоча, покатил прочь. В том-то все и дело было, в том-то и весь ужас, что машина делала как раз то, чего ты боишься, чего не хочешь, чтоб она делала.

Придерживая рукой плечо, полковник вскочил. Он знал, что вопрос жизни для него — не отставать. В ту самую минуту, когда он поймет, что танк уже может стрелять по нему, и исчугается, машина выстрелит.

Танк наращивал скорость, и полковник побежал за ним. Все годы его комфортабельной жизни, все годы занятий спортом были вложены в этот бег.

Танк пошел быстрее, прибавил скорости, потому что полковник подумал, что ведь он может и прибавить...

\* \* \*

Толстого майора и генеральского вестового разорвало в клочья первым же выстрелом.

Капитан, ему было всего двадцать девять лет, получил несколько тяжелых ран сразу. Но страха он не испытывал, и это исключило возможность новых выстрелов по нему. Он лежал на песке, исходя кровью, придавленный упавшей крышей павильона. Он думал только о жене и о своих двух девочках. С поразившей его самого ясностью он рассчитал, какова будет пенсия семье: для этого следовало учесть и срок службы, и звание, и род войск, и даже обстоятельства гибели — в полевых или не полевых условиях. Пенсия получалась достаточная, это успокоило его. Затем ему пришло в голову, что даже хорошо, что испытания не удались. Если б эта штука вошла в мир, в конце концов могло б дойти и до его девочек.

«Уж лучше я», — подумал он облегченно и с последними проблесками мысли сказал себе, что где-то

в самом начале пошел, вероятно, не той дорогой. В глазах у него поплыли радужные круги, обескровленный мозг уже ощущал недостаток кислорода, и капитан заснул навсегда.

А генерал умирал медленно. Первым его ощущением после шока была боль. Он даже не понимал, куда ранен, боль пронизывала все тело. Как и полковник, он резко ощутил несправедливость случившегося. Ведь он же был не из той касты, не из тех, кого надо было и можно было убивать.

Затем боль ушла, но вместо нее явились бессилие и какая-то ужаснувшая его муторноть. Она все росла, и генерал даже чуть приподнял голову, чтобы приказать этому прекратиться.

Он приподнял голову и увидел изобретателя, который присел возле него на корточки. Лицо этого человека было спокойно и, как всегда, равнодушио. Он протянул руку и положил что-то на грудь генералу.

— Медаль, — сказал он. — Медаль «За заслуги», которой был посмертно награжден мой сын в шестьдесят пятом году. Вы сами вручили ее мне.

Медаль давила, как гора. Генерал не понимал слов изобретателя, он просто чувствовал, что не может, ну, просто не может так дальше, потому что с каждой секундой все росла и уже совершенно нестерпимой делалась эта муторноть. Генерал ни разу в жизни не был ранен, ни разу даже не подвергался операции. Он не знал, что примерно так, ужасаясь и страдая, умерли те тысячи людей, смерть которых он планировал прежде, и примерно так должны были бы умереть согласно его новым проектам миллионы.

Изобретатель некоторое время смотрел на умирающего генерала, затем поднялся, разыскал в развалинах павильона свой чемодан, вынул оттуда ласти и побрел к берегу. Он слышал рев танка где-то вдалеке, но не оборачивался. Собственное существование было ему безразлично. Он ощущал внутри ужасную пустоту. Пустоту, которую можно чувствовать, когда сделал уже решительно все, что вообще в жизни собирался сделать...

\* \* \*

Полковник гнался за танком. Тот все увеличивал скорость, и настал миг, когда полковник понял, что ему уже все равно — не хватало воздуха, легкие жгло пожаром, а сердце так стучало в грудной клетке, что удары отдавались по всему телу.

Он прошагал, шатаясь, еще десяток метров и остановился. Пусть!

И танк тоже остановился. Это было как чудо.

Жажда жизни тотчас снова вспыхнула в сознании полковника, придав ему новые силы. Он пошел было вперед, а затем остановился, сообразив, что, поскольку здесь поближе нет никакого укрытия, танк может попросту раздавить его гусеницами. Он застонал в отчаянии, стараясь отогнать эту мысль, вытравить ее из мозга. Он затряс головой, зажмурил глаза и услышал, как зарычал двигатель внутри ожившей стальной глыбы.

\* \* \*

Изобретатель плыл, мерно выбрасывая вперед руки. У него была мысль добраться до соседнего острова. О том, что будет дальше, он как-то и не задумывался. Он все еще был наполнен бесконечными дебатами в накуренных кабинетах, резолюциями всевозможных инстанций, указаниями, сметами, планами. В его ушах все еще звучали сегодняшние выстрелы и стоны умирающих.

Но постепенно это уходило.

Волны, журча, обтекали его. Опуская голову, он видел полосы солнечного света. Они колебались в такт движению ценных гребней прибоя, яркие у поверхности и гаснущие внизу. Стайки макрели невесомо парили под ним, затем вдруг поворачивали все разом, как будто заранее сговорившись, сосчитав до трех, и исчезали в том общем жемчужно-зеленоватом сиянии, которым был пронизан у поверхности ток вод.

Важно, неторопливо двигались медузы, похожие на яркие, с оборками старинные зонтики. Какая-то река — странная серебристая полоса, движущаяся во всех своих частях сразу, — струилась в океане, в стороне. Человек подплыл к ней и замер. То были рыбы, неизвестные

ему, крупные. Их были тысячи, а может быть, и сотни тысяч. Они возникали из синего мрака, снизу, светящиеся, сверкающие неповторимыми оттенками фиолетового и палевого, возникали ряд за рядом, бесчисленные, бесшумные, сосредоточенные, поворачивали в одном и том же месте и уходили опять в бездонную глубь. Какие тысячи километров они уже прошли, двигаясь, быть может, от поросших лесом берегов Африки или с другой стороны — от саргассовых водорослей, через пиратские моря мимо Антильских островов, Гаити и Пуэрто-Рико? Куда они стремятся теперь и почему именно эту точку избрали для поворота?

Зачем они так щедро прекрасны в изобилии своего светящегося хода?

Изобретателю подумалось, что хотя уже нет в живых его детей, но ведь есть еще и другие дети. Любопытные глаза, глаза, которым так хотелось бы увидеть чудеса морей, лесов и городов... Может быть, еще есть для чего жить?

Он вдруг подумал, достаточно ли отыскал от острова. Не достанет ли его выстрелом собственная машина?

Изобретатель поднял голову, и в ту же секунду пронзительный свист ввихтился в воздух.

**5** За ночь на острове поработали над трупами муравьи и крабы. С наступлением дневной жары они исчезли, а на следующую ночь опять принялись за дело так споро, что к утру на песке остались лишь белые кости. Постепенно собирался тайфун, он ударили на третий сутки после гибели комиссии. Первыми же порывами ветра унесло остатки павильона — строители поставили его на открытом месте, а не в низине, как индейцы свои хижины. Гнулись пальмы, бешеный ветер передвигал дюны. Потом тайфун унесся к берегам материка, пальмы выпрямились, и от всего, что привезли военные, остался лишь танк, полузасыпанный песком.

Вернулись жители деревни. Пока не наскутило, дети лазили на странную глыбу, внутри которой, притаившись, механический мозг ждал, чтобы пробудиться, импульсов ненависти и страха.

# УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

**1** Это приключение началось в один из субботних вечеров, когда я, устав после математических занятий, просматривал местную вечернюю газету и на последней странице натолкнулся на объявление: «Компания Крафтштудта принимает от организаций и частных лиц заказы на все виды вычислительных, аналитических и расчетно-математических работ. Высокое качество исполнения гарантируется. Обращаться по адресу: Вельтиштрассе, 12».

Как раз то, что мне было нужно. В течение нескольких недель подряд я мучился над решением уравнений Максвелла, которые описывали поведение электромагнитных волн в неоднородной среде особой структуры. В конце концов мне удалось путем ряда приближений и упрощений придать уравнениям такой вид, что их могла решить электронная машина. Я уже представлял, как мне придется совершить поездку в столицу и упрашивать администрацию вычислительного центра провести все нужные мне вычисления.

И вот пожалуйста, в нашем небольшом городке объявился вычислительный центр, через газету взывающий к заказчикам!

Я встал из-за стола и подошел к телефону, чтобы немедленно связаться с компанией Крафтштудта. Но тут я обнаружил, что, кроме адреса вычислительного центра, газета ничего не сообщала. «Солидный вычислительный центр без телефона? Не может быть». Тогда я позвонил в редакцию газеты.

— К сожалению, это все, что мы получили от Крафтштудта, — сказал мне секретарь редакции.

В телефонной книжке компания Крафтштудта также не значилась.

Я с нетерпением стал ждать понедельника. Раз или два я отрывался от аккуратно выписанных на бумаге расчетов, за которыми скрывались сложные физические процессы, и мои мысли обращались к компании Крафтштудта. «Правильно ориентируются, — думал я. — В наш век, когда любым человеческим мыслям пытаются придать математическую форму, трудно придумать более выгодное занятие». Кстати, кто такой этот Крафтштудт? Я давно живу в нашем городе, но фамилия Крафтштудт мне почти неизвестна. Я говорю «почти», потому что очень смутно припоминаю, что когда-то с этой фамилией я уже встречался. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Все мои старания были напрасны, я не мог вспомнить.

Наконец наступил долгожданный понедельник. Спрятав в карман листок со своими уравнениями, я отправился на поиски Вельтштрассе, 12. Моросил мелкий весенний дождь, и мне пришлось взять такси.

— Это довольно далеко, — сказал шофер, — рядом с психиатрической больницей.

Я молча кивнул головой.

Ехать пришлось около сорока минут. Мы миновали городские ворота, затем мост над рекой, обогнули озеро и холмистое поле, покрытое высокшим кустарником. Кое-где пробивалась раний зелень. Дорога была проселочная, пемощеная, и машина часто останавливалась между холмов, яростно буксую задними колесами в густой глинистой грязи.

Затем показались крыши и красные кирпичные стены психиатрической больницы, расположенной в низине, которую у нас в городе в шутку называли «Приют мудрецов».

Вдоль высокой кирпичной ограды вела дорога, посыпанная шлаком. Сделав несколько поворотов, шофер, наконец, остановил машину у небольшой двери.

— Это двенадцатый номер.

Я был неприятно удивлен, обнаружив, что дверь, которая, по-видимому, вела в апартаменты компании Крафтштудта, составляла как бы единый ансамбль с

«Приютом мудрецов». «Уж не мобилизовал ли Крафтштутт сумасшедших для того, чтобы выполнять «все виды математических работ»?» — подумал я и улыбнулся.

Я подошел к двери и нажал кнопку. Ждать пришлось долго, затем дверь отворилась, и в ней показался бледный человек с взъерошенными густыми волосами и с глазами, сощуренными от дневного света.

— Да, господин, — обратился он ко мне.

— Здесь математическая компания Крафтштутта? — спросил я.

— Да.

— Вы давали объявление в газету?

— Да.

— Я принес вам заказ.

— Пожалуйста, войдите.

Я повернулся к шоферу, сказал ему, чтобы он меня ждал, и, нагнувшись, проскользнул в дверь. Она закрылась, и я оказался в кромешной темноте.

— Прошу вас за мной. Осторожно, здесь ступеньки. Теперь налево... Опять ступеньки. Теперь пойдем вверх...

Говоря это, мой провожатый держал меня за руку, волоча по темным кривым коридорам, по спускам и подъемам.

Наконец над головой забрезжил тусклый желтоватый свет, и, поднявшись по крутой каменной лестнице, я оказался в небольшом холле, окруженном со всех сторон застекленными стенами.

Молодой человек быстро прошел за стеклянную перегородку и открыл широкое окошко. Через него он обратился ко мне:

— Я вас слушаю.

У меня было такое чувство, будто бы я попал не туда, куда направлялся.

Этот полумрак, этот подземный лабиринт и, наконец, эта глухая комната, без окон, с единственной слабой электрической лампочкой под потолком, создавали представление, отнюдь не похожее на современный вычислительный центр.

Я стоял, в недоумении оглядываясь вокруг.

— Я вас слушаю, — повторил молодой человек, высунувшись в окошко.

— Ах да! Так значит, здесь и помещается вычислительный центр компании Крафтштудта?..

— Да, да, — прервал он меня не без нотки раздражения в голосе. — Я уже вам сказал, что именно здесь помещается вычислительный центр компании Крафтштудта. В чем заключается ваша задача?

Я извлек из кармана листок бумаги с уравнениями и протянул его в окошко.

— Это линейное приближение вот этих уравнений в частных производных, — неуверенно начал я объяснять. — Я бы хотел, чтобы вы хотя бы численно их решили, ну, скажем, непосредственно на границе раздела двух сред... Понимаете, это дисперсионное уравнение, и здесь скорость распространения радиоволн меняется от точки к точке.

Скомкав мой листок, молодой человек вдруг произнес:

— Все ясно. Когда вам нужно будет решение?

— Как — когда? — удивился я. — Это вы должны мне сказать, когда вы сможете его решить.

— Вас устраивает завтра? — спросил он, вскинув на меня глубокие черные глаза.

— Завтра?!

— Да, завтра. Скажем, часам к двенадцати, самое позднее к часу дня...

— Боже, да что это у вас за вычислительная машина? Такая скорость работы!

— Итак, завтра в двенадцать дня вы получите решение. Стоимость — четыреста пятьдесят марок. Платить наличными.

Цена была довольно высока. Но если учесть, что сложнейшие уравнения будут решены за сутки, это было дешево. Поэтому я, ни слова не говоря, протянул ему деньги вместе с визитной карточкой, на которой значились моя фамилия и мой адрес.

Провожая меня по подземному лабиринту к выходу, молодой человек спросил:

— Так, значит, вы и есть профессор Раух?

— Да. А почему вы спрашиваете?

— Да так. Когда мы организовывали математический центр, мы рассчитывали, что рано или поздно вы к нам придете.

— Почему вы на это рассчитывали? — удивленно спросил я.

— А от кого же еще можно ждать заказов в этой дыре?

Ответ мне показался довольно убедительным.

Не успел я попрощаться с молодым человеком, как дверь за мной захлопнулась.

Всю дорогу домой я думал об этом странном вычислительном центре рядом с «Приютом мудрецов». Где и когда я встречал фамилию Крафтштудта?

**2** На следующий день я с нетерпением ждал дневной почты. Когда в половине двенадцатого у двери моей квартиры послышался звонок, я вскочил и помчался встречать почтальона. К моему удивлению, я увидел перед собой тоненькую бледнолицую девушку с громадным синим пакетом в руках.

— Вы профессор Раух? — спросила она.

— Да.

— Вам пакет от компании Крафтштудта. Прошу расписаться.

Ее тонкие руки секунду порылись в карманах пальто, и она протянула мне книжку.

На первой странице значилась единственная фамилия — моя. Я расписался, затем протянул девушке монету.

— О, что вы! — всхлипнула она и, произнеся едва внятно «до свиданья», ушла.

С пакетом я вернулся в кабинет.

Глядя на фотокопии исписанной мелким почерком рукописи, я вначале ничего не понял. От электронной счетно-решающей машины я ждал совсем другого: длинные столбики цифр, в одной колонке которых должны стоять значения аргумента, а во второй — значения решения уравнений.

Ничего подобного здесь не было.

Это было точное решение моих уравнений! Чья-то рука, руководимая выдающейся математической мыслью, совершенно строго, без всяких приближений, решала мои уравнения.

Я пробегал глазами страницу за страницей, все больше и больше углубляясь в поражающие своей красотой, остроумием и изобретательностью выкладки. Человек, решивший уравнения, обладал огромными математическими знаниями, которым могут позавидовать самые первоклассные математики. Для решения был привлечен почти весь математический аппарат: теория линейных и нелинейных дифференциальных и интегральных уравнений, теория функций комплексного переменного, теория групп, теория множеств и даже такие, казалось, не имеющие отношения к данной задаче математические дисциплины, как топология, теория чисел и математическая логика.

Я чуть было не вскрикнул от восхищения, когда в результате синтеза большого числа теорем, промежуточных выкладок, формул и уравнений в конце концов появилось и само решение — математическая формула, занимавшая в длину целых три строчки.

Но самым изящным было то, что неведомый мне математик позаботился придать этой длинной формуле то, что в нашей науке называется «обозримый вид». Он нашел приближенную, но очень точную, краткую и ясную математическую запись, состоящую только из элементарных алгебраических и тригонометрических выражений.

В конце, на небольшой вклейке, решение уравнений было изображено графически.

Большего желать было невозможно. Уравнение, которое, как я считал, не может быть решено в конечном виде, оказалось решенным.

Несколько опомнившись от удивления и восхищения, я во второй раз стал перечитывать фотокопии. Теперь я заметил, что тот, кто решал мою задачу, писал торопливо, мелким почерком, как бы экономя каждый миллиметр бумаги и каждую секунду времени. Всего было исписано двадцать восемь страниц, и я мысленно прикинул, какой титанической была работа

этого математика. Попробуйте написать за сутки от руки двадцать восемь страниц письма своему знакомому, напишите двадцать восемь страниц своей биографии, наконец, попробуйте из любой книжки, не думая, не понимая ни слова, просто переписать двадцать восемь страниц, и вы убедитесь, что это адский труд.

А ведь это было решение самой сложнейшей математической задачи. И оно было выполнено за сутки!

Несколько часов подряд я смотрел на исписанные страницы, с каждым часом удивляясь все больше и больше.

Где Крафтштутд нашел такого математика? На каких условиях он у него работает? Кто он такой? Какой-нибудь безвестный гений? Или, может быть, это одно из тех чудес человеческой натуры, которое иногда встречается на границе между нормальным и ненормальным? Может быть, это один из уникумов, которого Крафтштутду удалось разыскать в «Приюте мудрецов»? История знает случаи, когда гениальные математики в конце концов оказывались в больнице для душевнобольных. Может быть, и математик, так блестяще решивший мою задачу, относится к той же категории людей?

Все эти вопросы мучили меня в течение всего дня.

И тем не менее факт оставался фактом. Задача была решена не машиной, а человеком, выдающимся математическим гением, о котором мир ничего не знает.

На следующий день, несколько успокоившись, я еще раз перечитал решение, на этот раз наслаждаясь им, как наслаждаются, слушая хорошую музыку. Оно было так красиво, так строго, так ясно, что я решил... повторить эксперимент. Я решил заказать компании Крафтштутда решение еще одной задачи.

Я выбрал то уравнение, которое, как мне всегда казалось, совершенно невозможно не только решить в конечном виде, но даже придать ему форму, нужную для решения на электронной машине.

Это уравнение также относилось к теории распространения радиоволны, но случай был очень сложным и специальным, с подвижными излучателями, со средой, свойства которой меняются в пространстве и во

времени. Это было одно из тех уравнений, которые часто пишут физики-теоретики только для того, чтобы ими полюбоваться и затем забыть, потому что они из-за своей сложности оказываются никому не нужными.

...Когда дверь в кирпичной стене открылась, я увидел того же молодого человека с прищуренными от дневного света глазами. Увидев меня, он криво улыбнулся.

— У меня еще одна задача... — начал было я.

Он кивнул головой и, как и в первый раз, повел меня по темным коридорам в свою мрачную приемную без окон.

Теперь я знал процедуру и, подойдя к стеклянному окошку, протянул ему уравнение.

— Значит, решают у вас эти штуки не машины?

— Как видите, — ответил он, не отрывая глаз от уравнения.

— Тот, кто решил мою первую задачу, — талантливый математик, — сказал я.

Молодой человек ничего не ответил, углубившись в мою рукопись.

— Он у вас один или... — спросил я.

— А разве это имеет какое-либо отношение к тому, что вам требуется? Фирма гарантирует...

Он не успел окончить фразу, как вдруг глубокую тишину подвала прорезал резкий вопль. Я вздрогнул и прислушался. Крик доносился откуда-то из-за стены, которая была за стеклянной перегородкой. Кто-то кричал — вернее, вопил — так, как будто бы его подвергали нечеловеческим пыткам. Молодой человек, скомкав листки бумаги с моей задачей, метнул взгляд в сторону стены и затем, выбежав из-за перегородки, схватил меня за руку и потащил к выходу.

— Что это? — спросил я его, еле переводя дух у самой выходной двери.

Вместо ответа он выпалил:

— Решение получите послезавтра в двенадцать. Деньги передадите посыльному.

С этими словами он оставил меня одного перед такси.

**3** Стоит ли говорить, что после этого случая я совершенно потерял покой. Во-первых, я ни на мгновение не мог забыть страшного крика, который, казалось, потряс каменные своды вычислительного центра компании Крафтштудта. Во-вторых, я все еще находился под впечатлением того, что один человек решил тяжелую математическую задачу за сутки. И в-третьих, я как в лихорадке ждал решения моей второй задачи. Если и она будет решена, то тогда...

Через два дня я дрожащими руками принимал пакет от посыльной из компании Крафтштудта. Я с испугом смотрел на худенькое существо, стоявшее передо мной. Вдруг меня осенила мысль.

— Войдите, пожалуйста, я приготовлю деньги.

— Нет, не нужно, — заторопилась она, как бы испугавшись, — я подожду здесь...

— Да войдите же, зачем вам мерзнуть? — сказал я и почти насильно втащил ее в комнату. — Я должен посмотреть работу и установить, заслуживает ли она того, чтобы за нее платить.

Девушка прижалась спиной к двери и следила за мной широко раскрытыми глазами.

— Это запрещается... — шептала она.

— Что запрещается?

— Входить в квартиры клиентов... Такова инструкция, господин.

— Плюньте на инструкцию. Здесь я хозяин, и никто не узнает, что вы были у меня.

— О господин... Они все узнают, и тогда...

— Что — тогда? — спросил я, приблизившись к ней.

— О, это так страшно...

Она вдруг заплакала.

Я положил ей руку на плечо, но она встрепенулась и выскочила за дверь.

— Немедленно отдайте мне семьсот марок, и я пойду.

Я протянул деньги, она вырвала их у меня из руки.

Когда я открыл пакет, то чуть не вскрикнул от удивления. Несколько минут я смотрел на стопку фотоп-

копий, не веря глазам своим. Теперь меня уже поражало не то, что мои безнадежные уравнения были, по-видимому, решены. Самым поразительным было то, что выкладки были написаны другим почерком.

Второй гениальный математик! Однако этот был еще более гениален, чем первый, потому что он на протяжении пятидесяти трех страниц решил в аналитическом виде уравнения, в сотни раз более трудные, чем первое. Пробегая взглядом строки, написанные энергичным, размашистым почерком, всматриваясь в интегралы, суммы, вариации и прочие символы самых высших разделов математической науки, я представил себя в каком-то неведомом, странном математическом мире, где сложности потеряли всякое значение. Здесь их просто не было.

Казалось, будто математик, решавший вторую мою задачу, делал это так же легко, как мы складываем или вычитаем в столбик двузначные цифры.

Читая рукопись, я несколько раз бросал ее, чтобы обратиться к математическим справочникам и учебникам, и, к своему крайнему удивлению, обнаруживал, что второй математический гений прекрасно знал и помнил все то, что знал и помнил я, но, кроме этого, и многое другое. Меня поражало его умение пользоваться самыми сложными математическими теоремами и доказательствами. Его математическая логика была невероятной, глубина мысли бездонной, метод решения безукоризненным. Я был уверен, что, если бы самые гениальные математики всех веков и народов увидели решение этой задачи, они бы удивились не меньше меня.

И тем не менее факт оставался фактом: вторая задача была решена еще более красиво и изящно, чем первая. Прочитав рукопись, я, обессиленный и потерявший способность ощущать реальность, оставался в задумчивости еще долгое время.

Откуда Крафтштут набрал этих математиков? Теперь я был уверен, что их у него было не два и не три, а наверно, целая бригада. Ведь не мог же он всерьез основать целую фирму, эксплуатируя только двух-трех человек. Как это ему удалось? Почему его фирма на-

ходится рядом с сумасшедшим домом? Кто и почему кричал нечеловеческим голосом за стеной?

«Крафтштудт, Крафтштудт...» — билось у меня в сознании. Где и когда я встречал эту фамилию? Что за ней скрывается? Я ходил по кабинету, сжимая голову руками, силясь вспомнить, что я знал о Крафтштудте.

Затем я снова уселся за гениальный математический манускрипт, наслаждаясь его содержанием, перечитывая по частям, углубляясь в доказательства промежуточных теорем и формул. Внезапно я вскочил. Я вскочил оттого, что вдруг снова вспомнил страшный нечеловеческий крик, а вместе с ним и фамилию Крафтштудт.

Эта ассоциация была не случайной. Именно так оно и должно было случиться. Нечеловеческий крик пытаемого человека и Крафтштудт! Это неразрывное целое. Во время второй мировой войны некий Крафтштудт был следователем гитлеровского концентрационного лагеря в Граце. Во втором туре Нюрнбергского процесса его судили за преступления, совершенные против человечности. За пытки и убийства его приговорили к пожизненному тюремному заключению. И после этого о нем ничего и нигде не было слышно.

Я вспомнил портрет этого человека, напечатанный во всех газетах, в форме оберштурмфюрера СС, в пенсне, с широко раскрытыми, даже удивленными глазами на добродушном полноватом лице. Никто не хотел верить, что человек с такой физиономией мог быть палачом гитлеровских застенков. Однако портрет сопровождали подробные показания свидетелей и заключение следствия. Да, Крафтштудт был действительно палачом.

Что стало с ним после процесса? Не освободили ли его, как и многих других военных преступников?

Но при чем здесь математика? Где здесь связь: следователь-палач и гениальные решения дифференциальных и интегральных уравнений?

В этом пункте цепь моих рассуждений прерывалась, я чувствовал себя бессильным соединить эти два звена воедино. Чего-то не хватало, в чем-то была тай-

ва, разгадать которую умозрительным путем я был беспомощен.

Сколько ни ломал я голову, сколько ни пытался скомбинировать Крафтштудта с «Приютом мудрецов» и с бригадой талантливых математиков, это мне никак не удавалось. И затем эта девушка, заявившая, что «они все равно узнают»... Какая она запуганная и робкая!

После нескольких дней мучительных раздумий я, наконец, пришел к выводу, что если я не раскрою эту тайну, то сойду с ума.

Прежде всего я решил убедиться, что Крафтштудт из математической фирмы — это Крафтштудт военный преступник, следователь концентрационного лагеря в Граце.

**4** Оказавшись у низенькой двери фирмы Крафтштудта в третий раз, я почувствовал, что сейчас произойдет нечто такое, что окажет огромное влияние на всю мою жизнь. Не знаю почему, но я отпустил такси и только после того, как автомобиль скрылся за поворотом, позвонил.

Мне показалось, что молодой человек с помятой, почти старческой физиономией ждал меня. Он почему-то сразу взял меня за руку и, не задавая никаких вопросов, повел через темное подземелье в тот самый приемный холл, в котором я уже был два раза.

— Итак, с чем вы пришли сейчас? — спросил он насмешливо.

— Я хочу видеть господина Крафтштудта лично, — пробормотал я.

— Наша фирма чем-нибудь вас не устраивает, профессор? — спросил он.

— Я хочу видеть господина Крафтштудта, — повторил я с упорством, стараясь не смотреть в большие черные глаза, которые сейчас светились глубоким, злым и насмешливым огоньком.

— Ваше дело. Меня это мало касается, — произнес он после того, как я выдержал минутное испытание его пронизывающего взгляда. — Подождите здесь.

Затем он исчез в одной из дверей за стеклянной перегородкой и не появлялся более полчаса.

Я почти задремал, когда вдруг послышался шорох в углу и внезапно из полумрака появилась фигура человека в белом халате, со стетоскопом в руках. «Доктор, — пронеслось у меня в сознании. — Сейчас меня будут осматривать и выслушивать. Неужели это необходимо, чтобы повидаться с господином Крафтштудтом?»

— Пойдемте, — повелительно произнес доктор.

И я пошел за ним, совершенно не соображая, что со мной будет дальше и для чего я все это затеял.

Пройдя дверь в застекленной перегородке, я последовал за человеком в белом халате по длинному коридору, в который дневной свет проникал откуда-то сверху. Коридор заканчивался высокой массивной дверью. Доктор остановился.

— Подождите здесь. Сейчас вас примет Крафтштудт.

Доктор снова появился минут через пять. Он широко открыл дверь и несколько секунд стоял черным силуэтом в рассеянных лучах дневного света.

— Ну что же, пошли, — сказал он голосом человека, сожалеющего о том, что должно произойти дальше.

Я покорно последовал за ним. Войдя в павильон с широкими сияющими окнами, я стоял несколько минут, стараясь рассмотреть огромное, светлое помещение. Из однозначения меня вывел резкий голос:

— Подойдите же сюда, профессор Раух.

Я повернулся направо и увидел сидящего в глубоком плетеном кресле Крафтштудта, того самого Крафтштудта, который был знаком мне по многочисленным фотографиям в газетах.

— Вы пожелали встретиться со мной? — спросил он, не здороваясь и не вставая из-за стола. — Чем могу служить?

Я быстро взял себя в руки и, проглотив слону, подошел вплотную к столу, за которым он сидел.

— Значит, вы переменили род занятий? — спросил я, глядя на него в упор.

Он постарел за пятнадцать лет, его полные щеки собирались в крупные морщины и свисали дряблыми складками вокруг резко выступавших скул.

— Что вы имеете в виду, профессор? — задал он вопрос, осматривая меня очень внимательно.

— Я, господин Крафтштудт, думал, вернее надеялся, что вы все еще...

— Ах, вот оно что! — И Крафтштудт расхохотался. — Другие времена, Раух. Другие.

— А как же закон?

— Дорогой мой профессор! Закон нужен только тогда и только тем, кто из него может извлечь пользу. Сейчас другие времена и другие критерии. Следовательно, и законы другие. Впрочем, меня интересуют не ваши соображения в отношении законов, а причины, которые вас привели ко мне.

— Господин Крафтштудт, я, как вы можете догадаться, смыслю кое-что в математике, я имею в виду современную математику. Так вот, сначала я думал, что вы организовали обычный вычислительный центр, оборудованный электронными счетно-решающими машинами. Однако на двух примерах я убедился, что это не так. У вас математические задачи решают люди. Решают они их совершенно гениально. И что самое странное, чудовищно быстро, сверхчеловечески быстро. Я, если хотите, осмелился прийти к вам, чтобы познакомиться с вашими математиками, которые, конечно, являются необыкновенными людьми.

Крафтштудт вначале изобразил на своем лице улыбку, а затем стал сначала тихо, а потом все громче и громче смеяться.

— Над чем вы смеетесь, господин Крафтштудт? — возмутился я. — Разве мое желание столь комично и глупо? Разве каждый здравомыслящий человёк, а тем более математик, не изумится, когда познакомится с теми решениями, которые предоставила в мое распоряжение ваша фирма?

— Я смеюсь над другим, Раух. Я смеюсь над вашей провинциальной ограниченностью. Я смеюсь над тем, как вы, профессор, уважаемый в городе человек, всегда поражавший своей ученостью воображение недозрев-

ших девиц и старых дев, как вы безнадежно отстали от стремительного хода современной науки!

Я был поражен наглостью бывшего гитлеровского следователя.

— Послушайте, вы! — воскликнул я. — Всего пятнадцать лет назад вашей специальностью было пытать невинных людей раскаленным железом. Какое вы имеете право болтать о современной науке? Если хотите, то я пришел, чтобы узнать, какими методами вы заставляете подчиненных вам талантливых людей за сутки проделывать работу, которая под силу человеческому гению лишь после продолжительного, на протяжении нескольких лет труда, может быть труда всей жизни. Я очень рад, что нашел вас здесь. Не думаю, что наше знакомство будет для вас приятным.

Крафтштудт встал и, нахмурив брови, подошел ко мне.

— Послушайте, Раух, я советую вам меня не сердить. Я знал, что рано или поздно вы ко мне придете. Но я вовсе не рассчитывал найти в своем кабинете ученого-идиота в роли сыщика-любителя. Признаюсь, я ожидал встретить в вас, если хотите, союзника и помощника.

— Что-о-о? — закричал я. — Сначала вы объясните мне, что вы делаете с людьми, которые приносят вам прибыль.

Бледно-голубые глаза Крафтштудта за стеклами пенсне превратились в две узенькие щелки. На мгновение мне показалось, что он осматривает меня, как венец, которую собирается приобрести в собственность.

— Значит, вы хотите, чтобы я объяснил вам, как наша фирма работает? Значит, вам мало того, что две ваши идиотские задачи были решены так, как они должны решаться в двадцатом веке? Значит, вы хотите на собственной шкуре испытать, что значит решать такие задачи? — прошипел он.

— Я не верю, чтобы один человек, пусть даже очень талантливый, мог проделать каторжный труд за несколько десятков часов по добной воле. Ваша репутация свидетельствует об этом. Кроме того, я имел не-

счастье слышать, как ворил один из ваших сотрудников...

— Хватит! — закричал Крафтштудт. — В конечном счете я не просил, чтобы вы ко мне приходили. Но уж если вы пришли с такими настроениями, то вы нам пригодитесь, хотите вы этого или нет.

Я не заметил, что доктор, который провел меня в кабинет Крафтштудта, все время стоял сзади меня. Глава фирмы сделал ему знак, и в одно мгновение его сильная рука обхватила мое лицо, крепко зажала рот, а вторая поднесла к носу кусок ваты, пропитанный резко пахнущим веществом, вдохнув которое я сразу потерял сознание.

**5** Я очнулся, но долго не решался открыть глаза.

Вокруг я слышал голоса каких-то людей. Они о чем-то горячо спорили. Это был деловой научный спор, содержание которого некоторое время не доходило до моего сознания. Только после того как в голове у меня немножко прояснилось, я начал разбираться в смысле фраз.

— Генрих совершенно не прав. В конечном счете импульсный код, который возбуждает нейроны волевых центров, не состоит из пятидесяти выбросов с равными промежутками и пятью скважностями между равными группами. Это было вчера совершенно точно показано на опытах с Никольсом.

— Ну, знаешь, твой Никольс не пример. Если хочешь, то кодирование возбуждения очень индивидуально. То, что возбуждает волевые центры у одного, может возбуждать совсем иное у другого. Например, электровозбуждение, которое доставляет Никольсу наслаждение, заставляет меня глухнуть. Когда я ему подвергаюсь, у меня такое ощущение, как будто в мои уши вставили две трубы и по ним вдувают в голову рев самолетных моторов.

— Тем не менее ритм деятельности группы нейронов головного мозга у многих людей имеет много общего. Собственно, на этом и играет наш учитель.

— Играет, да не очень, — произнес кто-то устало. — Пока что дальше математического анализа дело не пошло.

— Это вопрос времени. В данном случае косвенные опыты имеют большее значение, чем прямые. Никто не осмелится вставить тебе в мозг электрод и смотреть, какие импульсы там двигаются, потому что это повредит мозг, а следовательно, и сами импульсы. Другое дело, если ты имеешь генератор, на котором можно в широких пределах менять импульсно-кодовую модуляцию. Это позволяет проводить эксперименты, совершенно не нарушая целостности мозга.

— Как сказать, — произнес все тот же усталый голос. — Твое заявление опровергает случай с Гориным и с Войдом. Первый умер через несколько секунд после того, как его поместили в частотно-модулированное поле, где десять последовательных выбросов напряженности следовали с частотой в семьсот герц при скважности в пять десятых секунды. Второй так орал от боли, что пришлось немедленно выключить генератор. Вы, ребята, забываете основное положение нейрокибернетики о том, что в сетях нейронов, которые существуют в человеческом организме, реализуется огромное количество петель. Двигающиеся по ним импульсы характеризуются специфической частотой и кодом. Стоит попасть в резонанс с любой из этих циркуляций, и контур может возбудиться до невероятного состояния. Если так можно выразиться, доктор тыкает вслепую. И то, что мы еще живы, — это чистая случайность.

Я открыл глаза. Комната, где я находился, представляла собой подобие большой больничной палаты с койками, расположенными вдоль стен. Посредине стоял большой деревянный стол, заваленный объедками пищи, пустыми консервными банками, окурками, обрывками бумаги. Все это было освещено тусклым электрическим светом. Я приподнялся на локтях и осмотрелся вокруг. Разговор сразу стих.

— Где я нахожусь? — прошептал я, обводя взглядом лица уставившихся на меня людей.

Я услышал, как кто-то сзади меня прошептал:

- Новенький пришел в себя...
- Где я нахожусь? — повторил я вопрос, обращаясь ко всем сразу.
- Разве вам это не известно? — спросил меня молодой человек, сидевший в нижнем белье на койке справа. — Это фирма Крафтштутта, нашего творца и учителя.
- Творца и учителя?! — промычал я, потирая лоб. — Какой же он учитель, если он в действительности военный преступник.
- Преступление — это относительное понятие. Все зависит от цели, ради которой действие совершается. Если цель благородна, всякое действие хорошо, — выпалил мой сосед справа.
- Пораженный образчиком вульгарного макиавеллизма, я посмотрел на него с любопытством.
- Где это вы набрались такой мудрости, молодой человек? — спросил я, усаживаясь напротив него.
- Господин Крафтштутт — наш творец и учитель, — вдруг наперебой стали повторять все присутствующие в комнате.
- «Значит, я действительно попал в «Приют мудрецов», — с тоской подумал я.
- Ну-да, ребята, плохи ваши дела, если вы так говорите, — сказал я, обводя всех взглядом.
- Бьюсь об заклад, что у новенького математика лежит в частотной полосе от девяноста до девяноста пяти герц! — воскликнул привставший со следующей койки тучный парень.
- А его боль может быть вызвана при частоте не более ста сорока герц равномерно ускоренного импульсного кода! — воскликнул другой.
- А спать его можно заставить кодовыми посылками по восемь импульсов в секунду с паузой в две секунды после каждой посылки!
- Уверен, что новенький будет ощущать голод при импульсном возбуждении с частотой сто три герца с логарифмическим ростом интенсивности импульсов!
- Это самое худшее, что я мог себе представить. Совершенно очевидно, все они были сумасшедшими. Меня поражало только одно обстоятельство: все они говорили

об одном и том же: о каких-то кодах и каких-то импульсах, связывая их с моими ощущениями, с моим внутренним миром. Они обступили меня и, глядя мне прямо в глаза, выкрикивали какие-то цифры, упоминали о модуляциях и интенсивностях, предсказывая, как я буду вести себя «под генератором» и «между стенками» и какую мощность я буду потреблять.

Зная из литературы, что с сумасшедшими нужно соглашаться во всем, я решил не вступать с ними в спор, а разговаривать так, как если бы я был таким же, как и они. Поэтому как можно мягче я обратился к соседу, сидевшему на койке справа от меня. Он мне показался более нормальным, чем все остальные.

— Скажите, пожалуйста, о чем это вы все здесь толкуете? Я в этих делах совершеннейший профан. Какие-то коды, импульсы, нейроны, возбуждения...

Вся комната задрожала от смеха. Хохот продолжался и тогда, когда я в негодовании встал и хотел на них прикрикнуть.

— Контур четырнадцатый. Частота восемьдесят пять герц! Возбуждение гнева! — крикнул кто-то, и смех стал еще более гомерическим.

Тогда я уселся на свою койку и стал ждать, пока они успокоятся.

Первым пришел в себя мой сосед справа. Он подошел ко мне, сел рядом и посмотрел мне прямо в глаза.

— Значит, ты действительно ничего не знаешь?

— Честное слово, ничего не знаю. И ни слова не понимаю из того, что вы говорите.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ну ладно. Мы тебе верим, хотя это очень редкий случай. Дейнис, встань и расскажи новичку, зачем мы здесь находимся.

— Да, Дейнис, встань и расскажи ему. Пусть и он, как мы, будет счастливым.

— Счастливым? — удивился я. — Разве вы счастливы?

— Конечно, конечно! — закричали все. — Ведь мы ностигли самих себя. Самое высокое наслаждение человека в том, что он познает самого себя.

- А разве до этого вы не знали самих себя?
- Только те, кто знаком с нейрокибернетикой, только те знают себя!
- Слава нашему учителю! — крикнул кто-то.
- Слава нашему учителю! — автоматически повторили все.

Ко мне подошел тот, которого называли Дейнисом. Он уселся на койке напротив меня и глухим, усталым голосом спросил:

- Какое образование ты имеешь?
  - Я профессор физики.
  - Знаешь ли ты биологию?
  - Очень поверхностно.
  - Психологию?
  - Еще хуже.
  - Нейропсихологию?
  - Не знаю совсем.
  - Кибернетику?
  - Смутно.
  - Нейрокибернетику и общую теорию биологического регулирования?
  - Ни малейшего представления.
- В комнате послышался возглас удивления.
- Плохо, — глухо промычал Дейнис. — Он не поймет.
  - Да рассказывайте же! Я постараюсь понять.
  - Он поймет после первых двадцати сеансов генератора! — воскликнул кто-то.
  - Я понял после пяти! — крикнул другой.
  - Еще лучше, если он два раза побудет между стенками.
  - Все равно, Дейнис, рассказывайте, — настаивал я. Мне почему-то становилось жутко.
  - Итак, новичок, понимаешь ли ты, что такое жизнь?

- Я долго сидел молча, глядя на Дейниса.
- Жизнь — это очень сложное явление природы, — наконец произнес я.

Кто-то громко хихикинул. За ним хихикинул еще один. Затем еще и еще. Все обитатели палаты смотрели на меня, как на человека, сказавшего непристойную

глупость. Один Дейнис смотрел на меня укоризненно и покачивал головой.

— Плохи твои дела. Тебе придется многому учиться, — сказал он.

— Если я сказал неправильно, то объясни.

— Объясни ему, Дейнис, объясни! — закричали со всех сторон.

— Хорошо. Слушай. Жизнь — это непрерывная циркуляция кодированных электрохимических возбуждений по нейронам твоего организма.

Я задумался. Циркуляция возбуждений по нейронам. Где-то когда-то я слышал нечто подобное.

— Дальше, Дейнис, дальше.

— Все твои ощущения, которые составляют сущность твоего духовного «я», — это электрохимические импульсы, двигающиеся от рецепторов в высшие регуляторы головного мозга и после обработки возвращающиеся к эффекторам.

— Ну? Объясни дальше.

— Всякое ощущение внешнего мира передается по первым волокнам в мозг. Одно ощущение отличается от другого формой кода и его частотой, а также скоростью распространения. Эти три параметра определяют качество, интенсивность и время действия ощущения. Понял?

— Допустим.

— Следовательно, жизнь — это и есть движение закодированной информации по твоим нервам. Ни больше ни меньше. Мышление есть не что иное, как циркуляция частотно-модулированной информации по нейронным петлям в центральных областях нервной системы, в мозгу.

— Я этого не понимаю.

— Мозг состоит примерно из десяти тысяч нейронов, являющихся аналогами электрических реле. Они соединены в группы и кольца волокнами, называемыми аксонами. По аксонам возбуждения передаются от одного нейрона к другому, от одной группы нейронов к другой. Блуждание возбуждений по нейронам и есть мысль.

Мне стало еще более страшно.

— Он ничего не поймет до тех пор, пока не побывает под генератором или между стенками! — закричали вокруг.

— Хорошо, допустим, ты прав. Что из этого следует? — спросил я Дейниса.

— А то, что жизнь можно делать какой угодно. При помощи импульсных генераторов, которые возбуждают нужные коды в нейронных петлях. Это имеет огромное практическое значение.

— Объясни, какое, — пропшептал я, чувствуя, что сейчас я узнаю нечто такое, что откроет мне существование деятельности фирмы Крафтштутта.

— Лучше всего это объяснить на примере стимуляции математической деятельности. В настоящее время в отсталых странах создают так называемые электронные счетно-решающие машины. Количество триггеров, или реле, из которых такие машины состоят, не превышает пяти-десяти тысяч. Математические разделы мозга человека содержат около миллиарда таких триггеров. Никогда и никто не сможет построить машину с таким количеством триггеров.

— Ну и что же?

— А то, что значительно выгоднее использовать для решения математических задач аппарат, который создан самой природой и который лежит вот здесь, — Дейнис провел рукой по надбровным дугам, — чем строить жалкие дорогостоящие машины.

— Но машины работают быстрее! — воскликнул я, — Нейрон, насколько я знаю, может быть возбужден не более двухсот раз в секунду, а электронный триггер — миллионы раз в секунду. Поэтому быстродействующие машины выгоднее.

Вся палата снова грохнула от смеха. Один Дейнис оставался серьезным.

— Это не так. Нейроны можно тоже заставить возбуждаться с любой частотой, если подводить к ним с достаточно высокой частотой возбуждение. Это можно делать при помощи электростатического генератора, работающего в импульсном режиме. Если мозг поместить в поле излучения такого генератора, его можно заставить работать как угодно быстро.

— Так вот каким образом зарабатывает фирма Крафтштутта! — воскликнул я и вскочил на ноги.

— Он наш учитель! — вдруг заголосили все. — Повторяй, новичок. Он учитель!

— Не мешайте ему понимать! — вдруг прикрикнул на всех Дейнис. — Придет время, и он поймет, что господин Крафтштутт наш учитель. Он еще ничего не знает. Слушай, новичок, дальше. Всякое ощущение имеет свой код, свою интенсивность и свою продолжительность. Ощущение счастья — частота пятьдесят пять герц в секунду, с кодовыми группами по сто импульсов. Ощущение горя — частота шестьдесят два герца, со скважностью в одну десятую секунды между посылками. Ощущение веселья — частота сорок семь герц, возрастающих по интенсивности импульсов. Ощущение грусти — частота двести три герца, боли — сто двадцать три герца, любви — четырнадцать герц, поэтическое настроение — тридцать один, гнева — восемьдесят пять, усталости — семнадцать, сонливости — восемь и так далее. Кодированные импульсы этих частот двигаются по специфическим петлям нейронов, и благодаря этому ты ощущаешь все то, что я назвал. Все эти ощущения можно вызвать при помощи импульсного генератора, созданного нашим учителем. Он открыл нам глаза на то, что такая жизнь. До него люди жили во мраке и в неведении о самих себе...

От этих объяснений у меня помутилось в голове. Это был или бред, или нечто такое, что действительно открывало новую страницу в жизни человечества. Сейчас я в этом еще не мог разобраться. Голова шумела от наркоза, который мне дали в кабинете Крафтштутта. Я вдруг почувствовал себя очень усталым и прилег на кровать, закрыв глаза.

— У него доминирует частота в семь-восемь герц. Он хочет спать! — крикнул кто-то.

— Пусть спит. Завтра он начнет постигать жизнь. Завтра его поведут под генератор.

— Нет, завтра будут снимать его спектр. На него составят карточку. Может быть, у него есть отклонения от нормы.

Это было последнее, что я услышал. После этого я забылся.

**6** Человек, с которым я встретился на следующий день, вначале показался мне симпатичным и умным. Когда меня ввели в его кабинет на втором этаже главного здания фирмы, он, широко улыбаясь, пошел ко мне навстречу с протянутой рукой.

— А, профессор Раух, рад вас видеть!

— Добрый день, — ответил я сдержанно. — С кем имею честь разговаривать?

— Называйте меня просто Больц, Ганс Больц. Наш шеф поручил мне довольно неприятную задачу — от его имени извиниться перед вами.

— Извиниться? Разве вашего шефа могут терзать угрызения совести?

— Не знаю. Право, не знаю, Раух. Том не менее он приносит вам свои искренние извинения за все случившееся. Он погорячился. Он не любит, когда ему напоминают о прошлом.

Я усмехнулся.

— Я ведь пришел к нему вовсе не для того, чтобы напоминать ему о его прошлом. Если хотите, меня интересовало другое. Я хотел познакомиться с людьми, которые так блестяще репили...

— Присаживайтесь, профессор. Именно об этом я и хочу с вами поговорить.

Я уселся на предложенный мне стул и начал рассматривать улыбающегося господина Больца, сидевшего против меня за широким письменным столом. Это был типичный северный немец, с продолговатым лицом, светлыми волосами и большими голубыми глазами. В руках он вертел портсигар.

— Здесь, у шефа, я заведую математическим отделом, — сказал он.

— Вы? Вы математик?

— Да, немного. Во всяком случае, я кое-что смыслю в этой науке.

— Значит, через вас я смогу познакомиться с теми, кто решал мои уравнения...

— Да вы с ними уже знакомы, Раух, — сказал Больц.

Я в недоумении уставился на него.

— Вы провели с ними вчера весь день и сегодня всю ночь.

Я вспомнил палату с людьми, бредившими импульсами и кодами.

— И вы хотите меня уверить, что эти сумасшедшие и есть гениальные математики, решившие мои максвелловские уравнения? — Не дожидаясь ответа, я расхохотался.

— Тем не менее это они и есть. Вашу последнюю задачу решил некий Дейнис. Кажется, он вчера вечером преподал вам урок нейрокибернетики.

Подумав немного, я произнес:

— В таком случае я отказываюсь что-нибудь понимать. Может быть, вы мне разъясните.

— Охотно, Раух. Но только после того, как вы прочтете вот это. — И Больц протянул мне свежую газету.

Я медленно развернул ее и вдруг вскочил со стула. С первой страницы на меня смотрело... мое собственное лицо, заключенное в черную рамку. Под моим портретом значился огромный заголовок: «Трагическая гибель профессора физики доктора Рауха».

— Что это значит, Больц? Что это за комедия? — воскликнул я.

— Пожалуйста, успокойтесь. Все очень просто. Вчера вечером, когда вы возвращались с прогулки на озере и проходили по мосту через реку, на вас напали два бежавших из «Приюта мудрецов» сумасшедших, убили вас, обезобразили ваш труп и выбросили в реку. Сегодня утром вас нашли у плотины. Ваша одежда, ваши вещи и документы подтвердили, что найденный — это вы. Сегодня полиция наводила справки в «Приюте», и все обстоятельства вашей трагической гибели разъяснились.

Я обратил внимание на свою одежду, потрогал карманы и только сейчас убедился, что костюм на мне был чужой, а мои вещи и документы из карманов исчезли.

— Но ведь это же наглая ложь!

— Да, да, да. Я с вами вполне согласен. Но что делать, Раух, что делать? Фирма Крафтштудта без вас может потерпеть серьезное поражение, если хотите — крах. Мы получили такую уйму заказов! Все они военного характера и большой стоимости. Нужно считать, считать и считать. После решения первых задач для военного министерства нас буквально завалили математическими расчетами.

— И вы хотите, чтобы я тоже стал, как ваш Дейнис и другие?

— Нет. Конечно, нет, Раух.

— Так зачем вы все это придумали?

— Вы нам нужны как преподаватель математики.

— Преподаватель?

Я снова вскочил. Больц закурил сигарету и кивнул мне в сторону стула. Я сел, ничего не соображая.

— Нам нужны математические кадры, профессор Раух. Без них мы сядем на мель.

Я молча уставился на Больца, который мне теперь уже не казался таким симпатичным, как прежде. В его светлом и ничем не примечательном лице я начал замечать какие-то тонкие звериные черточки, едва уловимые, но постепенно доминировавшие над тем, что делало его физиономию ясной и открытой с первого взгляда.

— Ну, а если я откажусь? — спросил я.

— Это будет очень плохо. Боюсь, тогда вам придется стать одним из наших... вычислителей.

— А разве это так уж плохо? — спросил я.

— Да, — ответил Больц твердо и встал. — Это означало бы, что вы окончите свое существование в «Приюте мудрецов».

Пройдясь несколько раз по комнате, Больц заговорил тоном лектора:

— Расчетные способности человеческого мозга в сотни тысяч раз больше, чем у электронной счетно-решающей машины. Миллиард математических клеток коры головного мозга плюс весь вспомогательный аппарат — память, линии задержки, логика, интуиция и так далее — все это ставит человеческий мозг в выдающее-

ся положение по сравнению с любой, даже самой совершенной машиной. Однако у машины есть одно существенное преимущество.

— Какое? — спросил я, не понимая, к чему он клонит.

— Если у электронной машины выйдет из строя, скажем, одна триггерная ячейка или даже целый регистр, вы можете поменять лампы, заменить сопротивления или емкости, и машина снова заработает. А вот если в голове вылетит одна или группа клеток, выполняющих вычислительные функции, заменить их, увы, нельзя. К сожалению, мы вынуждены заставлять мозговые триггеры работать очень интенсивно, а поэтому, если так можно выразиться, скорость их срабатывания заметно увеличивается. Живой вычислительный аппарат очень быстро изпашивается, и...

— И что тогда?

— Тогда вычислитель попадает в «Приют».

— Но ведь это же бесчеловечно! Это преступление! — закричал я.

Больц остановился передо мной, положил руку на мое плечо и, широко улыбаясь, произнес:

— Раух, здесь вы должны забыть все эти слова и понятия. Если вы их не забудете сами, мы вытравим их из вашей памяти.

— Этого вам никогда не удастся сделать! — закричал я, отшвыривая его руку.

— Плохо вы усвоили лекцию Дейниса. А зря. Он говорил дело. Кстати, вы знаете, что такое память?

— Какое это имеет отношение к нашему разговору? Какого черта все вы здесь кривляетесь? Зачем вы...

— Память, профессор Раух, — это длительное существование возбуждения в группе нейронов благодаря положительной обратной связи. Электрохимическое возбуждение, которое циркулирует у вас в голове по данной группе клеток в течение длительного периода, и есть память. Вы физик, интересующийся электромагнитными процессами в сложных средах, и вы не понимаете, что путем наложения на вашу голову подходящего электромагнитного поля мы можем приостановить циркуляцию возбуждения в любой группе клеток! Нет

ничего проще! Мы можем заставить вас не только забыть все то, что вы знаете, но и вспомнить то, чего вы никогда не знали. Однако не в наших интересах прибегать к таким... э... искусственным приемам. Мы надеемся на ваше благородство. Фирма будет платить вам солидную долю своих дивидендов.

— Что я должен делать? — спросил я.

— Я уже сказал: преподавать математику. Из числа безработных мы набираем классы в двадцать-тридцать человек, наиболее способных к математике. Затем мы их обучаем высшей математике в течение двух-трех месяцев...

— Это невозможно, — заявил я, — это абсолютно невозможно. За такой короткий срок...

— Это возможно, Раух. Имейте в виду, что вы будете иметь перед собой весьма понятливую аудиторию, с хорошим соображением и чудесной математической памятью. Об этом мы позаботимся. Это в наших силах...

— Тоже искусственно! При помощи импульсного генератора? — спросил я.

Больц кивнул головой.

— Итак, соглашаетесь?

Я крепко сжал веки и задумался. Значит, Дейнис и все его друзья по палате нормальные люди и все то, что они вчера мне говорили, правда. Значит, эта компания действительно научилась командовать человеческими мыслями, волей и чувствами при помощи электромагнитных импульсных полей, для того чтобы наживать себе капитал. Я чувствовал, что Больц смотрит на меня внимательно, и я должен был немедленно принять решение. Это было чудовищно трудно. Если я соглашусь, мне придется обучать людей математике для того, чтобы затем их искусственным путем заставляли форсированно расходовать свои умственные способности до полного их истощения, до полного износа живого вещества мозга, после чего они навсегда уйдут в «Приют». Если я откажусь, это же произойдет со мной.

— Итак, вы соглашаетесь? — повторил Больц, тронув меня за плечо.

— Нет, — решительно заявил я. — Нет. Я не могу быть соучастником в этом отвратительном деле.

— Как хотите, — вздохнул он. — Очень сожалею.

Через минуту он деловито встал из-за стола, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Эйдер, Шранк, зайдите сюда!

— Что вы собираетесь со мной делать? — спросил я, вставая.

— Для начала мы снимем импульсно-кодовый спектр вашей нервной системы.

— То есть?

— То есть составим карточку, в которую будут записаны форма, интенсивность и частота импульсов, ответственных за каждое ваше душевное и интеллектуальное состояние.

— Но я не позволю. Я буду протестовать. Я...

— Проводите профессора в испытательную лабораторию, — безразличным голосом произнес Больц и отвернулся от меня к окну.

**7** Вступая в пределы испытательной лаборатории фирмы Крафтштутда, я пришел к решению, которому суждено было в конце концов сыграть выдающуюся роль во всей этой гнусной истории. Я рассуждал так. Сейчас со мной будут делать нечто такое, что даст в руки Крафтштутту и его банде сведения о моем внутреннем духовном мире. Они будут пытаться установить, какими формами электромагнитного воздействия на мою нервную систему можно во мне вызвать те или иные эмоции, переживания и ощущения. Если им это удастся, тогда я буду окончательно в их власти. Если же нет, то я смогу сохранить за собой какую-то долю своей самостоятельности, которой они управлять не смогут. Это мне может в дальнейшем пригодиться. Следовательно, я должен буду изо всех сил стараться спутать карты этих ультраучченых бандитов, обманывая их, насколько это будет в моих силах. А это, должно быть, в какой-то степени возможно. Ведь недаром вчера в палате я слышал, как один из

рабов Крафтштутта заявил, что импульсно-кодовая характеристика человека индивидуальна, за исключением математического мышления.

Меня ввели в большую комнату. Однако она казалась очень тесной из-за громоздких приборов, заполнивших ее. Комната напоминала управление небольшой электростанции. В центре располагался пульт с приборными досками и шкалами. Слева, за металлической сеткой, находился большой трансформатор, и на фарфоровых панелях тлело красноватым светом несколько генераторных ламп. На металлической сетке, экранирующей генератор, были укреплены вольтметр и амперметр. По их показаниям, по-видимому, определялась мощность, отдаваемая генератором. В самом центре возвышалась цилиндрическая кабина, состоявшая из двух металлических частей — верхней и нижней, соединенных средней частью из прозрачного изолирующего материала.

Двое моих провожатых подвели меня к кабине. Из-за пульта управления встали два человека. Один из них был тот самый доктор, который провожал меня к Крафтштутту и который дал мне наркоз. Второй — неизвестный мне сутулый старичок с гладко зализанными редкими волосами на желтом черепе.

— Нужно снять спектр, — сказал один из провожатых.

— Не уговорили, — произнес доктор грубо. — Я так и знал. Я сразу определил, что Раух относится к типу сильных натур. Нужно было этого ожидать. Вы плохо кончите, Раух, — сказал он, обращаясь ко мне.

— Вы тоже, — ответил я.

— Ну, это еще неизвестно, а вот в отношении вас — точно.

Я пожал плечами.

— Вы проделаете всю процедуру добровольно или вас придется к этому принуждать? — спросил он, окидывая меня наглым взглядом.

— Добровольно. Мне, как физику, это даже интересно.

— Прекрасно. В таком случае снимите ботинки и разденьтесь до пояса. Прежде всего я должен

vas осмотреть, выслушать, измерить кровяное давление.

Я разделся. Первая часть «снятия спектра» представляла собой обычный врачебный осмотр: «дышите, не дышите», и так далее. Я знал, что все это ничего не расскажет им о моем душевном состоянии.

Когда осмотр окончился, доктор заявил:

— Входите в кабину. Здесь у вас микрофон. Отвечайте на все мои вопросы. Предупреждаю вас: при одной из частот вы почувствуете нестерпимую боль. Но это мгновенно пройдет, как только вы закричите.

Голыми ногами я стал на фарфоровый пол кабинки, и она бесшумно задвигнулась. Над головой загорелась электрическая лампочка. Загудел генератор. Он работал в очень низкочастотном импульсном режиме. Напряженность поля, по-видимому, стала очень высокой. Я это чувствовал по медленным приливам и отливам тепла во всем моем теле. В суставах с каждым электромагнитным импульсом как-то странно пощипывало. Мускулы в такт с импульсами то напрягались, то ослабевали. Сжимались не только мускулы у самой поверхности кожи, но и в глубине тела.

Генератор заработал еще более интенсивно, и частота теплых волн увеличилась.

«Начинается, — подумал я. — Только бы устоять!»

При частоте в восемь герц мне захочется спать. Неужели моя воля не сможет воспротивиться этому воздействию? Неужели я не смогу обмануть этих «исследователей» в первом пункте их «спектра»? Частота увеличивалась медленно. Мысленно про себя я считал количество теплых наплывов в секунду. Вот их уже один в секунду, два, три, четыре... больше, еще больше. На меня начала наваливаться сонливость, но я сжал зубы, стараясь не уснуть. Сон надвигался, как тяжелая липкая глыба, все члены отяжелели, глаза закрывались. Казалось, вот-вот я упаду. Я изо всех сил прикусил язык, стараясь болью отогнать тяжелое чувство сонливости. В это время, как издалека, я услышал чей-то голос:

— Раух, как вы себя чувствуете?

— Благодарю, хорошо. Немного прохладно, — сол-

гал я. Мой голос показался мне самому незнакомым. Изо всех сил я продолжал кусать губы и язык.

— Вам спать не хочется?

— Нет, — ответил я и про себя подумал: «Еще минута, и я усну...»

И вдруг сонливость точно рукой сняло. Частота импульсов, видимо, увеличилась, перейдя через первый критический барьер. Я вдруг почувствовал себя свежим и бодрым, как это бывает после того, как хорошо выспишься. «Теперь нужно заснуть», — решил я и, закрыв глаза, громко засопел. Я слышал, как доктор говорил своему сообщнику:

— Странный случай. Вместо восьми с половиной герц сон наступает при десяти. Пфафф, запишите эти данные, — сказал он старику. — Раух, ваше самочувствие?

Я молчал, продолжая громко сопеть, расслабив все мускулы и упервшись коленями в стенку кабины.

— Пошли дальше, — наконец произнес доктор. — Увеличьте частоту, Пфафф.

Через секунду я «проснулся». В частотной полосе, которую я сейчас проходил, мне пришлось испытать сложную гамму самых различных ощущений и смен настроений. Мне становилось то грустно, то весело, то радостно, то тоскливо.

«Теперь пора кричать», — почему-то решил я.

В тот момент, когда генератор взревел сильнее, я завопил что было мочи. Не помню, какой частоте это соответствовало, но только, услышав мой крик, доктор громко скомандовал:

— Убрать напряжение! Первый раз встречаюсь с таким сумасшедшшим. Запишите. Боль при семидесяти пяти герцах, когда у нормальных людей бывает при ста тридцати. Пошли дальше.

«Через частоту сто тридцать мне еще придется пройти... Только бы вытерпеть это...»

— Теперь, Пфафф, проверьте его на девяносто третий.

Когда была установлена эта частота, со мной случилось нечто совершенно неожиданное. Я вдруг вспомнил уравнения, которые я передавал для решения

Крафтштудту, и с изумительной ясностью представил себе весь ход их решения. «Это и есть частота, стимулирующая математическое мышление», — пронеслось в голове.

— Раух, назовите мне первые пять членов функции Бесселя второго рода, — услышал я приказание доктора.

Я выпалил ответ как из пулемета. Ясность в голове была кристальной. Тело наполнилось чудесным, радостным чувством того, что ты все знаешь и все помнишь.

— Назовите первые десять знаков числа «пи» после запятой.

Я ответил и на этот вопрос.

— Решите кубическое уравнение.

Доктор продиктовал уравнение с неуклюжими дробными коэффициентами.

Ответ я нашел за две-три секунды, назвав все три корня.

— Пошли дальше. Здесь у него как и у всех нормальных людей.

Частота медленно повышалась. В один из моментов я вдруг захотел плакать. К горлу подкатил горький комок, слезы потекли из глаз. И тогда я расхохотался. Я хотстал изо всех сил, как будто бы меня щекотали. Я смеялся, а слезы все текли и текли...

— Опять идиотский случай... Не как у всех. Я сразу определил, что это сильный нервный тип со склонностью к неврозам. Когда же он заревет?

«Заревел» я тогда, когда плакать мне вовсе не хотелось. На душе вдруг стало радостно и безоблачно, как при легком опьянении. Хотелось петь песни и смеяться. Хотелось прыгать от радости. Все — и Крафтштудт, и Больц, и Дейнис, и доктор — казались хорошими, добродушными людьми. И вот в этот момент усилием воли я заставил себя всхлипывать и громко сморкаться. Рыдал я отвратительно, но достаточно убедительно, чтобы вызвать очередные комментарии доктора:

— Все наоборот. Нет ничего похожего на нормальный спектр. С этим нам придется повозиться.

«Скоро ли будет частота сто тридцать?» — с ужасом

подумал я, когда радостное и беззаботное настроение снова сменилось состоянием безотчетного беспокойства, волнения, ощущением того, что вот-вот должно что-то произойти, что-то неизбежное и страшное... В это время я замурлыкал про себя какую-то песню. Делал я это механически, не думая, а сердце билось все сильнее и сильнее в предчувствии страшной, роковой неизбежности.

Когда частота генератора приблизилась к той, которая вызывает возбуждение болевых ощущений, я это почувствовал сразу. Вначале сильно заныли суставы большого пальца правой руки, затем я почувствовал острую резь в ране, которую получил на фронте. Через секунду мучительная, острая и колющая боль распространилась по всему телу. Она проникла в глаза, зубы, в мускулы, наконец, в мозг. Кровь бешено застучала в ушах. Неужели не выдержу? Неужели не хватит воли совладать с этой кошмарной болью и не показать, что я чувствую? Ведь существовали же люди, которые умирали под пытками, не издав ни единого стона. История знает героев, которые молча умирали на кострах...

А боль все нарастала и нарастала. Наконец, она достигла своего апогея; казалось, весь организм превратился в один силошной клубок раздираемых на клочки нервов. Перед глазами поплыли фиолетовые кольца, я почти терял сознание, по молчал.

— Ваши ощущения, Раух? — опять как из-под земли услышал я голос доктора.

— Дикое ощущение злобы, — процедил я сквозь зубы, — если бы вы мне сейчас попались...

— Пошли дальше. Он совершенно ненормальный человек. У его все наоборот, — повторил свое заключение доктор.

Когда я уже терял сознание, когда готов был закричать, застонать, боль внезапно исчезла. Все тело покрылось холодным липким потом. Мускулы дрожали.

В дальнейшем при какой-то частоте я вдруг увидел несуществующий ослепительно яркий свет, который не исчез и тогда, когда я крепко зажмурил глаза, затем я пережил ощущение волчьего голода, потом услышал сложную гамму оглушительных звуков, потом стало

холодно, как будто бы меня совершенно раздетым вывели на мороз.

Я предвидел, что все эти ощущения я должен буду перенести, и поэтому на все вопросы доктора отвечал невпопад, чем вызывал бурные комментарии с его стороны.

Я знал, что мне предстояло испытать еще одно страшное ощущение, — потерю воли. Именно воля до настоящего момента меня спасала. Она помогала мне бороться со всеми теми чувствами, которые искусственным путем вызывали во мне мои мучители. Но ведь они при помощи своего адского импульсного генератора доберутся и до нее. Как они установят, что она у меня потеряна? Я ждал этого момента с волнением. И он наступил.

Как-то внезапно я почувствовал, что мне все безразлично. Безразлично, что я нахожусь в лапах шайки Крафтштудта, безразличны все окружающие его люди, безразличен я сам. Голова стала совершенно пустой. Все мышцы расслабились. Ощущения исчезли. Это было состояние полного физического и душевного опустошения. Ничто не радовало, ничто не волновало. Я не мог заставить себя ни о чем думать, трудно было поднять руку, пошевелить ногой, повернуть голову. Это было какое-то ужасающее безволие, при котором с человеком можно делать все, что угодно.

И тем не менее где-то в самом затаенном уголке сознания теплилась крохотная искорка мысли, которая настойчиво мне говорила: «Нужно... Нужно... Нужно...»

«Что нужно? Зачем? Для чего?» — возражало все мое существо. «Нужно... Нужно... Нужно...» — твердила, как мне казалось, единственная клеточка моего сознания, которая каким-то чудом оказывалась недосягаемой для этих всемогущих электромагнитных импульсов, творивших с моими нервами все, что хотели палачи из компании Крафтштудта.

Впоследствии, когда я узнал о существовании теории центроэнфалической системы мышления, согласно которой само мышление, все клетки коры головного мозга, в свою очередь, глубоко централизованы и в своей деятельности подчиняются одной, центральной,

управляющей группе клеток, я понял, что это верховная психическая власть остается не подверженной даже самым сильным физическим и химическим воздействиям извне. Именно она, по-видимому, меня и спасла. Потому что, когда доктор мне вдруг приказал: «Вы будете сотрудничать с Крафтштудтом, — я ответил:

- Нет.
- Вы будет делать все, что вам прикажут.
- Нет.
- Ударьтесь головой о стенку.
- Нет.
- Пошли дальше. Заметьте, Пфафф, он ненормальный тип. Но мы доберемся и до него.

Я симулировал потерю воли при той частоте, когда у меня в действительности появилось ощущение огромной силы воли, когда я почувствовал, что могу совершить любые действия, могу заставить себя сделать все, что угодно. В это время я был переполнен душевными силами, которые могли мобилизовать меня на самые отважные поступки. Проверяя мои отклонения от «нормального» спектра, доктор остановился и на этой частоте.

- Если ради счастья людей вам понадобится отдать жизнь, вы сделаете это?
- Зачем? — спросил я вялым голосом.
- Вы можете совершить самоубийство?
- Могу.
- Вы хотели бы убить военного преступника, оберштурмфюрера Крафтштудта?
- Зачем?
- Вы будете сотрудничать с нами?
- Буду.
- Черт знает что такое! С таким случаем я встречаюсь, наверное, в первый и последний раз. При частоте сто семьдесят пять — потеря воли. Запишите. Пошли дальше.

Это «далнее» продолжалось еще около получаса. После этого частотный спектр моей нервной системы был составлен. Теперь доктор «знал» все частоты, при помощи которых у меня можно было вызвать любое ощущение и духовное состояние. Во всяком случае, он

думал, что знал. В действительности истинной была только та частота, которая стимулировала мои математические способности. Но это было и мне крайне необходимо. Дело в том, что я задумал план, как сделать так, чтобы преступная фирма Крафтштутта взлетела на воздух. В выполнении этого плана математике предстояло сыграть не последнюю роль.

**8** Известно, что гипнозу и внушению лучше всего поддаются слабовольные люди. Именно это обстоятельство использовал персонал вычислительного центра Крафтштутта: они им пользовались для «воспитания» своих вычислителей в духе покорности и благоговейного страха перед их «учителем».

Прежде чем засадить за работу, меня должны были воспитать. К этому они не могли приступить сразу из-за моего «ненормального» спектра. Ко мне требовался индивидуальный подход.

Пока для меня где-то готовилось специальное рабочее место, я пользовался относительной свободой перемещения. Мне было разрешено выходить из жилой палаты в коридор и заглядывать в классы, где учились и работали мои товарищи.

Я не мог принимать участия в коллективных молитвах между стенками огромного алюминиевого конденсатора, где все жертвы Крафтштутта каждое утро в течение тридцати минут воздавали хвалу главе фирмы. Они, лишенные воли и соображения, уныло повторяли слова, которые кто-то читал им по радио.

— Радость и счастье жизни — в познании себя, — говорил голос из радиорепродуктора.

— Радость и счастье жизни — в познании себя, — хором повторяли двенадцать склонившихся на колени мужчин, чья воля была убита переменным электрическим полем, циркулирующим между стенками.

— Постигая тайны циркуляции импульсов по петлям первых волокон, мы познаем счастье и радость.

— ...счастье и радость, — повторял хор.

— Как чудесно, что все так просто! Какое наслаждение сознавать, что любовь, страх, боль, ненависть,

голод, тоска, веселье — это только движение электрохимических импульсов в нашем теле!

— ...в нашем теле...

— Как свободно и легко ты себя чувствуешь, зная, что такое чувствовать!

— ...чувствовать...

— Как жалок тот человек, который не знает этой великой истины.

— ...великой истины... — повторяли уныло безвольные рабы.

— Наш учитель и спаситель господин Крафтштудт подарил нам это счастье!

— ...счастье...

— Он дал нам жизнь.

— Он дал нам жизнь.

— Он открыл нам простую истину о самих себе. Пусть вечно здравствует наш учитель и спаситель!

Я слушал эту дикую молитву, заглядывая через стеклянную дверь класса.

Вялые, расслабленные люди с полузакрытыми глазами тупо повторяли бредовые сентенции. Электрический генератор, находившийся в десяти шагах от них, насилино вталкивал в лишенное сопротивления сознание покорность и страх. В этом было что-то нечеловеческое, гадкое до предела, скотское и одновременно утонченно жестокое. Глядя на жалкую толпу человеческих существ с отнятой волей, невольно представляешь себе отравленных алкоголем или наркотиком людей. Химические яды, проникаваясь с кровью между клетками головного мозга, убивают одни и уродуют другие, и человек перестает быть человеком, теряет свое достоинство и величие, превращается в животное.

Здесь, между двумя сияющими алюминиевыми стенками, роль яда выполняли неизримые электромагнитные волны, которые проникали в самые затаенные клетки организма, заставляли угасать одни и стимулировали работу других, тех, которые были необходимы палачам.

После молитвы двенадцать жертв переходили в просторный зал, вдоль стен которого стояли письменные столы. Над каждым столом с потолка свешивалась

круглая алюминиевая пластина, служившая частью гигантского конденсатора. Вторая пластина, по-видимому, находилась в полу.

Этот зал с висящими над столами алюминиевыми зонтиками чем-то напоминал кафе на открытом воздухе. Однако при виде людей, сидящих под зонтиками, это идиллическое впечатление моментально исчезало.

Каждый из них находил на своём столе лист бумаги с условиями задачи, которую нужно было решать. Вначале вычислители бессмысленно смотрели на выписанные формулы и уравнения. В это время они еще находились под действием частоты, лишившей их воли. Но вот включалась частота девяносто три герца, и голос по радио приказывал:

— Теперь начинайте работу!

И все двенадцать человек, схватив блокноты и карандаши, начинали лихорадочно писать. Это нельзя назвать работой. Это походило на какое-то исступление, на математическую истерику, на патологический приступ математической лихорадки. Люди извивались и корчились над блокнотами. Их руки носились по строкам так, что невозможно было уследить за тем, что они пишут. От напряжения их лица становились багровыми, глаза вылезали из орбит.

Так продолжалось около часа. Затем, когда движения их рук становились угловатыми и порывистыми, когда головы начинали почти касаться стола, а на вытянутых шеях вздувались фиолетовые вены, генератор переключался на частоту восемь герц. Все моментально засыпали.

Крафтиштутт заботился об отдыхе своих рабов!

Затем все начиналось сначала.

Наблюдая эту страшную картину математического исступления, я был свидетелем того, как один из вычислителей не выдержал...

Следя за ним сквозь стеклянное окно, я вдруг заметил, что он перестал писать. Он странно повернулся в сторону своего лихорадочно работавшего соседа и несколько секунд бессмысленно смотрел на него, как бы силясь что-то вспомнить. Казалось, будто он забыл

что-то очень необходимое для дальнейшего решения задачи.

Затем он закричал страшным гортанным голосом и стал рвать на себе одежду, бился головой об угол письменного стола... Потом он лишился сознания и упал на пол.

Остальные вычислители не обращали на него никакого внимания, продолжая лихорадочно скрипеть перьями.

При виде этого я пришел в такую ярость, что стал колотить кулаком в запертую дверь. Мне хотелось крикнуть несчастным, чтобы они бросили свою работу, вырвались из этого проклятого помещения, взбунтовались и уничтожили своих мучителей...

— Не стоит нервничать, господин Раух, — услышал я спокойный голос рядом с собой.

Это был Больц.

— Вы палачи! Что вы делаете с людьми? Какое право вы имеете так издеваться над ними?

Он улыбнулся своей мягкой интеллигентной улыбкой и сказал:

— Вы помните миф об Ахиллесе? Боги предложили ему сделать выбор между жизнью долгой, но спокойной, и короткой, но бурной. Он выбрал последнюю. Эти люди тоже.

— Они не делали никакого выбора. Это вы с помощью вашего импульсного генератора заставляете их расточать свою жизнь и очертя голову мчаться к самоуничтожению во имя ваших прибылей!

Больц расхохотался.

— А разве вы не слышали от них самих, что они счастливы? И они действительно счастливы. Смотрите, в каком самозабвении они работают. Разве счастье не в творческом труде?

— Мне противны ваши рассуждения! Общеизвестно, что существует естественный темп жизни человека и всякие попытки его ускорить являются преступными.

Больц опять засмеялся.

— Вы нелогичны, профессор. Раньше люди ходили пешком и ездили на лошадях, теперь они летают на реактивных самолетах. Раньше новости передавались

из уст в уста, от человека к человеку, годами ползли по миру, а теперь люди мгновенно все узнают по радио и по телефону. Это примеры того, как современная цивилизация ускоряет темп жизни. И вы не считаете это преступлением. А кино, а печать, а сотни искусственных удовольствий и наслаждений — разве это не ускорение темпа жизни? Так почему же искусственное ускорение функций живого организма вы считаете преступлением? Я уверен, что эти люди, живя естественной жизнью, не сделали бы и миллионной доли того, что они делают сейчас. А смысл всей жизни, как известно, состоит в творческом труде на благо человека. Вы в этом сами убедитесь, когда примкнете к ним. Скоро и вы поймете, в чем радость и счастье. Дня через два. Для вас готовят специальное помещение. Вы там будете работать один, так как вы, извините, несколько отличаетесь от нормальных людей.

Больц фамильярно похлопал меня по плечу и оставил одного размышлять над его бесчеловечной философией.

**9** В соответствии со «спектром» меня начали «воспитывать» при той частоте, когда моя воля могла мобилизовать меня на любой, самый безрассудный подвиг. Поэтому мне ничего не стоило совершить и такой геройзм, как симулировать потерю воли. Я бездумно стоял на коленях и уныло повторял за радиорепродуктором молитвенную белиберду, прославлявшую Крафтштутта. Кроме молитвы, мне, как новичку, внушили некоторые истины из нейрокибернетики. Нелепый смысл этого учения заключался в том, что мне надлежало запомнить, каким частотам импульсов соответствуют те или иные чувства человека. В моих планах на будущее решающее значение принадлежало частоте, которая стимулирует математические способности, и еще одной, которая, к моему счастью, оказалась близкой к девяноста трем герцам.

«Воспитание» продолжалось неделю, и, когда я стал выглядеть достаточно покорным, меня засадили за работу. Первая задача, которую мне дали решить, за-

ключалась в анализе возможности сбивать в пространстве над землей межконтинентальные ракеты.

Весь расчет я выполнил за два часа. Результат был неутешительным: сбить межконтинентальную ракету невозможно.

Вторая задача, тоже военного характера, касалась расчета нейтронных пучков, необходимых для подрыва атомных бомб противника. Здесь тоже ответ получился грустным. Нейтронная пушка должна весить несколько тысяч тонн. С ней к складам атомных бомб противника не подберешься!

Я решил задачи действительно с огромным наслаждением и, наверное, со стороны выглядел таким же одержимым, как и все остальные. Радостное чувство бодрости и веры в собственные силы не покидало меня и во время отдыха. Я делал вид, что сплю, а сам обдумывал свои планы возмездия.

Когда я покончил с задачами военного министерства, я принялся в уме (чтобы никто не знал) решать самую главную для меня математическую задачу: как взорвать вычислительный центр Крафтштутта изнутри.

«Взорвать» — это, конечно, фигулярное выражение. Ни динамита, ни тротила у меня не было, и достать его, находясь в каменном мешке «Приюта мудрецов», было невозможно. Я задумал нечто совсем другое.

Если импульсный генератор господина Пфаффа может вызвать в человеке любые чувства и эмоции, почему бы им не воспользоваться для того, чтобы воскресить в сознании несчастных жертв гитлеровцев чувство справедливого гнева и бунтарства? Если бы это можно было сделать, то эти люди сами смогли бы за себя постоять и расправиться с шайкой ультрасовременных бандитов. Но как это сделать? Как заменить частоту, стимулирующую математическую работу, на частоту, возбуждающую в человеке чувство ненависти, гнева, ярости?

Работой генератора руководил его создатель, престарелый доктор Пфафф. Я видел этого старика в тот день, когда снимали спектр моей первой системы. По-видимому, это был один из инженеров-фанатиков, который наслаждается извращенным творением своего

интеллекта. Изdevательство над человеческим достоинством являлось целью его инженерного мышления. Меньше всего я надеялся на помощь господина Пфаффа. В мои расчеты он вовсе не входил. Генератор должен был заработать на нужной мне частоте без его помощи и помимо его желания. Когда я додумался до этого, я еще раз убедился, какая великая наука — теоретическая физика! Оперируя формулами и уравнениями, она не только предсказывает течение различных физических явлений в природе, но и позволяет спасать человеческие жизни...

Действительно, импульсный генератор господина Пфаффа, какую бы схему он ни имел, излучал определенную мощность электроэнергии. Известно: если импульсный генератор перегружен, то есть если у него отбирать мощность, больше проектной, то его частота начинает вначале медленно, а потом резко падать. Значит, если к нему подключить дополнительную нагрузку в виде омического сопротивления, можно заставить его работать не на той частоте, которая указана на шкале, а на более низкой.

Математические способности вычислителей фирмы Крафтштутта эксплуатировались на частоте девяносто три герца. Чувство гнева и ярости возникает у людей в том случае, если их подвергнуть воздействию переменного поля с частотой восемьдесят пять герц. Значит, нужно как-то погасить восемь герц. Нужно рассчитать для этого дополнительную нагрузку на генератор.

Когда я был в испытательной лаборатории, я заметил показания вольтметра и амперметра на генераторе. Произведение этих величин дало мне мощность. Теперь оставалось решить математическую задачу о дополнительной нагрузке.

Я мысленно представил себе схему включения в генератор всех гигантских конденсаторов, в которых сидели несчастные люди. В уме для данной конфигурации конденсаторов я решил уравнения Максвелла и высчитал значения электрической и магнитной напряженности поля. Я ввел в эти величины поправку на энергию, которую поглощают находящиеся в конденсаторах люди, и, таким образом, установил значение той мощ-

ности, которая расходуется генератором на подстегивание умственных способностей вычислителей.

Оказалось, что у господина Пфаффа оставался запас мощности всего в полтора ватта!

Этих данных мне было достаточно, чтобы решить вопрос о том, как частоту в девяносто три герца превратить в восемьдесят пять. Для этого оказалось необходимым заземлить одну из пластин конденсатора через сопротивление в тысячу триста пятьдесят ом.

Свои уравнения Максвелла я решил в уме за сорок минут, и, когда получил результат, от радости мне захотелось кричать.

Но где достать кусок проволоки с таким сопротивлением? Это сопротивление должно быть подобрано очень точно, ибо, если оно будет другим, частота изменится не так, как нужно, и ожидаемого эффекта не будет.

Ломая голову над этой практической проблемой, от решения которой зависела судьба всего моего плана, я готов был разбить свою голову о стол. Я лихорадочно перебирал в своем мозгу всякие возможности изготовить сопротивление заданной величины и с достаточною высокой точностью, но ничего не мог придумать. Сознание бессилия перед решением задачи приводило меня в крайнее отчаяние, хотя мне все время казалось, что решение находится где-то очень близко.

И когда я сжимал голову руками и готов был захвать нечеловеческим голосом, мой взгляд вдруг упал на черный бокал из пластмассы, стоявший на краю письменного стола. В бокале находились карандаши. Там было десять карандашей, все разной окраски и все различного назначения. Я, не думая, схватил первый попавшийся и, повернув его перед глазами, прочел, что это карандаш «2В». Это означало, что он очень мягкий. Грифель мягкого карандаша содержит большое количество графита, хорошо проводящего электричество. Затем я нашел карандаш «3В», «5В», и потом пошли карандаши серии «Н» — твердые, специально для черчения под копирку. Я перебирал в руках карандаши, и мой мозг работал лихорадочно. И вдруг неведомо откуда я вспомнил удельное сопротивление карандаш-

ных грифелей: «Карандаш «5Н» имеет сопротивление грифеля две тысячи ом». Через секунду я держал в своих руках карандаш «5Н». Решение моих уравнений Максвелла было найдено не только математически, но и на практике. В своих руках я держал кусок грифеля, втиснутого в деревянную оправу, при помощи которого я собирался разделаться с шайкой фашистующих варваров.

Как это странно! Какие удивительные открытия делает математическая наука! Вначале была длинная цепь наблюдений, рассуждений, анализов, затем снова наблюдения — над реальной обстановкой, затем отвлеченные вычисления, решение уравнений, выведенных великим Максвеллом в прошлом столетии, и в результате — точный математический расчет, который показал, что для уничтожения фирмы Крафтштудта необходим... карандаш «5Н»! Разве не удивительная наука теоретическая физика?!

Я сжал в руке карандаш как величайшую драгоценность, осторожно, почти с нежностью, спрятал его в карман и принялся обдумывать, как достать два куска провода, чтобы один присоединить к пластине конденсатора, второй — к отопительной батарее в углу комнаты, а между ними закрепить грифель карандаша.

Об этом я думал не более одной минуты. Я вспомнил настольную электрическую лампу в палате, где я жил вместе со всеми вычислителями. Шнур в лампе был гибким и, следовательно, многожильным. Его можно срезать и распустить на отдельные жилы. Длина шнура около полутора метров. Значит, из него можно получить более десяти метров тонкой проволоки. Этого для меня было вполне достаточно.

Свои расчеты я закончил в тот момент, когда голос из радиорепродуктора возвестил, что нам, то есть мне и всем «нормальным» вычислителям, пора идти обедать.

**10** В палате, где мы жили, настольной лампой никто не пользовался. Она стояла в углу комнаты на высокой тумбочке, пыльная, засиженная мухами, со шнуром, обвернутым вокруг стойки.

Рано утром, когда в соответствии с распорядком дня, все пошли умываться, я столовым ножом срезал с лампы шнур и спрятал его в карман. Во время завтрака я положил нож в карман и, когда все ушли на молитву, отправился в туалет. За несколько секунд я срезал со шнура изоляцию и оголил десять тонких жил, длиной в полтора метра каждая. Затем я аккуратно расщепил карандаш, извлек из древка грифель и отломил от него три десятых части, так что оставшиеся семь десятых имели нужное мне сопротивление. На концах грифеля я сделал небольшие канавки и обмотал вокруг тонкую проволоку. Сопротивление было готово. Теперь оставалось только подключить его между пластиной конденсатора и землей.

Это нужно было сделать во время работы, в самое удобное в тактическом отношении время.

Вычислители работали по восемь часов в день, с перерывами по десять минут после каждого часа работы. После обеденного перерыва, в час дня, как правило, зал, где работали вычислители, навещали все совладельцы фирмы Крафтштутта. В это время глава фирмы с нескрываемым удовольствием смотрел, как извиваются и корчатся над математическими задачами его жертвы. Это был очень важный момент, и я решил, что именно в это время необходимо включить в цепь генератора дополнительную нагрузку, чтобы изменить частоту импульсов.

Когда я пришел на свое рабочее место с готовым сопротивлением в кармане, у меня было особенно приподнятое настроение. У входа в мою рабочую комнату я встретил доктора. Он принес листок с новой задачей.

— Эй, лекарь, одну секундочку, — окликнул я его.

Доктор остановился и окинул меня удивленным взглядом.

— Я хочу с вами поговорить.

— Ну, — промычал он недоумевающе.

— Дело вот в чем, — начал я, — во время работы у меня появилась идея вернуться к первоначальному разговору с господином Больцем. Я думаю, что моя горячность сыграла со мной плохую шутку. Я прошу вас передать Больцу, что я согласен быть преподавате-

лем математики для новых пополнений фирмы Крафтштутта.

Доктор пожевал кончик нитки с воротника своего халата, слюннул и затем заявил с неподдельной откровенностью:

— Честное слово, я рад за тебя! Я этим чудакам говорил, что с твоим спектром лучше всего работать надзирателем или учителем для всего этого математического деръма. Нам очень нужен хороший надсмотрщик. И ты для этого совершенно идеальный тип. У тебя совершенно другие рабочие частоты. Ты бы мог прямо сидеть среди них и подгонять нерадивых или тех, у которых частота возбуждения математических способностей не попадает в резонанс.

— Конечно, доктор. Но я думаю, что мне все же лучше быть преподавателем математики для новых пополнений. Ей-богу, мне не хочется разбивать свою башку об угол стола, как тот чудак, которого я видел несколько дней назад.

— Толковое решение, — заявил он. — Нужно переговорить с Крафтштуттом. Я думаю, он согласится.

— А когда будет известен результат?

— Я думаю, сегодня, в час дня, когда мы будем совершать обход вычислительного центра и осматривать наше хозяйство.

— Хорошо. С вашего разрешения, я к вам подойду.

Доктор кивнул головой и ушел. У себя на столе я нашел листок бумаги, на котором были выписаны условия для расчета нового импульсного генератора на мощность, превышающую нынешнюю в четыре раза. Отсюда я заключил, что Крафтштутт решил вчетверо увеличить свое дело. Он хотел, чтобы в его центре работали не тринадцать, а пятьдесят два вычислителя. Я с нежностью потрогал карандашный грифель с двумя проволочными концами. Я очень боялся, что он сломается у меня в кармане.

Условия задачи на расчет нового генератора убедили меня в том, что все мои вычисления, касающиеся действующего генератора, были правильными. Это вселяло в меня еще большую веру в успех задуманного предприятия, и я с нетерпением ждал часа дня. Когда

часы на стене показывали без пятнадцати час, я вытащил из кармана карандашный грифель с сопротивлением в тысячу триста пятьдесят ом и прикрепил проволокой один его конец к болту на поверхности алюминиевого «зонтика» над моим столом. Ко второму концу я прикрутил еще несколько кусков проволоки. Общая длина провода была достаточной, чтобы дотянуть его к отопительной батарее в углу комнаты.

Последние минуты тянулись мучительно долго. Когда минутная стрелка часов коснулась цифры «12», а часовая стрелка застыла на цифре «1», я быстро соединил свободный конец провода с батареей и вышел в коридор. Навстречу мне шел Крафтштудт в сопровождении инженера Пфаффа, Больца и доктора. Завидев меня, они заулыбались. Больц сделал знак, чтобы я приблизился. После этого мы остановились у стеклянной двери зала, где работали вычислители.

Перед окнами зала стояли Пфафф и Крафтштудт, и я не видел, что делалось внутри.

— Вы поступили благоразумно, — шепотом сказал Больц, — господин Крафтштудт ваше предложение принимает. Можете быть уверены, вы не пожалеете.

— Послушайте, что это такое? — вдруг спросил Крафтштудт, повернувшись к своим спутникам.

Инженер Пфафф съежился и как-то странно смотрел сквозь окно. Мое сердце учащенно забилось.

— Они не работают! Они глазают по сторонам! — злобно прошептал Пфафф.

Я протиснулся к окну и заглянул внутрь. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Люди, которые раньше сидели, сгорбившись за письменными столами, выпрямились, озирались вокруг и переговаривались между собой громкими, твердыми голосами.

— Пожалуй, ребята, это издевательство пора кончить. Вы понимаете, что они над нами делают, — возбужденно говорил Дейнис.

— Конечно! Эти вампиры все время виншают нам, что мы обрели счастье, отдавшись во власть их импульсного генератора. Их бы посадить под этот генератор!

— Что там происходит? — грозно воскликнул Крафтштудт.

— Не имею представления, — пробормотал Пфафф.

— Да ведь они же ведут себя сейчас как нормальные люди! Смотрите, они чем-то взволнованы. Почему они не занимаются вычислениями?

Крафтштудт побагровел.

— Мы не выполним в срок минимум пять военных заказов, — процедил он сквозь зубы. — Нужно немедленно заставить их работать.

Больц щелкнул ключом, и вся компания вошла в зал.

— Встаньте, пришел ваш учитель и спаситель, — громко произнес Большой.

После этой фразы в зале водворилось гнетущее молчание. Две дюжины глаз, полных гнева и ненависти, смотрели в нашу сторону. Нужна была только искорка, чтобы все это взорвалось. В моей душе все ликовало, потому что я здимо ощущал, что делал мой карандашный грифель с сопротивлением в тысячу триста пятьдесят ом. Вот где таился крах фирмы Крафтштудта! Я выступил вперед и громко, на весь зал, произнес:

— Чего же вы ждете? Наступил час вашего освобождения. Ваша судьба в ваших руках. Уничтожайте эту подлую шайку, которая готовила вам в качестве последнего прибежища «Приют мудрецов»!

После этих слов последовал взрыв. Вычислители стремительно сорвались со своих мест и бросились на остоянцев Крафтштудта и его сообщников. Кто-то срывал с потолков алюминиевые зонтики, кто-то бил стекла в окнах. Мгновенно был содран со стены радиорепродуктор, с грохотом опрокинуты письменные столы. Пол усеяли листки бумаги с математическими вычислениями.

Я командовал:

— Не упустите Крафтштудта! Ведь он военный преступник. Это он организовал этот дьявольский вычислительный центр, где люди гибли, растратчивая драгоценные силы своего ума! Держите крепче негодяя Пфаффа! Он автор конструкции импульсного генера-

тора! Поддайте хорошенъко Больцу! Он готовил новые партии обреченных, для того чтобы заменить тех, кто сойдет с ума...

Я шел впереди колонны возбужденных людей, тащивших за собой преступников. Бывшие вычислители прошли через глухой зал, где я впервые сдавал свои математические задачи, затем шумно протиснулись сквозь узенькие простенки подземного лабиринта и, наконец, вырвались наружу.

Когда мы вышли из маленькой двери в каменной стене «Приюта мудрецов», нас ослепило горячее летнее солнце. Вокруг двери, ведущей в апартаменты Крафтштутта, собралась огромная толпа жителей нашего городка. Они стояли перед дверью и что-то громко кричали. При нашем появлении водворилось минутное молчание. На нас уставились сотни удивленных глаз. Затем я услышал, как кто-то громко воскликнул:

— Да ведь это же профессор Раух! Он жив! Он тоже попал в руки к этим негодяям!

Дейнис и его товарищи вытолкнули вперед избитых главарей вычислительного центра Крафтштутта. Один за другим на ноги поднялись Крафтштутт, Больц, Пфафф и доктор. Они вытирали физиономии и трусливо посматривали то на нас, то на грозную толпу вокруг.

Вдруг вперед вышла худенькая, тоненькая девушка. Я узнал в ней ту самую девушку, которая приносила мне на квартиру пакеты с решениями задач.

— Вот он, — сказала она, указав пальцем на Крафтштутта, — и он, — добавила она, кивнув на Пфаффа. — Это они все придумали...

В толпе раздался ропот. За девушкой к преступникам двинулась шеренга мужчин. Еще секунда, и они бы растерзали бандитов на части. Тогда я поднял руку и сказал:

— Дорогие граждане! Мы цивилизованные люди, и нам не к лицу чинить расправу над этими зверями, наделенными современной ученоствью. Мы принесем человечеству большие пользы, если расскажем об их злодеяниях всему миру. Их нужно судить суровым судом, и вот свидетели обвинения. — Я указал на группу

пу вычислителей из компании Крафтштудта. — Они вам расскажут, как, пользуясь достижениями современной науки и техники, бывшие гитлеровские палачи издевались над человеком, как они, уничтожая людей, набивали себе карманы золотом.

— Мы это знаем, мы все знаем, профессор Раух! — закричали вокруг. — Нам все рассказала Эльза Блинтер, после того как она увидела в газете ваш портрет в черной рамке!

Взволнованная толпа быстро возвращалась в город. Впереди шли я и мои товарищи по вычислительному центру. Рядом со мной шагала молоденькая девушка, Эльза Блинтер. Она крепко держалась за мою руку и шептала:

— После того как я принесла вам пакет последний раз и вы сказали «плюньте на инструкцию», я долго об этом думала. Вы знаете, когда после разговора с вами я вернулась к господину Крафтштудту, я как будто обрела какую-то силу. Они поставили меня между стенками и задавали вопросы о вас. А я нашла в себе силу говорить им неправду. Не знаю, почему это у меня вышло...

— Это выйдет у всякого человека, который ненавидит врагов и любит друзей.

— Это правда, — сказала Эльза. — Так со мной и было. А потом я расхрабрилась и сбежала от них. И я начала всем в городе рассказывать, чем занимается господин Крафтштудт. И вот сегодня, в воскресенье, все сюда и пришли...

Крафтштудт и его сообщники по вычислительному центру были переданы в руки властей. Бургомистр нашего города произнес патетическую речь со множеством цитат из библии и евангелия. В конце речи он заявил, что «за столь уточненные преступления господина Крафтштудта и его коллег будет судить верховный федеральный суд». Главу вычислительного центра и его компаньонов увезли в автомобилях без окон. С тех пор о них никто ничего не знает. В газетах также не было сообщений о том, как их наказали. Более того: в наш городок проникли слухи о том, что Крафтштудт и его друзья поступили на государственную

службу. Будто бы им поручили организовать крупный вычислительный центр для обслуживания военного министерства.

Меня всегда охватывает волнение, когда, разворачивая газету, я нахожу на последней странице одно и то же объявление: «Для работы в крупном вычислительном центре требуются знающие высшую математику мужчины в возрасте от двадцати пяти до сорока лет».

Вот почему я решил опубликовать свои заметки. Пусть весь мир узнает об этом и потребует наказания преступников.

# МАЙОР ВЕЛЛ ЭНДЬЮ

его наблюдения, переживания, мысли, надежды и далеко идущие планы, записанные им в течение последних пятнадцати дней его жизни.

## Глава первая

Мало кому известно что осенью 1940 года, во время одного особенно ожесточенного налета гитлеровских бомбардировщиков на Лондон, милях в восьми по Темзе ниже Тауэр-бриджа выплеснут был на берег сильным подводным взрывом странный предмет, пролежавший, очевидно, глубоко в тине не один десяток лет. Он был похож на гигантский стационарный бак для горючего диаметром в добрых пятнадцать метров. По сей день лично для меня остается непонятным, как он за столь долгий срок ни разу не был обнаружен во время проводившейся периодически очистки дна Темзы, но обсуждение этой самой по себе интересной проблемы увело бы нас от истории, которую мне хотелось бы рассказать. Этот бак, как мы будем его для краткости называть, определенно не был ни железным (во всяком случае, на нем не было и тени ржавчины), ни алюминиевым. Он тускло блестел особым коричневато-желтым блеском с золотистыми прожилками, напоминавшими блестки в авантюрине. Судя по всему, он был изготовлен из какого-то совершенно необычного материала, но, безусловно, металлического происхождения. Под ударом взрывной волны от упавшей неподалеку тысячекилограммовой бомбы это загадочное сооружение рассыпалось, словно оно состояло из сигарного пепла. Воздушная волна от следующей бомбы развеяла образовавшуюся на его месте коричневую кучу тончайшего порошка.

И тогда на берегу осталась ржавая продолговатая жестяная банка из-под бисквитов.

Уже на рассвете следующего дня она была отброшена на обочину дороги третьим взрывом. Так по крайней мере рассказывал местный житель, некто Смит (он якобы был свидетелем того, как бак рассыпался в порошок), лейтенанту Паттерсону, который заинтересовался историей происхождения этой ржавой банки и о котором речь будет ниже.

Здесь, на обочине, она пролежала никем не тронутая до середины июля 1945 года, когда была замечена прогуливавшейся в этих местах влюбленной парочкой. Только что выписавшийся из госпиталя лейтенант, поскрипывая новеньkim протезом левой ноги, наслаждался со своей невестой состоянием «вне войны». Возможно, ему хотелось доказать девушке, что он и с искусственной ногой ничуть не менее подвижен, чем был до ранения на берегу Нормандии. Завидев коробку, лейтенант ударил ее носком правой ноги. Жестянка отлетела в сторону, раскрылась, и из нее выпал пакет, тщательно завернутый в непромокаемую материю, несколько напоминавшую целлофан, но непрозрачную и шуршавшую, как шелк.

При помощи перочинного ножа лейтенант вскрыл слипшуюся упаковку и извлек из нее четыре исписанные убористым, не всегда разборчивым почерком записные книжки в добротных зеленых кожаных переплетах.

Затем молодые влюбленные удостоверились, что эти записные книжки, датированные концом прошлого века, принадлежали некоему майору в отставке со странным именем и фамилией — Велл Эндью \* — и, судя по началу, трактуют о каких-то теоретических разногласиях между их автором и какими-то столь же безвестными его оппонентами.

Вполне удовлетворившись этими данными, молодая леди без труда уговорила своего жениха не тратить чудесное летнее утро на чтение скучных записок, а продолжать наслаждаться столь долгожданной прогулкой.

---

\* В точном переводе с английского «Велл Эндью» обозначает «Ну, а ты?» — Л. Л.

Поэтому лейтенант Паттерсон — такова была фамилия искалеченного войной молодого человека — принял за чтение записных книжек майора Эндью только поздно вечером.

Это было не очень легкое занятие. Печерк майора иногда становился неразборчивым, слова набегали друг на друга, а строчки метались вверх и вниз, вкривь и вкось, будто они писались в темноте или в экипаже, движущемся по сильно пересеченной местности. Примерно такие строки получались когда-то у совсем еще юного Паттерсона, когда ему вздумалось черкнуть несколько слов во время катания на слоне в зоопарке.

Лейтенант Паттерсон никогда не интересовался политикой. Тем более проблемами рабочего движения, которым были посвящены первые странички записной книжки номер один. Пробежав их скучающим взором, он совсем было решил прекратить это малоувлекательное занятие, когда его внимание приковали строчки:

«...Намыливая мне щеки, Мориссон спросил, не слыхал ли я каких-нибудь подробностей о снаряде, упавшем вчера ночью на пустоши между Хорбэллом, Оттершоу и Уокингом. Я сказал, что не слыхал. И что скорее всего это обычные вымыслы досужих людей. Никаких артиллерийских полигонов в этом районе нет, нет, следовательно, и артиллерийских стрельб, так что и снарядам на эту пустошь падать неоткуда. Тогда Мориссон произнес нечто такое, что я от удивления чуть не свалился со стула. Он сказал: «Поговаривают, сэр, что это не наш снаряд... что это, смешно сказать, сэр, снаряд с Марса...»

То, что Паттерсон прочел на следующих нескольких страницах, заставило его броситься к книжному шкафу. Он отыскал в нем роман Уэллса «Война миров», торопливо перелистал его, снова принял за записи майора Эндью и уже не отрывался от них, пока не дошел до самого последнего использованного листка четвертой книжки.

Тогда он вернулся к «Войне миров», еще и еще раз медленно прочел те строки из первой главы второй

части, которые и в детстве всегда производили на него поистине потрясающее впечатление:

«Было очевидно, что мы окружены марсианами. Едва викарий догнал меня, как мы снова увидели вдали, за полями, тянувшимися к Кью-Лоджу, боевой треножник, возможно, тот же самый, а может быть, другой. Четыре или пять маленьких черных фигурок бежали от него по серо-зеленому полю: очевидно, марсианин преследовал их. В три шага он их догнал; они побежали из-под его ног в разные стороны по радиусам. Марсианин не прибег к тепловому лучу и не уничтожил их. Он просто подобрал их всех в большую металлическую корзину, торчавшую у него сзади. В первый раз мне пришло в голову, что марсиане, быть может, вовсе не хотят уничтожить людей, а собираются воспользоваться побежденным человечеством для других целей. С минуту мы стояли, пораженные ужасом; потом повернули назад и через ворота проокрались в обнесенный стеной сад, заползли в какую-то яму, едва осмеливаясь перешептываться друг с другом, и лежали там, пока на небе не блеснули звезды».

Теперь у Паттерсона не было никаких сомнений: и роман Уэллса, к которому он привык относиться как к блестательной и остроумной выдумке великого фантаста, и записные книжки Велла Эндью имели отношение к одному и тому же трагическому событию — к высадке на Землю десанта марсиан.

Как ни далек был лейтенант Паттерсон от политики, он все же понимал, что ничего невероятного в такой ситуации не было. Давно ли, по существу безоружная, Англия со дня на день с ужасом ожидала высадки по эту сторону Британского канала вооруженных до зубов, жестоких и беспощадных гитлеровских полчищ? Смерть и разрушения, которые они несли с собой, оставили бы далеко позади то, что успели в свое время натворить уэллсовские марсиане. Лежа в госпитале, пока у него заживала кулья левой ноги, он имел достаточно времени, чтобы размышлять о дальнейших судьбах мира. Ему приходилось читать в газетах о Квислипге, маршале Петэне и многих других

предателях, не за страх, а за совесть служивших тем, кто нес их народам горе, смерть, разорение, позор и рабство.

И сейчас, прочитав записки неведомого ему отставного майора Белла Эндью, лейтенант Паттерсон подумал, что есть смысл, что даже необходимо поскорее опубликовать этот удивительный и страшный человеческий документ.

Опасаясь, что в процессе публикации записки, возможно, кое-что сократят, и желая сохранить у себя полный их текст, он потратил добрую неделю на то, чтобы собственноручно снять с них машинописную копию.

Завершив этот акт благоразумной предусмотрительности, Паттерсон собрался в редакцию той газеты, которая была высочайшим и непререкаемым авторитетом для четырех поколений Паттерсонов. С новенькой медалью на торжественном черном пиджаке он вошел, громыхая протезом, в кабинет редактора. Нет, он не был согласен оставить записные книжки майора Эндью и зайти, как принято в подобных случаях, через несколько дней за результатами. Он настаивал, чтобы их прочли немедленно, в его присутствии.

Редактор не мог отказать в приеме увечному офицеру из хорошей семьи, но он решительно не в состоянии был тратить свое драгоценное время на чтение каких-то ископаемых записных книжек. Ему было не до записок. Так он в несколько старомодно-приподнятом стиле, которым гордился, как щеголь с Пиккадилли своими сверхмодными штиблетами, и сказал Паттерсону.

— Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он, — сейчас, когда Англия засучив рукава занялась восстановлением всего того, что разрушили гитлеровские разбойники, сейчас, когда Англия позволяет себе отвлечься на считанные мгновенья от этих священных работ только для того, чтобы утереть свои слезы по ее славным сынам, убитым на полях сражений с проклятой нацистской Германией, редактор такой газеты, как та, которую я имею честь редактировать, не имеет права тратить свое время на немедленное чтение рукописи,

да еще такой объемистой, если она не идет в ближайший номер.

На это Паттерсон возразил, что именно по причинам, столь красноречиво приведенным уважаемым редактором, он вынужден настаивать на немедленном прочтении дневников и в его присутствии. Или он будет поставлен перед необходимостью, к величайшему своему сожалению, отнести их в другую газету.

Поражаясь своему ангельскому терпению и в то же время в какой-то степени уже подзадориваемый любопытством, редактор вызвал одного из своих заместителей, и тот в присутствии Паттерсона прочитал все четыре книжки майора Эндью от доски до доски.

— Та-а-ак, — протянул заместитель редактора. — Вы это сами сочинили?

— Я уже говорил вам, сэр, что я их нашел.

— Похоже, что все это выдумка. Изделие бойкого памфлетиста.

Паттерсон пожал плечами.

— Но ведь сам покойный мистер Уэллс не отрицал, что его «Война миров» не более как фантастический роман, — продолжал заместитель редактора.

Паттерсон снова молча пожал плечами.

— Вы не были с этим в других редакциях?

Паттерсон отрицательно покачал головой.

— Вы не снимали с них копий?

Тон, которым как бы между прочим был задан этот вопрос, заставил Паттерсона насторожиться.

— Нет, — ответил он самым правдивым голосом.

— Так, так, — протянул после некоторого раздумья заместитель редактора, — пойду поговорю с шефом.

Он вернулся минут через сорок деловитый, улыбающийся, сердечный, бесконечно благожелательный.

— Хорошо, — сказал он, — мы берем ваши дневники. Но при одном обязательном условии: никто не должен знать об их существовании и что вы их передали в наше распоряжение. Газетные сенсации имеют свои законы.

— Но... — попытался было возразить Паттерсон.

— Конкуренция властвует и в газетном мире, —

развел руками заместитель редактора. — Такой материал должен обрушиться на читателя внезапно, как... — он задержался, чтобы подыскать подходящее сравнение, — ну, как бомба, что ли...

Паттерсон осведомился, когда, хоть приблизительно, редакция рассчитывает опубликовать дневники Велла Эндью, и получил искрение заверения, что они будут опубликованы немедленно, как только представится первая возможность.

Затем они перешли к денежной стороне вопроса. Паттерсон получил в качестве первого аванса сумму, о которой он и не мечтал. То есть именно о такой сумме они с невестой мечтали, обдумывая, как лучше устроить себе будущее семейное гнездышко. Но он и подумать не мог, что их случайная находка может сулить им в качестве первого аванса такое материальное благополучие. Он подписал обязательство и получил чек на авансовую сумму....

Прошло не менее года, прежде чем Паттерсон решил узнать в редакции о судьбе дневников майора Эндью. Ему объяснили, что сейчас, когда разумно мыслящие англичане уже отдают себе отчет в том, что с немцами, пожалуй, поступили жестоковато, опубликование дневников майора Эндью было бы на руку только России и всемирному коммунизму.

Впрочем, если господин Паттерсон почему-либо не согласен с мнением редакции, он может получить записные книжки обратно, разумеется вернув одновременно аванс.

С таким же успехом Паттерсон мог бы оплатить расходы союзников по высадке в Нормандии.

К тому же он никак не был настроен действовать на благо мировому коммунизму. Это не было в традициях Паттерсонов.

Примерно такие же ответы он получал и каждый раз, когда в последующие годы обращался в редакцию насчет судьбы записных книжек Эндью.

Понемногу он стал привыкать к мысли, что этим дневникам, видимо, не суждено появиться в свет, так как они и в самом деле могут быть использованы русскими и красными против Западной Германии, а сле-

довательно, и всего западного мира. Мистер Паттерсон продолжал читать газету, которая в течение четырех поколений была непререкаемым авторитетом для его семьи, и он сравнительно легко проникся мыслью, что тот, кто против коммунизма и за западный мир, должен держать сторону господина Аденауэра.

Ему стало несколько не по себе значительно позже, когда в Англии, правда пока на договорных началах, появились первые отряды западногерманских военных.

Тогда он снова нацепил на свой черный пиджак медаль и пошел объясняться в редакцию. Его принял все тот же заместитель редактора, потому что эта редакция не зря славилась здоровой консервативностью, и все в ней было столь же неизменно, как медвежьи шапки и красные мундиры королевской гвардии и мешок с шерстью под задом лорда-канцлера в палате лордов.

Заместитель редактора принял Паттерсона с прежним радушием и разговаривал с ним с сердечной откровенностью и теплотой единомышленника.

— Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он, — сейчас, когда Англия гостеприимно раскрыла свои объятия для западногерманских воинских частей, сейчас, когда Англия предоставила западногерманским воинским частям не свою территорию, как угодно говорить некоторым безответственным демагогам, а всего лишь танкодром, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что это совсем не те немцы, против которых вы так славно сражались, а совсем-совсем другие немцы. Они искренние наши друзья. Они готовы умереть за каждый дюйм нашего старого острова. Больше того, они готовы сражаться с любым легкомысленным англичанином, который помешает им умирать за Англию. И потом, сэр, я взымаю к нашим традиционным чувствам. Англичане всегда были гостеприимны с людьми, особенно молодыми, которые приезжали к нам для продолжения своего образования под сенью британских свобод. Разве молодые немцы, прибывшие на наши танкодромы, не приехали к нам учиться? Почек-

му же нам не относиться к ним, как ко всем студентам, прибывающим в нашу страну? Мне чужды, сэр, ваши необоснованные подозрения. Я верю в искренность и непоколебимость их чувств к Англии. И поверьте мне, сэр, если они проявят малейшие тенденции использовать во вред нам наше гостеприимство, я первый настою на немедленном, на немедленнейшем опубликовании дневников майора Велла Эндью.

— Значит, как ко всем студентам? — переспросил Паттерсон и встал, скрипя протезом.

— Ну да, — ответил заместитель редактора, порываясь сунуть ему руку в знак того, что лично он считает разговор исчерпанным.

Паттерсон, казалось, не заметил этого жеста.

— Но почему нельзя публиковать дневники Эндью, если к нам в Англию прибыло несколько хорошо вооруженных подразделений западногерманских студентов?

— А аналогии? Немедленно у читателей возникают аналогии. И всякие там мысли.

— Ну и отлично! — сказал Паттерсон. — Именно поэтому я и пришел. Сейчас самое время публиковать записи.

Заместитель редактора с сожалением развел руками:

— Мысли мыслям рознь. И аналогии. Это не те мысли, сэр, и не те аналогии, которые мы, наша газета хотела бы вызывать у своих читателей. Да вы присядьте, пожалуйста, мистер Паттерсон.

Но Паттерсон продолжал стоять.

— Я полагаю, что именно в эти дни, когда тысячи и тысячи англичан, шотландцев и ирландцев поднялись в поход против американских атомных баз с ракетами «Тор», против грозящих нам чудовищными опасностями баз американских подводных лодок с ракетами «Поларис» в Холли Лохе...

Заместитель редактора впервые позволил себе почти невежливо перебить своего уважаемого гостя:

— Чепуха, сэр! Че-пу-ха! Базы как базы, лодки как лодки, ракеты как ракеты!.. Безответственные, не-

вежественные люди и плохие патриоты тратят свое время и подметки на недостойную травлю наших союзников и наших министров...

— Сэр! — воскликнул внезапно охрипшим голосом Паттерсон. — Я хотел бы, чтобы вы знали, что завтра и я отправляюсь в поход в Холи Лох!..

— На одной ноге!

— Вот именно, на одной ноге. Другая осталась в операционной полевого госпиталя, и я ее отдал, в частности, и за то, чтобы у нас не заводились на исконной британской земле иностранные ракетодромы, аэродромы и базы подводных лодок с этими трижды проклятыми «Поларисами».

— Они трижды благословенны, дорогой мистер Паттерсон.

— Не верю. И поэтому настаиваю на опубликовании дневников Эндью.

— Какое они имеют отношение к этому вопросу?

— Смею утверждать, самое непосредственное.

Заместитель редактора второй и последний раз развел руками:

— Сожалею, сэр, но у меня уйма текущих дел. Поймите меня правильно.

Паттерсон понял его правильно и немедленно покинул редакцию...

Поздней ночью в конце апреля прошлого года я разговорился с несколькими иностранными туристами, следовавшими «Красной стрелой» из Москвы в Ленинград. Поговорили и разошлись по своим купе. Весь вагон уже давно спал, когда ко мне кто-то тихо постучался. Это был высокий и плотный англичанин лет сорока пяти. Я узнал его: часов до двух ночи мы с ним тихо беседовали в коридоре вагона, у окошка, за которым ничего не было видно. Его почему-то заинтересовало, что я писатель. Я говорю «почему-то», ибо сам он не имел к писательскому ремеслу никакого отношения.

Несколько удивленный его столь поздним визитом, я пригласил его войти. Англичанин вошел, закрыл за

собой дверь, молча вынул из-под пиджака довольно объемистую рукопись, приложил палец ко рту, передал мне рукопись, крепко пожал руку и ушел, тяжело ступая протезом левой ноги...

Ранним утром, когда проводник уже убрал постели, а до Ленинграда еще было сравнительно далеко, англичанин рассказал мне все, что изложено мною выше.

Поезд уже подходил к дебаркадеру ленинградского вокзала, когда я спросил у Паттерсона, как ему удалось узнать про судьбу таинственного бака, выброшенного темной ночью сорокового года на берег Темзы. Он успел только сообщить мне, что на другой день после прочтения дневников майора Эндью он бродил в районе своей удивительной находки именно с этой целью. Первый день розысков ничего не дал. На второй день ему встретился стажер — садовник одного из ближайших домов. Он-то и рассказал Паттерсону, не сразу, а после долгих и настойчивых расспросов, историю появления и исчезновения бака. Он сказал, что тоже видел ржавую длинную жестянную коробку из-под бисквитов, но не обратил на нее никакого внимания. Паттерсон спросил, почему он не рассказал никому об огромном баке, рассыпавшемся, как сигарный пепел. Потому, что он не хотел, чтобы его приняли за сумасшедшего, ответил мистер Смит. (Фамилия садовника была Смит.) Ответил, нервно рассмеялся и пошел прочь, так и не сказав больше ни одного слова.

Такова предварительная история, которую мне хотелось сообщить перед тем, как предложить вниманию читателей дневники майора Велла Эндью.

*Четверг, 18 июня*

**Глава вторая** Трудно представить себе более идиотское времяпрепровождение.

Целый вечер мы переливали из пустого в порожнее. Сначала эти нелепые разговоры про Марс, про загадочные вспышки на нем. Гадали: что это — вулканы или не вулканы. Арчи говорил — вулканы. Остальные возражали: что это за чудные такие вулканы, в которых извержения происходят

ровно один раз в сутки и точно в одно и то же время. Тогда Арчи (в который раз) начинал выкладывать перед нами свои школьные познания насчет регулярных извержений исландских гейзеров, и все начиналось сначала.

А эти четверо молодых джентльменов из Ист-Сайда, которых Арчи коллекционирует с тех пор, как решил увлечься социализмом? Они молчали и ухмылялись, словно находились в зоопарке перед клеткой с мартышками!

Кончили с Марсом, и началась столь же плодотворная и организованная дискуссия о социализме. (Ого, у меня, кажется, родился несплохой каламбур: «Покончили с Марсом и принялись за Маркса»! Не забыть вставить его как-нибудь завтра во время обеда в клубе. Это каламбур с большим будущим, или я ничего не понимаю в каламбурах.)

Арчибалд начал свою последнюю, но уже порядком надоевшую арию насчет того, как все будет хорошо, когда уже больше не будет плохо. Львы будут запросто водиться с ягнятами, все будут ходить чистенькие, добрененькие, дружно щипать травку и возносить хвалу всемогущей технической интелигенции, которая-де осчастливит человечество райским житьем дня через два-три после того, как ей будет вручена вся полнота власти.

На это один из истсайдских юнцов — его зовут Том Мэнн или как-то в этом роде — соизволил заметить, что он и его товарищи придерживаются не сколько иной концепции и что, по их, истсайдских юнцов, просвещенному мнению, социализм может победить только тогда, когда за это дело вплотную взьмутся рабочие. Он даже сказал не «рабочие», а «рабочий класс»!

Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в подобные разговоры! Но наглая невежественность этого мальчишки меня взорвала. Нет, я, конечно, не унизился до спора с этим юным демагогом. Я просто позволил себе заметить, обращаясь исключительно к моему чересчур увлекающемуся кузену Арчи, что классы существуют только в воспаленном воображе-

нии тех джентльменов, которым с определенных пор не дают покоя чужие богатства. В действительности же каждому мыслящему и интеллигентному человеку известно, что никаких классов не было и нет, а имеются умные люди и люди глупые, бережливые и моты, верующие и безбожники, упорные и слабовольные, трезвенники и пьяницы. Умные, бережливые, упорные и не забывающие бога люди не пляются по кабакам и не треплют там языки, болтая о классах между двумя кружками пива, а откладывают фартинг к фартингу, пенс к пенсу, шиллинг к шиллингу, фунт к фунту. Такие люди становятся в конце концов и, конечно, с божьего соизволения уважаемыми дельцами, негоциантами, промышленниками, банкирами — цветом нации. Я уже не говорю о нашей родовой аристократии, которая приобрела свое высокое положение в государстве верной службой Британии, короле, церкви.

Я твердо рассчитывал, что молодые джентльмены из Ист-Сайда найдут в себе хоть то небольшое количество собственного достоинства, которое требовалось, чтобы обидеться по поводу моего прямого намека насчет их кабацких споров и уйти. Но юный мистер Манн в ответ на мой намек, я бы даже сказал, плевок, только усмехнулся, да еще так снисходительно, точно он имел дело не с майором королевских войск, верой и честью прослужившим почти двадцать лет в Индии и Египте, а с деревенским мальчишкой, не научившимся еще правильно держать в руке вилку и нож.

Неизвестно, к чему привело бы продолжение этой недостойной перепалки, если бы в это время лакей не принес Арчибальду вечерние газеты. В них на виднейших местах были очередные статьи, трактовавшие лично мне осточертевшую «загадку вулканов на Марсе», и все в гостиной моего милого кузена завертелось сначала.

Я плюнул и ушел. Вечер был на редкость теплый и светлый. Я не стал нанимать кеб и не заметил, как дошел до своей квартиры. Я шел и думал. Сначала я думал о Джени и ребятах. Они уже третий день гостят у ее родителей, в их усадьбе недалеко от Эдин-

бурга. Стал бы я ходить к этому лентяю и типичной штафирке Арчибалльду, если бы дома не томило меня непривычное одиночество... Потом я почему-то вспомнил об этом развязном Томе Манне и его собутыльниках, и мне, признаться, вдруг стало страшновато при мысли, что получилось бы, если бы такие, как он, вдруг взяли верх над порядочными людьми и заняли бы места в правительстве его величества!..

*Пятница, 19 июня*

Часов в двенадцать Арчи прислал своего лакея с приглашением на сегодняшний вечер. К нему, видите ли, собираются в гости несколько джентльменов из общества Фабия Кунктора. Снова будут разговоры про социализм, про святую всемогущую и равноапостольную техническую интеллигенцию, про всякие там «новые пути». Слуга покорный! Надоело! Я так и написал ему в обратной записке.

Ел в клубе прелестный черепаховый суп. Бифштекс сегодня был не совсем удачный. Полковник Кокс полностью со мной согласен. И насчет супа и насчет бифштекса. Приятный человек полковник Кокс! Джентльмен с головы до пят. Приятно, что у нас с ним так часто совпадают мнения. Мой новый каламбур имел у него потрясающий успех. От смеха он едва не уронил свой монокль в суп. Сразу после обеда он не замедлил повторить мой каламбур дюжине влиятельных членов клуба, и я ходил в именинниках. Мы закурили с полковником трубки и весь вечер вспоминали о нашей службе в Индии. Жаль, что мы там ни разу не встретились. Правда, я почти все время служил в Бомбее, а полковник в Бенгалии, где-то около Калькутты...

Счастливые, невозвратимые, поистине чудесные времена!.. Полковник уже третий год командует Н-ским полком, и я нисколько не удивлюсь, если вскоре я буду иметь честь и удовольствие дружить с генералом Коксом. Поговаривают, что он вскоре будет принят при дворе. И опять-таки ничего удивительного: он племянник маркиза Вуудхеда и двоюродный брат Стоунбека, того самого Эллиота Стоунбека,

который заворачивает всеми свинцовыми рудниками в Рио-Тинто.

Что и говорить, в высшей степени лестное знакомство. И многообещающее. Особенно если учесть, как дружески он ко мне относится. Очень приятный джентльмен! Если бы я мог позволить себе некоторую чувствительность, я бы сказал, что попросту люблю моего глубокоуважаемого друга полковника Кокса. Преотличный джентльмен! Сегодня же напишу Дженни о том, как мы с ним подружились. Пусть она там тоже порадуется моей удаче.

Снова возвращался домой пешком. Странно, нет-нет да и мелькнет в голове воспоминание о Томе Манне и его компании, и на душе сразу становится как-то удивительно мерзко, словно наглотался скверного рома или вспомнил о приближении срока уплаты по большому вексёлю. Мне кажется, далеко не все еще у нас понимают, какую опасность для цивилизации и нормального процветания нашего общества представляют собой эти социалисты. Я не весьма высокого мнения о французах, но генерал Галиффе — безусловно, умнейший и достойнейший человек. Любой джентльмен почтет за честь пожать руку этому мужественному солдату и истинному маркизу в самом высоком смысле этого слова.

### *Суббота, 20 июня*

Намыливая мне щеки, Моррисон спросил, не слыхал ли я каких-нибудь подробностей о снаряде, упавшем вчера ночью на пустоши между Хорселлом, Оттершоу и Уокингом. Я сказал, что не слыхал. И что скорее всего это обычные вымыслы досужих людей. Никаких артиллерийских полигонов в этом районе нет, нет, следовательно, артиллерийских стрельб, так что и снарядам на эту пустошь падать неоткуда. Тогда Моррисон произнес нечто такое, что я от удивления чуть не свалился со стула. Он сказал: «Поговаривают, сэр, что это не наш снаряд... что это, смешно сказать, сэр, снаряд с Марса...»

Я так смеялся, что чудом избежал страшнейших порезов. Я чуть не рыдал от смеха. Несколько прия-

в себя и утирая слезы, я посоветовал Моррисону выпить успокоительных капель и впредь не болтать подобной чепухи, если он хочет, чтобы его уважали порядочные люди.

Он молча добрал меня, а я с удовольствием предвкушал, как буду рассказывать полковнику про снаряды с Марса, и он будет вместе со мною хохотать, и как мы с ним снова славно проведем вечер в клубе... Но потом я вспомнил, что сегодня суббота и что он, конечно, отправится в усадьбу своего двоюродного брата Эллиота Стоунбека, и тогда я поспешил к полковнику в штаб полка.

А в штабе я еле смог добиться двухминутного разговора с моим другом, потому что оказалось, что, в самом деле, на пустоши возле Уокинга упал снаряд с Марса и что внутри этого снаряда будто бы живые марсиане, о которых никто толком ничего сказать не может! Эти марсиане якобы каким-то неведомым, но страшным оружием уже успели уничтожить целую кучу гражданской публики, и полк моего друга Кокса в полном составе выходит в этот район, чтобы остановить продвижение марсиан, а если не будет другого исхода, то и безжалостно их уничтожить. Вот когда я по-настоящему пожалел, что я в отставке! Но полковник Кокс любезно пригласил меня прибыть на огневые позиции его полка и быть свидетелем этой в высшей степени оригинальной артиллерийской экзекуции. Конечно, я с благодарностью принял это приглашение. Интересный штрих: чтобы сделать мне приятное, полковник сказал, что будет мне весьма благодарен, если по ходу боя я приду ему на помощь своим богатым индийским опытом. Он так и сказал — богатым, что было в высшей степени учтиво со стороны такого опытного и высокопоставленного офицера. И родовитого. И с такими связями в деловом мире! Это большая честь и преимущество — быть другом такого человека. А я — его друг. Он вчера это мне сам сказал.

Уже сегодня, не позже одиннадцати вечера, две роты солдат оцепят злосчастную пустошь. Одна из них высадится в Хорселе, другая начнет разворачиваться

южнее Чобхема. А завтра на рассвете батарея полковника Кокса займет огневые рубежи между Сент-Джорджхиллом, Уэйбриджем и селением Сенд, на юго-западе от Рипли. Командный пункт полковника будет на первой батарее, потому что важнейшие решения должны будут претворяться в жизнь без секунды промедления.

Договорились, что я прибуду в расположение полка завтра же, с первым утренним поездом. Мне нужно отдать кое-какие распоряжения Моррисону (удивительно, как этот флегматичный прохвост всегда ухитряется узнать самое важное и интересное раньше своего хозяина!). Кроме того, мне надо повидаться с миссис Н. А поздно вечером не будет никакого смысла выезжать. Правда, я рискую из-за этой задержки опоздать к самому интересному, но и пропустить уже назначенное свидание с миссис Н. по меньшей мере невежливо.

*Понедельник, 22 июня*

Бедная моя Дженни, бедные мои сиротки!.. Какое счастье, что вы никогда не узнаете, что произошло с вашим несчастным мужем и отцом!..

*Вторник, 23 июня*

Пока они возятся с подбитой машиной, я попытаюсь записать события последних двух суток.

Зачем я это пишу? Кто это прочтет? Буду ли я сам даже через каких-нибудь два дня в состоянии прочесть то, что я сейчас запишу? Останется ли вообще через несколько дней во всей Англии хоть одно живое человеческое существо, все равно грамотное или неграмотное? Не честнее ли будет перед самим собой сознаться, что я пишу лишь для того, чтобы хоть на время забыть о той страшной и непоправимой беде, в которую я попал?..

Я честный старый солдат. Я только хотел внести свой посильный вклад в борьбу с этим ужасом, с этим кошмаром, который обрушился на наш добрый старый остров. Неужели так стремительно и безвозвратно могут пойти ко дну великая культура, могучий и изоб-

ретательный гений такого народа! Нет! Не верю! Если удалось на первый случай хоть временно вывести из строя один их цилиндр, или боевую машину, или как ее там, к черту, правильней называть, то можно вывести из строя, снести с лица земли и два и три, все, сколько их там ни окажется, этих дьявольских снарядов, в недобрый час выстреленных в нас с далекой и поистине кровавой планеты... О, если бы я сейчас был во главе батальона, если бы в моем распоряжении были хотя бы две-три батареи орудий, лучше всего гаубиц, с марсианами было бы покончено! Слово офицера!..

Подумать только, с каким поистине коровьим спокойствием и тупостью все, с кем я ехал в это злосчастное воскресное утро в поезде к Хорселлу, относились к предупреждениям насчет марсиан. Нет смысла врать, я был не умнее тех, кто поднимал меня на смех, когда я пробовал заговорить о марсианах, высадившихся на пустоши возле Уокинга. Подумать только, рядом со мной сидела парочка, ехавшая в гости в тот самый Уокинг, который уже вторые сутки представлял собой кучу обгоревших развалин!

— Если верить всяkim дурацким слухам, — ответила мне молодая леди, подмигнув своему болвану муженьку, — нам пришлось бы все воскресенье патриться в Лондоне...

С удовольствием выслушав одобрительное пофыркивание нескольких не более рассудительных соседей и соседок, она решила развить свой успех и подбросила в камин несколько поленьев дубового сарказма:

— К тому же, даже если верить этим бабьим (бабьим!) слухам, марсиане еле ползают вокруг своих снарядов. Так мы, — фыркнула она, и все эти будущие покойники заржали, — мы, так и быть, не будем разгуливать около пустоши. Мы будем, ха-ха-ха, гулять около самого вокзала...

Полковник Кокс встретил меня на своем командном пункте озабоченный, деловитый, спокойный, весь в горячке подготовки к бою, не предусмотренному никакими учебниками и воинскими уставами, но полный неподдельного радужия ко мне. Мне даже показалось,

что мое прибытие произвело на него успокаивающее впечатление.

— Я очень рад вам, мой дорогой друг, очень! — повторил он несколько раз, сильно, по-солдатски пожав мне руку.

Мне бы оставаться в расположении полка, а я вызвался пойти с лейтенантом Блейдсовером и тремя солдатами разведать, что делается там, откуда теперь уже непрерывным потоком двигались жалкие толпы перепуганных беженцев. У них ничего нельзя было разузнать, у этих беженцев. У каждого был свой вариант событий.

Нам предстояло уточнить, что же происходит там и правда ли, что они будто бы повылезали из своей ямы посреди пустоши и что они якобы имеют какие-то особые, непохожие ни на какие земные, удивительно быстрые средства передвижения.

Я вышел во главе моего маленького отряда в двенадцатом часу утра. К началу второго небо покрылось черными тяжелыми тучами. Стало темно, душно и жутко. Блеклые языки пожаров лизали черный горизонт. Грязнула гроза. С низкого темно-свинцового неба под адские варвары грома и почти непрерывные вспышки молний хлынул ливень.

Мы промокли до нитки почти мгновенно, но продолжали двигаться в заданном направлении. Мы наивно радовались. Мы предполагали, что марсиане испугаются неизвестного им явления земной природы, спрячутся в своей яме, и мы сможем спокойно добраться как можно ближе к Уокингу, разведать все возможное и спокойно вернуться обратно.

Мы прошли таким образом, не соблюдая простейших требований скрытности, мили три, не меньше, когда вдруг лейтенант Блейдсовер сдавленным голосом вскрикнул:

— Вот они!.. Вот они!..

Мы увидели при свете молний быстро приближавшихся марсиан. Вернее, мы увидели огромные, ярдов двадцать в диаметре, цилиндрические сосуды, быстро, очень быстро передвигавшиеся на высоких, с трехэтажный дом, металлических треножниках. Это было

так же необычно и удивительно, как если бы вдруг запагали, торопливо перебирая своими стальными треножниками, приусадебные водонапорные баки.

Но это было не только необычно и не только удивительно. Это было и очень страшно.

Эти треножники и торчавшие на них цилиндры определенно не были ни стальными, ни медными, ни вообще электропроводными. Это был какой-то неведомый металл. И оттого, что вокруг этих бесшумно двигавшихся чудищ то и дело вспыхивали молнии, но ни разу их не поразили, становилось особенно страшно.

Надо было возвращаться, и как можно скорей, пока они нас не приметили. Нет, мы не ударились в панику. Мои солдаты и лейтенант даже пытались острить. Но острили они почти шепотом, хотя до чудищ, примчавшихся на нашу бедную Землю из космической бездны, было еще не менее мили.

Теперь-то я понимаю, что нам нельзя было рисковать. Нам надо было сразу нырнуть в кусты и выживать. Даже в случае, если бы марсиане шли прямо на нас, следовало пропустить их вперед, а уже потом короткими перебежками и окольными скрытными путьми пытаться вернуться в расположение полка.

А мы (нет смысла это скрывать) растерялись и побежали очертя голову прямо по дороге. Вскоре последние строения мертвого городка — мы даже не успели узнать, как он называется, — остались позади, а мы все бежали и бежали, разбрызгивая дорожную грязь, то и дело попадая ногами в колдобины, залитые водой, бежали, не сворачивая в сторону, не рассредоточившись, компактной группой, то и дело для вящего удобства марсиан освещаемые мертвой голубизной молний.

Когда я, мобилизовав все свое мужество, заставил себя оглянуться назад, ближайшая машина марсиан уже почти настигла нас. Вспышка молний слишком коротка, чтобы видеть предмет в движении. Цилиндр как бы застыл всего в нескольких десятках шагов, застыл, подняв высоко над нами одну из своих голеностопных суставчатых ног и отбрасывая на нашу группу необыкновенно густую черную тень.

Нет, нам уже не осталось времени даже на то, чтобы успеть подумать, что же с нами произойдет. Было только ясно, что все пропало.

В ту же сотую долю секунды я увидел, как из сочленений треножника с шипением вырвался ярко свящащийся зеленый пар, что-то над нами залязгало, как буфера вагонов во время составления поездов. Мою талию крепко обхватило что-то холодное, металлическое, суставчатое, змееподобное. Снова вспыхнула молния, и я увидел, как блестящее металлическое щупальце легко, без видимого напряжения поднимает меня на высоту трехэтажного дома и опускает в нечто, напоминающее металлическую корзину с открытым верхом, наглухо прикрепленную к стенке громадного кастрюлеподобного цилиндра. Это и была самая настоящая корзина, но с дном площадью в десять-двенадцать квадратных ярдов.

Я был в ней не один. Рядом со мной оказались все три моих солдата и два неизвестных мне человека. Они сидели, обхватив руками колени: очень плотный мужчина лет сорока пяти с мясистым лицом и мощным затылком и юноша лет восемнадцати, не больше, очень похожий на пожилого, очевидно его сына. Старший был без пиджака, в подтяжках, в сорочке без пристежного воротничка, но с торчавшей сзади застежкой.

Лейтенанта Блейдсовера среди нас, к счастью, не было. Хорошо, что хоть он избежал этого позорного и страшного плена. Да поможет ему бог вовремя и благополучно добраться до огневых позиций полка и не забыть то, что я сказал ему до того, как мы так глупо бросились бежать от марсиан. Боже, помоги рабу твоему лейтенанту Блейдсоверу не забыть, что я советую полковнику Коксу немедленно вытребовать как можно больше гаубичных батарей, потому что против этих цилиндрических крепостей, стремительно передвигающихся в воздухе на высоте трехэтажного дома, нужны орудия с крутой траекторией.

Оба незнакомца смотрели на нас странными остекленевшими глазами. Впрочем, очень может быть, что они смотрели не на нас, а как бы сквозь нас. Они

просто беспечно смотрели прямо перед собой, и все.

Ливень давно потушил все пожары, и я потерял возможность ориентироваться в пространстве. Но мне показалось, что марсианки или марсиане внутри «нашего» цилиндра после минутной остановки повернули обратно, к пустоши.

Одновременно, в результате не замеченных мною сигналов, и остальные цилинды повернули к песчаной яме на пустоши.

«Наша» машина шагала по дороге, скрадывая по мере необходимости все ее изгибы, перешагивая через дома и сады с обуглившимися плодовыми деревьями.

Было не понятно, зачем они нас взяли. Для того, чтобы на досуге получше нас рассмотреть? Чтобы узнать поточнее, что собой представляют земные существа? Тогда почему они ограничились только людьми? Почему в этой проклятой корзине, в которой тряслось, как на спине бегущего слона, не было ни лошади, ни собаки, ни кошки? Может быть, им нужно было что-то у нас выведать? Но как? Ведь мы не знаем марсианского языка, а они — английского. К тому же нам удалось выведать у наших штатских спутников, что марсиане и не пытались вступать с ними в переговоры. Это, собственно, единственное, чего нам удалось от них добиться. В ответ на наш вопрос они, наконец, отрицательно мотнули головой, не проронив ни единого слова. Всего моего красноречия не хватило, чтобы заставить их заговорить. А я их просил, срамил, я угрожал им позором и всяческими неприятностями в дальнейшем. Они молчали. Они продолжали смотреть сквозь меня с лицами, как бы навсегда застывшими от нечеловеческого горя и ужаса. Когда я, придя в бешенство, сказал, что не ручаюсь за себя, если они и впредь будут пренебрегать просьбой британского офицера, они истерически зарыдали, прижавшись лицами к стенке корзины, но так и не произнесли ни единого слова.

Ливень уже кончился, когда мы достигли края пустоши. Быстро ушли тучи, и над всей округой, мертвой, сожженной и обезлюделой, открылось высокое,

чистое и отвратительно праздничное небо. Было щемяще грустно при виде этого куска нашей милой старой планеты, над которой уже безраздельно властьствовали не люди, а непоколебимо враждебные представители другого, чужого, страшно далекого, непонятного и злого мира. И было странно и удивительно, что сравнительно недалеко существовал еще привычный и бесконечно родной, но уже навеки нам недоступный мир стаинного хозяина Земли — человека...

Почти у самой ямы юноша принес в себя. Видимо, когда-то, страшно давно, несколько часов тому назад, он был отличным спортсменом. Во всяком случае, он вдруг с неожиданной легкостью подпрыгнул, ухватился за край корзины и перемахнул через него раньше, чем его успело поймать стремительно взвившееся ему навстречу металлическое щупальце. Мы услышали глухой стук тела, рухнувшего с высоты двенадцати ярдов на твердую, выжженную землю, и все было кончено.

А его отец оставался совершенно безучастным. Но предположим даже, что это не его отец, а совершенно чужой человек. Почему он не задержал этого мальчика от верного самоубийства?

— Почему вы его не задержали? — схватил я его за плечо. — Вы были обязаны удержать этого несчастного от верного самоубийства!..

Он молча и как-то очень уж неторопливо смахнул мою руку со своего туго набитого мышцами плеча и посмотрел на меня с таким презрением, которого я не простила бы даже члену палаты лордов.

— Я был бы вам, сэр, весьма обязан, — сухо заметил я ему, не повышая голоса, — если бы вы не забывали, что имеете дело с майором войск его величества и кавалером...

Тогда этот хам ни с того ни с сего начал смеяться. Смеялся он так, словно я произнес нечто чрезвычайно глупое и смешное. Он смеялся так долго, что это шокировало бы даже чистильщика сапог. Он смеялся, а я пытался вспомнить, где я когда-то совсем недавно ловил на себе такой же вызывающе презрительный взгляд, и, наконец, вспомнил: в прошлый четверг в го-

стиной у Арчибальда на меня приблизительно таким взглядом посмотрел один из молодых джентльменов из Ист-Сайда, когда я позволил себе не особенно лестно выразиться насчет социализма.

Ну, конечно, передо мной был один из этих чертовых социалистов с их презрением ко всем честным слугам короля и нации! Но только я раскрыл рот, чтобы выразить свое мнение об этой неприятной разновидности англичан, как джентльмен в подтяжках выдавил из себя сквозь судорожный смех:

— Самое смешное во всей этой истории, что я мастер по кровяным колбасам, по кровяным!..

— Тем более, — промолвил я еще суще. — Люди вашего скромного положения обязаны ни при каких обстоятельствах не забывать о...

— Боже, какой идиот! — простонал сквозь смех колбасник. — Да понимаете ли вы, что нам с вами теперь надо ду...

— Я понимаю только, что такие оскорблении не прощаются! — крикнул я и бросился на него с кулаками...

Это был человек невероятной силы. Первым же ударом он отшвырнул меня к противоположной стенке корзины, и я на несколько мгновений потерял сознание.

Я пришел в себя, когда цилиндр, к которому прикреплена наша корзина, с громким лязгом скользнул вниз, вобрав в себя щоги своего треножника, как ножки штатива фотографического аппарата.

Колбасник по-прежнему сидел на корточках с глазами, устремленными куда-то сквозь меня.

Надо мной склонились два солдата. Один из них, высокий, щеголеватый шатен, по разговору своему типичный кокни, размахивал перед моим лицом фуражкой, как веером. Другой, рыжеволосый, с круглым и решительным лицом деревенского забияки, лил мне на голову воду из фляжки. Вода была совсем теплая и нисколько не освежала.

— И вы допустили, чтобы этот негодяй, — я кивнул на колбасника, — оскорблял в вашем присутствии вашего офицера!

— Черт с ним, сэр! — пршептал мне на ухо рыжеволосый. — У нас с вами есть сейчас забота по-важней.

— Этот социалистический ублюдок... — начал я снова, но на этот раз рыжеволосый перебил меня довольно резко:

— Право же, сэр, совершено не к чему впутывать в эту историю дискуссию о социализме.

— Да вы никак и сами социалист? — ужаснулся я. — Нечего сказать, в восхитительную компанию я попал!

Тут рыжеволосый позволил себе такое, что я не позволил бы и его величеству, — он заткнул мне рот своей грязной лапой!

— Прошу прощения, сэр, — быстро забормотал он, оглянувшись на заднюю стенку корзины. — Кажется, нам нужно поторапливаться, если мы хотим спасти свои шкуры...

Я глянул в ту же сторону и увидел в стенке цилиндра нечто вроде иллюминатора. Сквозь его толстое стекло на нас смотрела лара больших, черных, очень холодных и неподвижных глаз. От этого взгляда марсианина мне стало не по сэбе, и я сразу потерял охоту обижаться на колбасника и на рыжего солдата.

А тот мне тем временем торонливо шептал:

— Давайте выпрыгнем, сэр.. Выпрыгнем и разбежимся в разные стороны. Всех им не поймать, это уж вполне определенно...

— Они нас сожгут раньше, чем мы сделаем первые пять шагов, — ответил я тоже шепотом. — Подождем до ночи... Или пусть они хотя бы все вберут свои треножники.

Но прежде чем последний цилиндр спустился на землю, он подошел вплотную к нашей корзине. Три его щупальца схватили колбасника и двух моих солдат (они беспомощно извивались в их кольцах, как гусеницы) и переложили их в свою корзину. Затем этот цилиндр отошел ярдов на пятьдесят в сторону и тоже вобрал в себя треножника.

Мы остались вдвоем с рыжеголовым солдатом. Его зовут О'Флаган, Майкл О'Флаган. Рядовой, подносчик

третьего орудия второй батареи. Рядовой, ирландец и, кажется, социалист!.. Нечего сказать, подходящая компания для майора из старинного рода, давшего Англии двух епископов, одного вице-министра и трех генералов!..

Мы услышали продолжительное шипение, словно выпускали пар из паровоза. Затем последовало какое-то тихое гудение, наш цилиндр завибрировал, и его верхняя крышка стала медленно вывинчиваться...

*Вторник, 23 июня (продолжение)*

Нет, они не отдыхали. Судя по всему, они вообще никогда не отдыхают. И не спят.

Я видел, как из двух цилиндров, пока третий с выпущенным треножником охранял их безопасность, вылезли и плюхнулись в яму восемь одинаковых округлых чудовищ, каждое ростом с невысокого мужчину. У них не было туловищ в нашем понимании этого слова. Они состояли только из гигантского карикатурного подобия человеческого лица с большими немигающими глазами, с единственной барабанной перепонкой на затылке и клювообразным ртом, по обе стороны которого двумя пучками свисали отвратительные щупальца, похожие на змей. Головы-туловища и щупальца. И больше ничего. Они тяжело дышали в непривычной для них слишком плотной земной атмосфере.

Видимо, они выползли посоветоваться о дальнейшем плане военных действий. На нас с О'Флаганом они обратили не больше внимания, чем человек на домашнее животное. Скользнули по нас безразличными взглядами и занялись своими делами.

Вскоре они вернулись в цилиндры, крышки над ними быстро завращались по нарезке, пока не завинтились до отказа. Потом оба цилиндра снова встали на треножники и все три, развернувшись в цепь длиной мили в две — две с половиной, двинулись в сторону железной дороги...

Это нельзя было назвать боем. Это была бойня. У них на вооружении оружие, против которого бесполезны пушки и пулеметы. Невидимый тепловой луч, моментально сжигающий все, что попадается на его

пути. В них можно попасть только с первого залпа или погибнуть.

Стоит им обнаружить батарею или засаду где-нибудь на церковной колокольне, как они направляют на цель этот дьявольский тепловой луч, и все кончено.

Они сожгли несколько городков с такой легкостью, с какой мальчишка сбивает палкой головку одуванчика...

*Среда, 24 июля*

**Глава  
третья**

Боже мой, они нас пасут!

Неясные подозрения охватили меня еще вчера вечером, когда марсиане, вернувшись на свою базу на пустоши, высыпнули из цилиндров несколько трупов. Два из них мне удалось распознать. Это были обескровленные трупы моего солдата-кокни и колбасника.

Бесконечно страшно об этом писать, но марсиане питаются человеческой кровью\*. Еще вчера мне удалось рассмотреть этот жуткий процесс сквозь тот самый иллюминатор в стенке цилиндра, который выходит в нашу корзину и, очевидно, предназначен для наблюдения за поведением ее живого содержимого. Это слишком отвратительно, чтобы рассказывать подробности, но это именно так. Они вводят прямо в кровеносные сосуды своего голово-тела кровь их жертвы пипетками объемом около чайного стакана.

Марсиане удивительно быстро ориентируются в новой для них, земной обстановке. Они уже успели понять, что без пищи и воды люди истощаются и гибнут. И они решили нас пасти. Меня и О'Флагана. И они уверены, что нам от них не убежать.

А мы-то с О'Флаганом сначала не поняли, почему это «наш» цилиндр так медленно рыщет среди развалин Уокинга. Он шагал, неторопливо передвигая свои серебристые суставчатые ноги, пока не остановился

---

\* Справедливость требует отметить, что марсиане не делали себе матрацев из волос своих жертв, абажуров — из их кожи, мыла — из их жира. — Л. Л.

над домом, с которого как ножом срезало второй этаж. Когда нас охватили щупальца, мы решили, что вот он и пришел, наш смертный час. Но щупальца довольно бережно опустили нас в этот бесконечно печальный разрез дома, в котором еще пять дней тому назад текла мирная и счастливая человеческая жизнь. Опустили и отпустили, а сами с неприкрытой угрозой раскачивались в непосредственной близости от нас. Бежать нам было некуда. И они решили попасти нас, дать нам возможность размяться, поискать себе пищи, набрать воды.

Дом, в который нас опустили, принадлежал до прошлой пятницы владельцу крохотного магазинчика, который, будь он раз в двадцать крупнее, можно было бы назвать небольшим универсальным магазином. Жилые комнаты были расположены позади магазинчика и в начисто снесенном втором этаже. В этой лавочке было всего понемногу: и канцелярских товаров, и колониальных, и вина, и книг, и всего, что требуется рассеянному охотнику, забывшему запастись необходимыми боеприпасами в Лондоне.

В кладовой мы обнаружили три окорока, два черстых, но вполне еще съедобных хлеба, несколько банок варенья, фунтов десять сахару, четыре круга колбасы, две дюжины пива в тяжеленных картонных коробках, несколько жестяных коробок с бисквитами, ящик отличного коньяка, несколько банок табака, вдоволь спичек. Мы напились из-под крана, из которого почему-то еще текла вода, и вернулись в столовую за скатертью, чтобы упаковать в нее все это бесплатно доставшееся нам чужое добро. Это было настолько увлекательно — брать все, что тебе угодно, и бесплатно, что я на время даже забыл о том, что ждет нас.

Для удобства мы взяли две скатерти. Со скатертями в руках мы заглянули в то, что осталось от магазина: четыре стены и голубое небо вместо потолка. На полу — еще не успевшие высохнуть дождевые лужи. В лужах — пожелтевшие листья с деревьев, поломанные стволы которых уныло торчат по обе стороны входа в бывший магазин. В полувыдвинутом

ящике кассы денег не было, но валялось вдоволь разбухших от дождя счетов и записок с лиловыми разводами дешевых чернил. Зато на полках товар был почти не тронут сыростью. Я взял себе три записные книжки, родные сестры той, в которой я сейчас веду свои записи (у меня страсть к хорошим записным книжкам), несколько карандашей и библию, библию, которой мне так не хватало и без которой я во время моей колониальной службы не отправлялся ни на одну операцию.

Упаковав все это в скатерти, мы положили узлы на стол и стали советоваться, как поднять их к нам в корзину, наверх. Но мы явно недооценивали сообразительность марсиан. Только мы несколько отошли от стола, как щупальце схватило одно за другим оба громадных узла и перенесло их в корзину со споровкой бывалого грузчика.

В это время Майкл О'Флаган, у которого рождались одна безумная идея за другой, стал совать мне в руки увесистые продолговатые коробки. Я глянул на их наклейки, и меня чуть не хватил удар: это были коробки с охотничим порохом!

— В крайнем случае, — возбужденно шептал мне О'Флаган, — мы уничтожим хоть одну марсианскую боевую машину!.. Ну, берите же!.. (Он настолько обезумел, что даже не счел нужным прибавить «сэр»!) Берите!.. И я захвачу коробки четыре... Эти вурдалаки не знают, что в этих коробках, а когда поймут, будет поздно...

— Я вам приказываю немедленно положить порох на место! — крикнул я этому осатаневшему молокососу. — У меня семья, дети, и я не тороплюсь на тот свет!..

О'Флаган от злости покраснел до самых корней своих рыжих волос, но то, что еще осталось в нем от дисциплинированного солдата, заставило его выполнить мое приказание.

От волнения у меня пересохло в горле. Я раскурил бутылку содовой и налил себе стакан.

Сколько это потребовало времени? Минуту — не более. Но за это время проклятый ирландец успел

схватить из витрины охотничью двустволку и зарядить ее.

— Бегите! — крикнул он мне, стреляя в упор в дежурное щупальце. — Бегите через кухню и спрячьтесь в саду!.. А я постараюсь пока задержать это чудище!.. Да здравствует Ирландия!..

Никогда еще я не был так близко от смерти. Я схватил недонитую бутылку и изо всей силы ударили по голове этого идиота. О'Флаган рухнул на пол без чувств (головой в лужу, которая сразу покраснела от крови), и это спасло мне жизнь. Имей я глупость броситься бежать, меня бы без труда поймали и... Бр-р-р! Даже страшно подумать...

Я уже имел случай писать об удивительной сообразительности марсиан. На этот раз они поняли, что О'Флаган хотел организовать наш побег. А я не согласился. Они это отлично поняли. Полагаю, что в конечном счете и О'Флаган уразумел бы, что я действовал в интересах нас обоих, но, к сожалению, пути наши сразу и бесповоротно разошлись. То самое щупальце, в которое он столь легкомысленно и бесполезно выпустил заряд, как ни в чем не бывало подхватило обеспамятевшего солдата и зашвырнуло его в мрачную глубину чуть приоткрывшегося цилиндра. Крышка стала сама по себе завинчиваться, я услышал донесшееся из цилиндра довольное уханье марсиан, и у меня мороз прошел по коже. Потом то же щупальце мягко обхватило меня под мышками и бережно (!!!) подняло в корзину, где и оставило наедине с теперь уже только для меня одного предназначеными двумя узлами...

Надо будет все-таки поэкономней расходовать продукты и напитки. Бог знает сколько дней и ночей предстоит еще провести в этой ужасной корзине, пока до меня дойдет очередь.

А вдруг меня минет чаша сия? Господи, помоги мне ради моей бедной жены, ради моих невинных детей!

*Четверг, 25 июня*

Прошлой ночью я по сомкнул глаз. Я осушил бутылку мартини и очень, очень многое передумал.

Утром, лишь только достаточно рассвело, я начертил на листке бумаги «пифагоровы штаны» и поднес бумагу к самому иллюминатору. В цилиндре заметили, что я хочу привлечь их внимание. Пучок света на сей раз, к счастью, безвредного, осветил мой незамысловатый чертеж, и одна за другой несколько пар больших, чудовищно спокойных глаз показались по ту сторону иллюминатора.

Мой расчет был очень прост: мыслящие существа, дошедшие до такой степени цивилизации, как марсиане, не могут обойтись без геометрии. Геометрия всегда одинакова. Увидев мой чертеж, марсиане поймут, что имеют дело с мыслящим существом и что это мыслящее существо хочет с ними вступить в контакт.

Удостоверившись, что все они ознакомились с моим первым чертежом, я предложил их вниманию второй. Это была грубо нарисованная, но достаточно ясная схема солнечной системы. Кружочки, изображавшие Землю и Марс, я перечеркнул крестиками. Перечеркивая Землю, я на всякий случай ткнул себя пальцем в грудь, а перечеркивая Марс, показал пальцем на цилиндр. Потом я постарался изобразить вокруг Сатурна кольцо и держал эту бумажку, прижав к стеклу иллюминатора, пока марсиане не ушли в глубь цилиндра.

Тогда я, совершенно обессиленный от нервного напряжения, присел на дно корзины. Выпившая натощак бутылка коньяка дала себя знать, и я не заметил, как уснул...

Проснулся я от того, что ярдах в двухстах от меня разорвался снаряд. Потом еще два. Несколько осколков прогудело где-то высоко над моей головой. Почти одновременно с этими тремя взрывами, не причинившими марсианам никакого вреда, в отдалении раздался грохот, от которого листва на деревьях под нами зашепестела, как при ураганном ветре, и от теплового луча марсиан взлетела на воздух батарея, укрывавшаяся за восточной окраиной городка. Кажется, это был Уэйбридж. А может быть, Шеппертон. Было очень трудно разобраться: дым, пламя, зыбкие коричневые стены пыли от рушившихся зданий. Все более или

менее приметные ориентиры были начисто сметены с лица земли...

На этот раз пленных (если людей, взятых для такой цели, можно называть пленными) взяли в свои корзины марсиане с других боевых машин. Не значит ли это, что меня не хотят беспокоить, что меня как-то выделяют из массы других пленных?.. А что, если меня решили оставить в живых? Просто так, не столько из благодарности (вряд ли они настолько сентиментальны), сколько в знак доверия? А если в знак особого доверия, то чего они от меня ждут?.. Как мне отблагодарить марсиан за то, что они мне, единственному из всех захваченных ими людей, доверяют?

Погруженный в размышления, я долго не обращал внимания на местность, по которой неторопливо продвигались боевые машины марсиан.

Я был уверен почему-то, что мы возвращаемся в пустошь. И вдруг я поднял глаза и увидел, что мы передвигаемся в прямо противоположном направлении. Вскоре меня охватило странное чувство: меня томило какое-то неопределенное воспоминание. Я готов был поклясться, что совсем недавно я был уже в этих местах, хотя, и это было так же несомненно, ни разу не видел этого сверху. И вспомнил: в отдалении, вон за тем леском и за тем, и вон за той кучкой домиков, тонувших в сочной зелени садов, и во-о-он за теми высокими каменными изгородями расположились огневые позиции полка, которым командует мой друг полковник Кокс. Ну конечно, я еще помог ему выбрать для его гаубиц ложбинку справа от железнодорожной станции...

Значит, еще минут пять, не более, и мы окажемся в зоне действительного огня батарей. Судя по опыту предшествующих дней, им вряд ли удастся произвести больше одного залпа. В лучшем случае (для полковника Кокса, а не марсиан) ему удастся повредить одну из боевых машин марсиан. А потом полковник Кокс со своими орудиями и артиллеристами все равно будет сметен с лица земли. Но марсиане озлобятся. А кроме того, и это-то наиболее вероятно, разрывы

снарядов единственного залпа полковника Кокса, не причинив никакого вреда цилиндром, превратят меня, ничем не защищенного от осколков, в груду дырявого мяса... Не лучше ли будет не раздражать марсиан бесполезным сопротивлением?

Еще в военной школе я получал высшие баллы за то, что быстро и точно набрасывал в полевых условиях кроки. Мне до сих пор трудно вспомнить, отдавал ли я себе отчет, чем я руководясь, набрасывая с лихорадочной быстротой на листке бумаги кроки местности, по которой, не подозревая о грозившей им опасности, продвигались боевые машины марсиан. Но скажу без ложной скромности, редко кому бы то ни было удавалось в столь короткие промежутки времени набросать в труднейших условиях (плохая видимость — ведь моя корзина была на обращенной назад части цилиндра, и тряслось, как на спине у верблюда) столь точные кроки, от которых зависела — страшно сказать! — судьба человечества. Над всеми естественными и искусственными прикрытиями, за которыми укрывались орудия полковника Кокса, я по наитию (кто знает, какие знаки употребляют марсиане!) нарисовал, конечно схематически, орудия с белыми облачками вокруг их жерл и стал неистово стучаться в иллюминатор.

Не думаю, чтобы они услышали там, внутри, этот стук: слишком толсты были прозрачные пластины, заменявшие в них наше земное стекло. Но, прижавшись к иллюминатору, я застил собой свет, поступавший внутрь цилиндра, и на это обстоятельство марсиане сразу обратили внимание. Одна за другой промелькнули за иллюминатором несколько пар неподвижных холодных глаз.

А спустя считанные мгновения (я так до сих пор и не могу понять, как марсиане поддерживают между собой связь на походе) боевые машины развернулись в цепь, охватив с флангов огневые позиции полковника Кокса. Потом по тому же невидимому и неслышимому сигналу все машины одновременно подняли над собой сероватые цилиндрические предметы размером со ствол трехдюймового орудия, и в тучах рыхлой

пыли, в чудовищном пламени и грохоте взлетел на воздух и превратился в прах весь полк, со всей орудийной прислугой, со всеми расположеными в глубине позиций зарядными ящиками, повозками и слоноподобными лошадьми.

И все это обошлось без единого выстрела со стороны того, что еще несколько мгновений тому назад составляло грозное и мощное боевое подразделение.

Впрочем, для кого грозное? Для марсиан оно было бы не более грозным, чем нападение десятка ос на человека в водолазном скафандре.

Я не сентиментальная барышня. Я старый военный, и меня учили трезво расценивать боевую обстановку. Больно и трудно признаться, но я не вижу теперь на всей нашей планете сил, которые могли бы противостоять беспощадной и сверхсовременной мощи марсиан...

Я старался не вспоминать о полковнике Коксе. Он был, смею надеяться, моим другом. Он был человеком хорошего происхождения и самых лестных связей. Я был бы рад иметь его на своей стороне в этой новой ситуации. Но я отнюдь не уверен, что он обладал достаточно широким кругозором, чтобы присоединиться к моей точке зрения, даже если бы ему представилась такая возможность. Он был, пожалуй, слишком чувствителен и старомоден для кадрового военного. Боюсь даже, что он не смог бы отнести к моей точке зрения с должным если не пониманием, то хоть уважением. Что ж, это несколько облегчает тяжесть моих теперешних переживаний...

Весь во власти этих мыслей, я стоял, опершись о стенку корзины, когда мне вдруг в глаза ударили пучок света из иллюминатора. Я увидел во мраке цилиндра два глаза и матовый блеск бурого змеевидного щупальца. Мне показалось, что марсианин машет мне этим щупальцем, чтобы привлечь мое внимание. Во всяком случае, когда я приблизился к иллюминатору, щупальце поднесло к самому стеклу серебристую матовую пластинку, несколько напоминавшую алюминиевую. Я различил на ней прекрасно вычерченные густой черной краской «пифагоровы штаны»! Потом

оно перевернуло пластинку. На обратной ее стороне было изображено что-то напоминающее крючковатый крест. Подобные знаки я часто встречал на индийских храмах, хотя ясно, что ничего общего с индийскими культовыми знаками, кроме чисто случайного внешнего сходства, этот знак не имел и иметь не мог.

«Пифагоровы штаны» были ответом на мой чертеж и, видимо, должны были служить подтверждением, что марсиане признают меня мыслящим высокоорганизованным существом, с которым они считают возможным вступить в контакт. Что же до крючковатого креста, то хочется видеть в нем знак того, что они признают меня полезным для себя существом, достойным признательности за помошь, которую я им только что оказал.

Первой моей мыслью было, что отныне я единственный на земле человек, которому не грозит гибель от руки (от щупальца) марсиан. Второй моей мыслью было, что я стою на пороге огромных и величественных свершений в своей судьбе. Третьей моей мыслью было: хорошо, что, кроме меня, никого в корзине не было!

Долго я смиренно искал указания и утешения в чтении библии. «Несть власти, аще не от бога!» Эти пророческие слова да будут мне путеводной звездой в моем грядущем трудном подвиге!

И не могу не повторить снова и снова: как хорошо, что никто не был свидетелем того, как между марсианами и мною впервые и навсегда установился нерушимый контакт.

Верю, что господь направил мою руку, когда я вычерчивал крошки огневых позиций полковника Кокса, и что он и в дальнейшем будет ее направлять в угодном ему направлении...

Ночью черное небо прорезал стремительный ярко-зеленый болид и упал милях в восьми от Уокингской пустоши. Это шестой спаряд с Марса. Новое пополнение. Со дня на день мы становимся сильнее и сильнее. К месту его падения сразу отправились две боевые машины, чтобы оградить его от возможных эксцессов со стороны безумцев, продолжающих сопротивление. К утру вновь прибывшие марсиане уже

смогут принять участие в дальнейших мероприятиях по наледению порядка.

*Пятница, 26 июня*

**Глава четвертая** Для меня ясно одно: безвозвратно ушло время, когда Британия была повелительницей мира. Но трезвые политики не падают духом, а принимают решения в соответствии с обстановкой.

Я продолжаю стоять при этом на той же точке зрения, на которой стою с первого дня моей сознательной жизни: сила не нуждается в моральной упаковке. Сила есть сила, и этим все сказано.

Лично я склонен видеть в появлении на нашей старой планете марсиан нечто в высшей степени ободряющее. Больше того, я почти уверен, что при известной гибкости и такте возможно подлинно плодотворное объединение Британии и марсиан в едином государстве, в некоторое в конечном счете глубоко конструктивное и гармоническое целое. Конечно, ценой некоторых взаимных уступок в дальнейшем, а пока что за счет всех возможных уступок с нашей стороны. Вместе с марсианами, пусть и в качестве их младшего партнера, мы будем силой, которая в несколько месяцев подчинит себе все человечество.

*Основания?*

Первое. Было бы неразумно и катастрофично не понимать, что марсиане никогда и ни за что не откажутся от обязательств, которые они имеют по отношению к Англии и всему земному шару. Но они отнюдь не заинтересованы в полном или даже более или менее серьезном истреблении человеческого рода. Мне скажут: они питаются человеческой кровью. Правильно, питаются. Но именно по этой причине они и заинтересованы в сохранении человечества как своей питательной базы. Да и много ли им в конце концов потребуется для этой цели людей? Тысячи. Ну, сотни тысяч. Пусть даже на самый крайний случай несколько миллионов голов. Объединенное государство с лихвой обеспечит им это количество за счет политических преступников и цветных. Зато какой

огромный прогресс в укреплении порядка! Под страхом попасть в шупальца марсиан мы в несколько недель добьемся идеального дисциплинирующего эффекта и внутри страны и в колониях. А если молодчикам вроде Томаса Манна и прочих социалистов и возмутителей общественного покоя (включая и моего кузена Арчи, если он не одумается, но он обязательно одумается, — я его неплохо знаю) будет угодно бунтовать, пусть и идут себе на здоровье на пропитание наших мудрых и верных союзников. И нет сомнения, что все государства мира с благодарностью будут предоставлять своих заключенных в распоряжение марсиан. Ради такой перспективы любое цивилизованное государство с радостью пойдет на некоторое разумное ограничение своего суверенитета. Мальтус был бы счастлив приветствовать марсиан во имя здоровья и гигиены человечества. Дикари, туземцы, политические преступники и смутьяны, безработные старше сорока — сорока пяти лет — какие поистине гигантские возможности удовлетворять самые широкие запросы наших старших партнеров! Без всякого ущерба для цивилизации и прогресса!

Второе. Марсиане не смогут обойтись на Земле без посредников, без тех, кто полностью и с уважением понимал бы их цели, интересы и обязательства и которым они могли бы полностью доверить это трудоемкое и в известном смысле щекотливое дело. Только организованный в виде высокодисциплинированного и четко работающего государственного аппарата коллектив особо доверенных и глубокопорядочных людей способен обеспечить бесперебойное, равномерное и высококачественное снабжение достаточным количеством людей пищевого назначения.

Третье. Было бы в высшей степени легкомысленно недооценивать, с другой стороны, известную ограниченность могущественных боевых возможностей марсиан. Прежде всего они не знакомы с географией Земли. Без нашей помощи им не разобраться в сложном комплексе географических вопросов, в путанице мировых, региональных и внутригосударственных путей сообщения.

Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, марсияне понятия не имеют о крупных естественных водоемах, начиная от рек и озер и кончая морями и океанами. Их нельзя в этом винить. Ведь на Марсе этого уже очень давно нет. Значит, то государство, которое поможет им своим флотом, окажет им поистине неоценимую услугу. Без наших плавучих средств для них станет преградой любой водоем, глубина которого превышает вышину их треножников. Без нас им нечего и думать о десанте на континент и завоевании всего мира.

Итак, в перспективе, и притом ближайшей, воссоединение марсиан и английских владений под единым знаменем, тень от которого даст долгожданную прохладу и покой всему человечеству. Со стороны людей потребуется второй по значению член этого могущественнейшего за всю историю человечества правительства, и этим всесильнейшим из всех смертных, когда-нибудь правивших на Земле, буду я, Я, ВЕЛЛ ЭНДЬЮ, первый из людей, вступивший в боевой и деловой контакт с нашими космическими гостями и уже оказавший им поистине неоценимую услугу...

Какое все-таки счастье, что Дженнин с детьми сейчас так далеко отсюда, в Эдинбурге!

### *Пятница, 26 июня (продолжение)*

На пустоты к нам пришли вновь прилетевшие марсиане. Пока они вместе с прежними марсианами совещались в яме, я имел возможность снова, на этот раз без ложной и ни на чем не основанной предвзятости, внимательно присмотреться к их внешнему облику.

Надо иметь мужество признаться, что я был к ним несправедлив. Они совсем не так отвратительны. Они вообще не отвратительны. И дело не столько в том, что я притерпелся, сколько в исходной точке зрения.

С точки зрения банальной эстетики, господствовавшей на Земле до прошлой пятницы, марсиане далеки от совершенства. Вряд ли они могли бы увлечь своим внешним видом какую-нибудь простодушную красотку с Пиккадилли, но только потому, что у нас с марсианами были разные представления о красоте.

Но если красота — это наиболее экономное воплощение высшей целесообразности, то марсиане, превратившиеся в итоге многотысячелетнего прогресса их умственной деятельности в тело-голову, являются образцами высочайшей целесообразности и, следовательно, по-своему не только красивы, но и прекрасны. В восточных поэмах признаком высшей красоты считается лицо, подобное луне. Не сомневаюсь, что у африканцев приплюснутый нос и толстые губы также служат предметом восторженного воспевания в примитивных произведениях их невежественных поэтов. Но точно так же, как общечеловеческим критерием красоты до прошлой пятницы считался европейский критерий, так сейчас, после прошлой пятницы, носителями подлинного идеала красоты стали представители марсианского мира.

Нет ничего красивей и благородней внешнего облика завоевателя! Важно только понять это, прочувствовать эту непреложную истину. В остальном это становится только делом привычки. Пройдет год-два, а может быть, и меньше, и прекраснейшие дочери Земли будут вздыхать по марсианам — и вздыхать, увы, без всякой надежды на взаимность, потому что похоже, что марсиане — существа бесполые и размножаются отпочкованием...

### *Пятница, 26 июня. Полдень*

Мне оказано волнующее доверие; сегодня я пас пленных.

Конечно, эти новички принимали меня за одного из своих, и я их, понятно, не разочаровывал, а, наоборот, всячески в этом приятном и для них и для меня заблуждении утверждал. Они обрадовались, узнав, что я в корзине уже шестые сутки. Они видели в этом хорошее предзнаменование для себя.

Оказывается, кем-то где-то был для три тому назад обнаружен обескровленный труп, и по всему юго-востоку поползли слухи, что марсиане для каких-то неведомых целей выпускают из пленных кровь. Я изобразил на своем лице улыбку: «Разве вы не замечаете, что во мне не осталось ни единой кровинки?»

И все они облегченно рассмеялись.

Я стою на той точке зрения, что бывает обман, который на том свете будет засчитываться как высшая степень милосердия. Если это так, а это именно так, то мне на небесах зачтутся все мои грехи. Я сказал этим беднягам, что, судя по всему, марсиане подобрали нас для того, чтобы поближе присмотреться к людям. Для этой цели они будут время от времени брать к себе внутрь цилиндра то одного, то двух, а то и больше человек, но что бояться этого нечего.

Смею надеяться, что именно под моим воздействием ни один из пленных и не подумал о том, чтобы улизнуть. Набрав необходимое количество продуктов в брошенных хозяевами домах и лавках, напившись и нагулявшись вдоволь, они спокойно отдались во власть щупалец, которые и вернули их в корзины.

Вскоре после того как и я снова очутился в своей корзине, я увидел в иллюминаторе пластину с крючковатым крестом. Скорее всего я прав, принимая это за знак признания моих, пусть и скромных, заслуг.

А может быть, они только проделывают надо мною какие-то свои заранее запланированные психологические опыты? Вдруг они всего лишь проверяют мои рефлексы, как биологи, изучающие реакцию муравьев или пчел на разные раздражители?.. Или как собаководы, выискивающие среди очередного помета многообещающие экземпляры?.. Ну что ж, на крайний случай и это не так плохо. Во всяком случае, сегодня я могу спать спокойно. Сегодня меня не умертвят. И завтра тоже...

*Пятница, 26 июня. Полдень (продолжение)*

Только я приготовился вадремнуть, как четыре боевые машины выпустили свои треножники и с уже привычным лязгом приблизились к нашей машине так близко, что мне стало вчуже за них страшно: достаточно было бы одного шальнойного снаряда, чтобы сразу вывести их всех из строя. Надо будет подумать, как дать им понять, чтобы они всячески избегали такого скопления.

Но, судя по всему, они скучились ненадолго и толь-

ко для того, чтобы рассмотреть меня получше. Во всяком случае, щупальце нашей машины подняло меня из корзины и передало на весу щупальцу из другой. Повернув меня перед ее передним иллюминатором (оказывается, у цилиндров впереди и по бокам тоже имеются иллюминаторы, только значительно большие, чем задние, обращенные к корзинам), второе щупальце таким же манером передало меня третьему. Точно таким же путем я был передан следующему щупальцу, и после подробного осмотра меня экипажем четвертой машины я был благополучно возвращен домой, в свою корзину.

Во время этих захватывающих перелетов меня приветствовали из своих корзин пленные, которых я меньше часу тому назад нас в разрушенном доме. В ответ я махал им рукой, улыбался и кричал: «Ну вот видите! Я никак не боюсь!.. Это наши подлинные друзья!.. Они нас всех подробнейшим образом изучат и распустят по домам!..»

Я еще не успел как следует прийти в себя после этого головокружительного воздушного променада, как крышки всех машин одновременно приподнялись и щупальца каждой перенесли по человеку внутрь своих цилиндров.

Что ни говори, а потребуется еще, вероятно, некоторое время, покуда я научусь с должным спокойствием переносить подобные сцены. Как все-таки счастливы по-своему цыплята, которые и понятия не имеют до самого последнего мгновения, зачем их понесли на кухню!.. Эти люди, которых щупальца уносили в глубь цилиндров на неминуемую и уже совсем близкую смерть, улыбались, смеялись, махали тем, кого они оставили в корзинах, как мальчишки, особенно высоко взлетевшие на «гигантских шагах».

А те, кто оставался еще в корзинах, кричали им, чтобы они не особенно задерживались внутри цилиндров, потому что всем интересно поближе посмотреть на марсиан.

Правда, из одного цилиндра раздались пронзительный человеческий вопль и довольноное уханье марсиан, прежде чем крышка над ними окончательно завинти-

лась. Все оставшиеся на воле, то есть в корзинах (как все в конце концов относительно!), встревоженно взглянули на меня. И хотя меня самого пробрала первая дрожь, я нашел в себе силу воли улыбнуться и крикнуть: «Нечего сказать, хорошее у них составится мнение о нашем пресловутом спокойствии!..»

И все-таки хорошо, что вскоре машины развернулись в каре и выступили в очередной боевой поход.

И тут, когда я уже думал, что обо мне, наконец, забыли и что мне удастся хоть немного отдохнуть от этого сверхчеловеческого напряжения нервов, шторка в моем иллюминаторе раздвинулась. В нем показались не то две, не то три пары глаз (от волнения я позабыл, сколько в точности). Затем одно из щупалец, висевших до этого отвесно вдоль стенки цилиндра, вдруг взмыло в воздух, сделало плавный полукруг, и самый его конец повис перед моим ртом. Что-то внутри щупальца щелкнуло, и у моего рта оказалось нечто продолговатое, прозрачное, объемом с чайный стакан. Это нечто было заполнено чем-то темным, жидким...

Мой отказ был бы равносителен подписанию самому себе смертного приговора и не принес бы никакой пользы никому, в том числе и несчастной жертве...

Впрочем, я все больше проникаюсь уверенностью, что с их стороны это было не только испытанием моей преданности прительцам с Марса. Возможно, что там, на их далекой планете, этим угощают гостей, всех, кому они хотят сделать приятное. Ведь в каком-то смысле я находился у них в гостях.

В таком случае мой отказ мог быть воспринят как оскорблениe и иметь не менее далеко идущие последствия.

Трудно пересказать, что я передумал за эти короткие мгновения. Я подумал о своей семье, которая в случае отклонения мною этого угощения осталась бы без главы и кормильца в эти тяжкие времена. В то же время я твердо сознавал, что никогда еще судьбы моей страны и всего человечества так не зависели от того, проявит ли или не проявит один-единственный человек чисто условное чувство брезгливости. Я уверен, что и тот, кто только что стал в нашем

цилиндре жертвой особенностей марсианского питания, легче умирал бы, если бы знал, что и он, пусть столь пассивным и косвенным путем участвует в борьбе за превращение своей страны в младшего партнера самых могущественных властителей, которые когда бы то ни было появлялись на просторах нашей старой планеты...

К чести марсиан, они даже не заставили меня выпить все до конца. Щупальце отплыло от моего рта, а в иллюминаторе снова, уже в третий раз за время моего плениения, появилась пластинка с крючковатым крестом. Теперь уже у меня не было никакого сомнения. Это могло означать только одно: они были и мною довольны.

Итак, первый этап установления взаимопонимания между марсианами и человечеством можно считать завершенным. И радостно сознавать, что именно меня господь избрал на этот высокий подвиг. Нет теперь и не было никогда на всем земном шаре человека, обладающего такими поистине неограниченными возможностями воздействия на дальнейший ход мировой истории на страх всем подрывным элементам и для вящей славы христианской европейской цивилизации!

Задача теперь в том, чтобы выработать необходимый язык для более детального и точного общения с марсианами. Но в этом я смиренно полагаюсь на них, у которых интеллект так далеко ушел вперед по сравнению с человеческим.

### *Пятница, 26 июня. Четыре часа пополудни*

Правильней всего было бы высадить меня на Землю и дать мне возможность любым путем передать правительству их ультиматум и мой проект сотрудничества и государственного объединения. Я уверен, что мой проект нашел бы понимание у большинства министров и членов палаты лордов. Но не было решительно никакой возможности объяснить мой план марсианам. Приходилось поэтому ограничиться тем, чтобы давать им крошки местности и такие схемы боевых действий, которые обеспечивали бы наименьшее количество жертв среди мирного населения и наименьшие

разрушения невоенных объектов. Вот когда мне и, надеюсь, Англии пригодилось то обстоятельство, что военная школа, питомцем которой я являюсь, проводила учебные маневры как раз в тех местах, где сейчас ведут свое наступление марсиане.

Как военный, никогда не осквернявший свою репутацию ложью, я обязан заявить, что на первых порах недооценивал военного и технического гения представителей этой знаменитой планеты. Оказывается, кроме тепловых лучей, на их вооружении имеется еще одно неотразимое оружие — черный дым. Они выпускают на объект нападения клубы черного дыма, который душит все живое, но оставляет совершенно целыми и невредимыми строения, машинное оборудование и прочие предметы материальной культуры! Дым постепенно оседает в виде черного порошка, из которого, на мой взгляд, можно изготавливать первоклассные красители для текстиля и промышленных лаков. Порошок этот следует убирать как можно скорее, потому что первый дождь смывает его без остатка.

*Суббота, 27 июня. Десять часов утра*

Никогда еще я не имел таких оснований считать себя идиотом! Я мог, я обязан был предусмотреть эту возможность!

В самом деле. Каждый вечер мы возвращались на Хорсэллскую пустошь по одной и той же дороге. Каждое утро мы отправлялись по той же дороге в обратном направлении. Навстречу новым победам? Бессспорно. Но ведь и навстречу неизвестности. Я не имел права успокаиваться на том, что армейские части откатились далеко на северо-восток.

И все же кто мог подумать, что неожиданности грозят нам со стороны каких-то штатских!

Правда, что-то вроде искорки сомнения вспыхнуло у меня еще вчера, когда мы возвращались на пустошь. Мой взгляд упал на велосипедный завод, вернее — на то, что от него осталось. Его обгоревший и полуобрушившийся остов мрачно и как-то угрожающе черпал у обрыва крутого и широкого оврага на ярко-оранже-

вой стене заката. Я патриот, горжусь индустриальной мощью Британии, но, смею все же заявить, терпеть не могу индустриальных пейзажей. Они портят мне настроение. Они портят буколическую красоту доброй, веселой, старой Англии. Они портят людей, которые приходят на предприятия законопослушными и доверчивыми верноподданными короны. Они портят молодых людей призывающего возраста.

Мне пришло в голову, что лишняя порция теплового луча никогда не повредит. Я торопливо набросал на бумажке контуры завода, а над ним разрывы снарядов.

По меньшей мере полминуты две боевые машины тщательно прожаривали заводской скелет, пока он окончательно не осыпался и не превратился в смрадную груду полурасплавленного и потрескавшегося кирпича.

И все же этого оказалось недостаточно.

Два часа тому назад, как раз невдалеке от этих проклятых развалин, неожиданно взлетела на воздух одна из боевых машин. Она спокойно, не встречая на своем пути препятствий, шагала третьей справа от нашей, пока не достигла того единственного узкого места, где можно было перешагнуть через овраг. И тут раздался оглушительный взрыв.

Теперь-то я знаю, что это сработала адская машина, предательски замаскированная дерном и битым кирпичом. А тогда я увидел, как внезапно в темноте небе вырос огненный холм вздыбленной земли. Треножник несчастной боевой машины как бы растаял, ее цилиндр боком грохнулся в овраг и покатился по нему, как неправдоподобно громадная консервная банка. Мы кинулись на помощь, но были еще ядрах в пятистах от него, когда крышка цилиндра отлетела прочь и из нее показались первые щупальца. Это было безумие! Это было так не похоже на осторожных и осмотрительных марсиан! Они должны были ждать нашего прибытия и уже тогда только отвинчивать крышку!

И вот я увидел, как откуда-то, видимо из норы во внутреннем склоне оврага, полетела в открытый ци-

линдр вторая адская машина, и со всеми, кто не успел еще выбраться, было покончено. Клочья кровавого мяса брызнули во все стороны и оглушили единственного марсианина, которому к этому времени удалось отползти от цилиндра ярдов на пятнадцать.

Его расстреляли в упор из дрянных охотничьих ружей два обросших человека в рваной, отвратительно грязной одежде, опоясанные дешевыми матерчатыми патронташами.

Нет, они не стали удирать от нас. У них хватило мозгов, чтобы понять, что убежать от марсиан невозможно. Они перезарядили ружья и стали палить по приближавшимся цилиндром. С таким же успехом они могли бы стрелять из рогаток по Дуврским скалам.

О, если марсиане догадались бы хоть на несколько минут спустить меня на землю! Я бы придушил этих мерзавцев собственными руками. Но марсиане оказались умнее меня. Надо еще и еще раз воздать должное великолепному хладнокровию и блестательной расчетливости этих прирожденных завоевателей.

Они взяли их живьем и швырнули в мою корзину. А пока они еще извивались высоко над моей головой в могучих щупальцах, в иллюминаторе мелькнула знакомая табличка с крючковатым крестом: марсиане целиком полагались на мою преданность и сообразительность. И смею надеяться, я не обманул их надежд!

Пленники не очень удивились, обнаружив в корзине еще одного человека.

С минуту они тяжело дышали, упершись спинами в стенку цилиндра.

— Вот это здорово! — воскликнул, наконец, младший из них, невысокий, тонкогубый, кудлатый, как пудель, вытаскивая дрожащими руками из кармана старенький кожаный портсигар. — У нас тут собралась неплохая компания! Хотите закурить? — протянул он мне портсигар.

Этот невзрачный малый был в состоянии крайнего возбуждения. Второй, высокий, широкоплечий, с загорелой лысиной, обрамленной по сторонам плохо подстриженными седыми волосами, был внешне спокоен.

Вот и говорите после этого, что нет на свете наития! Я повел себя с ними, как равный с равными. Я взял сигарету, и мы закурили.

— Видали? — торжествующе продолжал кудлатый, судорожно затянулся и закашлялся. — Полный ящик марсиан ко всем чертям!

— Великолепно сработано! — ответил я. — Никогда бы не подумал, что такое возможно.

— Возможно! Все возможно! — расхохотался (помнить только, в таком положении расхохотался!) кудлатый. — Плохо вы знаете англичан, сэр!

— Я надеюсь, что вы не откажете мне в чести быть англичанином, — возразил я с улыбкой, которая стоила мне очень многого.

— Прошу прощения, сэр, — спохватился кудлатый. — Я не хотел вас обидеть... Я только хотел сказать, что просто так англичане не сдаются... Что мы еще повоюем...

Его перебил лысый:

— Ходят слухи, что они питаются людьми... Что они якобы кормятся человеческой кровью...

Видимо, он еще не терял надежды, что я отвечу на его вопрос отрицательно. Но я утвердительно кивнул головой.

Лысый помрачнел еще больше и замолк на долго.

— Еще вчера нас было трое, — сказал я.

Казалось, что на кудлата мои слова не произвели никакого впечатления. Он продолжал упиваться своей пирровой победой. Глаза его лихорадочно блестели.

— Даже помирать не так обидно, когда знаешь, что отправил на тот свет полную кастрюлю этих чертовых чудищ!

Он сделал несколько глубоких затяжек, швырнул окурок за борт корзины и не совсем последовательно добавил:

— А что, если выпрыгнуть из этого лукошка?

— Поймают, — сказал я с самым обреченным видом, который был в силах изобразить. — Разве только когда вернемся в пустоту. Ночью... А пока давайте знакомиться. Томас Браун. Бухгалтер.

— А что! — запальчиво заметил кудлатый. — Среди бухгалтеров тоже попадаются совсем неплохие парни!

Видимо, он хотел сказать мне нечто приятное.

В интересах дела я проглотил эту пиллюлю. Мне надо было во что бы то ни стало заставить его разговориться.

— Вчера мы тут с одним парнем, ирландцем, по-пробовали было улепетнуть, — продолжал я. — Между прочим, тоже палили из ружья и тоже охотничье...

— И что? — спросил кудлатый.

Я пожал плечами.

— Они его сожгли? — спросил кудлатый.

Я отрицательно покачал головой.

— Противно! — промолчал после коротенькой паузы кудлатый.

— Что ж, — вздохнул я, — давайте хоть на несколько часов знакомиться.

— Джек, — представился кудлатый. — Джек Смит. Литейщик.

— Фергюс Дэвидсон. Слесарь, — мотнул головой лысый.

— Вы с этого завода? — кивнул я на развалины велосипедного завода.

— Подымай выше, с Сэнт-Кетринских доков! — горделиво ответил кудлатый.

Я поразился не на шутку.

— Вы хотите сказать, что вы прobraлись сюда из Лондона?

— Потомственные почетные кокни! — ответил оборванец таким тоном, словно он был пэром Англии.

— Нас, докеров, голыми руками не возьмешь! — снова разгорячился он. — Мы, с вашего позволения, сэр, не бараны... Мы пораскинули мозгами и решили действовать... В нашем союзе...

Он вдруг замолк, вопросительно глянул на Дэвидсона, словно спрашивая, можно ли выдать мне военную тайну. Лысый утвердительно кивнул, и тогда кудлатый Смит простодушно поведал мне такое, от чего у меня потемнело в глазах.

Оказывается, лондонская чернь, и не только лондонская (кудлатый намекнул, что уже имеется договоренность и с Бирмингамом, и с Глазго, и с Манчестером, и с горняками Уэльса), собирается на свой страх и риск вести войну с марсианами. На манер испанских гверильясов. Нетрудно понять, что значит такая борьба в условиях капитуляции армии и к чему такая борьба может в конечном счете привести. Я содрогнулся, представив себе, к чему скатится бедная Англия, если вдруг случится чудо и эти ист-эндовские гверильи победят марсиан. Чернь у кормила государственной власти!.. Лорд-канцлер — литейщик!.. Сапожник в палате общин!.. Дети поденщиков и лакеев на одной парте с моими детьми!.. Моя жена на файв-о-клоке у кухарки!.. Все, что есть в Англии родовитого, богатого, просвещенного и тонко думающего, под пятой у торжествующего простонародья!

Нет, нет и еще тысячу раз нет! Пусть лучше все летит в тартарары, пусть Англия станет даже самой заурядной провинцией великой марсианской империи, пусть нами правят немцы, американцы, французы, но только не взбунтовавшаяся безграмотная чернь. В каком поистине величественном ореоле предстали предо мною профессор Тьер и генерал Галиффе, которые имели мудрость и мужество призвать пруссаков против сорвавшейся с цепи закона и религии парижской глыбы!

Эти мысли буквально раскалывали на части мой мозг, а Смит с упоением разворачивал передо мною свои воинственные и столь далеко ведущие планы. Как я ни старался сохранить на своем лице внимательное и благожелательное выражение, оно все же время от времени поневоле мрачнело, и кудлатый думал, что это потому, что я не верю в выполнимость столь заманчивых планов. Он амикошонски хлопал меня по плечу, он старался меня подбодрить! А я с тоской мечтал о той сладостной минуте, когда милосердные щупальца избавят меня от этого воинчего общества грязных и страшных плебеев...

Наша боевая машина уже давно продолжала свой путь на левом фланге каре.

— Я бы отдал жизнь за то, чтобы принять посильное участие в нашей общей борьбе, — сказал я, надеясь узнать, где и как можно будет найти штаб этих заговорщиков.

— Здесь, в корзине? — усмехнулся лысый.

— Я сегодня ночью снова попытаюсь бежать, — перешел я на шепот, то и дело с подчеркнутой опасливостью оглядываясь на иллюминатор.

— Вы все-таки считаете, что есть шансы? — загорелся приунывший было кудлатый.

— К сожалению, мы ничем не рискуем.

— Вот то-то и оно! — жарким шепотом поддержал меня кудлатый. — На всякий случай запомните адресок. Сможет вам в Лондоне пригодиться...

Он снова глянул на лысого, испрашивая у него разрешения, и лысый снова разрешил.

— Олдгейтхай-стрит, угол Миддлсекс-стрит... Запомнили?.. Второй дом от угла, там, где «паб»... забыл вдруг, как он называется.

— «Голубой лев», — подсказал лысый.

— Правильно. «Голубой лев», во дворе спросите инженера Стеффенса...

— Инженера? — неприятно поразился я. Мне было дико представить себе образованного человека в компании с подобным отребьем.

— Инженера, — подтвердил кудлатый. — Расскажите, что мы с Дэвидсоном уничтожили марсианскую машину... Это придаст ребятам бодрости... А может быть, нам повезет, и всем троим удастся убрать ноги подальше, тогда нам с вами, сэр, большие дела еще предстоят!..

Тут его взгляд впервые остановился на уголке корзины, в котором были сложены мои запасы. Он мог спросить, что это такое, и тогда я влип бы в неприятную историю.

— А что, если нам выпить по стаканчику бренди? — спросил я с неизменно разыграным радушием. — Все-таки веселее станет на душе.

— Бренди? — удивились оба джентльмена.

— Осталось от вчерашнего парня, — стал я врать напропалую, чувствуя, что мне, кажется, не скоро

удастся выпутаться из этого неприятного разговора.

И снова мне пришли на выручку мои верные и мудрые союзники!

Я увидел в иллюминаторе две пары неподвижных черных глаз и табличку, на которой был изображен какой-то знак.

Судя по обстановке, это мог бы быть знак вопроса. Во всяком случае, я страстно хотел, чтобы это был именно знак вопроса. В таком случае, у меня спрашивали, достаточно ли я выведал у наших пленных, не пора ли с ними кончать.

— Глаза! — закричал я страшным голосом. — Вы видите, они на нас смотрят! Сейчас они будут нас забирать к себе внутрь цилиндра, двоих из нас... Это их дневная порция — два человека... Давайте поскорее прыгать!..

И я стал суматошно «помогать» то одному, то другому взобраться на край корзины. А когда они заметили взметнувшиеся к нашей корзине щупальца, было уже поздно. Через мгновение щупальца обхватили обоих воинственных истсайдских джентльменов.

— Не забудьте! — крикнул мне, уже находясь высоко над корзиной, кудлатый Смит. — Инженер Стеффенс! Угол Олдгейтхай-стрит и Миддлсекс-стрит!.. И скажите, что мы умираем с гордо поднятой головой!..

— Не забуду! — весело крикнул я ему в ответ. — Приготовьте ему место потеплее в аду, вашему инженеру Стеффенсу и всей вашей банде!

— Я вас не понял! — успел еще переспросить кудлатый, пока медленно отвинчивалась крышка цилиндра. — О чём это вы?.. Громче!

— Будьте вы оба прокляты вместе с вашим грязным Дэвидсоном! — заорал я с диким торжеством.

Если бы вы видели их лица!.. \*

\* Эти страницы из записок майора Велла Эндью представляют, на наш взгляд, особый интерес. Г. Дж. Уэллс, которому человечество обязано потрясающими описаниями страшных дней марсианского нашествия, видимо, не знал об этом эпизоде. А между тем он говорит о многом. И прежде всего о том, что с разгромом кадровых вооруженных сил сопротивление марсианам отнюдь бы не закончилось. — Л. Л.

*Суббота, 27 июня*

Это была моя мысль — выйти на побережье, чтобы отрезать противнику пути эвакуации на ту сторону канала. К сожалению, они или не захотели со мной согласиться, или плохо меня поняли.

Я им начертил ясную схему: идти вдоль побережья, но вне досягаемости артиллерии военных кораблей. Я даже, словно предчувствуя несчастье, нарисовал одну напту машину у самого берега и облачка вспышек снарядов вокруг нее и военный трехтрубный корабль, ведущий по ней огонь. Но они, видимо, не разобрались в моем предостережении. Ведь у них на Марсе нет судоходных водоемов.

И мне выпала печальная судьба беспомощно наблюдать, как правофланговая боевая машина вступила в пролив так далеко, что треножник ее почти целиком скрылся под водой, и как прямо на нее помчался крейсер. Кажется, это был «Сын грома». Если это так, то на нем служит (вернее, служил) артиллерийским офицером старший брат Арчибальда — Фрэнсис. Конечно, я в таком отдалении не мог даже в бинокль увидеть моего несчастного кузена. «Сын грома» успел сделать только один залп из своих носовых орудий и попал-таки в правофланговую боевую машину марсиан. Снаряд разорвался внутри цилиндра и разметал в клочья весь его экипаж. Но перед тем как рухнуть в воду, машина, уже лишенная своего мозга, подняла все же трубу, испускающую тепловой луч, крейсер вспыхнул, как спичечный коробок, огонь мгновенно достиг его пороховых погребов, и чудовищный взрыв довершил то, чего еще не успел сделать тепловой луч.

Как член фамилии Эндью, я почувствовал гордость за высокое мастерство и отвагу моего кузена Фрэнсиса Эндью. Как военный и патриот, я не мог не отдать должное мужеству и выдержке прочих офицеров и команды «Сына грома». Это было высоковолнующее зрелище, в сравнении с которым тускнеет подвиг древних героев Фермопильского ущелья. Но как реальному политику мне было больно видеть бесполезную гибель одного из тех кораблей, которые вскоре потребуются нам с марсианами для объединенных и

вдохновляющих действий во славу цивилизации и прогресса.

Первое, что мелькнуло у меня в мозгу, когда я увидел, как в облаках пара ушли под воду печальные остатки правофланговой машины, это вполне понятное опасение, как бы оставшиеся в живых марсиане не заподозрили, что я нарочно подвел их несчастных товарищей под огонь орудий Фрэнсиса. Но последовавшее после гибели боевой машины заставило меня устыдиться моих подозрений. Почти сразу после того как развороченная снарядом с крейсера машина, уничтожив безумный крейсер, сделала несколько шагов мористей и исчезла в водах канала, в иллюминаторе моего цилиндра показалась пластина с крючковатым крестом. Даже в такую минуту они нашли в себе силы, чтобы успокоить меня, подчеркнуть, что они меня ни в чем не винят! В такую минуту!.. Вот это военные!..

Были достойны всяческого восхищения быстрота и четкость, с которыми они перестроили свои ряды и двинулись на северо-запад, на Лондон.

*Суббота, 27 июня. Восемь часов вечера*

Я все более убеждаюсь, что был прав в своих предположениях. Они и не помышляют об уничтожении всего населения. То, что они совершили с момента высадки, следует, очевидно, понимать как операцию по устрашению, которая должна была привести к прекращению военного сопротивления десанту.

Им ровным счетом ничего не стоило бы в несколько дней уничтожить Лондон со всеми его обитателями и двинуться дальше двумя колоннами на север и запад. Между тем лишь только они перестали встречать организованное сопротивление, марсиане начисто прекратили боевые действия. По существу, большинство районов Лондона остались совершенно нетронутыми.

Свершилось исторически неизбежное: марсиане стали повелителями Англии. На очереди дня — перенесение боевых операций на континент. Я уже набросал для них схему, которая, насколько я могу понять, служит сейчас предметом их обсуждения. Но прежде всего

надо ликвидировать опасное гнездо заговорщиков на углу Олдгейтхай-стрит и Миддлэсекс-стрит...

Я чувствую огромный прилив сил, в частности и в связи с тем, что мы не продвинулись дальше юго-восточной окраины Лондона и что, следовательно, мои близкие вне всякой опасности. Бедные мои! Они, конечно, с ума сходят от беспокойства. Может быть, даже думают, что я погиб. Если бы они знали, что я жив, здоров, полон кипучей энергии и замыслов титанических масштабов!

Впрочем, насчет здоровья я, пожалуй, несколько преувеличивал. Вчерашний дождь и ночевка под открытым небом наградили меня довольно противным насморком. Я промок до нитки и продрог до мозга костей. Вольно же мне было забыть об одеялах. Их можно было взять хотя бы в той самой лавке, где мы расстались с О'Флаганом. Но тогда в спешке мы думали прежде всего о пище и питье. А потом, когда О'Флаган угодил в цилиндр, мне было не до одеял.

И вот я чихаю и чихаю, точно кошка. Меня даже легонько знобит. В порядке профилактики я осушил большие бутылки мартини. В Индии мне в подобных случаях всегда помогал коньяк. Поможет и на этот раз. Но, конечно, не сразу... А тут еще подул свежий ветер с Темзы. Мы стоим ярдах в пятидесяти от берега. Отсюда до моей квартиры -- не больше семи-восьми миль... Черт возьми, я бы сейчас с удовольствием принял горячую ванну!

*Воскресенье, 28 июня*

Это поистине гениальные существа! Они догадались, что мне в теперешнем моем состоянии было бы лучше в закрытом от ветра помещении!

Вчера, когда солнце уже скрывалось за Вест-Эн дом, милосердное щупальце перенесло меня внутрь цилиндра. Меня сразу охватило благодатное чувство тепла и покоя, и я, почихав еще минут десять, заснул.

Я проснулся рано утром от вопля: марсиане подкреплялись перед деловым днем. Не скрою, мне с не-привычки стало жутковато. Я зажмурил глаза и прикинулся спящим... Меня они не трогают!..

Я не заметил, как снова заснул. Меня разбудили мирные и еще не жаркие солнечные лучи, пробивавшиеся через иллюминатор.

Было четверть восьмого утра. Значит, я в общей сложности проспал около десяти часов, но чувствовал себя на редкость отвратительно. Болела голова. Очень хотелось пить, а все мои запасы остались в корзине.

Я подошел к иллюминатору, выглядывающему в корзину, и увидел, что в ней копошились пятеро пленных: трое мужчин и две женщины с изможденными, голодными и полубезумными лицами. Одна из женщин (на вид лет двадцати) была в голубой жакетке с большими пuffedами. На голове у нее чудом сохранилась газовая шляпка с белепо болтающимися искусственными цветочками. Другая — постарше, простоволосая, с пышными рыжеватыми волосами, в моем вкусе. Одевается, видно, у первоклассного портного. Очень может быть, что это дама из общества.

Все пятеро пожирали мои запасы с жадностью давно не евших людей. Та, которая с цветочками, случайно подняла глаза, заметила меня и испуганно вскрикнула. Двое мужчин — один из них полицейский, без шлема, с обвисшими от истощения и давно не бритыми щеками, другой — типичный пожилой клерк, без пиджака, в жилете и грязном стоячем воротничке — вздрогнули и бросили на меня быстрый взгляд затравленных животных. Простоволосая женщина и третий мужчина (у него большая розовая лысина и желтые усы на нездоровом костистом лице) продолжали жрать, не обратив на меня никакого внимания.

Я отодвинулся от иллюминатора, но потом заставил себя снова приблизиться к нему. Эти опустившиеся существа возбуждали во мне какое-то болезненное любопытство. Неужели все лондонцы так быстро опустились?

Но только я успел прильнуть к прозрачной толще иллюминатора, как клерк вдруг сжал грязные кулаки и рванулся к иллюминатору с такой стремительностью, что я на какой-то миг забыл о том, что нахожусь за надежным прикрытием, и отпрянул в глубь цилиндра.

Мне стало стыдно своего малодушия, и я вернулся

на свой наблюдательный пункт. Рядом со мной пристроился один из марсиан. Доверчиво положив мне на плечо одно из щупалец, он уставился на пленных.

Сейчас уже все пятеро лондонцев размахивали кулаками перед самым иллюминатором. Судя по их широко раскрытым ртам и ненавидящим лицам, они выкрикивали какие-то проклятия и угрозы. Несчастные пигмеи! Против кого они выступают! Если бы они могли понять, кого они удостоились лицеареть, перед тем как превратиться в продукт питания!

Мне было стыдно перед марсианином за их вульгарное поведение и совершенно непристойный вид.

Впрочем, не прошло и минуты, как они снова принялись уничтожать мои запасы.

На Темзе ли суденышка. На берегу ни души. У наших ног мертвый Лондон.

Очень хочется пить. Я чихаю почти беспрерывно.

Вдруг в моей голове возникает глупейшая мысль: интересно, подвержены ли марсиане насморку?..

Я с досадой щупаю свои обросшие щеки. Завтра утром — неделя как меня в последний раз брил Моррисон. Интересно, жив ли он? Куда он делся? Не удивлюсь, если он, пользуясь суматохой, скрылся, захватив все более или менее ценное, что есть в моей квартире.

### *Воскресенье, 28 июня. Вечер*

Они пришли в форменное остервенение — эти люди в корзине. Насытившись и утолив свою жажду, они схватили бутылки и пытались разбить стекло иллюминатора. Оно, конечно, выдержало, не дав ни трещины, ни вмятин, но бутылки одна за другой разлетались вдребезги. В том числе и еще непечатые. Их руки были в крови от бесчисленных порезов. Покончив с бутылками, они стали колотить по иллюминатору кулаками, оставляя на нем кровавые следы. Сквозь него уже почти ничего не видно. Нет, один уголок, самый верхний, остался чистым. Им до него невозможно было дотянуться. Поэтому мне удалось увидеть (марсианину, видимо, надоело, и он ушел), как клерк стал рвать на полосы скатерти, в которые была увязана провизия, скатывать эти полосы в жгуты и связывать в

самодельную веревку. Чтобы удлинить ее, обе женщины порвали свои юбки и тоже скрутили из них жгуты. Бесстыдницы! Остаться в нижних юбках перед посторонними мужчинами! Боже, как тонок еще слой культуры на наших людях!

Потом в ход пошли подтяжки и пояса мужчин. Связав из всего этого канат, клерк прикрепил его к краю корзины, а свободный конец перебросил наружу.

Им нельзя было позволить убежать. Они могли своей безответственной болтовней создать нам немалые затруднения. Я жестом привлек внимание моих марсиан к готовящемуся побегу. Странно, почему они так вяло передвигаются? Во много раз медленней, чем тогда на пустоши близ Уокинга. Но вот один из них дополз, наконец, до какого-то выступа на стене, нажал кнопку. Я вижу, как словно нехотя вздымается по ту сторону цилиндра щупальце и пёвенносimo медленно плывет в воздухе к корзине.

Но бунтовщики (я их иначе не могу уже назвать) заметили, что щупальце пришло в движение. При помощи клерка (он переплел перед собой обе свои ладони, и остальные становятся на них, как на скамейку) они один за другим перемахивают через высокий край корзины и, ухватившись за канат, начинают спускаться. Своих плюх они пустили первыми! Джентльмены, с позволения сказать! Я вижу только напряжившийся край каната, закрепленный тороплившим узлом. Неужели он выдержит всех пятерых взрослых человек? Он не должен, не имеет права выдержать!.. Слава богу, не выдержал! Оборвался!..

А вспотевший и обезумевший от ужаса клерк пытается подпрыгнуть до края корзины и не может. Не те годы, сэр! Опершись спиной о стенку, он как завороженный смотрит на медленно приближающееся беспощадное щупальце. Вот оно, наконец, достигло цели, попыталось (да, только попыталось) схватить бешено сопротивляющегося клерка... Впервые за все время моего пленения я вижу, как человеку удается отбиться от щупальца!.. После нескольких бесплодных попыток оно бессильно падает, глухо звякнув о цилиндр...

Что-то неладное творится с нашей машиной...  
Ужасно хочется пить...

*Кажется, вторник, 30 июня*

Два дня во рту не было ни крошки пищи, но голода я совсем не чувствую. Мне очень хочется пить.

Удивительно, что все четверо марсиан совершенно не движутся. Они обмякли на полу, как четыре большие кучи темно-бурого, тускло лоснящегося студня. Они только изредка вздрагивают, словно сквозь них пропускают гальванический ток... Отвратительно пахнет. Душно. Очень жарко. Хоть бы дождь пошел и остудил раскаленные стенки и крышку цилиндра.

Непонятно, почему мы не движемся, почему стоят на месте и остальные боевые машины? Три из них находятся в пределах нашей видимости. Почему над одной из них вьются тучи воронья? Почему марсиане третьи сутки обходятся без пищи и даже не пытаются напасть на меня? Потому, что они видят во мне своего союзника? Вряд ли. Они не настолько сентиментальны. Они вообще не сентиментальны... У меня мелькнула смешная мысль: а вдруг они заболели?.. Чем? Насморком? Все? Все сразу — и в нашей и во всех других машинах? Фу, глупости какие!..

Скорее всего они все-таки отдыхают. Они, очевидно, как и люди, нуждаются в отдыхе, но только через значительно большие промежутки времени, нежели жители Земли... Ну конечно, это так, это именно так... А вот я, пока они будут изволить отдыхать, определенно погибну от жажды, если они не вберут хотя бы на полчаса треножник или не спустят меня на Землю любым другим путем...

*Четверг, 2 июля (?)*

Я схожу с ума от жажды...

Теперь они, кажется, совсем уснули. У них глаза стали какими-то невидящими. Смотрят сквозь меня тяжело, неподвижно, как тот мастер по кровяным колбасам, когда я с ним впервые встретился. Они очень редко, судорожно и очень слабо вздыхают. Где-то совсем близко, над самой моей головой, все время,

ни на секунду не умолкая, звучит душевыматывающий, громкий, как пароходный гудок, монотонный вой: «Ула-ула-ула-ула-ула!»

И даже на таком отдалении и через толстые стекла нашего цилиндра доносится такой же вой остальных машин: «Ула-ула-ула-ула!»

От этого воя можно сойти с ума, даже если человек и не умирает от жажды.

Я пытаюсь обратить на себя внимание марсиан. Я рисую перед ними на бумаге машину с вобранным треножником, бутылку, из которой льется вода, но они никак на это не откликаются. Я чувствую, как во мне пробуждается глухая ненависть. Почему они так безразличны к моей просьбе? Ведь они понимают, что мне необходимо немедленно напиться или я погибну!

Черт с ними, попытаюсь сам.

Я начинаю обходить по кругу внутреннюю стену цилиндра и нажимаю все попадающиеся на моем пути кнопки. Одно за другим вяло вздрагивают и снова бесильно повисают, как плети, все наружные щупальца. Я бреду дальше, держась за стену, чтобы не упасть, с трудом обходя застывшие, но от этого еще более зловещие, расплывшиеся тела марсиан. Нажимаю какую-то, бог весть какую по счету кнопку. Рев над моей головой усиливается во много раз. Теперь от него дребезжит раскаленная крышка нашего цилиндра. Я торопливо нажимаю соседнюю кнопку. Слава богу, вой прекратился. Стало тихо до звона в ушах.

Ох, как у меня закружилась голова! Я, кажется, на какое-то время потерял сознание. Во всяком случае, я вдруг обнаружил, что лежу на полу. Мне стоило большого труда подняться на ноги, еще большего — продолжить поиски нужной кнопки или рычага. Я обошел уже почти всю стену, и все безрезультатно. Если это так, то я погиб... Ага, вот еще какой-то рубильник...

Я повисаю на нем всем телом. Машина вздрагивает и еле ощутимо начинает передвигать ноги. Это мне совершенно ни к чему. Я пытаюсь вернуть рубильник в исходное положение, но для этого у меня уже не хватает сил...

Мы движемся к берегу! С фантастически ничтож-

ной скоростью, чуть быстрее черепахи, но безостановочно и неотвратимо. И я ничего не могу поделать. Я слишком слаб, чтобы остановить это движение. Через пять-восемь-десять минут машина войдет в Темзу. А еще через минуту она уйдет под воду.

Но ведь можно попытаться отвинтить крышку. Боже, только бы отвинтить ее, и я спасен!

Где же тут кнопка, рубильник или штурвальчик, который открывает крышку? Я был настолько беспечен, что даже не поднимал головы, нажимая эти легионы одинаковых кнопок! Я снова перебираю одну кнопку за другой, один штурвальчик и рубильник за другим, которыми утыканы густо стена этой дьявольской марсианской кастрюли... Фу, вот он как будто, тот самый заветный рубильник! Но я уже не в силах, даже повиснув на нем всей своей тяжестью, оттянуть его вниз до конца. Крышка чуть сдвинулась по парезу и остановилась... Остановилась! Теперь вся надежда на то, чтобы пробиться через иллюминатор!

Я хватаю тяжелый металлический предмет — что-то вроде гаечного ключа — и пытаюсь пробить им то, что я условно называл стеклом иллюминатора. Бесполезно! Мои удары не оставляют на нем даже царапин. Я продолжаю в исступлении бить по стеклу изо всех сил и вдруг замечаю по ту сторону его сначала недоумевающее, а потом торжествующее лицо проклятого клерка. Это уже свыше моих сил!.. Я, я безнадежно заперт в этой огромной коробке из-под шпрот. Я, я буду медленно изыхать от жажды и удушья еще долго после того, как цилиндр уже будет покойиться на дне Темзы! А он, этот плебей, этот вонючий клерк в грязном стоячем воротничке, этот жалкий раб, только чудом избежавший телячей смерти, смеется надо мной и еще может надеяться на спасение!

Чтобы не доставлять ему напоследок удовольствия, я бросаюсь к другому иллюминатору со своим бесполезным гаечным ключом, к третьему... и убеждаюсь окончательно, что мне уже нет спасения...

А марсиане уже и вздрагивать перестали. Неужели они погибли? Неужели правы были те безвестные газетные писаки и нищие профессоришки, которые пи-

сали о беззащитности марсиан против земных бактерий и микробов?

Как мы еще каких-нибудь две недели тому назад смеялись над подобными соображениями!..

Что же делать?.. Они бы еще могли спасти и себя и меня... Но как же им помочь? Как привести их в себя, вдунуть в их грузные и безобразные головотела жизнь хоть на четверть часа? Всего на четверть часа — и все было бы спасено: и наши жизни, и наши планы, то есть мои планы... У них уже совсем мутные врачки... Мутные... и мертвые...

Все!.. Кажется, теперь уже все кончено!..

Что это такое? Банка с печеньем? Зачем мне теперь печенье? Другое дело, если бы это была вода. Хоть глоточек воды, и веселее было бы умирать. Прочь эту банку!.. Хотя нет... Пусть моя семья узнает хотя бы из этих записных книжек, что самый близкий, самый родной их человек чуть не стал самым могущественным человеком за все время существования человечества...

Боже мой, что подумал бы, узнав о моей нелепой гибели, этот молодой демагог из Ист-Энда, этот наглый демагог Том Мани!.. Я хочу верить, мне необходимо перед смертью быть уверенным, что он уже погиб от руки марсиан, сгорел в тепловом луче, задохся в их черном дыму, раздавлен под развалинами обрушившегося дома! Боже, помоги мне быть в этом уверенным в самый последний мой смертный миг, и я уйду в царствие твое безропотно и с легким сердцем!..

Мне бы перед смертью хоть два денечка поправить страной, править сурово, беспощадно, при полной поддержке всей военной мощи марсиан!..

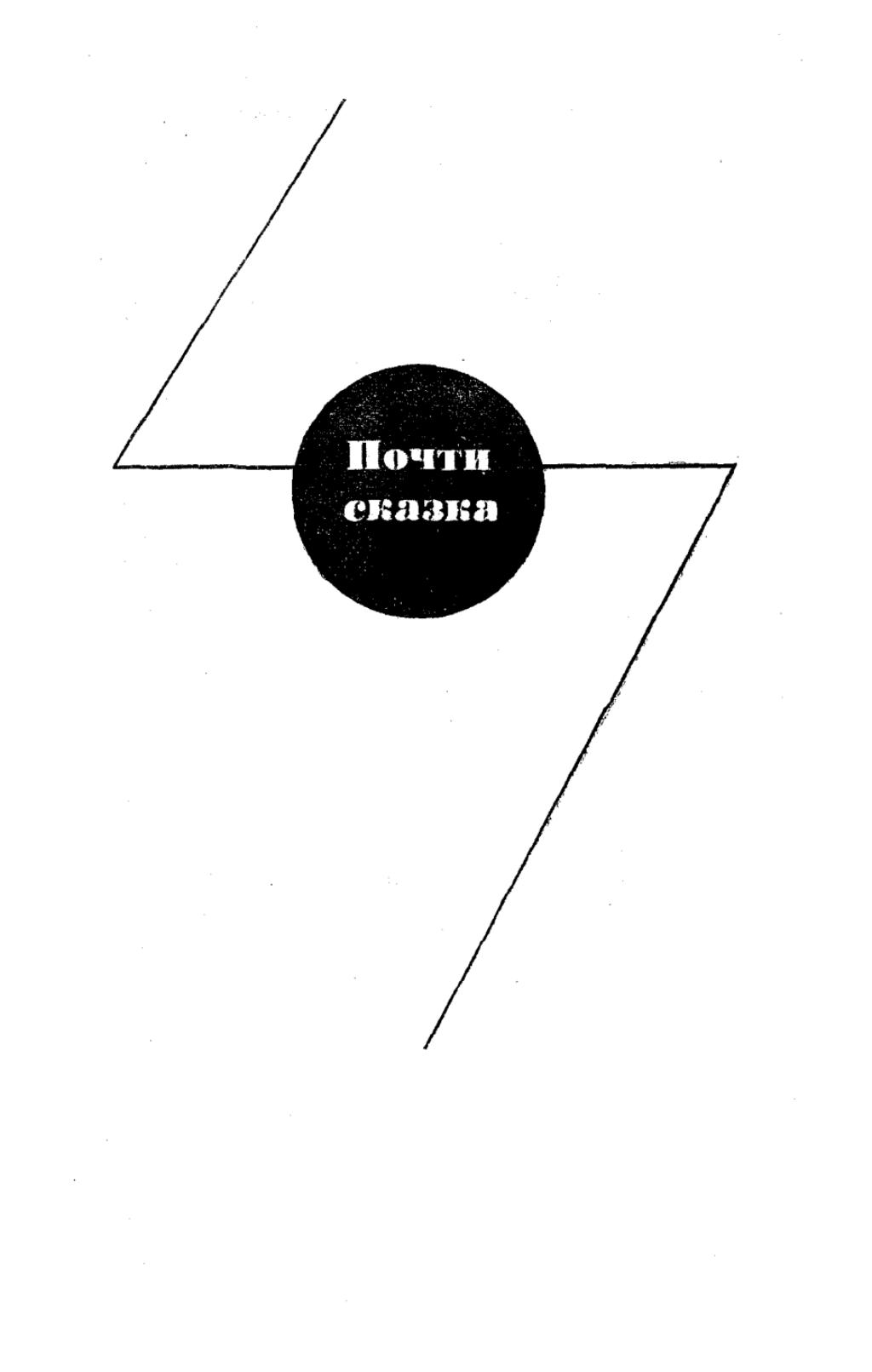
Пора паковать книжки...

Мы уже вступили в Темзу...

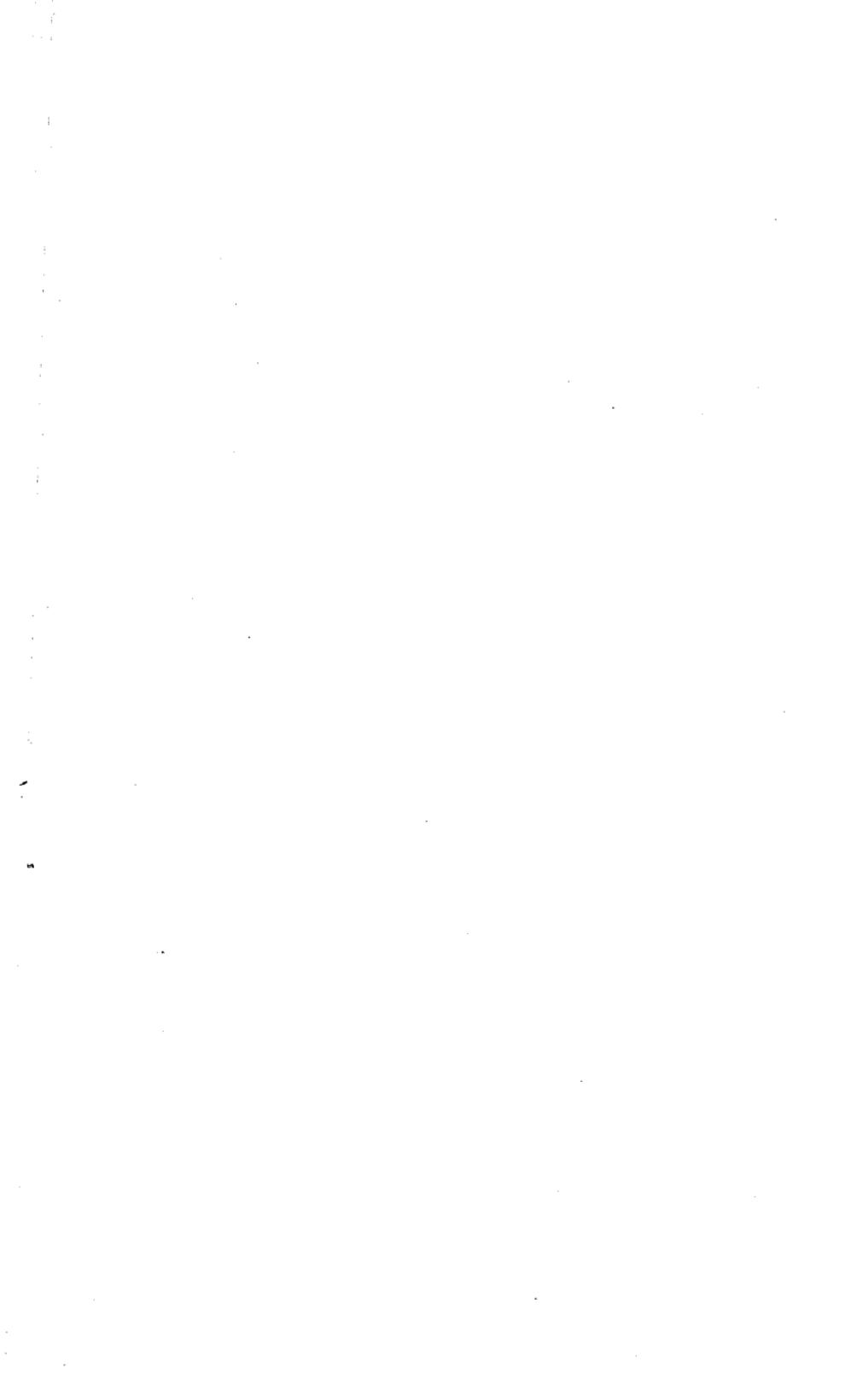
Вода подступила к самому иллюминатору, она смыла кровавые следы на стекле, и я теперь ясно вижу, как этот проклятый клерк, даже не глянув в мою сторону, быстро поплыл к берегу...

Стало совсем темно...

Где моя библия?..



Почти  
сказка



ГЕНРИХ АЛЬТОВ

## ИКАР И ДЕДАЛ

Будь мне послушен, Икар!  
Коль ниже свой путь ты  
направишь,  
Крылья вода отягчит;  
Коль выше — огонь обожжет их.

Овидий, Метаморфозы

Это было давно. Время стерло в памяти поколений подлинные имена тех, кто летел к Солнцу. Люди стали называть их по именам кораблей — Икар и Дедал. Говорят еще, что корабли назывались иначе, а имена Икара и Дедала взяты из древнего мифа. Бряд ли это так. Ибо не Дедал, а тот, кого теперь называют Икаром, первый сказал людям: «Пролетим сквозь Солнце!»

Это было давно. Люди еще робко покидали Землю. Но уже познали они опьяняющую красоту Звездного Мира, и буйный, неудержимый дух открытий вел их к звездам. И если погибал один корабль, в Звездный Мир уходили два других. Они возвращались через много лет — опаленные жаром далеких солнц, пронизанные холдом бесконечного пространства. И снова уходили в Звездный Мир.

Тот, кого теперь называют Икаром, был рожден на корабле. Он прожил долгую жизнь, но редко видел Землю. Он летал к Проциону и Лакайлю, он первым достиг звезды Ван-Маанена. В планетной системе звезды Лейтена он сражался с орохо — самыми страшными из известных тогда существ.

Природа много дала Икару, и он щедро, как Солнце, тратил ее дары. Он был безрассудно смел, но счастье никогда ему не изменяло. Он старился, но не становился старым. И он не знал усталости, страха, отчаяния.

Почти всю жизнь с ним летала его подруга. Говорят, она погибла при высадке на планету в системе Эридана. А он продолжал открывать новые миры и называл их ее именем.

Да, среди тех, кто летал к звездам, не было человека, равного по отваге Икару. И все-таки люди удивились, когда он сказал: «Пролетим сквозь Солнце!» Даже друзья его — а у него было много, очень много друзей — молчали. Разве можно пролететь сквозь раскаленное Солнце? Разве не испепелит безумца огненное светило? Но Икар говорил: «Посмотрите, вот газосветная трубка. Температура внутри нее — сотни тысяч градусов. Но я беру трубку и не боюсь обжечься, потому что в трубке — газ в состоянии крайнего разрежения». Ему возражали: «Разве не известно тебе, что внутри Солнца не плазма, а вещество в двенадцать раз более плотное, чем свинец?»

Так говорили многие. Но Икар смеялся: «Это не помешает нам полететь к Солнцу. Мы сделаем оболочку корабля из нейтритона. Даже в центре Солнца плотность будет ничтожно мала по сравнению с плотностью нейтритона. И подобно стеклу газосветной трубы нейтритон останется холодным».

Люди не сразу поверили Икару. И тогда ему помог тот, кого теперь называют Дедалом. Он был молод, но люди ценили его знания. Он никогда не летал в Звездный Мир, и только наука открывала ему тайны материи. Холодный, спокойный, рассудительный, он не был похож на Икара. Но если людей не убедили горячие речи Икара, то сухие и точные формулы Дедала сказали всем: «Лететь можно».

В те времена люди уже многое знали о пятом состоянии вещества. Сначала оно было открыто в звездах, названных белыми карликами. При небольшой величине эти звезды имеют огромную плотность, ибо почти целиком, кроме газовой оболочки, состоят из плотно прижатых друг к другу нейтронов. После первых полетов к спутнику Сириуса, ближайшему к Земле белому карлику, люди научились получать нейтритон — вещество, состоящее только из одних нейтронов. Плотность нейтритона в сто двадцать тысяч раз превосходила плотность стали и в миллион раз — плотность воды.

Корабли, на которых Икар и Дедал должны были лететь к Солнцу, собирались на внеземной станции. Здесь люди легко могли поднимать листы нейтритона, и

работа шла быстро, хотя нейтрит, как сказано, был пятым — сверхплотным — состоянием вещества.

Что же касается самих кораблей, то, говорят, это были лучшие из всех когда-либо отправлявшихся в Звездный Мир. Их могучие двигатели не боялись огненных вихрей Солнца, а огромная скорость позволяла стремительно пролететь сквозь раскаленное светило. И еще говорят, что именно тогда придумал Дедал гравилокацию. Внутри Солнца, в хаосе электронного газа, радио бессильно. Но тяжесть остается тяжестью. Локатор улавливал волны тяготения, и корабли могли видеть.

И вот настал день отлета. С Земли пришло последнее напутствие: «Не сближайте корабли, потому что сила тяжести повлечет их друг к другу. Но и не отходите далеко друг от друга, потому что неосторожного подхватит огненный вихрь и отнесет в глубь Солнца».

Рассмеялся Икар, услышав эти слова. Спокойно выслушал их Дедал. И оба ответили: «Мы готовы». Нетерпеливо положил руку на рычаг управления Икар. Внимательно оглядел приборы Дедал. А с Земли передали: «Счастливого пути и великих открытий!» Этими словами уже в те времена Земля прощалась со своими кораблями, уходящими в Звездный Мир.

Так начался полет.

Яростно извергали двигатели белое пламя, и содрогались корабли, набирая скорость. И казалось с Земли — две кометы устремились к Солнцу.

Впервые летел Икар без спутников, потому что никого не разрешили ему взять в свой корабль. Но Икар смеялся над опасностью и, глядя на серебристый экран локатора, пел песню старых капитанов Звездного Мира.

А Дедал не замечал одиночества. Он впервые покинул Землю, но красота Звездного Мира его не волновала. И мысли Дедала, сухие и точные, как формулы, были заняты тайнами материи.

Иногда расчеты Дедала говорили: «Впереди опасность. Внимание!» Но Икар — он летел первым — знал это и без расчетов. Ибо среди тех, кто водил корабли в Звездный Мир, не было капитана опытнее Икара.

Так летели они к сверкающему Солнцу, и люди Земли с трепетом следили за их полетом.

С каждым часом корабли убыстряли свой бег, потому что могучее притяжение Солнца простерло навстречу кораблям свои невидимые объятия.

По земному времени истекали пятые сутки полета, когда корабли скрылись в ослепительных лучах Солнца. Последние — уже искаженные — волны радио принесли на Землю обрывок песни старых капитанов и сухой отчет Дедала: «Вошли в хромосферу. Координаты...»

Солнце встретило корабли огненными факелами протуберанцев. Словно негодяя на дерзость людей, разъяренное светило выбросило гигантские языки пламени, в сравнении с которыми корабли были как песчинки против горы. В безмолвном гневе рвалось пламя и жадно лизало нейтрит. Но пламя имело ничтожную плотность, и нейтритовая броня оставалась холодной.

Страшнее огненных языков пламени была тяжесть. Незримая, всепроникающая, огромная, она придавила Икара и Дедала. Было так, словно свинец разлился по телу, и каждый вдох требовал отчаянных усилий, и каждый выдох казался последним. Но сильная рука Икара крепко сжимала рычаг управления. А бесстрастные глаза Дедала пристально смотрели на светлые диски приборов.

Тяжесть нарастала.

Солнце хотело раздавить непрошеных гостей. Лихорадочно, из последних сил, бились сердца Икара и Дедала, захлебываясь тяжелой, как ртуть, кровью. Мутная пелена застилала глаза.

Тогда улыбнулся Икар (смеяться он уже не мог) и выключил двигатель, предоставив кораблю свободно падать к центру Солнца. И тяжесть мгновенно исчезла.

На экране локатора — уже не серебристом, а кроваво-красном — увидел Дедал маневр Икара. И, теряя сознание, успел его повторить. Но едва только исчезла тяжесть, сознание вернулось к Дедалу, и с прежним спокойствием взглянул он на приборы.

С каждой секундой увеличивалась скорость падения. Сквозь огненный вихрь неслись корабли к центру

Солнца. Огонь, огонь, бесконечный огонь летел на встречу. Клубились огненные облака, бушевал огненный ветер, и повсюду — сверху и снизу — был огонь.

Трижды погас серебристый экран перед Икаром. Это говорил Дедал: «Пора возвращаться». Но Икар усмехнулся и ответил: «Вперед!»

Снова летели корабли сквозь огонь. И в глазах Дедала отражались светлые диски приборов. Не было тяжести, но приборы говорили о новой опасности. Ломая расчеты и предположения, быстро повышалось давление. Плотнее и крепче становился огненный вихрь. Корабли дрожали под ударами тяжелых волн огня. А волны налетали все яростнее. И уже не волны, а огненные валы обрушивались на тонкую броню нейтраита.

Вновь погас серебристый экран, предупреждая: «Пора возвращаться!» Но Икар ответил: «Вперед!»

И он оказался прав. Плотная стена огня сама погасила скорость. Наступил момент — корабли почти замерли среди бушевавших огненных вихрей. Давление преградило путь вперед, тяжесть не позволяла уйти назад.

Не отрываясь смотрел Дедал на светлые диски приборов, ибо они говорили о сокровенных тайнах материи. А Икар пел песню старых капитанов и вспоминал тех, кто шел с ним по дорогам Звездного Мира.

Но Солнце не признало поражения и готовило последний, самый страшный удар. Где-то в недрах Солнца возник колоссальный вихрь. Он был подобен смерчу, но смерчу в миллионы раз увеличенному, и ярости его не было предела. Как щенки, подхватил он корабли, закружили их, а потом отбросил прочь корабль Дедала.

И увидел Дедал на серебристом экране, как огонь уносит Икара в глубь Солнца. Молчали двигатели корабля, и не отзывался Икар на призывы.

Понял Дедал: это гибель и ничто не спасет Икара. Сухие и точные формулы оценили великую силу огненного смерча и сказали Дедалу: «Ты бессилен. Уходи!»

И тогда в глазах Дедала впервые вспыхнуло пламя. Это было всего лишь мгновение, но, подобно взрыву, оно преобразило Дедала. Ибо в это мгновение он почувствовал, что выше формул есть Жизнь, а выше Жизни — гордое звание Человека.

И, рванув рычаг управления, он бросил свой корабль в пылающий смерч.

Ударило пламя двигателей, и огонь, послушный человеку, столкнулся с хищным огнем Солица. Обвились вокруг корабля тесные кольца смерча, но Дедал шел вперед, вперед, нагоняя корабль Икара.

А смерч бушевал и все сильнее сжимал свои кольца. Изнемогала от напряжения нейтритовая броня, и стрелки приборов далеко ушли за красную черту. Но Дедал не замечал опасности. Не отрываясь смотрел он на экран локатора. И было видно, как с каждым мгновением приближался корабль Икара.

Еще буйствовал огненный смерч, но притяжение уже подхватило корабли и мягко повлекло их друг к другу. Толчок был едва ощутим, и Дедал увидел на экране: корабли соединились. Теперь даже злобная сила смерча не могла их разлучить. На мгновение погас серебристый экран, и Дедал понял: Икар жив.

Протяжно, надсадно выл двигатель, преодолевая двойную тяжесть. Гремел разъяренный смерч, сплетаясь кольцами вокруг кораблей. Как обезумевшие, плясали стрелки приборов. И начала раскаляться нейтритовая броня. Но Дедал вел корабли, и сердце его, впервые познавшее счастье, ликовало.

Разорвав тесные кольца смерча, корабли уходили. Все быстрее и быстрее становился их бег. Но вместе со скоростью возвращалась тяжесть. И снова наливалось тело свинцом, и снова захлебывалось сердце тяжелой, как ртуть, кровью.

Шли корабли сквозь огненный вихрь.

Еще бушевало пламя, но уже близок был край Солица. И светлые диски приборов звали: «К небу, к небу!»

Бешено взвыл двигатель, бросив корабли в последний прыжок. Но тяжесть выхватила из рук Дедала рычаг управления. И не было сил поднять руку, не бы-

ло сил дотянуться до пульта, на котором тускло мерцали диски приборов.

Замерли корабли, повиснув над пылающей бездной. И сердце Дедала сковал страх. Но чья-то воля вновь приказала кораблям: «Вперед!»

Тогда, забыв о страхе, понял Дедал: это сильная рука Икара легла на рычаг управления.

...Настал день, и люди Земли увидели, как, тесно прижавшись, корабли уходят от Солнца. Перебивая друг друга, заговорили антенны: «С добрыми ли вестями возвращаетесь вы на Землю?» Этими словами уже в те времена встречали корабли, приходящие из Звездного Мира.

С волнением ждала Земля ответа. И он пришел. Два голоса пели песню старых капитанов Звездного Мира.

КИРИЛЛ БУЛЫЧЕВ

# ДЕВОЧКА, С КОТОРОЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ

Рассказы о жизни маленькой девочки в XXI веке, записанные ее отцом.

## Вместо предисловия

Завтра Алиса идет в школу. Это будет очень интересный день. Сегодня с утра видеофонят ее друзья и знакомые и все ее поздравляют. Правда, Алиса и сама уже три месяца, как никому покоя не дает — рассказываёт о своей будущей школе.

Марсианин Бус прислал ей какой-то удивительный пенал, который пока что никто не смог открыть. Ни я, ни мои сослуживцы, среди которых, кстати, были два доктора наук и главный механик зоопарка.

Шуша сказал, что пойдет в школу вместе с Алисой и проверит, достаточно ли опытная учительница ей достанется.

Удивительно много шума. По-моему, когда я уходил первый раз в школу, никто не поднимал такого шума.

Сейчас суматоха немного утихла. Алиса ушла в зоопарк попрощаться с Бронтеем.

А пока дома тихо, я решил надиктовать несколько историй из жизни Алисы и ее друзей. Я перешлю эти записи Алисиной учительнице. Ей полезно будет знать, с каким несерьезным человеком ей придется иметь дело. Может быть, эти записи помогут учительнице воспитывать мою дочку.

Сначала Алиса была ребенок как ребенок. Лет до трех. Доказательство тому — первая история, которую

я собираюсь рассказать. Но уже через год, когда она встретилась с Бронтей, в ее характере обнаружилось умение делать все не как положено, теряться в самое неподходящее время и даже случайно делать открытия, которые оказались не по силам крупнейшим ученым современности. Алиса умеет извлекать выгоду из хорошего к себе отношения, но тем не менее у нее масса верных друзей. Нам же, ее родителям, бывает очень трудно. Ведь мы не можем все время сидеть дома: я работаю в зоопарке, а папа мама строит дома, и при этом часто на других планетах.

Я хочу заранее предупредить учительнице Алисы: ей тоже будет, наверно, нелегко. И доказательство тому совершенно правдивые истории, случившиеся с девочкой Алисой в разных местах Земли и космоса в течение последних трех лет.

**Я набираю  
номер**

Алиса не спит. Десятый час, а она не спит. Я сказал:

— Алиса, спи немедленно, а то...

— Что «а то», папа?

— А то я провидефоню бабе-яге.

— А кто такая баба-яга?

— Ну, это детям надо знать. Баба-яга Костяная нога — страшная, злая бабушка, которая кушает маленьких детей. Непослушных.

— Почему?

— Ну, потому что она злая и голодная.

— А почему голодная?

— Потому что у нее в избушке нет продуктопропвода.

— А почему нет?

— Потому что избушка у нее старая-престарая и стоит далеко в лесу.

Алисе стало так интересно, что она даже села на кровати.

— Она в заповеднике работает?

— Алиса, спать немедленно!

— Но ты ведь обещал позвать бабу-ягу. Пожалуйста, папочка, дорогой, позови бабу-ягу!

— Я позову. Но ты об этом очень пожалеешь.

Я подошел к видеофону и наугад нажал несколько кнопок. Я был уверен, что соединения не будет и бабы-яги «не окажется дома».

Но я ошибся. Экран видеофона просветел, загорелся ярче, раздался щелчок — кто-то нажал кнопку приема на другом конце линии, и еще не успело появиться на экране изображение, как сонный голос сказал:

— Марсианское посольство слушает.

— Ну как, папа, она придет? — крикнула из спальни Алиса.

— Она уже спит, — сердито сказал я.

— Марсианское посольство слушает, — повторил голос.

Я повернулся к видеофону. На меня смотрел молодой марсианин. У него были зеленые глаза без ресниц.

— Простите, — сказал я. — Я, очевидно, ошибся номером.

Марсианин улыбнулся. Он смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной. Ну конечно, Алиса выбралась из кровати и стояла босиком на полу.

— Добрый вечер, — сказала она марсианину.

— Добрый вечер, девочка.

— Это у вас живет бага-яга?

Марсианин вопросительно посмотрел на меня.

— Понимаете, — сказал я. — Алиса не может заснуть, и я хотел провидефонить бабе-яге, чтобы она ее наказала. Но вот ошибся номером.

Марсианин снова улыбнулся.

— Спокойной ночи, Алиса, — сказал он. — Надо спать, а то папа позовет бабу-ягу.

Марсианин попрощался со мной и отключился.

— Ну теперь ты пойдешь спать? — спросил я. — Ты слышала, что сказал тебе дядя с Марса?

— Пойду. А ты возьмешь меня на Марс?

— Если будешь хорошо себя вести, летом туда полетим.

В конце концов Алиса уснула, и я снова сел за работу. И засиделся до часу ночи. А в час вдруг приглушенно заверещал видеофон. Я нажал кнопку. На меня глядел марсианин из посольства.

— Извините, пожалуйста, что я побеспокоил вас так поздно, — сказал он. — Но ваш видеофон не отключен, и я решил, что вы еще не спите.

— Пожалуйста.

— Вы не могли бы помочь нам? — сказал марсианин. — Все посольство не спит. Мы перерыли все энциклопедии, изучили видеофонную книгу, но не можем найти, кто такая баба-яга и где она живет.

### **Броня**

К нам в Московский зоопарк привезли яйцо бронтозавра. Яйцо нашли чилийские туристы в оползне на берегу Енисея. Яйцо было почти круглое и замечательно сохранилось в вечной мерзлоте. Когда его начали изучать специалисты, они обнаружили, что яйцо совсем свежее. И поэтому решено было поместить его в зоопарковский инкубатор.

Конечно, мало кто верил в успех, но уже через неделю рентгеновские снимки показали, что зародыш бронтозавра развивается. Как только об этом было объявлено по интервидению, в Москву начали слетаться со всех сторон ученые и корреспонденты. Нам пришлось забронировать всю восьмидесятиэтажную гостиницу «Венера» на улице Горького. Да и то она всех не вместила. Восемь турецких палеонтологов спали у меня в столовой, я поместился на кухне с журналистом из Эквадора, а две корреспондентки журнала «Женщины Антарктиды» устроились в спальне Алисы.

Когда наша мама провидеофонила вечером из Нукуса, где она строит стадион, она решила, что не туда попала.

Все телеспутники мира показывали яйцо. Яйцо сбоку, яйцо спереди; скелеты бронтозавров и яйцо...

Конгресс космофилологов в полном составе приехал на экскурсию в зоопарк. Но к тому времени мы уже прекратили доступ в инкубаторий, и филологам пришлось смотреть на белых медведей и марсианских бомголов.

На сорок шестой день такой сумасшедшей жизни

яйцо вздрогнуло. Мы с моим другом профессором Яката сидели в этот момент у колпака, под которым хранилось яйцо, и пили чай. Мы уже перестали верить в то, что из яйца кто-нибудь выведется. Ведь мы больше его не просвечивали, чтобы не повредить нашему «младенцу». И мы не могли заниматься предсказаниями хотя бы потому, что никто до нас не пробовал выводить бронтозавров.

Так вот, яйцо вздрогнуло еще раз... треснуло, и сквозь толстую кожистую скорлупу начала просовываться черная, похожая на змеиную голова. Застрекотали автоматические съемочные камеры. Я знал, что над дверью инкубатория зажегся красный огонь. На территории зоопарка началось что-то весьма напоминающее панику.

Через пять минут вокруг нас собирались все, кому положено было здесь находиться, и многие из тех, кому находиться было совсем не обязательно, но очень хотелось. Сразу стало очень жарко.

Наконец из яйца вылез маленький бронтозавренок.

— Папа, как его зовут? — услышал я вдруг знакомый голос.

— Алиса! — удивился я. — Ты как сюда попала?

— Я с корреспондентами.

— Но ведь детям здесь быть нельзя.

— Мне можно. Я всем говорила, что я твоя дочка. И меня пустили.

— Ты знаешь, что пользоваться знакомствами для личных целей нехорошо?

— Но ведь, папа, маленькому Бронте может быть скучно без детей. Вот я и пришла.

Я только рукой махнул. У меня не было ни минуты свободной, чтобы вывести Алису из инкубатория. И не было вокруг никого, кто согласился бы это сделать за меня.

— Стой здесь и никуда не уходи, — сказал я ей. А сам бросился к колпаку с новорожденным бронтозавром.

Весь вечер мы с Алисой не разговаривали. Поссорились. Я запретил ей появляться в инкубатории, но она сказала, что не может меня послушаться, потому что

ей жалко Бронтию. И на следующий день она снова про бралась в инкубаторий. Ее провели космонавты с корабля «Юпитер-8». Космонавты были героями, и никто не мог отказать им.

— Доброе утро, Бронтия, — сказала она, подходя к колпаку.

Бронтозавренок искоса посмотрел на нее.

— Чей это ребенок? — строго спросил профессор Яката.

Я чуть сквозь землю не провалился.

Но Алиса ведь за словом в карман не лезет.

— Я вам не нравлюсь? — спросила она.

— Нет, что вы, совсем наоборот... Я просто думал, что вы, может быть, потерялись... — Профессор совсем не умел разговаривать с маленьенькими девочками.

— Ладно, — сказала Алиса. — Я к тебе, Бронтия, завтра зайду. Не скучай.

И Алиса в самом деле пришла завтра. И приходила почти каждый день. Все к ней привыкли и прощали без всяких разговоров. Я уже умыл руки. Все равно наш дом стоит рядом с зоопарком, дорогу переходить нигде не надо, да и попутчики ей всегда находились.

Бронтозавр быстро рос. Через месяц он достиг двух с половиной метров длины, и его перевели в специально выстроенный павильон. Бронтозавр бродил по огороженному загону и жевал молодые побеги бамбука и бананы. Бамбук привозили грузовыми ракетами из Индии, а бананами нас снабжал совхоз «Поля орошения». В цементном бассейне посреди загона плескалась теплая солоноватая вода. Такая нравилась бронтозавру.

Но вдруг он потерял аппетит. Три дня бамбук и бананы оставались нетронутыми. На четвертый день бронтозавр лег на дно бассейна и положил на пластиковый борт маленькую черную голову. По всему было видно, что он собирается умирать. Этого мы не могли допустить. Ведь у нас был всего один бронтозавр. Лучшие врачи мира помогали нам. Но все было напрасно. Бронтия отказывался от травы, витаминов, апельсинов, молока — от всего.

Алиса не знала об этой трагедии. Я ее отправил к

бабушке во Внуково. Но на четвертый день она включила телевизор как раз в тот момент, когда передавали сообщение об ухудшении здоровья бронтозавра. Я уж не знаю, как она уговорила бабушку, но в то же утро Алиса вбежала в павильон.

— Папа! — закричала она. — Как же ты мог скрыть от меня? Как ты мог?..

— Потом, Алиса, потом, — ответил я. — У нас совещание.

У нас и в самом деле шло совещание. Оно практически не прекращалось последние три дня.

Алиса ничего не сказала и отошла. А еще через минуту я услышал, как рядом кто-то ахнул. Я обернулся и увидел, что Алиса уже перебралась через барьер, соскользнула в загон и подбежала к морде бронтозавра. В руке у нее была белая булка.

— Ешь, Броня, — сказала она, — а то они тебя здесь голодом заморят. Мне бы тоже на твоем месте надоели бананы.

И не успел я добежать до барьера, как случилось невероятное. То, что прославило Алису и сильно испортило пашу, биологов, репутацию.

Бронтозавр поднял голову, посмотрел на Алису и осторожно взял булку у нее из рук.

— Тише, папа, — погрозила мне пальцем Алиса, увидев, что я хочу перепрыгнуть через барьер. — Броня тебя боится.

— Он ей ничего не сделает, — сказал профессор Яката.

Я и сам видел, что он ничего не сделает. Но что, если эту сцену увидит бабушка?

Потом ученые долго спорили. Спорят и до сих пор. Одни говорят, что Броня нуждался в перемене пищи, а другие — что он больше, чем нам, доверял Алисе. Но так или иначе, кризис миновал.

Теперь Броня стал вполне ручным. Хотя в нем около тридцати метров длины, для него нет большего удовольствия, чем покатать на себе Алису. Один из моих ассистентов сделал специальную стремянку, и, когда Алиса приходит в павильон, Броня протягивает в угол свою длинную шею, берет треугольными зубами

стоящую там стремянку и ловко подставляет ее к своему черному блестящему боку.

Потом он катает Алису по павильону или плавает с ней в бассейне.

**Тутенсы**     Как я обещал Алисе, я взял ее с собой на Марс, когда полетел туда на конференцию.

Долетели мы благополучно. Правда, я не очень хорошо переносил невесомость и поэтому предпочитал не вставать с кресла, но моя дочка все время порхала по кораблю, и однажды мне пришлось снимать ее с потолка рубки управления, потому что она хотела нажать на красную кнопку, а именно: на кнопку экстренного торможения.

На Марсе мы осмотрели город, съездили с туристами в пустыню и побывали в больших пещерах. Но после этого мне некогда было заниматься с Алисой, и я отдал ее на неделю в интернат. На Марсе работает много наших специалистов, и марсиане помогли нам построить громадный купол детского городка. В городке хорошо — там растут настоящие земные деревья. Иногда ребятишки ездят на экскурсии. Тогда они надевают маленькие скафандры и выходят вереницей на улицу.

Татьяна Петровна — так зовут воспитательницу — сказала, что я могу не беспокоиться. Алиса тоже сказала, чтобы я не беспокоился. И мы попрощались с ней на неделю.

А на третий день Алиса пропала.

Это было совершенно исключительное происшествие. Начать с того, что за всю историю интерната никто из него не пропадал и даже не терялся больше чем на десять минут. На Марсе в городе потеряться совершенно невозможно. А тем более земному ребенку, одетому в скафандр. Первый же встречный марсманин приведет его обратно. А работы? А службы безопасности? Нет, потеряться на Марсе невозможно.

Но Алиса потерялась.

Ее не было уже около двух часов, когда меня вызвали

ли с конференции и на марсианском вездеходе-прыгуне привезли в интернат. Вид у меня был, наверно, растерянный, потому что, когда я появился под куполом, все собравшиеся там сочувственно замолчали.

А кого там только не было! Все преподаватели и роботы интерната, десять марсиан в скафандрах (им приходится надевать скафандры, когда они входят под купол, в земной воздух), звездолетчики, начальник снабжателей Назарян, археологи...

Оказывается, телестанция города уже час, как через каждые три минуты передавала сообщения о том, что пропала девочка с Земли. Все видеофоны Марса горели тревожными сигналами. В марсианских школах были прекращены занятия, и школьники, разделившись на группы, прочесывали весь город и окрестности.

Исчезновение Алисы обнаружили, как только ее группа вернулась с прогулки. С тех пор прошло два часа. Кислорода же в ее скафандре — на три часа.

Я, зная свою дочку, спросил, осмотрели ли укромные места в самом интернате или рядом с ним. Может быть, она нашла марсианского богомола и наблюдает за ним...

Мне ответили, что подвалов в городе нет, а все укромные места обследованы школьниками и студентами марсианского университета, которые эти места знают назубок.

Я рассердился на Алису. Ну конечно, сейчас она с самым невинным видом выйдет из-за угла. А ведь ее поведение натворило в городе больше бед, чем песчаная буря. Все марсиане и все земляне, живущие в городе, оторваны от своих дел, поднята на ноги вся спасательная служба. К тому же мной всерьез овладевало беспокойство. Это ее приключение могло плохо кончиться.

Все время поступали сообщения от поисковых партий: «Школьники второй марсианской прогимназии осмотрели стадион. Алисы нет», «Фабрика марсианских сладостей сообщает, что ребенка на ее территории не обнаружено»...

«Может быть, она в самом деле умудрилась вы-

браться в пустыню? — думал я. — В городе ее бы уже нашли. Но пустыня... Марсианские пустыни еще толком не изучены, и там можно потеряться так, что тебя и через десять лет не найдут. Но ведь ближайшие районы пустыни уже обследованы на прыгунах-вездеходах...»

— Нашли! — вдруг закричал марсианин в синем хитоне, глядя в карманный телевизор.

— Где? Как? Где? — заволновались собравшиеся под куполом.

— В пустыне. В двухстах километрах отсюда.

— В двухстах?!

«Конечно, — подумал я, — они не знают Алису. От нее этого можно было ждать».

— Девочка себя хорошо чувствует и скоро будет здесь.

— А как же она туда забралась

— На почтовой ракете.

— Ну конечно! — сказала Татьяна Петровна и заплакала. Она переживала больше всех.

Все бросились ее утешать.

— Мы же проходили мимо почтамта, и там загружались автоматические почтовые ракеты. Но я не обратила внимания. Ведь их видишь по сто раз на дню!

А когда через десять минут марсианский летчик ввел Алису, все стало ясно.

— Я туда залезла, чтобы взять письмо, — сказала Алиса.

— Какое письмо?

— А ты, папа, сказал, что мама напишет нам письмо. Вот я и заглянула в ракету, чтобы взять письмо.

— Ты забралась внутрь?

— Ну конечно. Дверца была открыта, и там лежало много писем.

— А потом?

— Только я туда залезла, как дверь закрылась и ракета полетела. Я стала искать кнопку, чтобы ее остановить. Там много кнопок. Когда я нажала последнюю, ракета пошла вниз, и потом дверь открылась. Я вышла, а вокруг песок, и тети Тани нет, и ребят нет.

— Она нажала кнопку срочной посадки! — с восхищением в голосе сказал марсианин в синем хитоне.

— Я немножко поплакала, а потом решила идти домой.

— А как ты догадалась, куда идти?

— Я забралась на горку, чтобы посмотреть оттуда. А в горке была дверца. С горки ничего не было видно. Тогда я вошла в комнатку и села там.

— Какая дверца? — удивился марсианин. — В том районе только пустыня.

— Нет, там была дверца и комната. А в комнате стоит большой камень. Как египетская пирамида. Только маленькая. Помнишь, папа, ты читал мне книжку про египетскую пирамиду?

Неожиданное заявление Алисы привело в сильное волнение марсиан и Назаряна, начальника спасателей.

— Тутексы! — закричали они.

— Где нашли девочку? Координаты!

И половину присутствующих как языком слизнуло.

А Татьяна Петровна, которая взялась сама накормить Алису, рассказала мне, что много тысяч лет назад на Марсе существовала таинственная цивилизация тутексов. От нее остались только каменные пирамидки. До сих пор ни марсиане, ни археологи с Земли не смогли найти ни одного строения тутексов — только пирамидки, разбросанные по пустыне и занесенные песком. И вот Алиса случайно паткнулась на строение тутексов.

— Вот видишь, тебе опять повезло, — сказал я. — Но все-таки я немедленно увезу тебя домой. Там теряйся сколько хочешь. Без скафандра.

— Мне тоже больше нравится теряться дома, — сказала Алиса.

...Через два месяца я прочел в журнале «Вокруг света» статью под названием «Вот какими были тутексы». В ней рассказывалось, что в марсианской пустыне удалось, наконец, обнаружить ценнейшие памятники тутекской культуры. Сейчас ученые заняты расшифровкой надписей, найденных в помещении. Но самое интересное — на пирамидке обнаружено изображение тутекса, великолепное по сохранности. И тут же была фотография пирамидки с портретом тутекса.

Портрет показался мне знакомым. И страшное подозрение охватило меня.

— Алиса, — очень строго сказал я. — Признайся честно, ты ничего не рисовала на пирамидке, когда потярлась в пустыне?

Перед тем как ответить, Алиса подошла ко мне и внимательно посмотрела на картинку в журнале.

— Правильно. Это ты нарисован, папочка. Только я не рисовала, а нацарапала камешком. Мне там так скучно было...

**Застенчивый** У Алисы много знакомых зверей.  
**шуша** Два котенка; марсианский богомол,

который живет у нее под кроватью и по ночам подражает балалайке; ежик, который жил у нас недолго, а потом ушел обратно в лес; бронтозавр Броня — к нему Алиса ходит в гости в зоопарк — и, наконец, соседская собака Рекс, по-моему, карликовая такса не очень чистых кровей.

Еще одним зверем Алиса обзавелась, когда вернулась первая экспедиция с Сириуса.

Алиса познакомилась с Порошковым на первомайской демонстрации. Я не знаю, как она это устроила: у Алисы широкие связи. Так или иначе, она оказалась среди ребят, которые привезли космонавтам цветы. Представьте мое удивление, когда вижу по телевизору — бежит Алиса через площадь с букетом голубых роз больше ее самой и вручает его самому Порошкову.

Порошков взял Алису на руки, они вместе смотрели демонстрацию и вместе ушли.

Алиса вернулась домой только вечером с большой красной сумкой в руках.

— Где ты была?

— Больше всего я была в детском саду, — ответила она.

— А меньше всего где ты была?

— Нас еще водили на Красную площадь.

— И потом?

Алиса поняла, что я смотрел телевизор, и сказала:

— Еще меня попросили поздравить космонавтов.

- Кто же это тебя попросил?
- Один товарищ, ты его не знаешь.
- Алиса, тебе не приходилось сталкиваться с термином «телесные наказания»?
- Знаю, это когда шлепают. Но это бывает только в сказках.
- Боюсь, что придется сказку сделать былью. Почему ты всегда лезешь куда не следует?
- Алиса хотела было на меня обидеться, но вдруг красная сумка у нее в руке зашевелилась.
- Это еще что такое?
- Это подарок от Порошкова.
- Ты выпросила себе подарок! Этого еще не хватало!
- Я ничего не выпрашивала. Это шуша. Порошков привез их с Сириуса. Маленький шуша, шушонок, можно сказать.

И Алиса осторожно достала из сумки маленького шестилапого зверька, похожего на кенгуруенка. У шушонка были большие стрекозинные глаза. Он быстро вращал ими, крепко вцепившись верхней парой лап в Алисин костюм.

— Видишь, он меня уже любит, — сказала Алиса. — Я ему сделаю постель.

Я знал историю с шушами. Все знали историю с шушами, а мы, биологи, в особенности. У меня в зоопарке было уже пять шуш, и со дня на день мы ожидали прибавления семейства.

Порошков с Бауэром обнаружили шуш на одной из планет в системе Сириуса. Эти милые безобидные зверушки, которые ни на шаг не отставали от космонавтов, оказались млекопитающими, хотя по повадкам больше всего напоминали наших пингвинов. То же спокойное любопытство и вечные попытки залезть в самые неподходящие места. Бауэру даже пришлось как-то спасать шушонка, который собирался потонуть в большой банке сгущенного молока. Экспедиция привезла целый фильм о шушах, который прошел с большим успехом во всех кинотеатрах и видеорамах.

К сожалению, у экспедиции не было времени как следует понаблюдать за ними. Известно, что шуши при-

ходили в лагерь экспедиции с утра, а с наступлением темноты куда-то исчезали, скрывались в скалах.

Так или иначе, когда экспедиция уже возвращалась обратно, в одном из отсеков Порошков обнаружил трех шуш, которые, наверно, заблудились в корабле. Правда, Порошков подумал сначала, что шуш протащил на корабль контрабандой кто-нибудь из участников экспедиции, но возмущение его товарищей было таким искренним, что Порошкову пришлось отказаться от своих подозрений.

Появление шуш вызвало массу дополнительных проблем. Во-первых, они могли оказаться источником неизвестных инфекций. Во-вторых, они могли погибнуть в пути, не выдержать перегрузок. В-третьих, никто не знал, что они едят... И так далее.

Но все опасения оказались напрасными. Шуши отлично перенесли дезинфекцию, послушно питались бульоном и консервированными фруктами. Из-за этого они нажили себе кровного врага в лице Бауэра, который любил компот, а последние месяцы экспедиции ему пришлось отказаться от компота — его съели «зайцы».

Во время долгого пути у шушахи родилось шесть шушат. Так что корабль прибыл на Землю, переполненный шушами и шушатами. Они оказались понятливыми зверушками и никаких неприятностей и неудобств никому, кроме Бауэра, не причиняли.

Я помню исторический момент прибытия экспедиции на Землю, когда под прицелом кино- и телевизионных камер открылся люк и вместо космонавтов в его отверстии показался удивительный шестилапый зверь. За ним еще несколько таких же, только поменьше. По всей Земле прокатился вздох удивления. Но оборвался в тот момент, когда вслед за шушами из корабля вышел улыбающийся Порошков. Он нес на руках шушонка, перемазанного сгущенным молоком...

Часть зверьков попала в зоопарк, некоторые остались у полюбивших их космонавтов. Порошковский шушонок достался в конце концов Алисе. Бог ее знает чём она очаровала сурогового космонавта Порошкова.

Шуша жил в большой корзине рядом с Алисиной кроватью, мяса не употреблял, ночью спал, дружил с котятами, боялся богомола и тихо мурлыкал, когда Алиса гладила его или рассказывала о своих удачах и бедах.

Шуша быстро рос и через два месяца стал ростом с Алисой. Они ходили гулять в садик напротив, и Алиса никогда не надевала на него ошейника.

— А вдруг он кого-нибудь испугает? — спрашивал я.

— Нет, он не испугает. А потом он обидится, если я на него надену ошейник. Он ведь такой чуткий.

Как-то Алиса не спалось. Она капризничала и требовала, чтобы я читал ей про доктора Айболита.

— Некогда, дочка, — сказал я. — У меня срочная работа. Кстати, тебе пора уже читать книжки самой.

— Но это же не книжка, а микрофильм, и там буквы маленькие.

— Так он звуковой. Не хочешь читать — включи звук.

— Мне холодно вставать.

— Тогда погоди. Я допишу и тогда включу.

— Не хочешь — шупу попрошу.

— Ну попроси, — улыбнулся я.

И через минуту вдруг услышал из соседней комнаты нежный микрофильмированный голос: «...И еще была у Айболита собака Авва».

Значит, Алиса все-таки встала и дотянулась до выключателя.

— Сейчас же обратно в постель! — крикнул я. — Простудишься.

— А я в постели.

— Нельзя обманывать. Кто же тогда включил микрофильм?

— Шуша.

Я очень не хочу, чтобы моя дочка выросла лживой. Я отложил работу, пошел к ней и решил серьезно поговорить.

На стене висел экран. Шуша орудовал у микропректора, а на экране несчастные звери толпились у дверей доброго доктора Айболита.

— Как ты умудрилась так его выдрессировать? —  
искренне удивился я.

— Я его и не дрессировала. Он сам все умеет.

Шуша смущенно перебирал передними лапами перед грудью.

Наступило неловкое молчание.

— И все-таки... — сказал, наконец, я.

— Извините, — раздался высокий хрипловатый голос. Это говорил шуша. — Но я в самом деле сам научился. Это ведь нетрудно.

— Простите... — сказал я.

— Это нетрудно, — повторил шуша. — Вы же сами позавчера рассказывали Алисе сказку про короля богомолов?

— Нет, я уже не о том. Как вы научились говорить?

— Мы с ним занимались, — сказала Алиса.

— Ничего не понимаю. Десятки биологов работают с шушами, и ни разу ни один шуша не сказал ни слова.

— А пап шуша и читать умеет. Умеешь?

— Немного.

— Он мне столько интересного рассказывает...

— Мы с вашей дочкой большие друзья.

— Так почему же вы столько времени молчали?

— Он стеснялся, — ответила за шушу Алиса.

Шуша потупил глаза.

**Об одном привидении** Мы летом живем во Внукове. Это очень удобно, потому что туда ходит монорельс и от него до дачи пять минут ходу. В лесу, по другую сторону дороги, растут подберезовики и подосиновики, но их меньше, чем грибников.

Я приезжал на дачу прямо из зоопарка и вместо отдыха попадал в кипение тамошней жизни. Центром ее был соседский мальчик Коля, который славился на все Внуково тем, что отнимал у детей игрушки. К нему даже приезжал психолог из Ленинграда и написал потом диссертацию о мальчике Коле. Психолог изучал

Колю, а Коля ел варенье и ныл круглые сутки. Я привез ему из города трехколесную фотонную ракету, чтобы он поменьше хныкал.

Кроме того, там жили Колина бабушка, которая любила поговорить о генетике и писала роман о Менделе, бабушка Алисы, мальчик Юра и его мама Карма, трое близнецов с соседней улицы, которые пели хором под моим окном, и, наконец, привидение.

Привидение жило где-то под яблоней и появилось сравнительно недавно. В привидение верили Алиса и Колина бабушка. Больше никто в него не верил.

Мы сидели с Алисой на террасе и ждали, пока новый робот Щелковской фабрики приготовит манную кашу. Робот уже два раза перегорал, и мы вместе с Алисой ругали фабрику, но самим приниматься за хозяйство не хотелось, а бабушка наша уехала в театр.

Алиса сказала:

— Сегодня он придет.

— Кто — он?

— Мой привидений.

— Привидение — оно, — автоматически поправил я, не сводя глаз с робота.

— Хорошо, — не стала спорить Алиса. — Пускай будет мой привидение. А Коля отнял у близнецов орехи. Разве это не удивительно?

— Удивительно. Так что ты говорила о привидении?

— Он хороший.

— У тебя все хорошие.

— Кроме Коли.

— Ну, кроме Коли... Я думаю, если бы я привез огнедышащую гадюку, ты бы с ней тоже подружилась.

— Наверно. А она добрая?

— С ней еще никто не смог об этом поговорить. Она живет на Марсе и брызгается кипящим ядом.

— Наверно, ее обидели. Зачем вы увезли ее с Марса?

Тут я ничего ответить не смог. Это была чистая правда. Гадюку не спрашивали, когда увозили с Мар-

са. А она по пути сожрала любимую собаку корабля «Калуга», за что ее возненавидели все космонавты.

— Ну так что же привидение? На что оно похоже? — переменил я тему.

— Оно ходит, только когда темно.

— Ну, разумеется. Это испокон веку так. Наслушалась ты сказок Колиной бабушки...

— Колина бабушка мне только про историю генетики рассказывает. Какие были на Менделя гонения.

— Да, кстати, а как реагирует твое привидение на крик петуха?

— Никак. А почему?

— Понимаешь, порядочному привидению положено исчезать со страшным проклятиями, когда прокричит петух.

— Я спрошу его сегодня про петуха.

— Ну хорошо.

— И я сегодня лягу попозже. Мне нужно поговорить с привидением.

— Пожалуйста. Ладно, пошутили, и хватит. Работ уже кашу переварил.

Алиса села за кашу, а я за ученые записки Гвианского зоопарка. Там была интереснейшая статья об укусах. Революция в зоологии. Им удалось добиться размножения укусов в неволе. Дети рождались темно-зелеными, несмотря на то, что у обоих родителей панцирь был голубым.

Стемнело, Алиса сказала:

— Ну, я пошла.

— Ты куда?

— К привидению. Ты же обещал.

— А я думал, что ты пошутила. Ну, если тебе так нужно в сад, то выйди, только надень кофточку, а то холодно стало. И чтобы не дальше яблони.

— Куда же мне дальше? Он меня там ждет.

Алиса убежала в сад. Я краем глаза следил за ней. Мне не хотелось вторгаться в мир ее фантазий. Пускай ее окружают и привидения, и волшебницы, и отважные рыцари, и добрые великаны со сказочной голубой планеты... Конечно, если она будет ложиться спать во время и нормально есть.

Я потушил свет на веранде, чтобы он не мешал мне присматривать за Алисой. Вот она подошла к яблоне, старой и ветвистой, и встала под ней.

И тут... От ствола яблони отделилась голубая тень и двинулась ей навстречу. Тень будто плыла по воздуху, не касаясь травы.

В следующий момент, схватив что-то тяжелое, я уже бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Это мне уже не нравилось. Либо это чья-то неостроумная шутка, либо... Что «либо», я не придумал.

— Осторожно, папа! — сказала громким шепотом Алиса, услышав мои шаги. — Ты его спугнешь.

Я схватил Алису за руку. Передо мной растворялся в воздухе голубой силуэт.

— Папа, что ты наделал! Ведь я его чуть не спасла.

Алиса позорно ревела, пока я нес ее на террасу.

Что это было под яблоней? Галлюцинация?..

— Зачем ты это сделал? — ревела Алиса. — Ты же обещал...

— Ничего я не сделал, — отвечал я, — привидений не бывает.

— Ты же сам его видел. Зачем ты говоришь неправду? А он ведь не высосит движений воздуха. Разве ты не понимаешь, что к нему надо медленно подходить, чтобы его ветром не сдуло?

Я не знал, что ответить. В одном был уверен: как только Алиса заснет, выйду с фонарем в сад и обыщу его.

— А он тебе письмо передал. Только я его тебе теперь не дам.

— Какое еще письмо?

— Не дам.

Тут я заметил, что в кулаке у нее зажат листок бумаги. Алиса посмотрела на меня, я на нее, и потом она все-таки дала мне этот листок.

На листке моим почерком было написано расписание кормления красных крумсов. Я этот листок искал уже три дня.

— Алиса, где ты нашла мою записку?

— А ты переверни ее. У привидения бумаги не было, и я ему дала твою.

На обратной стороне незнакомым почерком было написано по-английски:

«Уважаемый профессор!

Я беру на себя смелость обратиться к Вам, ибо попал в неприятное положение, из которого не могу выйти без посторонней помощи. К сожалению, я не могу также и покинуть круг радиусом в один метр, центром которого является яблоня. Увидеть же меня в моем жалком положении можно только в темноте.

Благодаря Вашей дочери, чуткому и отзывчивому существу, мне удалось, наконец, установить связь с внешним миром.

Я, профессор Кураки, являюсь жертвой неудачного эксперимента. Яставил опыты по передаче вещества на далекие расстояния. Мне удалось переправить из Токио в Париж двух индюшек и кошку. Они были благополучно приняты моими коллегами. Однако в тот день, когда я решил проверить эксперимент на себе, пробки в лаборатории перегорели как раз во время эксперимента и энергии для перемещения оказалось недостаточно. Я рассеялся в пространстве, причем моя наиболее концентрированная часть находится в районе Вашей уважаемой дачи. В таком прискорбном состоянии я нахожусь уже вторую неделю, и, без сомнения, меня считают погибшим.

Умоляю Вас, немедленно по получении моего письма пошлите телеграмму в Токио. Пусть кто-нибудь починит пробки в моей лаборатории. Тогда я смогу материализоваться.

Заранее благодарный Кураки».

Я долго вглядывался в темноту под яблоней. Потом спустился с террасы, подошел поближе. Бледно-голубое, еле различимое сияние покачивалось у ствола. Притядевшись, я различил очертания человека. «Привидение» умоляющее, как мне показалось, вздыпало к небу руки.

Больше я не стал терять времени. Я побежал до монорельса и со станции провидеофонил в Токио.

Вся эта операция заняла десять минут.

Уже на пути домой я вспомнил, что забыл уложить Алису. Я прибавил шагу.

Свет на террасе не был потушен.

Там Алиса демонстрировала свой гербарий и коллекцию бабочек невысокому изможденному японцу. Японец держал в руках кастрюльку и, не сводя глаз с Алисинах сокровищ, деликатно ел манную кашу.

Увидев меня, гость низко поклонился и сказал:

— Я профессор Кураки, ваш вечный слуга. Вы и ваша дочь спасли мне жизнь.

— Да, папа, это мой привидение, — сказала Алиса. — Теперь ты в них веришь?

— Верю, — ответил я. — Очень приятно познакомиться.

**Пропавшие гости** Подготовка к встрече лабуцильцев проходила торжественно. Еще ни разу солнечную систему не посещали гости со столь далекой звезды.

Первой сигналы лабуцильцев принял станция на Плутоне, а через три дня связь с ними установила Лондемльская радиообсерватория.

Лабуцильцы были еще далеко, по космодром Шереметьево-4 был полностью готов к их приему. Девушки с «Красной Розы» украсили его гирляндами цветов, а слушатели Высших поэтических курсов отрепетировали музыкально-литературный монтаж. Все посольства забронировали места на трибунах, и корреспонденты почевали в буфете космодрома.

Алиса жила неподалеку, на даче во Внукове, и собирала гербарий. Она хотела собрать гербарий лучший, чем собрал Ваня Шпийц из старшей группы. Таким образом, Алиса не принимала участия в подготовке торжественной встречи. Она даже ничего не знала о ней.

Да и я сам к встрече не имел прямого отношения. Моя работа начнется потом, когда лабуцильцы приземлятся.

А тем временем события развивались следующим образом.

8 марта лабуцильцы сообщили, что выходят на круговую орбиту. Примерно в это время и произошла трагическая случайность. Вместо лабуцильского корабля станции наведения засекли потерянный два года назад шведский спутник «Нобель-29». Когда же ошибка была обнаружена, оказалось, что лабуцильский корабль исчез. Он уже пошел на посадку, и связь с ним временно прервалась.

9 марта в 6.33 лабуцильцы сообщили, что произвели посадку в районе  $55^{\circ}20'$  северной широты и  $37^{\circ}40'$  восточной долготы по земной системе координат, с возможной ошибкой в пятнадцать минут, то есть неподалеку от Москвы.

В дальнейшем связь прервалась и восстановить ее, за исключением одного случая, о котором я скажу потом, не удавалось. Оказывается, земная радиация пагубным образом воздействовала на приборы лабуцильцев.

В тот же момент сотни машин и тысячи людей бросились в район посадки гостей. Дороги были забиты желающими найти лабуцильцев. Космодром Шереметьево-4 опустел. В буфете не осталось ни одного корреспондента. Небо Подмосковья было увшано вертолетами, винтокрылами, орнитоптерами, вихрелетами и прочими летательными аппаратами. Казалось, тучи громадных комаров нависли над землей.

Если бы даже корабль лабуцильцев ушел под землю, его все равно бы обнаружили.

Но его не нашли.

Ни один из местных жителей не видел, как спускался корабль. А это более чем странно, потому что в те часы почти все жители Москвы и Подмосковья смотрели в небо.

Значит, произошла ошибка.

К вечеру, когда я вернулся с работы на дачу, вся нормальная жизнь планеты была нарушена. Люди боялись, не случилось ли чего-нибудь с гостями.

— Может быть, — спорили в монорельсе, — они

из антивещества и при входе в земную атмосферу испарились?

— Без вспышки, бесследно?! Чепуха!

— Но много ли мы знаем о свойствах антивещества?

— А кто тогда радиовал, что совершил посадку?

— Может быть, шутник?

— Ничего себе шутник! Так, может быть, он и с Плутоном разговаривал?

— А может быть, они невидимы?

— Все равно бы их обнаружили приборы...

Но все-таки версия о невидимости гостей завоевывала все больше сторонников...

Я сидел на веранде и думал: а может, они приземлились рядом, на соседнем поле? Стоят сейчас, бедные, рядом со своим кораблем и удивляются, почему это люди не хотят обращать на них внимание. Вот-вот обидаются и улетят... Я хотел было уже спуститься вниз и отправиться на то самое поле, как увидел цепочку людей, выходящих из леса. Это были жители соседних дач. Они держались за руки, будто играли в детскую игру «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай».

Я понял, что соседи предугадали мои мысли и ищут на ощупь невидимых гостей.

И в этот момент внезапно заговорили все радиостанции мира. Они передавали запись сообщения, пойманного радиолюбителем из Северной Австралии. В сообщении повторялись координаты и затем следовали слова: «Находимся в лесу... Выслали первую группу на поиски людей. Продолжаем принимать ваши передачи. Удивлены отсутствием контактов...» На этом связь оборвалась.

Версия о невидимости немедленно приобрела еще несколько миллионов сторонников.

С террасы мне было видно, как цепочка дачников остановилась и затем снова повернула к лесу. И в этот момент на террасу поднялась Алиса с корзинкой земляники в руке.

— Зачем они все бегают? — спросила она, не по здоровавшись.

— Кто «они»? Надо говорить «здравствуй», если не видела с утра своего единственного отца.

— С вечера. Я спала, когда ты уехал. Зздравствуй, папа. А что случилось?

— Лабуцильцы потерялись, — ответил я.

— Я их не знаю.

— Их никто еще не знает.

— А как же они тогда потерялись?

— Летели на Землю. Прилетели и потерялись.

Я чувствовал, что говорю ерунду. Но ведь это была чистая правда.

Алиса взглянула на меня с подозрением.

— А разве так бывает?

— Нет, не бывает. Обычно не бывает.

— А они космодром не нашли?

— Наверно.

— И где же они потерялись?

— Где-то под Москвой. Может быть, и неподалеку отсюда.

— И их ищут на вертолетах и пешком?

— Да.

— А почему они не придут сами?

— Наверно, они ждут, пока к ним придут люди. Ведь они первый раз на Земле. Вот и не отходят от корабля.

Алиса помолчала, будто удовлетворенная моим ответом. Прошлась раза два, не выпуская из рук корзиночку с земляникой, по террасе. Потом спросила:

— А они в поле или в лесу?

— В лесу.

— А откуда ты знаешь?

— Они сами сказали. По радио.

— Вот хорошо.

— Что хорошо?

— Что они не в поле.

— Почему?

— Я испугалась, что я их видела.

— Как так?

— Да никак, я попнутила...

Я вскочил со стула. Вообще-то Алиса большая выдумщица.

— Я не ходила в лес, папа. Честное слово, не ходила. Я была на полянке. Значит, я не их видела.

— Алиса, выкладывай все, что знаешь. И ничего от себя не добавляй. Ты видела в лесу странных... людей?

— Честное слово, я не была в лесу.

— Ну хорошо, на поляне.

— Я ничего плохого не сделала. И они вовсе не странные.

— Да ответь ты по-человечески: где и кого ты видела? Не мучай меня и все человечество в моем лице!

— А ты человечество?..

— Послушай, Алиса...

— Ну ладно. Они здесь. Они пришли со мной.

Я невольно оглянулся. Терраса была пуста. И если не считать ворчливого шмеля, никого, кроме нас с Алисой, на ней не было.

— Да нет, ты не там смотришь. — Алиса вздохнула, подошла ко мне поближе. Сказала: — Я их хотела оставить себе. Я же не знала, что человечество их ищет.

И она протянула мне корзинку с земляникой. Она поднесла мне корзиночку к самым глазам, и я, сам себе не веря, ясно разглядел две фигурки в скафандрах. Они были измазаны земляничным соком и сидели, оседлав вдвоем одну ягоду.

— Я им не сделала больно, — сказала Алиса виноватым голосом. — Я думала, что они гномики из сказки.

Но я уже не слушал ее. Нежно прижимая корзиночку к сердцу, я мчался к видеофону и думал, что трава для них должна была показаться высоким лесом.

Так состоялась первая встреча с лабутильцами.

**Свой человек в прошлом** Испытание машины времени проводилось в малом зале Дома ученых. Я зашел за Алисой в детский сад, а там обнаружил, что, если поведу ее домой, опоздаю на испытание. Поэтому взял с Алисы клятву, что она

будет себя вести достойно, и мы пошли в Дом ученых.

Представитель Института времени, очень большой и очень лысый человек, стоял перед машиной времени и объяснял научной общественности ее устройство. Научная общественность внимательно слушала его.

— Первый опыт, как вы все знаете, был неудачен, — говорил он. — Посланный нами котенок попал в начало двадцатого века и взорвался в районе реки Тунгуски, что положило начало легенде о Тунгусском метеорите. С тех пор мы не знали крупных неудач. Правда, в силу определенных закономерностей, с которыми желающие могут познакомиться в брошюре нашего института, пока мы можем посыпать людей и предметы только в семидесятые годы двадцатого века. Надо сказать, что некоторые из наших сотрудников побывали там, разумеется совершенно тайно, и благополучно возвратились обратно. Сама процедура перемещения во времени сравнительно несложна, хотя за ней скрывается многолетний труд сотен людей. Достаточно надеть на себя хронокинний пояс... Я хотел бы, чтобы ко мне поднялся доброволец из зала, и я покажу на нем порядок подготовки путешественника во времени...

Наступило неловкое молчание. Никто не решался первым выйти на сцену. И тут, разумеется, на сцене появилась Алиса, которая только пять минут назад поклялась вести себя достойно.

— Алиса, — крикнул я, — немедленно вернись!

— Не беспокойтесь, — сказал представитель института. — С ребенком ничего не случится.

— Со мной ничего не случится, папа! — весело сказала Алиса.

В зале засмеялись и начали оборачиваться, ища глазами строгого отца.

Я сделал вид, что совершенно ни при чем.

Представитель института надел на Алису пояс, прикрепил к вискам что-то вроде паушников.

— Вот и все, — сказал он. — Теперь человек готов к путешествию во времени. Стоит ему войти в ка-

бину, как он окажется в тысяча девятьсот семьдесят пятом году.

«Что он говорит! — мелькнула у меня в мозгу паническая мысль. — Ведь Алиса немедленно воспользуется этой возможностью!»

Но было поздно.

— Куда ты, девочка? Остановись! — крикнул представитель института.

Алиса уже вошла в кабину и на глазах у всего зала испарилась. Зал хором ахнул.

Нобледневший представитель института размахивал руками, пытаясь унять шум. И, видя, что я бегу к нему по проходу, заговорил, склонившись к самому микрофону, чтобы было слышнее:

— С ребенком ничего не случится. Через три минуты он окажется снова в этом зале. Я даю слово, что аппаратура совершенно надежна и испытана! Не волнуйтесь!

Ему было хорошо рассуждать. А я стоял на сцене и думал о судьбе котенка, превратившегося в Тунгусский метеорит. Я и верил и не верил лектору. Сами посудите: знать, что ваш ребенок находится сейчас в почти столетнем прошлом... А если она там убежит от машины? И заблудится?

— А нельзя ли мне последовать за ней? — спросил я.

— Нет. Через минуту... Да вы не беспокойтесь. Там ее встретит наш человек.

— Так там ваш сотрудник?

— Да нет, не сотрудник. Просто мы нашли человека, который отлично понял наши проблемы, и вторая кабина стоит у него на квартире. Он живет там, в двадцатом веке, но в силу своей специальности...

В этот момент в кабине показалась Алиса. Она вышла на сцену с видом человека, который отлично выполнил свой долг. Под мышкой она держала толстую старинную книгу.

— Вот видите... — сказал представитель института.

Зал дружно зааплодировал.

— Девочка, расскажи, что ты видела? — сказал лектор, не давая мне даже подойти к Алисе.

— Там очень интересно,— ответила она. — Бах! —  
и я в другой комнате. Там сидит за столом дядя и  
пишет что-то. Он меня спросил: «Ты, девочка, из  
двадцать первого века?» Я говорю, что наверно, толь-  
ко я наш век не считала, потому что еще плохо счи-  
таю, я хожу в детский сад, в среднюю группу. Дядя  
сказал, что очень приятно и что мне придется вер-  
нуться обратно. «Хочешь посмотреть, какая была  
Москва, когда твоего дедушки еще не было?» Я гово-  
рю, что хочу. И он мне показал. Очень удивительный  
и невысокий город. Потом я спросила, как его зовут,  
а он сказал, что Аркадий, и он писатель, и пишет фан-  
тастические книжки о будущем. Он, оказывается, не  
все придумывает, потому что к нему иногда приходят  
люди из нашего времени и все рассказывают. Только  
он не может об этом рассказать никому, потому что  
это страшный секрет. Он мне подарил свою книжку...  
И я вернулась.

Зал встретил рассказ Алисы бурными аплодисмен-  
тами.

А потом с места поднялся почтенный академик и  
сказал:

— Девочка, вы держите в руках уникальную кни-  
гу — первое издание фантастического романа «Пятна  
на Марсе». Не могли бы вы подарить мне эту книгу?  
Вы все равно еще не умеете читать.

— Нет, — сказала Алиса. — Я скоро научусь и  
сама прочту...

ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ

## МОЛЕКУЛЯРНОЕ КАФЕ

Указатель Электронного Калькулятора Мишкиного поведения целую неделю стоял на отметке «отлично», и мы решили отпраздновать это событие.

Люля предложила пойти на концерт Внушаемых Ощущений, я сказал, что можно посетить Музей Запахов Алкогольных Напитков, а Мишка потребовал, чтобы мы отправились в Молекулярное кафе.

Конечно, мы поехали в кафе, потому что ведь это Мишка вел себя хорошо и было бы несправедливо лишать его права выбора.

Мы быстро домчались туда в мыслелете. По дороге нас только один раз тряхнуло, когда я подумал, что хорошо бы заскочить на минутку в музей. К счастью, этого никто не заметил.

В кафе мы направились к красному столику, но Люля сказала, что ей больше нравится еда, синтезированная из светлой нефти, чем из темной.

Я напомнил ей, что в газетах писали, будто они совершенно равнозначны.

Люля ответила, что, может быть, это и прихоть, но когда делаешь что-нибудь для своего удовольствия, то почему же не считаться и с прихотями?

Мы не стали с ней спорить, потому что мы очень любим нашу Люлю и нам хотелось, чтобы она получила как можно больше удовольствия от посещения кафе.

Когда мы уселись за белый столик, на экране телевизора появилось изображение робота в белой шапочке и белом халате. Улыбающийся робот объяснил нам, что в Кафе Молекулярного Синтеза имеется триста шестьдесят блюд. Для того чтобы получить выбранное блюдо, необходимо набрать его номер на диске автомата, и

оно будет синтезировано прямо у нас в тарелках. Еще он сказал, что если мы хотим чего-нибудь, чего нет в меню, то нужно надеть на голову антенну и представить себе это блюдо. Тогда автомат выполнит заказ.

Я посмотрел на Мишку и понял, что мы хотим только того, чего нет в меню.

Люля заказала себе тарелку оладий, а я псевдо-бифштекс. Он был румяный и очень аппетитный на вид, и Люля сказала, что ей не съесть столько оладий и пусть я возьму у нее половину. Так мы и сделали, а я ей отдал половину бифштекса.

Пока мы этим занимались, Мишка уныло ковырял вилкой в изобретенном им блюде, состоящем из соленых огурцов, селедки, взбитых сливок и малинового джема, пытаясь понять, почему иногда сочетание самого лучшего бывает такой гадостью.

Я сжалился над ним и поставил его тарелку в деструктор, а Люля сказала ему, что, когда придумываешь какую-нибудь еду, нужно больше сосредоточиваться.

Тогда Мишка начал синтезировать пирожное, похожее на космический корабль, а я тем временем пытался представить себе, какой вкус имел бы приготовляющийся для меня напиток, если бы в него добавить капельку коньяку. Мне это почти удалось, но вдруг зажегся сигнал, и появившийся на экране робот сказал, что у них в кафе таких вещей делать нельзя.

Люля погладила мне руку и сказала, что я бедненький и что из кафе она с Мишкой поедет домой, а я могу поехать в музей. Люля всегда заботится о других больше, чем о себе. Я ведь знал, что ей хочется на концерт Ощущений, и сказал, что я поеду с Мишкой домой, а она пусть едет на концерт. Тогда она сказала, что лучше всего, если бы мы все отправились домой и провели вечер в спокойной обстановке.

Мне захотелось сделать ей приятное, и я придумал для нее плод, напоминавший формой апельсин, вкусом мороженое, а запахом ее любимые духи. Она улыбнулась и храбро откусила большой кусок.

Мне всегда нравится, когда Люля улыбается, потому что я тогда люблю ее еще больше.

Когда мы садились в мыслелет, чтобы ехать домой, Люля сказала, что эти старинные Молекулярные кафе — очень милая вещь, и еда в них гораздо вкуснее той, которая синтезируется у нас дома с центральной станции.

Я подумал, что это, наверное, оттого, что при синтезе еды по проводам в нее лезут разные помехи.

А вечером вдруг Люля расплакалась. Она сказала, что синтетическая пища — это гадость, что она ненавидит кибернетику и хочет жить на лоне природы, ходить пешком, доить козу и пить настоящее молоко с вкусным ржаным хлебом. И еще она сказала, что Внушаемые Ощущения — это народия на человеческие чувства.

Мишка тоже разревелся и заявил, что Калькулятор Поведения подлая выдумка, что живший в древности мальчик по имени Том Сойер прекрасно обходился без Калькулятора. Потом он сказал, что записался в круглый электроники только затем, чтобы научиться обманывать Калькулятор, и что если это ему не удастся, то он смастерит рогатку и расстреляет из нее дурацкий автомат.

Я успокаивал их как мог, хотя я тоже подумал, что, может быть, Музей Запахов не такое уж замечательное изобретение, и еще насчет псевдобифштексов, В общем, вероятно, мы все просто утомились, заказывая себе пищу.

Потом мы легли спать.

Ночью мне снилось, что я вступил в единоборство с медведем и что мы все сидели у костра и ели вкусное медвежье мясо, пахнущее кровью и дымом.

Мишка засовывал в рот огромные куски, а Люля улыбалась мне своей чудесной, немного смущенной улыбкой.

Трудно представить себе, как я был счастлив во сне, потому что, не помню, говорил ли я об этом, я очень люблю Люлю и Мишку.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

## РОГ ИЗОБИЛИЯ

Взрослые и дети!  
Вы за утиль в ответе!

(Из старинных реклам  
Гланутиля)

В одном из старинных московских переулков и по сей день висит эта покоробленная временем, грубой рыночной работы реклама. Много лет назад ее прикрепили к забору, старому замшелому забору, рассчитывая, что невзрачный фон его как нельзя лучше оттенит игру красок рекламы. И действительно, первое время она бросалась в глаза прохожим, некоторые замедляли шаг, крутили головами и бормотали: «Надо же...»

На картине был схематично изображен большой, из чистой листовой меди рог. Человек в спецовке гнал лопатой в узкий конец его какую-то труху, отбросы, а из широкого конца стремительным потоком вырывались полезные, нужные всем вещи: перочинные ножи, полуботинки, гармоники, и даже поллитровка блестела своим неоткупоренным горлышком среди всего этого великоления.

Няньки и молодые мамашы, прогуливая детишек по переулку, как правило, останавливались перед живописным изображением и говорили своим крепышам: «Рог изобилия».

Но прошло время. Лютые морозы погнули геометрически правильный овал, палящие лучи солнца заметно обесцветили надраенную медь, а ветры унесли с картины мусор, лопату и многие из вещей. Сюжет картины крайне упростился. Из жерла рога вырывается теперь один лишь патефон да стеклянное горлышко с изломанными краями. А человечек, лишенный лопаты, стоит, согнувшись, над рогом, всматривается внутрь него через узкий конец. Скоро, скоро понесется человечек с ветрами вслед за своей лопатой. Недолго оста-

лось. И вся его горестная поза как бы говорит: «Вот ведь какая история получилась. Сломалась машина. А ведь как работала, как работала!»

Словом, от былой обаятельности блистающего меднобокого рога не осталось и следа. Он обезличился, слился с забором. Прохожие не замедляют теперь шага в этом переулке. И постовой Петров, простоявший последние пятнадцать лет почти напротив рекламы, невидящим взглядом скользит по ее законченной поверхности, проверяя просторы переулка. Спроси постового прямо, без затей: «Висит ли напротив твоего пункта рог изобилия?» — он не сумеет ответить.

И в общем-то ничего, конечно, от этого не менялось. Висит ли плакат, нет ли его, что толку? Из тысяч и тысяч, прошедших за многие годы мимо, лишь несколько единиц поддались его практическому влиянию и снесли свой хлам в утильсырье. Да и то в жизни поддавшихся этот случай не превратился в правило, и они постарались забыть о нем, как стараются забыть о фактах мелочных, не относящихся к числу тех, которые излагаются в биографии.

Но тем не менее рог висел. Забытый, слившийся с забором, он словно ждал того единственного, кто мог по достоинству оценить значимость замысла художника, вдохновиться на великие дела.

Был ранний вечер холодного осеннего дня, когда человек небольшого роста, в драповом пальто давно вышедшем из употребления фасона шел как раз по этому переулку. Видавшая лучшие времена фетровая шляпа была глубоко нахлобучена, руки спрятаны в карманы, а локоть прижимал растрепанные, тонкие книжки: «Самоучитель игры на семиструнной гитаре» и «Самоучитель языка». На месте, отведенном под название языка, чернела жирная клякса.

Человек, видимо еще не выучивший все языки и не умеющий пока играть на семиструнной гитаре, шел вдоль забора прогулочным шагом. Спешить было некуда, дневные хлопоты кончились, а дома ждала взятая напрокат гитара. Отчего не пройтись по улице, поглядывая по сторонам?

Вот он и шел вдоль забора с описанной выше ре-

кламой. Тут она и попалась ему на глаза. Прохожий замедлил и без того медленный шаг и даже остановился. Он постоял, переступая с ноги на ногу, подошел поближе. Потом протер рукавом часть изображения, еще раз взглянул, вздохнул и собрался было идти дальше. Но вдруг лицо его просияло, он хлопнул себя по лбу. «Мать честная!» — сказал он негромко, выхватил записную книжку, что-то записал и чуть не бегом помчался к выходу из переулка.

Дома он даже не посмотрел на гитару, блестевшую нежно-желтыми боками. Сразу стал искать бумагу. Затем откуда-то извлек почти новый химический карандаш — и работа закипела!

Он работал с упоением. Писал какие-то формулы, умножал, набрасывал схемы и рисунки. Нотная бумага вскоре кончилась, тогда из-за шкафа был торжественно вынут большой лист плотной бумаги и кнопками прикреплен прямо к стене. Химический карандаш замер в некотором отдалении от листа, потом р-раз! — и на листе появилась первая точка.

Через час таких точек было уже множество. Тогда человек маленького роста отошел в сторону, что-то прикинул, снова подошел к стене и ловким движением соединил точки одной плавной линией. Потом опять отошел, оглядел чертеж, крякнул, радостно потер руки. На стене красовался рисунок рога изобилия — ни дать ни взять как тот, что и по сей день висит в старинном московском переулке.

— Степан Онуфриевич, мне бы примус починить, — раздался голос из приоткрытой двери.

— Примус? Некогда, некогда сейчас, соседушка, — рассеянно отозвался он, все еще любуясь своим произведением. — Видишь, изобретаю...

— Ах, голова, голова, опять изобретает! — почувствовала соседка и закрыла за собой дверь.

Степан Онуфриевич Огурцов был известен у себя во дворе как большой чудак. Но все соседи любили его. «Золотые руки!» — говорили они и несли чипить примусы, дверные замки, швейные машинки. Ребятишкам он мастерил силки, клетки для шах; бывало, помогал ремонтировать карманные приемники. Мог запросто

сменить перегоревшую пробку — монтера в этот дом не вызывали. Старенькие, дешевые телевизоры он ремонтировал так, что смотреть передачи приходили из соседних домов.

— Сам Огурцов чинил! — хвастались соседи. — Навек!

А домоуправской дочке он исправил куклу. После ремонта кукла вдруг стала говорящей, начала махать руками-ногами, а ровно в восемь вечера всегда закрывала глаза и валилась на бок — до восьми утра. «Будильника не надо!» — восхищался домоуправ и после этого случая стал приходить к Огурцову по-приятельски, пить чай.

Постовой Петров ничего этого, конечно, не знал. Поэтому, когда Степан Онуфриевич зачастил в переулок, постовой насторожился. Нельзя сказать, что Петрову не понравился этот загадочный человек, который битый час мог простоять около полуостершшейся рекламы, — он всегда был трезв, выбрит и опрятен. Но за всем этим постовой профессиональным чутьем чувствовал какую-то тайну, нечто детективное. И когда маленький человек в драповом пальто устаревшего фасона снова появлялся в переулке, грудь Петрова, стянутая ремнями, начинала вздыматься, а сердце учащенно стучать.

Что привлекало прохожего к плакату? Ответить на этот вопрос было невозможно. Спросить же в лоб и проверить документы Петров не решался: поведение незнакомца в общем-то оставалось в рамках законности и пристойности.

Однажды, выбрав время поудобней, Петров огляделся, увидел, что переулок пуст, сошел с поста и осторожно подошел к изображению. Он пристально, детально изучал сначала низ, потом середину, наконец, верх картины, но ничего такого, что могло бы привести человека в состояние уныния или радости, не нашел.

Огурцов приходил теперь в переулок часто. Лил ли на улице дождь, пекло ли солнышко, обжигал ли мороз — он все равно появлялся и подолгу созерцал плакат. Он смотрел на него и так и эдак, отбегал в одну сторону, в другую, прицеливался.

Иногда, казалось, дело шло как по маслу. Тогда Петров видел изобретателя радостным, насвистывающим всякие веселые мотивчики. Стоптанные каблуки его туфель выбивали легкую, танцовщую дробь. Он что-то нашептывал, приборматывал, и настороженное ухо постового улавливало: «Прямоточного действия... из медной обшивки... красотища-то, красотища какая!..»

Были и другие дни. Когда ничего не получалось. И постовой видел Огурцова притихшим, нахолившимся. Тогда стоял он против плаката, сгорбив спину, не вынимая рук из карманов.

Да, нелегко, нелегко было Степану Онуфриевичу Огурцову изобретать рог изобилия. Это ведь не телевизор починить или перегоревшую пробку вывернуть.

Но Огурцов знал себя. Никогда еще в жизни не брал он дел не по плечу. Бывало, и с телевизором. Посмотрит, посмотрит. «Нет, — скажет, — не возьмусь». Знал свою силу Степан Онуфриевич. Оттого-то и не сдавался. «Раз пришла такая идея в голову, — размышлял он, — значит, могу».

Сначала он сделал рог во всех сечениях идеально круглым. Смонтировал вокруг сильные магниты. Заряжал статическим электричеством. Рог искрил, но только и всего. «Разряд слаб, слабо шибает», — верно подсказала интуиция, и рог был переделан в четырехугольный. Рог стал похож на большую, сильно изогнутую граммофонную трубу. Искрило еще сильней, маленькие шаровые молнии то и дело сыпались изнутри. Но до настоящего рога было еще очень далеко.

Соседи постепенно перестали таскать сломанные машинки и утюги. Только домоуправ по-прежнему заходил пить чай. Они пили помногу, чайниками, и Огурцов, как сквозь сон, слышал:

— Ах, какая штука! Будильника не надо.

«Не надо, не надо, — стучало в голове изобретателя, — круглой формы не надо, может, и квадратной не надо? Может, пустить на овал?»

Вскоре рог стал овальным. Он стоял на больших деревянных распорках посреди комнаты, укрытый от случайного взгляда широкими складками мешковины. Изобретатель приходил вечером домой, наскоро ужи-

нал, убирал со стола и принимался за работу. «Ну, дорогой мой рожок, — говорил он вслух, — сейчас мы прочистим ваше брюшко. Сейчас послушаем, как поет ваше горлышко».

Мешковина снималась, и комната наполнялась рыжим сиянием. Зеркальные бока медного раstrуба вспыхивали искорками, играли радугой. Отбрасывая мешковину, Степан Онуфриевич каждый раз замирал от восторга и подолгу, не мигая, созерцал свое великолепное детище. Рядом с ним он казался себе значительным, большим, почти великим. Было чем гордиться изобретателю. Ведь не секрет, что многие пытались создать подобную конструкцию. Но нет, не выходило! А вот здесь, в этой комнате, из кратера рога уже сыпались реальные вещи: один раз вылетели кирзовыe сапоги, сразу три и почему-то на одну ногу; другой раз выполз персидский ковер.

«Ты на верном пути, Степан, — сказал себе тогда Огурцов, — еще немного повозиться, и машину можно будет, не краснея, передать в эксплуатацию». И воображение изобретателя услужливо подносило всякие приятные сцены. Будто бы стоит он, Огурцов, на высоком помосте рядом с рогом, откаливается в кулак и говорит собравшимся:

— Вот, граждане. Изобрел. Теперь забирайте на доброе здоровье. Действует в лучшем виде. Смазывать только не забывайте. А если у кого что сломается, телевизор или велосипед, приходите, в починке помогу...

Это были не праздные мечты. Со дня на день рог работал лучше и лучше. Перебои случались все реже.

И вот однажды Степан Онуфриевич расправил поля щипцы, надел выходной костюм, как следует почистил ботинки и отправился в учреждение. Без малейшей робости переступил он порог этого большого, наполненного занятymi людьми дома. Прошел мимо зеркальной, торжественной вывески, отрекомендовался изобретателю, и его направили на третий этаж, в кабинет Молоткова. Огурцов поднялся, скромно вошел в обозначенный кабинет и увидел Молоткова. Молодой человек в щеголеватом, может быть даже модном, костюме сидел за

рабочим столом и трудился. Он листал какие-то книги, что-то записывал, поминутно доставал из стола разные папки и курил, курил. То и дело звонил телефон, он снимал трубку, говорил: «Молотков слушает».

Вот к такому перегруженному работнику попал изобретатель. И даже подумал, не зайди ли в другой раз, — уж больно занят товарищ. Но тот вдруг положил трубку, приветливо улыбнулся и спросил:

— Вы ко мне? — И, увидев замешательство на лице посетителя, добавил: — Садитесь, садитесь, пожалуйста, рассказывайте.

Огурцов посмотрел в окошко, потом на телефонный аппарат, подобрался и как-то сразу сказал:

— Вот, изобрел. Такую машину... как бы это выразить? Одним словом, рог изобилия, — и набросал схему.

Глаза Молоткова прямо засверкали, когда Степан Онуфриевич кончил объяснение. Он затянулся папиросой, покрепче устроился в кресле. Потом, сощурившись, посмотрел прямо в глаза Огурцова и вместе с клубами табачного дыма коротко выдохнул:

— Каков кид?

— Восемьдесят-девяносто, — прикинул Огурцов.

— Едемте, едемте прямо к вам! — сразу и решительно произнес Молотков. Он тут же снял телефонную трубку и бросил: — Совещание отложить. Подать машину!

Новенький лимузин мчал на предельной скорости, а Огурцова брали сомнения. Перед одним из светофоров, когда машина резко затормозила, он вдруг вспомнил, что весь запас мусора и утиля израсходован. Как же демонстрировать рог?

Надо сказать, что совсем недавно изобретатель со всем своим имуществом переехал на новую квартиру. Теперь он жил на седьмом этаже с видом на красивую, идеально подметенную улицу. Каждый час по ней на малой скорости просежкал мусороподборщик и забирал весь случайный хлам. Отсутствие необходимого для эксперимента сырья выводило изобретателя из себя. Драгоценное время приходилось тратить на поездки в неблагоустроенные кварталы. В особо экстренных случаях приходилось бежать к дворнику и буквально

вымаливать хотя бы ведро мусора. С условием обязательной отдачи.

Иначе дворник не соглашался: чем бы он иначе отчитывался перед начальством? Именно поэтому пришлось ухлопать несколько дней на реконструкцию рога. Теперь машина приобрела реверсивность: поворот рукоятки влево означал переработку утиля в ценности, вправо — наоборот.

Но так или иначе — в данный момент утиля под рукой не было, а дворник ушел с женой в консерваторию. И, пропуская Молоткова в комнату, Огурцов имел совсем убитый вид. «Не поверит мне товарищ Молотков, ах, не поверит!» — сверлило у него в голове.

Молотков, как только увидел рог, сразу скинул пиджак, жилетку, засучил рукава и полез в потроха машины. Степан Онуфриевич стоял рядом и послушно давал объяснения. «Волно провод, значит, заземлен?» — доносилось из чрева. «Точно, заземлен», — отвечал Огурцов, удивляясь смекалистости инженера. «Характеристика крутопадающая?» — снова неслось из раструба. «Так и есть», — подтверждал изобретатель.

Наконец Молотков вылез наружу, привел себя в порядок, закурил, еще раз обошел вокруг рога, подошел к окну, выбросил сигарету и снова закурил. Он волновался, а Огурцов молча стоял и ждал приговора.

Инженер стоял у окна, внизу широким потоком мчались автомобили. Там, за рулем и на сиденьях, проносились еще ни о чем не подозревающие люди. Сегодня они еще и не знают, какие дела творятся здесь, на высоте седьмого этажа, а завтра будут знать все.

Он повернулся, подошел к изобретателю и крепко пожал руку.

— Поздравляю, Степан Онуфриевич. Здорово у вас получилось. Как говорят студенты, непонятно, но здорово. Жаль, конечно, что не можем сейчас осмотреть в работе, но, когда соберем комиссию, утильсырья привезем столько, сколько потребуется.

И, еще раз пожав взволнованному изобретателю руку, Молотков помчался по лестнице вниз, прыгая через ступеньки.

Рабочий день еще не кончился, а впереди оставалось отложенное совещание и много других дел.

Стоял безоблачный, сухой день, когда Огурцов должен был демонстрировать изобретение. В любимой ковбойке, пахнущий тройным одеколоном, он вышел на улицу и отправился в переулок. В такой день нельзя было не прийти туда, где случай помог родиться великому замыслу.

Огурцов вошел в переулок — все было на местах. На заборе по-прежнему желтело тело рога, по-прежнему на своем посту выставал Петров. Огурцов подошел к плакату, остановился и торжественно замер, как перед присягой. Его торжественность была чисто деловой, к ней не примешивалось суевое желание дать плакату рамку из золота и выставить на видное место или построить в переулке монумент. Изобретатель и плакат замерли друг против друга, как старые, видавшие виды бойцы, знающие почем фунт лиха, но сделавшие свое дело! И ни грохот проезжающих грузовиков, ни быстрый бег прохожих не могли нарушить праздничной приподнятости встречи победителей, сумевших превратить пыльные будни в прямой путь к победе.

Постовой Петров, как всегда, все свое внимание отдавал уличному движению и сутолоке. Но, несмотря на это, дневной визит старого знакомого не ускользнул от него. Не прошло мимо и то новое, что появилось в облике завсегдатая переулка: неуловимая легкость, спокойствие в движениях, раскованность. Как будто бы человек нес тяжелый груз, дошел до места, сбросил и стоит, свободный, легкий, хоть лети. А когда Огурцов подошел к постовому, Петров посмотрел в его веселые, торжествующие глаза и сразу понял, что произошло что-то важное и что сейчас вся тайна откроется.

— Ну, сержант, закурим, что ли, — сказал Огурцов, доставая из кармана коробку отличных папирос. — Два года как хожу в твой переулок, а вот не поговорили.

Петров взял одну папиросу, поднес к невиданной.

диковинной зажигалке и тут услышал всю историю от начала до конца. Изобретатель рассказывал не торопясь, обдумывая детали изложения, пропуская моменты, невозможные для объяснения без бумаги и карандаша. Иногда взгляд его затуманивался, уходил в прошлое, а по лицу бродила загадочная улыбка — в эти секунды проплывали самые сокровенные моменты последних лет.

— Правильное, большое дело подняли, — сказал ему на прощанье сержант.

Ни тот, ни другой в этот момент и не подозревали, что сегодня они встретятся еще раз и совсем в другом месте. Огурцов поехал к своему другу — домоуправу, а Петрова срочно вызвали в отделение и сказали, что ему дается ответственное, большое задание — дежурить во время испытаний машины изобретателя Огурцова. Случаются же такие поистине фантастические совпадения и дела!

— Как же, знаю, — не сплоховал сержант, — непрерывного действия, из медной обшивки, с рычагом реверсивного хода. Лично знаком с изобретателем, — добавил он еще.

«Золото у меня в отделении, а не народ», — радостно и легко подумал начальник, выписывая наряд на дежурство.

Для испытания был отведен небольшой загородный участок на опушке веселого берескового лесочка. Солнце заливало площадку щедрыми прямыми лучами, в бересковой листве, шурша, ворочались редкие порывы ветра. В ожидании начала члены комиссии расхаживали среди молоденьких березок, пользуясь лесной прохладой. Молотков, прибывший первым с группой молодых научных сотрудников, нашел подходящую полянку и играл в бадминтон. Он бил сильно и точно, почти не сходя с места. Тугие мышцы так и катились под смуглой кожей, когда он резким взмахом встречал летящий волан.

«Молодежь у нас! — одобрительно говорили более пожилые члены комиссии, поглядывая на игроков. — На дворе жара египетская, а им хоть бы хны».

Огурцов бегал по площадке и распоряжался. Тре-

бовалось за всем уследить. Он отдавал распоряжения с удовольствием. У него было хорошее настроение. Во-первых, рог был доставлен в полной сохранности, по дороге ни разу не тряхнуло. Во-вторых, он вдруг опять встретил Петрова — все же знакомый.

— А ты как здесь? — спросил он его.

— Вот прислан охранять вас от всяких случайностей, — Петров вдруг почему-то заробел и перешел на «вы».

— Ну, брат, за случайностью не уследишь, — шутливо запротестовал Огурцов. — Вот, например, как и с рогом-то получилось. Шел по переулку, гляжу — плакат. Другой бы раз и внимания не обратил, а тут бац! — осенило. Случайность!

— Нет, это хорошая случайность, — не сдавался Петров.

— Ну ладно, охраняй, — согласился Огурцов и побежал принимать самосвал с утилем.

Оказалось, что прислали всего один грузовик.

— Мало! — замахал руками изобретатель.

— Неужто мало? — усомнился член комиссии, ответственный за доставку утиля.

— Так ведь непрерывного же действия. Сколько ни клади — все мало будет.

— Сколько же надо? — спросили его, и все замерли, чтобы услышать ответ.

— Десять! — твердо заявил Огурцов и аж вскочил от радостного волнения: такого количества сырья еще ни разу не было у него под рукой.

Когда десятый грузовик отъехал от площадки, комиссия собралась вокруг рога, а Молотков, успевший выкупаться, а оттого имевший особенно свежий вид, произнес короткую речь.

— В истории уже бывали случаи, — начал он, — когда отдельные изобретатели опережали свою эпоху на сто, сто пятьдесят и даже большее количество лет. Они делали такие открытия и механизмы, которые, не родись этот изобретатель, оказались бы под силу лишь далеким потомкам. Это замечательное качество, я бы сказал, человеческой природы. Там, где пасует интегральная мысль общества, выручает локальная вспыш-

ка первооткрывателя, где не тянет вспышка, выручает интегральная мысль! Получается: один за всех, все за одного.

К этому типу изобретателей принадлежит и смелый экспериментатор Степан Онуфриевич Огурцов. По нашим расчетам, такую машину можно было бы разработать не раньше чем через сто шестьдесят лет. Даже имея построенный образец, разобраться в тонкостях его действия с багажом современной науки почти невозможно. Но тем не менее образец стоит перед нашей комиссией и готов к работе.

Под бурные аплодисменты Молотков сошел с трибуны. Наступил черед Огурцова. Он последний раз проверил электрические контакты, сам наложил лопатой в узкое горлышко рога утиля — для затравки — и тогда повернул рычаг влево. Рог вздрогнул всей своей медной обшивкой, тихо заурчал, и серая масса утиля сама собой поползла внутрь рога.

Некоторое время из другого конца трубы ничего не показывалось — шел внутренний таинственный процесс переработки. Но вдруг рог присвистнул, вздохнул, и прямо на землю покатились предметы. Трудно было даже уследить, какие именно: не успевала веять появиться на свет, как ее заваливало чем-то еще. Пирамида готовой продукции росла прямо на глазах. «Шерстяные носки попали», — успел разглядеть кто-то. «А вон самовар», — раздалось из гуши комиссии. Но то были отдельные голоса. Подавляющее большинство, потрясенное, молчало. А продукция шла и шла, удивляя своим разнообразием. Даже один подростковый велосипед подкатил к пирамиде наваленных вещей. Конструкция рога не была еще доведена до идеала, и изобретатель сам не мог сказать, чего в точности следует ожидать.

Огурцов тоже стоял потрясенный. Да и на кого бы не подействовало то, что творилось на площадке? Глубокое молчание сохранялось даже после того, как последние щепки из десятисамосвальной кучи пронеслись сквозь медный овал, превратившись в длинную гирлянду булавок. Так бывает после последнего взмаха дирижерской палочки великого маэстро.

Потом все разом пришли в движение, бросились обнимать друг друга и изобретателя. «Качать, качать его», — понеслось с разных сторон, и Огурцов первый раз в жизни взлетел в воздух.

Только один человек сохранял полное спокойствие среди этого шума и гамы. В большом, широком пиджаке, он стоял, о чем-то усиленно думая. Умственное напряжение отражалось на его лице. «Проверки, конечно, требует. Крепкой проверки», — шептали его тубы. Среди сослуживцев он славился незаурядной скрупулезностью и великой усидчивостью. И еще: никакие самые исключительные случаи не могли вывести его из состояния полного душевного покоя. Рассказывали, будто во время одного из землетрясений, когда кругом ломались дома, в метре от него разверзлась зияющая пропасть. А он только и сказал: «Велика сила природных явлений. Приеду домой — расскажу».

Паровозов была его фамилия. К его мнению прислушивались многие.

Как только первая радость поутихла, Паровозов выступил вперед и спросил:

— А учетчик материальных ценностей предусмотрен конструкцией?

— Нет, этого не изобрел, — виновато развел руками Степан Онуфриевич. — Некогда было.

— Доделайте, доделайте, дорогой, — приятельским тоном указал Паровозов. — Теперь второе. Видимо, эта машина представляет известную ценность для хозяйства. Но чтобы ее принять, комиссия должна проверить все пункты действия. Вот тут написано, — он помахал бумажкой, — что конструкция имеет реверсивность хода, то есть способна перерабатывать полученные вещи в обратном порядке. Как бы это увидеть своими глазами?

— Это уж как пить дать, в обратную сторону, — ухмыльнулся Огурцов. — Только зачем?

— Порядок есть порядок, — объяснил Паровозов.

— Ну, уж ради такого случая... — И Огурцов повернул рычаг вправо.

Члены комиссии, возбужденные всем виденным, легко отнеслись к этой маленькой полемике. «Ладно, уж

чего там. Посмотрим». Все равно победа была на лицо.

А гора вещей между тем начала таять. Предметы со звоном влетали в раструб, все в больших и больших количествах.

Второй срез рога был гораздо шире и мог принимать гораздо большие потоки, чем узкий конец. Много предметов, поднявшись в воздух, витало вокруг рога, сталкивалось друг с другом — так притягивал широкий срез. Тучи пыли поднялись над площадкой. Загуляли небольшие смерчи, иногда сплетаясь в один мощный вихрь. И когда у одного из наблюдателей сорвало соломенную шляпу и понесло высоко к тучам, вся комиссия, не сговариваясь, бросилась на землю. Только несгибаемый Паровозов остался стоять. Он схватился за поля шляпы и уже хотел было сказать что-то о силе природных явлений, как вдруг могучий поток воздуха поднял Паровозова с места и понес прямо к ревущему жерлу горловины. Тело его легко покружило над землей, оттеснило несколько менее крупных предметов и плавно пошло вместе с основным потоком. Паровозов так и не отнял рук от полей шляпы.

Кроме Огурцова, никто не видел этого. Все лежали, плотно прижавшись к площадке, обняв голову руками. Изобретатель отчаянно, изо всех сил тянул рычаг к нулевому положению, но рычаг заело. Всем своим легким весом наваливался он на проклятый рычаг — ни с места! «Скандал, скандал!» — шептали его трясущиеся губы, по лбу катились капли пота.

Огурцов оглянулся — Паровозов уже наполовину пребывал внутри рога.

— Выгребай руками, выгребай, так твою растак! — не своим голосом закричал Огурцов, бросил рычаг и ринулся в самую гущу, туда, где в хороводе пружинных стульев, умывальников, рулонов материи уже виднелись одни лишь ноги Паровозова. Мертвой хваткой вцепился в эти ноги Огурцов. Обоих окружило облако пыли.

Увидев, что дело плохо, постовой Петров одним могучим прыжком одолел половину расстояния до рога, а через опасную зону завихрений пополз по-пластун-

ски. Но тут рог крякнул, медно, по-колокольному загудел и остановился сам собой.

Через некоторое время люди пришли в себя и сгрудились вокруг машины. Нечего и говорить, как тяжело все переживали катастрофу. К тому же без Огурцова никто толком и не знал, как подступиться к рогу. Пробовали повернуть рычаг переработки в левое положение — рычаг свободно повернулся, но только и всего. Лишь струйка расплавленного металла вылилась наружу, да так и застыла. Тогда все вытащили папиросы и молча задымили. И-да, положеньице!..

Несколько дней бились инженеры и техники, чтобы оживить рог. Усилия их оказались почти безрезультатными. С грехом пополам удалось наладить лишь обратное действие — переработку ценностей в утиль. Молотков осунулся и похудел — все эти дни он не отходил от рога. Кто-то было начал ругать Паровозова — Молотков резко оборвал его:

— Сами виноваты! Таких Паровозовых на версту нельзя подпускать к новому. А мы вот с вами...

Тогда кто-то упрекнул самого Огурцова: что, мол, не оставил никаких толковых объяснений, когда еще было время.

— Попробуй объясни, — устало возразил Молотков, — на уровне будущих столетий. Загадочно, как люди-счетчики. Ворочают в уме миллионами, а как? Пойми-ка!

Постовой Петров переживал тяжелую утрату вместе со всеми. К тому же ему казалось, что он один за все в ответе. И Петров не смотрел в глаза членам комиссии. Как он мог допустить такое безобразие! Такую нелепую просьбу — заставить машину работать наоборот! Паровозов представлялся ему теперь злостным хулиганом, из тех, что в широких брюках. И он почти уверил себя, что однажды — был такой случай! — приводил Паровозова в участок за дебош в нетрезвом состоянии. Но из жалости отпустил и не просигналил по месту работы.

На самом деле такого случая, конечно, не было. Паровозов вел правильный образ жизни, не придерешься.

А рог передали в одну из научных групп на восстановление. Но во время катастрофы он пришел в такое состояние, что «восстановить» значило теперь изобрести заново. И вот уже несколько лет институт перерабатывает ценности в утиль, но пока что без особых надежд на успех. Не каждый ведь способен на изобретение, которое по плечу лишь далеким потомкам!

## *Коротко об авторах*

АЛЬТОВ (Альтшуллер) ГЕНРИХ САУЛОВИЧ. Родился в 1926 году. Инженер, автор полутора десятков изобретений. Опубликовал несколько теоретических работ по методологии изобретательства (книга «Основы изобретательства» и другие). В фантастике впервые выступил в 1957 году. Пишет исключительно рассказы, если не считать повести «Баллада о звездах», написанной в соавторстве с В. И. Журавлевой. Изданы следующие сборники его рассказов: «Легенды о звездных капитанах» (1961 г.) и «Опалающий разум» (1967 г.). Занимается исследованием «технологии» фантастики: в последние годы им опубликованы очерки о судьбе предвидений Ж. Верна, Г. Уэлса, А. Беляева.



«Главное в моих рассказах, — формулирует свое кредо Г. Альтов, — разумный оптимизм. Разумный — поскольку в нем нет утверждения, что «будет хорошо, потому что будет хорошо». Оптимизм — поскольку я считаю, что человечество может найти пути безграничного развития».

БИЛЕНКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился в 1933 году. Геолог-геохимик по образованию. С 1959 года работает в области научной журналистики, автор ряда научно-популярных книг («Спор о загадочной планете» и другие). Первый его научно-фантастический рассказ был опубликован в 1958 году. В последующие годы выступал мало; активно вернулся к фантастике лишь в 1964 году. Опубликовал свыше двух десятков рассказов и две повести. В 1967 году вышла его первая книга-сборник научно-фантастических повестей и рассказов «Марсианский прибой».





**ВАРШАВСКИЙ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ.** Родился в 1909 году. Инженер-конструктор, в прошлом моряк. В 1929 году в соавторстве с Н. Слепневым и Д. Варшавским опубликовал книгу «Вокруг света без билета». С тех пор не выступал в литературе вплоть до начала 60-х годов, когда стали появляться его научно-фантастические рассказы. Они объединены в книги «Молекулярное кафе», «Человек, который видел антимир» и «Солице заходит в Дономаге». Предпочитает жанр короткого острожюжетного рассказа, часто с юмористической или сатирической окраской.



**ВОЙСКУНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ, ЛУКОДЬЯНОВ ИСАЙ БОРИСОВИЧ.** Пищут в соавторстве. Е. Л. Войскунский родился в 1922 году. С 1940 года по 1956 год служил в Балтийском флоте, участвовал в обороне Ханко, Ленинграда. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. В 1956 году в Воениздате вышла первая его книга «Первый поход». Позднее в том же издательстве вышел сборник его рассказов о военных моряках. И. Б. Лукодьянов родился в 1913 году, инженер-механик, проектировщик. Во время Великой Отечественной войны служил в частях ВВС. Автор ряда технических книг («Скоростная прокладка подводных трубопроводов» и другие). Первая научно-фантастическая книга обоих авторов «Экипаж «Меконга» вышла в 1962 году. Изданы также сборник их рассказов «На перекрестках времени», повесть «Черный столб» и несколько отдельных рассказов.



ГАНСОВСКИЙ СЕВЕР ФЕЛИКСОВИЧ. Родился в 1918 году. Был грузчиком, матросом, электромонтером, почтальоном, учителем, работал на конном заводе. Во время войны был снайпером, разведчиком, получил тяжелое ранение. После войны окончил физиологический факультет Ленинградского университета. Печататься начал с 1950 года — сборник рассказов, пьесы. В 1963 году вышел первый сборник его научно-фантастических рассказов «Шаги в неизвестное». Позднее вышла его книга «Шесть гениев». В произведениях последних лет заметно тяготение к проблемам морали и нравственности в их связи с развитием научно-технического прогресса.



ГОР ГЕННАДИЙ САМОЙЛОВИЧ. Родился в 1907 году (первый год жизни провел в читинской тюрьме вместе с родителями, осужденными за революционную деятельность). В литературе впервые выступил в 1925 году. С тех пор вышло более двадцати книг Геннадия Гора — очерки, рассказы, повести, романы. В фантастике работает с 1961 года. Автор ряда фантастических произведений, объединенных в книги «Кумби», «Скиталец Лаверф», «Глиняный напуас». Для всех этих характерны философские размышления над проблемами «природа — разум — человек».



ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 1935 году. Инженер-конструктор. Принимал активное участие в экспедиционных исследованиях загадки падения Тунгусского метеорита. В фантастике выступил впервые в 1962 году. Автор ряда фантастических рассказов и повести «Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты». В 1967 году вышел его первый сборник «Аксиома волшебной палочки».





ГРОМОВА АРИАДНА ГРИГОРЬЕВНА. Родилась в 1916 году. Кандидат филологических наук. С середины 30-х годов активно работает в области литературоведения, критики, журналистики. В 1958 году вышла ее книга о киевском подполье «Линия фронта — на востоке». В 1959 году была издана ее первая научно-фантастическая книга «По следам неизвестного», написанная в соавторстве с В. Н. Комаровым, в 1963 году — «Поединок с собой», в 1967 году — «Мы одной крови — ты и я!». Повесть «В круге света» была опубликована в сборнике «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» в 1965 году.



ГУРЕВИЧ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ. Родился в 1917 году. С 1939 года служил в армии — был кавалеристом, минометчиком, электриком, сапером. По образованию инженер-строитель. После Великой Отечественной войны стал профессиональным писателем-фантастом. Первый его научно-фантастический рассказ был опубликован в 1946 году. Автор следующих научно-фантастических книг: «Иней на пальмах», «Подземная непогода», «Купол на Кельме», «Рождение шестого океана», «Прохождение Немезиды», «На прозрачной планете», «Пленники астероида», «Мы — из Солнечной системы» и литературоведческая книга «Карта страны фантазии».



ДНЕПРОВ (Мицкевич) АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ. Родился в 1919 году, кандидат физико-математических наук. Первые его научно-фантастические рассказы были опубликованы в 1958 году. С тех пор вышли книги «Уравнение Максвелла», «Мир, в котором я исчез», «Формула бессмертия», «Пурпурная мумия», повести и романы «Глиняный бог», «Голубое зарево». Его творчеству присущи две главные темы: размышления над перспективами развития науки (главным образом кибернетики, физики, биологии); ситуации, при которых возможные достижения науки будущего используются силами им-

периализма в человеконенавистнических целях, и борьба прогрессивных ученых против таких попыток. Последнюю тему А. П. Днепров нередко решает средствами памфлета.

ЕМЦЕВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ, ПАРНОВ ЕРЕМЕЙ ИУДОВИЧ. Пишут в соавторстве. М. Т. Емцев родился в 1930 году, Е. И. Парнов — в 1935 году. Оба сотрудники научно-исследовательских институтов, работают в области физики и химии. Авторы нескольких научно-популярных книг. В фантастике работают с 1961 года. Изданы следующие книги фантастики: «Уравнение с Бледного Нептуна», «Зеленая креветка», «Последнее путешествие полковника Фосетта», «Море Дирака».



ЖУРАВЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. Родилась в 1933 году, медик по образованию. Первые научно-фантастические рассказы были напечатаны в 1958 году. Изданы сборники рассказов — «Сквозь время» (1960 г.), «Человек, создавший Атлантиду» (1963 г.). Совместно с Г. Альтовым написана повесть «Баллада о звездах» и научно-фантастический очерк-гипотеза «Путешествие к эпицентру полемики». В настоящее время — профессиональный писатель. Выступает преимущественно в жанре рассказа. Характерная черта ее рассказов — лиричность. Писательницу особенно интересуют проблемы контакта с цивилизациями других миров.





ЗУБКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, МУСЛИН ЕВГЕНИЙ САЛИМОВИЧ. Пишут в соавторстве. Б. В. Зубков родился в 1923 году, по профессии инженер-электрик, заведует отделом техники в журнале «Знание — сила». Е. С. Муслин родился в 1930 году, по профессии авиационный инженер, заведует отделом техники в журнале «Изобретатель и радионализатор». У каждого из соавторов издано по нескольку научно-популярных книг. В фантастике выступают с 1963 года.



КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Родился в 1906 году. Инженер по специальности. Во время войны был главным инженером одного из научно-исследовательских институтов. В послевоенное время стал профессиональным писателем. Дебют А. П. Казанцева в фантастике состоялся в 1936 году — его сценарий «Аренида» получил первую премию на Всесоюзном конкурсе научно-фантастических фильмов. В 1941 году вышел его научно-фантастический роман «Пылающий остров». В послевоенные годы появились такие его произведения, как «Арктический мост», «Полярная мечта», «Лунная дорога», «Планета бурь» (экранизирована), «Льды возвращаются», сборника рассказов о севере: «Против ветра», «Обычный рейс» — и некоторые другие. Автор ряда научно-популярных и публи-

цистических книг, таких, как «Машины полей коммунизма», «Богатыри полей», «Ступени грядущего».

ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ. Родился в 1903 году. По образованию экономист (ИНХ имени Плеханова, Экономический институт красной профессуры). Целиком на литературную работу перешел в 1940 году. До этого долгое время вел обширную и разнообразную журналистскую деятельность, работал в редакциях журналов «Крокодил», «30 дней» и некоторых других. Широко известна его повесть-сказка «Старик Хоттабыч». В фантастике выступил вскоре после войны — романы «Патент АВ», «Остров разочарования», «Атавия Проксима». В его творчестве сильна сатирическая струя, в том числе и в произведениях фантастики. Автор многих сатирических сказок (цикл «Обидные сказки») и памфлетов («Белокурая бестия», «Съеденный архипелаг» и другие).



ПОДОЛЬНЫЙ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ. Родился в 1933 году. По образованию историк, работает заведующим отделом журнала «Знание — сила». Автор ряда научно-популярных книг. В фантастике выступил впервые в 1962 году. Пишет короткие, как правило, юмористические рассказы.





РАЗГОВОРОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ. Родился в 1920 году. Журналист, литературный критик, поэт-переводчик — известны его переводы Хикмета, Арагона. «Четыре четырки» — единственное его фантастическое произведение. Оно было опубликовано в 1963 году в сборнике «Научная фантастика» издательства «Знание». Работает специальным корреспондентом «Литературной газеты».



РОСОХОВАТСКИЙ ИГОРЬ МАРКОВИЧ. Родился в 1929 году, педагог по образованию. Работает корреспондентом киевской газеты «Юный ленинец». Первый его научно-фантастический рассказ был опубликован в 1959 году. С того времени вышли следующие сборники научно-фантастических рассказов и повестей: «Загадка «Акулы» (1962 г.), «Встреча во времени» (1963 г.), «Виток истории» (1966 г.), «Справа командора» (1967 г., на украинском языке). Кроме фантастики, вышли отдельной книгой поэма «Мост» (1954 г.) и в 1965 году сборник приключенческих рассказов и повестей «Два куска сахара».



САВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Родился в 1933 году. Инженер-электрик по профессии. Его первые научно-фантастические рассказы стали появляться в печати в конце 50-х годов. В 1960 году вышла научно-фантастическая повесть «Черные звезды». В сборниках «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» были опубликованы небольшая повесть В. И. Савченко «Алгоритм успеха» и пьеса «Новое оружие». В 1967 году вышел его фантастический роман «Открытие себя».

**САПАРИН ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ.**  
Родился в 1905 году. Главный редактор журнала «Вокруг света». Печататься начал с 1926 года, выступая в различных жанрах журналистики. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, участником которой он являлся, стали появляться его первые научно-фантастические рассказы. Иданы следующие сборники научной фантастики В. С. Сапарина: «Удивительное путешествие», «Новая планета», «Однорогая жирафа», «Суд над Танталусом». В. С. Сапарин является также автором ряда юмористических и сатирических рассказов. Большая их часть объединена в сборник «Сбежавший карандаш» (издание Библиотечки «Крокодила»).



## Содержание

### **СКРЕЩИВАЯ ШПАГИ**

Илья Варшавский	
Тревожных симптомов нет . . . . .	7
Дмитрий Биленкин	
Космический бог . . . . .	23
Аriadна Громова	
В круге света . . . . .	118
Север Гансовский	
Полигон . . . . .	263
Анатолий Днепров	
Уравнение Максвелла . . . . .	284
Лазарь Лагин	
Майор Велл Эндью . . . . .	336

### **ПОЧТИ СКАЗКА**

Генрих Альтов	
Икар и Дедал . . . . .	399
Кирилл Булычев	
Девочка, с которой ничего не случится . . . . .	406
Илья Варшавский	
Молекулярное кафе . . . . .	434
Владимир Григорьев	
Рог изобилия . . . . .	437
Коротко об авторах . . . . .	453

АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ  
ФАНТАСТИКИ. Состави-  
тель *Биленкин Дмитрий  
Александрович*. М., «Моло-  
дая гвардия», 1968. (Б-ка  
современной фантастики,  
т. 15). 464 с.

Редактор *Б. Клюева*. Худо-  
жественный редактор  
*А. Степанова*. Технический  
редактор *И. Егорова*

Сдано в набор 15/IX 1967 г.  
Подписано к печати 14/II  
1968 г. А04137. Формат  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типо-  
графская № 1. Печ. л. 14,5  
( усл. 24,36). Уч.-изд. л. 23.  
Тираж 215 000 экз.  
Зак. 1925. Цена 92 коп.  
Типография  
ЦК ВЛКСМ «Молодая  
гвардия». Москва, А-30,  
Сущевская, 21.

К сведению подписчиков  
«Библиотеки современной фантастики»

В 1968—1970 гг. издательство «Молодая гвардия» выпустит дополнительно 10 томов произведений мировой фантастики. Они познакомят читателя с писателями-фантастами Италии, Франции, Швеции, социалистических стран. В трех томах «Библиотеки» будут опубликованы произведения советских писателей.

В 1968 году выйдут:

Антология «Фантастика социалистических стран».  
**Роберт Шекли (США)**, Повести. Рассказы.

Антология «Советские писатели-нефантасты в фантастике».

В 1969 году будут изданы:

Антология «Фантастика Италии».  
**Карин Бойе (Швеция)**, Каллокайн.  
Сборник «Драматургия в фантастике».

В 1970 году в четырех томах «Библиотеки современной фантастики» будут опубликованы лучшие новинки этого жанра, выпущенные в нашей стране и за рубежом.

В случае отказа подписчика от приобретения дополнительных томов в счет задатка выдается 15-й том данного издания.

Учитывая интересы читателей, издательство оставляет за собой право заменять некоторые названия на более современные и более отвечающие целям настоящего издания.



23.01.

ALLEGORICAL